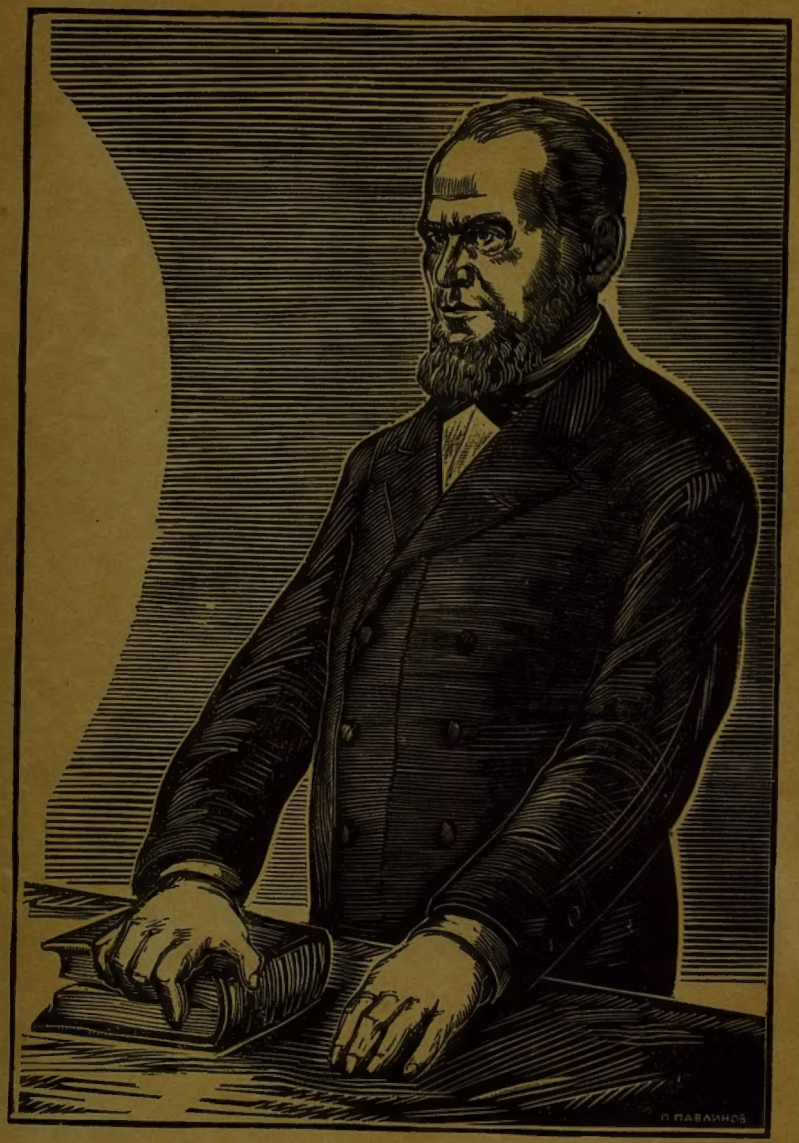
ACADEMIA


П. ПАВЛИНОВ

РУССКИЕ МЕМУАРЫ, ДНЕВНИКИ
ПИСЬМА и МАТЕРИАЛЫ

А. Ф. КОНИ

ACADEMIA
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

611

А. Ф. КОНИ

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕЛЕ ВЕРЫ ЗАСУЛИЧ

РЕДАКЦИЯ ТЕКСТА И ПРИМЕЧАНИЯ
М. Ф. ТЕОДОРОВИЧА

ACADEMIA
1933

Е 84

Портрет А. Ф. Кони — гравюра на дереве П. Я. Павлинова

Суперобложка и переплет по рисункам Н. П. Дмитревского

Г 60
К 61
ИЛ
БИБЛИОТЕКА
ИМЭЛ
при ЦК В.К.П.(б)
66341
18
35

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕЛЕ ВЕРЫ ЗАСУЛИЧ

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

6 декабря 1876 г., прилегши отдохнуть перед обедом у себя в кабинете, в доме министерства юстиции, в Малой Садовой, я был вскоре разбужен горько-удушливым запахом дыма и величайшею суматохою, поднявшеюся по всему огромному генерал-прокурорскому дому. Оказалось, что в канцелярии от неизвестной причины (день был воскресный) загорелись шкапы, и пламя проникло в верхний этаж. Горел пол в кабинете помощника правителя канцелярии Корфа[1] и начинал прогорать и у меня, в обширной пустой комнате, которая называлась у моего предместника по должности вице-директора, А. А. Сабурова,[2] «детской».

На внутренней лестнице толпились испуганные чиновники, курьеры; вскоре показались во всех углах пожарные, пришел встревоженный министр, граф Пален,[3] мелькнула фигура градоначальника Трепова.[4] Опасность была устранена очень быстро. Пожарные действовали мастерски, и по распоряжению министра им было выдано 1000 рублей серебром в счет остатков по министерству юстиции за сметный год. Из этой же суммы было почерпнуто и пособие, тоже

в одну или полторы тысячи, на поправление пострадавшего кабинета барона Корфа, хотя и до и после пожара кабинет неизменно состоял из дрянной сборной мебели, двух-трех старых столов и бесчисленного количества папиросных мундштучков всех форм и величин, лежавших на них.

Еще не утихли беготня и беспорядок в моих комнатах и на прилегающих лестницах, еще у меня в кухне старались привести в чувства захлебнувшегося дымом пожарного, как Пален прислал за мною, прося прибыть *немедленно*. Я застал у него в кабинете: Трепова, прокурора палаты Фукса,[5] товарища прокурора Поскочина[6] и товарища министра Фриша.[7] Последний оживленно рассказывал, что, проходя час назад по Невскому, он был свидетелем демонстрации у Казанского собора,[8] произведенной группою молодежи «нигилистического пошиба», которая была прекращена вмешательством полиции и народа, принявшегося бить демонстрирующих...[9] В виду несомненной важности такого факта в столице, среди бела дня, он поспешил в министерство и застал там пожар и Трепова, подтвердившего, что кучка молодых людей бесчинствовала и носила на руках какого-то мальчика, который помахивал знаменем с надписью: «Земля и воля». При этом Трепов рассказал, что все они арестованы, — один сопротивлявшийся был связан, — и некоторые, вероятно, были вооружены, так как на земле был найден револьвер. То же повторили Фукс и Поскочин, приступившие уже к политическому дознанию по закону 19 мая 1871 г.[10]

Пален, после обычных «охов» и «ахов», то заявляя, что надо зачем-то ехать тотчас же

к государю, то снова интересуясь подробностями, спросил, наконец, Фриша и меня, как мы думаем, что следует предпринять? Вопрос был серьезный. Министр был в нерешительности и подавлен непривычностью происшедшего события, а Трепов, который, конечно, в тот же день и во всяком случае не позже утра следующего дня стал бы докладывать государю и притом в том смысле, как бы на него повлияло совещание у министра юстиции, — ждал и внимательно слушал. Революционная пропаганда впервые выходила на улицу, громко о себе заявляя, и сохранить по отношению к ней хладнокровие и спокойную законность значило проявить не слабость, а силу, и дать камертон всем делам подобного рода на будущее время. Я ждал ответа Фриша с тревогою, зная по многократным прежним опытам, что для удержания Палена от необдуманного или поспешного и произвольного шага — на него надежда плохая. «Что делать?» — сказал Фриш, и, медленно оглянув всех своим холодным, стальным взглядом, он приподнял обе руки, сжал на них указательные и большие пальцы и, быстрым движением отдернув одну от другой книзу, как будто вытягивая шнурок, сделал выразительный щелчок языком... «Как? — невольно вырвалось у меня, — повесить? Да вы шутите?!» Не отвечая мне, он наклонил голову по направлению к Палену и сказал спокойно и решительно: «Это — единственное средство!» Прирожденная порядочность и сердечная доброта Фукса проступили сквозь тину слепого усердия по политическим дознаниям, в которую он погрузился, к счастью, лишь на время, и он,

растягивая слова и выражаясь по обыкновению запутанно, стал, однако, протестовать против такого взгляда. Пален взглянул на меня вопросительно, и я сказал, что для меня это дело так еще неясно, что даже и начатие дознания по закону 19 мая кажется мне преждевременным. То, что произошло на Казанской площади, представляется нарушением порядка на улице, по которому следует предоставить полиции произвести обыкновенное расследование. Если обнаружатся признаки серьезного преступления, то никогда не поздно дать делу другое направление. Все арестованы, вещественные доказательства взяты, следовательно, правосудие и безопасность ничего потерять не могут, а общественное спокойствие и достоинство власти только выиграют, если дело не будет преждевременно раздуто до несвойственных ему размеров. Что же касается до взгляда Фриша, то я думаю, что он не говорит и не думает в данном случае серьезно... Фукс и Поскочин стали доказывать, что дознание уже начато, а Фриш холодно сказал: «Я уже высказал свое мнение: оно основано на статьях Уложения о наказаниях». Пален, видимо, не разделяя его мнения, опять поохал и поахал; по обыкновению, с детскою злобою в лице, назвал участников демонстрации «мошенниками» и, ни на что не решившись, отпустил нас...

Этот день был во многих отношениях роковым для многих из нас, а, в сущности, из всех связанных с ним последующих событий один лишь Фриш выбрался благополучно. И вот ирония судьбы: Фуксу, смутившемуся предложением Фриша и бывшему всегда по совести против-

ником смертной казни, пришлось через четыре с половиною года подписать смертный приговор Желябову, Перовской и их товарищам[11] и все-таки вызвать против себя упреки «*за неуместную мягкость*», выразившуюся в том, что он позволил уже признанным виновными подсудимым поговорить между собою на скамье подсудимых, покуда особое присутствие писало неизбежную резолюцию о лишении их жизни чрез повешение. А Фриш чрез пять с половиною лет, забыв свое многозначительное «щелкание», подписал журнал Комиссии по составлению нового Уложения о наказаниях, в котором приводились всевозможные доводы против смертной казни, и хотя она и удерживалась в виду исключительных обстоятельств, для особо важных политических преступлений, но *мудрости* Государственного совета коварно и лукаво предоставлялось разделить взгляды Комиссии и отменить смертную казнь и по этим преступлениям, а, идя со мною за гробом М. Е. Ковалевского[12] чрез шесть лет, он же доказывал, что казнь «мартистов» была политическою ошибкою и что Россия не может долго существовать с тем образом правления, которым ее благословил господь... Tempora mutantur!..

Демонстрация 6 декабря 1876 г., совершенно беспочвенная, вызвала со стороны общества весьма равнодушное к себе отношение, а со стороны «народа» — кулачный отпор. Извозчики и приказчики из лавок бросались помогать полиции и бить кнутами и кулаками «господ и девок в платках» (пледах). Один наблюдатель уличной жизни рассказывал Боровиковскому[13] про купца, который говорил: «Вышли мы с женою

и дитею погулять на Невский; видим, у Казанского собора драка... я поставил жену и дите к Милютиным лавкам, засучил рукава, влез в толпу и — жаль — только двоим и успел порядком дать по шее... торопиться надо было к жене и дите — одни ведь остались!» — «Да кого же и за что вы ударили?» — «Да кто их знает, кого, а только как же, помилуйте, вдруг вижу, бьют: не стоять же сложа руки?!. Ну, дал раза два кому ни на есть, потешил себя — и к супруге...»

Но в истории русских политических процессов демонстрация эта играет важную роль. С нее начался ряд процессов, обращавших на себя особое внимание и окрасивших собою несколько лет внутренней жизни общества. Громадный процесс по жихаревскому делу[14] еще только подготовлялся, а процессы о пропаганде, — или, как они назывались даже у образованных лиц из прокуратуры, «о распространении пропаганды», — велись неслышно, без всякого судебного «спектакля», в особом присутствии сената. Это были отдельные, не связанные между собою дела о чтении и распространении «вредных книг», в роде «Сказки о четырех братьях», «Сказки о копейке» или «Истории французского крестьянина», очень талантливо переделанной из романа Эркман — Шатриана.[15] В них революционная партия преследовалась за развитие и распространение своего «образа мыслей», в деле же о преступлении 6 декабря впервые выступал на сцену ее «образ действий».

Эти отдельные процессы не привлекали ничьего внимания, кроме кружка юристов, среди которых иногда ходили слухи, что первопри-

сутствующий особого присутствия с 1874 г. сенатор Александр Григорьевич Евреинов [16] ведет себя весьма неприлично, раздражительно, злобно придираясь к словам подсудимых и вынося не в меру суровые приговоры. Слухи эти были не лишены основания. Сухой, изможденный старик, с выцветшими глазами и лицом дряхлого сатира, Евреинов представлял все задатки «судии неправедного», пригодного для усердного и успешного ведения политических дел. Я помню, что раз, летом 1875 г., я встретил его утром на Петергофском пароходе, шедшем в Петербург. «Вот еду судить этих мерзавцев,— сказал он мне, — опять с книжками попались, да так утомлен, что не знаю, как и буду вести дело. Вчера государю угодно было потребовать институток Смольного института в Петергоф, ну и я, как почетный опекун, должен был с ними кататься и всюду разъезжать, а потом после обеда в Монплезир приехал он с великими князьями и приказал институткам танцовать, шутил, дарил им конфекты и т. д. Пришлось все время быть на ногах, а тут еще сам подходит ко мне и с улыбкой спрашивает: «А ты, старик, что же не идешь плясать?» Я отвечаю: «Прикажете, государь, и я танцовать стану!— «Нет, не нужно», — милостиво ответил мне он. А тут вот это дело — суди эту сволочь, — уж где мне после вчерашнего-то дня».

Но, как бы то ни было, процессы эти велись как-то особо от хода всей судебной жизни и нимало на нее не влияли. Совершенно иначе стало дело с 6 декабря. Во-первых, оно пошло ускоренным путем, ибо к нему уже был применен возмутительный в судопроизводственном смысле

порядок, по которому дознание уже не обращалось к следствию, а прямо вело к судебному рассмотрению, т. е. ставило человека на скамью подсудимых без предварительного исследования его вины компетентными лицами и узаконенными способами. Этот порядок был принят по настоянию Палена, которому наскучило долгое производство следствий по политическим делам и которому Фриш указал на 545 ст. Уст. уг. суд.,[17] повидимому, воздержавшись от указания на то, что отсутствие следствия в общем порядке судопроизводства связано с обсуждением дела *в двух инстанциях по существу* и с обвинениями, не влекущими даже ограничения прав состояния; здесь же дело разбиралось в одной инстанции и могло влечь за собою даже смертную казнь. Тщетно боролся я против этого явного нарушения основных начал уголовного процесса. Когда никакие словесные убеждения не помогли, когда Пален упорно стоял на своем, твердя на мои разъяснения, что нечего этим негодяям давать гарантии двух инстанций, и приказал, наконец, начальнику уголовного отделения представить ему отношение к шефу жандармов относительно введения такого порядка, без сомнения для последнего очень желательного,— я написал ему письмо, в котором всячески доказывал вред и полную незаконность предполагаемой меры. Дня через два Пален, при моем докладе, сказал: «Я очень вам благодарен за ваше письмо, — хотя я с ним все-таки не согласился и уже вошел в соглашение с шефом жандармов, но оно заставило меня еще раз обдумать вопрос — быть может, я и неправ, но я *вынужден* на такую меру; все эти Крахты и

Гераковы (члены палат, производившие следствие по политическим делам) надоели мне ужасно, я не хочу больше иметь с ними дела,— а ваше письмо прикажу приложить к производству: пусть оно останется как след вашего протеста». Но я взял это письмо из дела и прилагаю к настоящей рукописи как один из многих знаков бесплодной борьбы за право и законность с этим тупым человеком.*

Во-вторых, был назначен другой первоприсутствующий, Тизенгаузен,[18] человек живой и энергический, и дело было пущено уже в январе в зале заседаний окружного суда, при искусственно возбужденном интересе. Процесс[19] окончился осуждением почти всех обвиняемых и в том числе, в качестве главного виновного, студента С.-Петербургского университета *Боголюбова*,[20] который был приговорен к каторге.

Процесс этот имел, в числе своих последствий, один трогательный эпизод. Вскоре по произнесении приговора, в числе прочих и над неким воспитанником Академии художеств — Поповым,[21] личностью весьма мало симпатичною во всех отношениях,[22] присужденным к поселению в Сибири, ко мне явилась девушка, калмыцкого типа, с добрыми, огромными на-выкате черными глазами и румяным широкоскулым лицом, — нечто в роде Плевако[23] в юбке. Товбич — так звали эту девушку — ходатайствовала о разрешении обвенчаться с Поповым до его отправления в Сибирь, так как она желала следовать за ним в качестве жены. Просьба была настойчивая и слезная, и контуры стана просительницы пока-

* См. приложение I.

зывали, что эта настойчивость имеет свои основания. Я обещал выхлопотать разрешение у Палена, который не допускал прокурора палаты самого разрешать такие вопросы. Но у Палена я встретил неожиданный и яростный отказ. Он кричал, что это «все — девки!», что он не намерен «содействовать разврату» и т. п. Пришлось утешать слабыми надеждами Товбич, которая трепетала, как птица в клетке, и овладеть Паленом путем нескольких периодических атак. Наконец, он сдался на то, чтобы родителям Товбич, жившим в Екатеринославской губернии, было написано о желании их дочери связать свою судьбу с политически-ссыльным и испрошено их разрешение на брак, в даче которого Пален сильно сомневался. Я сам написал местному исправнику конфиденциальное письмо и вскоре был получен ответ с подписью родителей, которые заявляли, что дочь их уже давно живет самостоятельною жизнью и что они не желают вмешиваться в ее выбор. Это не удовлетворило, однако, Палена; он потребовал, чтобы местный прокурор лично объяснился с родителями Товбич. В виду болезненного состояния ее матери прокурор объяснился лишь с отцом и донес, что последний, зная силу привязанности дочери к Попову, не только разрешает ей брак, но даже просит ему не препятствовать, и «покровительство разврату» совершилось в тюремной церкви. Года через два я получил от Товбич-Поповой письмо из Якутска, в котором она писала, что в Тюмени родила сына и была очень больна, что они живут с мужем счастливо и совершенно безбедно, так как он делает, по старой памяти, *бюстики государя, которые очень*

хорошо раскупаются в их местности и доставляют средства к жизни. Письмо это имело очень оригинальный характер. В нем нигилистическая поза прикрывала сердечный характер. Товбич начинала письмо словами: «В некотором роде памятный мне Анатолий Федорович», а кончила короткой припиской: «Сына моего я назвала Анатолием».

Вслед за процессом по казанскому делу слушался в феврале 1877 г. процесс «пятидесяти»,[24] подготовленный в Москве и обнимавший разные группы обвиняемых, искусственно между собою связанные по существовавшему в Москве методу соединять однородные дела в одно, придавая ему громкое название, в роде «дело червонных валетов» и т. д. По делу «пятидесяти» судебное следствие велось очень бурно. Обвиняемые делали разные заявления резкого свойства, судьи теряли самообладание... В воздухе носилась тревога и озлобление, и *впервые* новый суд делался ареною личных препирательств между судьями и утратившими доверие к их беспристрастию раздраженными подсудимыми. Многие из этих подсудимых выказывали полное равнодушие к ожидавшему их наказанию и лишь пользовались случаем высказать излюбленные теории и мрачно-утопические надежды. Особенно потрясающее впечатление произвела своею энергиею речь рабочего Петра Алексеева,[25] и смущенный и растерявшийся председатель выслушал, не останавливая его,[26] воззвание о скорейшем приходе того времени, когда мозолистый кулак рабочего сотрет с лица русской земли самодержавное самовластие и все гнилые учреждения, которые его поддерживают.

На подобные выступления судьи отвечали явным проявлением раздражения и гнева и принимали невольно характер стороны в процессе, не могущей относиться хладнокровно к развертывающейся пред нею судебной драме.

И в этом, и в последующих процессах этого рода выдающуюся роль играл по своей придирчивости и совершенно не судейской односторонности сенатор Николай Оттович Тизенгаузен. Он принадлежал к тем правоведам, которые, будучи возмущены самодурными выходками гр. Панина, [27] уходили в другие ведомства и, преимущественно в начале нового царствования, в либеральное морское министерство. Там пробыл он до самой судебной реформы и был, как говорили, сотрудником «Колокола»[28] в его лучшие годы. Как бы то ни было, в правоведческом мирке он слыл за «красного». Но этот «красный», в виду красного сенаторского мундира, радикально переменил окраску. В 1877 г. по рукам в Петербурге ходили «подписи к портретам современников» Боровиковского. К портрету Тизенгаузена относились следующие, к сожалению, справедливые строки:

Он был горячим либералом...
Когда б, назад пятнадцать лет,
Он чудом мог полюбоваться
На свой теперешний портрет?!
Он даже в спор с ним не вступил бы,
Сказал бы крепкое словцо
И с величайшим бы презреньем
Он плюнул сам себе в лицо.

Обвинителями в этих двух процессах выступали Поскочин и Жуков. В сущности, они вели себя порядочно, особливо в сравнении с тем, что пришлось впоследствии слышать с проку-

рорской трибуны. Поскочина, впрочем, обвиняли в каких-то инквизиторских приемах при дознании и даже сочинили по этому поводу целую скабрезную историю, мало правдоподобную и имевшую характер злобной клеветы. Относительно же Жукова случилось следующее довольно комическое совпадение. Он был запутан в долгах по горло. Для того чтобы спасти его имение от окончательной гибели, над ним была учреждена по высочайшему повелению *опека*, и указ о ней был напечатан в «Правительственном вестнике» в день начатия процесса «пятидесяти», так что некоторые из защитников шутя готовились протестовать против требований прокурора, если в виду суда не будет на них согласия его опекунов. Во всяком случае было странно видеть обвинителем увлекающейся и увлеченной молодежи зрелого человека, не имеющего вследствие своего легкомыслия даже правоспособности к управлению собственными имущественными делами.

Судьи особого присутствия для этих дел назначались ad hoc из наиболее «преданных» сенаторов. То же делалось и по отношению к сословным представителям. На месте городского головы, когда-то занятого в этих процессах, Погребова, вполне подтверждавшего слова Достоевского, что «на Руси люди пьяные — всегда и люди добрые, и добрые люди — всегда люди пьяные», прочно утвердилась темная личность одесского Новосельского, который тем горячее писал и проповедывал в петербургских гостиных (куда являлся вечно в вицмундире со звездою) о своей готовности «искоренять и карать», чем громче раздавались в местной одесской печати

толки о неблаговидных сделках одесского городского головы с английскими предпринимателями городского водопровода.

В качестве губернского предводителя приглашался сначала нижегородский предводитель С. С. Зыбин. Сын богатых родителей, он в 1861 г., во время студенческих волнений в Петербурге, весьма либеральничал, ходил умышленно в грязном и разорванном платье, кипел негодованием при виде карет с красными придворными лакеями и подарил мне, как товарищу по университету, свою карточку, изображавшую его в рубахе, грешневике и высоких сапогах, со штофом и огурцом в руках... После закрытия университета он удалился в деревню, а в 1876 г. камергер Зыбин являлся к министру юстиции заявлять, что «если нужно», то он готов послужить отечеству в составе особого присутствия по политическим делам. Его услугами воспользовался Пален в течение целого года, но неосмотрительность канцелярии лишила его благонадежности. Летом 1877 г. Зыбину было вновь послано приглашение принять участие в политическом процессе, но по ошибке на конверте он, особа IV класса «зауряд», был назван лишь высокородием; это его так оскорбило, что он возвратил приглашение «как не к нему относящееся» и написал обиженное письмо к Палену. Тот нашел, что Зыбин «est trop difficile», и с тех пор в этих процессах стали появляться: черниговский предводитель Неплюев и старая, но «твердая в вере» развалина — тверской князь Борис Мещерский.

Как характеристика того, из среды каких людей назначались судьи в особое присутствие, мне

А. Ф. КОНИ
Снимок 1877 г.

вспоминается вечер, бывший в феврале 1877 г. у принца Ольденбургского для воспитанников и преподавателей учебных заведений, состоявших под его покровительством (я был в это время профессором в Училище правоведения). На вечере был государь и, конечно, все министры. Государь был очень весел, играл в карты и, когда в зале раздались звуки мазурки, прошел, улыбаясь, среди почтительно расступившихся рядов в залу, удлиняя в такт мазурке шаги. В зале он, между прочим, подозвал к себе Палена и стал с ним говорить в амбразуре окна. В это время кто-то взял меня за локоть. Это был сенатор Борис Николаевич *Хвостов*, бывший вице-директор и герольдмейстер, фактотум и креатура Панина. «Как я рад, что вас вижу, — сказал он мне, — мне хочется спросить вашего совета; ведь дело-то очень плохо!»—«Какое дело?»—«Да процесс 50-и... «Я сижу в составе присутствия, и мы просто не знаем, что делать: ведь против многих нет никаких улик. Как тут быть? а? что вы скажете?»—«Коли нет улик, так—оправдать, вот что я скажу...»—«Нет, не шутите, я вас серьезно спрашиваю: что нам делать?»—«А я серьезно отвечаю: оправдать!» — «Ах, боже мой, я у вас прошу совета, а вы мне твердите одно и то же: оправдать да оправдать; а коли оправдать-то неудобно?!»—«Ваше превосходительство, — сказал я, взбешенный наконец всем этим, — вы — сенатор, судья, как можете вы спрашивать, что вам делать, если нет улик против обвиняемого, т. е. если он невиновен? Разве вы не знаете, что единственный ответ на этот вопрос может состоять лишь в одном слове: оправдать. И какое неудобство

66341

2 Конец
БИБЛИОТЕКА
ИМЭЛ
при Ц.К.В.К.П.(б)

может это представлять для вас? Ведь вы — не административный чиновник, вы — судья, вы — сенатор!» — «Да, — сказал мне, не конфузясь нисколько, Хвостов, — хорошо вам так, вчуже-то говорить, а что скажет он?..» — и он мотнул головою в сторону государя, продолжавшего говорить с Паленом. — «Кто? Государь?» — спросил я. — «Ах, нет! Какой государь! — отвечал Хвостов, — какой государь! Что скажет граф Пален?!»

Весною, в конце марта или начале апреля, государь обратил внимание на увеличение случаев открытой пропаганды и приказал министрам юстиции, внутренних дел, народного просвещения и шефу жандармов обсудить в особом совещании меры для предупреждения развития пропаганды, с тем, чтобы, предварительно начатия совещания, ему была представлена программа занятий гг. Палена, Тимашева,[29] Толстого[30] и Потапова.[31] Для выработки программы в свою очередь было условлено собрать каждому по своему ведомству выдающихся лиц и с ними обсудить программу и меры. Задумано это было не дурно и если бы было честно выполнено, то могло бы привести к весьма серьезным результатам. Но какой-то злой гений тяготел над внутреннею жизнью России, да и вадежды, впрочем, на прямодушное и откровенное изложение пред государем всего, что было бы высказано на предварительных совещаниях, было мало. Самый честный между этими министрами был Пален. Он стоял все-таки выше своих товарищей по совещанию: бездушного царедворца Тимашева, злостного и стоящего на рубеже старческого слабоумия Потапова, всегда проездом останавливавшегося в Майнце, чтобы,

как он рассказывал Палену, «показать язык статуе Гуттенберга», и злого гения русской молодежи — Толстого. Но и он был прежде всего типический русский министр — не слуга своей страны, а почтительный приказчик своего государя, расстроенный пред каждым докладным днем и счастливый после каждого доклада тем, что еще на целую неделю ему обеспечена казенная квартира и услуги предупредительного экзекутора.

В четверг на Страстной неделе 1877 г., вечером, были собраны у Палена за круглым столом в кабинете: Фриш, прокуроры палат Жихарев, Фукс, Евреинов [32] и Писарев, [33] правитель канцелярии Каннист [34] и я. Несколько позднее явился директор департамента Адамов — [35] толстый правовед, вскормленный департаментом, ловкий и отлично знавший языки исполнитель, человек без всяких убеждений, женившийся на чрезвычайно богатой дочери генерала Шварца и имевший вследствие этого до ста тысяч рублей серебром годового дохода, что давало ему право ненавидеть республику во Франции и сочувствовать роялистам, причем о той и о других он составлял себе, как сам выражался, понятие по своей любимой газете «Фигаро».

Пален начал с речи о том, что государю угодно знать, какие же, наконец, меры следует предпринять против пропаганды, и что он, Пален, желает знать наше мнение, ничего не предрешая, однако, заранее.

Первым стал говорить Евреинов (прокурор Одесской судебной палаты), человек вообще весьма порядочный, несмотря на то, что общее

увлечение политическими дознаниями и страстью «искоренять» захватило и его, приводя порой к предложению таких мер, которые сводили его к роли главы сыщиков, подсылаемых в разные слои общества. Так, в 1876 г. * он просил министра юстиции снестись с шефом жандармов о командировании в его распоряжение, с ассигнованием особой суммы, четырех сыщиков, которых можно было бы ввести в среду студентов, в среду еврейской молодежи, в общество и т. д., причем каждый из них должен был обладать соответствующим среде образованием и внушать к себе доверие. Эти лица должны были действовать по его непосредственным указаниям для раскрытия виновников бесчеловечного и ужасного обезображения Горинович.[36] Я не дал этой бумаге хода,[37] щадя достоинство прокурорского надзора... Но все-таки, в среде «волкодавов», которые делали себе карьеру в то время, Евреинов выделялся своею порядочностью и посылал подобные просьбы, подавленный господствующим на Руси притуплением нравственного чувства и, быть может, «не ведая, что творит». Но в совещании у Палена он поразил всех. «Я думаю, — сказал он, — что для того, чтобы говорить о мерах, необходимо быть уверенным в их действительности, а таковая бывает лишь при единстве министров, знающих притом общественные нужды, что в свою очередь возможно лишь при их ответственности и началах представительства; теперь же, без этого, все меры будут нецелесообразны...» Пален вспыхнул: «Ваше превосходительство говорите

* См. приложение II.

о конституции?! Государь *этим* не уполномочил вас заниматься! Мы не имеем права рассуждать об этом!» После нескольких лишенных значения замечаний Писарева, вертевшихся в заколдованном круге политических дознаний, стал говорить скучно, вяло и очень неопределенно — Фукс, в котором неудачная конкуренция с Жихаревым и нелепое, хотя искреннее, поклонение перед величием Шувалова [38] как государственного человека совсем затмили, к счастью не навсегда, симпатичный и благородный образ старого харьковского председателя. Указывая, что пропаганда идет из Швейцарии, он предлагал «лишить пропаганду почвы, вырвать с корнем ее побеги, погасить ее очаг», но какими мерами это сделать — не объяснял. Меня раздражила эта фразистика, лишенная содержания, и я спросил Палена, не предлагает ли прокурор с.-петербургской палаты объявить войну Швейцарии, где, по его мнению, все эти очаги и корни пропаганды, идущей из-за границы, и не следовало ли бы нам пригласить представителя от министерства иностранных дел для советов по этому международному вопросу. Пален укоризненно покачал мне головой, а Фукс обиженно огрызнулся и пошел тянуть ту же туманную и беспочвенную канитель. Ему отвечал Жихарев, доказывавший, что вся причина пропаганды в том, что народ можно поддеть на вопросе о малоземелье, которое будто бы вызывается общинным устройством сельского быта. Надо-де его уничтожить, и всякая пропаганда исчезнет за неимением почвы. [39] Фриш хитро помалкивал, Пален принимал усталый вид, а будущий попечитель Московского учебного

округа Каннист, красный и сонный, переваривал свой обед и старался под столом снять свои ботинки, которые ему вечно жали ноги.

Когда очередь дошла до меня, я указал на то, что революционная партия, переменив тактику и перестав обращаться, как было в 60-х годах, непосредственно к обществу, приглашая его произвести переворот, и увидев невозможность сделать это своими собственными средствами, вербует новые силы среди молодежи и посылает ее «в народ», возбуждая в ней благородное сострадание к народным бедствиям и желание ему помочь. Народу же она твердит постоянно и всеми путями две вполне понятные ему и очень чувствительные для него вещи: «мало земли», «много податей». Школа в том виде, как она у нас существует, со своей стороны, бездушием приемов и узостью содержания преподаваемого содействует этому. Чем в действительности можно повлиять на ум, на душу молодого человека, юноши — честного и увлекающегося, которого влечет на ложный и опасный путь доктрины «хождения в народ» и его дальнейших последствий? 1) Указанием на историю и дух русского народа. Но родной истории почти не преподают в наших классических гимназиях; а народный дух узнается из языка, литературы, пословиц народа, между тем все это в загоне и отдано на съедение древним языкам. 2) Указанием на органическое развитие государственной жизни, на постепенность и историческую преемственность учреждений, на невозможность скачков ни в физической природе страны, ни в политической ее природе. Но с органическим развитием знакомит изучение природы, а есте-

ственные науки тщательно изгнаны из наших гимназий. Наконец, указанием на то, что организация законодательной деятельности государства дает исход, законный и спокойный, пожеланиям народного блага и удовлетворению нужд страны. Но сможет ли мало-мальски думающий человек по совести сказать, что, несмотря на давно общесознанные потребности страны, наше законодательство не спит мертвым сном или не подвергается гниению «в действии пустом»? Молодой человек среди множества примеров этому может, например, со злою иронией указать на то, что, гонимый малоземельем, чрезмерными сборами (а они чрезмерны!) и отсутствием правильной организации переселения крестьянин вынужден покидать семью и хозяйство и массами уходить в отхожие промыслы в город. Но там просрочка паспорта, или его утрата, или злоупотребления волостного писаря и т. д. и т. п. влекут за собою высылку по этапу и медленное, но верное его развращение,— а, придя на родину и отыскивая фабричную или просто поденную работу, он становится в положение вечной войны с нанимателем, ибо юридические отношения их ничем не определены и последствия их ничем не обеспечены... Для устранения или уменьшения этого зла учреждены по существующему порядку комиссии: в 1873 г., под председательством Игнатьева,[40] о рабочей книжке и о личном найме; в 1871 г., под председательством Сольского,[41] об изменениях паспортной системы, а еще в 1868 г., под председательством Валуева,[42] об изменении системы податей и о замене подушной подати[43] другою, более справедливою системою сборов.

Первая из них выработала правила о найме и положение о рабочей книжке как регуляторе и следе юридических отношений нанимателя и наемника; вторая проектировала отмену паспортов и замену их свидетельствами о личности, легко получаемыми раз навсегда; третья... третья ничего не проектировала. Но что же вышло из этих работ? Ничего, кроме пожизненной пенсии членам игнатьевской комиссии. Введение рабочей книжки отложено до разрешения паспортного вопроса, так как она регулирует лишь отношения, вытекающие уже из осуществления договора найма, а паспорт служит не только соединением платежной единицы с платежным центром, но и обеспечением исправности нанявшегося на работы в его явке и обеспечением данного ему задатка; паспорты же не отменены, несмотря на полное согласие таких компетентных лиц, как с.-петербургский градоначальник и министр финансов, потому что для платежа подушной подати паспорт с его невыдачею из волости недоимщику есть единственная гарантия, и, следовательно, надо думать, чем заменить подушную подать так, чтобы подать платилась там, где получается доход от труда; подушная же подать не отменена (1877 г.) потому, что комиссия о податях ничего не сделала и т. д. «Где же ваша законодательная деятельность, могущая доставить удовлетворение чувству, возмущенному зрелищем народных тягот и лишений?» — скажет молодой человек... Мы ему ответим, что надо погодить, что придет время, что когда-нибудь законодательная наша машина двинется скорее и т. д. Но так, господа, может рассуждать человек, охлажденный годами, в

котором сердце бьется медленно и для которого пожизненная пенсия может уже сама по себе представляться завидным и вполне отрадным результатом занятий законодательной комиссии, но так не думает, так не может думать человек, в котором «сил кипит избыток». Он отвертывается в сторону, где вместо *слов* предлагают *дело*, и бросается в объятия революционера, который его давно сторожит и указывает ему путь, на котором написаны заманчивые для молодого сердца слова: «борьба», «помощь народу», «самопожертвование» и т. д. Поэтому две меры в высшей степени необходимы: пересмотр системы среднего образования в смысле уменьшения преподавания классицизма и возвращения к гимназиям уваровского типа [44] и оживление, действительное и скорое, законодательного аппарата новыми силами и новым устройством, при котором будут, наконец, энергически двинуты назревшие и настоятельные вопросы народной жизни, без вечных недомолвок и соображений о том: «ловко ли?», «удобно ли?» и т. д. Относительно же лиц, уже обвиняемых в пропаганде, необходима большая мягкость. Указания на ст. ст. 250—252 Улож. о наказ. слишком жестоки. [45] Эти поселения, эти годы каторги, которая заменяется каменным гробом центральных тюрем, — это все убивает молодые силы, которые еще пригодились бы в жизни страны, ожесточая до крайности тех из общества, кто по родству, знакомству или занятиям близок осужденным, и смущают совесть самих судей. Можно даже обойтись без уменьшения максимума этих наказаний, пусть только будет понижен минимум до ареста на один месяц.

Тогда можно будет прилагать справедливое, а не жестокое наказание. Это сделать необходимо и возможно без всякой законодательной ломки Уложения. Теперешняя же система очень часто необдуманного и жестокого преследования не только не искоренит зла, но лишь доведет озлобление и отчаяние преследуемых до крайних пределов...

Против меня восстал с необыкновенною горячностью Адамов. Его флегматическая фигура совершенно преобразилась. «Граф, — сказал он, задыхаясь от волнения, — то, что говорит г-н вице-директор, очень красноречиво, но совершенно не относится к делу. У него оказываются виноватыми все, кроме действительно виновных! Виновато правительство, виноват Государственный совет, виноваты мы сами с нашими судами. Нет, не о послаблениях надо думать, не о смягчениях, а надо бороться с этими господами всеми средствами! Я откровенно скажу: я их ненавижу и рукоплещу всем мерам строгости против них. Эти люди — наши, мои личные враги. Они хотят отнять у нас то, что нажито нашим трудом (Адамов, получивший средства богатою женитьбою, очевидно, понимал труд в очень широком смысле!), и все это во имя народного блага! Нет, граф, умоляю вас: не поддавайтесь этим теориям. Я нахожу, что особое присутствие недостаточно еще строго к ним относится...» И, запыхавшись, весь бледный, он остановился. Жихарев довольно улыбнулся, а Пален вытаращил на Адамова глаза и обратился к Фришу. «Я нахожу, — сказал тот холодно и решительно, — что из соображений, здесь высказанных, лишь одно имеет практическое зна-

чение: это — уменьшение минимума наказаний за государственные преступления. Но это затрагивает слишком важный вопрос о пересмотре Уложения, каковой является теперь несвоевременным; притом же уменьшение наказания, сделанное вне пересмотра всего Уложения, будет несправедливо по отношению к тем, кто уже осужден...» — «Но ведь им тоже можно смягчить в путях монаршего милосердия», — возразили мы с Евреиновым. «Какие смягчения! Какие смягчения! — завопил Адамов, — я вполне согласен с его превосходительством Эдуардом Васильевичем!» — «Да! это все надо сообразить, — сказал, подавляя зевоту, Пален, — надо сообразить... сразу нельзя...» — И он позвонил. Вошли слуги с холодным ужином à la fourchette... — и совещание окончилось.

Во время ужина произошел маленький эпизод, оставивший во мне суеверное воспоминание. Адамов отказался от ужина. «Отчего? — спросил Пален, — разве вы не ужинаете?» — «О! нет, — отвечал Адамов, — я люблю ужинать, но сегодня страстной четверг, и я ем постное...» Меня возмутило это фарисейство, и, раздраженный всем происходившим, я громко сказал, обращаясь к Палену: «Вот, граф, Владимир Степанович считает грехом съесть ножку цыпленка и не считает грехом настаивать на невозможности снисходительно и по-человечески отнестись к увлечению молодежи...» — «Позвольте мне иметь свои религиозные убеждения! — вскричал Адамов...— и свои политические мнения!» — «Да я и не мешаю вам их иметь и, к сожалению, не могу помешать, но, только вот что, — сказал я, теряя самообладание, — быть может, недалек тот час,

когда вы предстанете пред судию, который милосерднее вас; быть может, несмотря на ваше гигантское здоровье, этот час уже за вашими плечами и уже настал, но еще не пробил... Знаете ли, что сделает этот судия, когда вы предстанете пред ним и в оправдание своих земных деяний представите ему список своих великопостных грибных и рыбных блюд?.. Он развернет пред вами Уложение и грозно покажет вам на те статьи, против смягчения которых вы ратовали с горячностью, достойной лучшей цели!..» — «Господа, господа, — заговорил начавший уже дремать Пален, — Анатолий Федорович, прошу вас, перестаньте спорить; прения окончены, это уже личности...» Через несколько времени мы разошлись. Пален удержал меня на минуту. «Да, вот видите, любезный Анатолий Федорович, и вы, и Евреинов правы, но вот видите, это... это невозможно... и никто не примет на себя смелости сказать это государю... и во всяком случае не я. Нет, покорнейший слуга, покорнейший слуга!» — сказал он, иронически раскланиваясь и разводя руками...

Через два дня я узнал, что Адамов внезапно заболел, ходит в полубреду и чрезвычайной испарине по комнатам и чувствует себя очень слабым. В первый день Пасхи я встретил в дверях министерства хмурого и озабоченного Боткина,[46] а на другой день получил письмо Адамова с просьбою вступить за него в управление департаментом... У него открылась острая Брайтова болезнь, — последствие бывшей в детстве скарлатины, и час его смерти наступал неминуемо и неотвратимо... Он пробил для него через три месяца, в далекой Баварии, в шарлатанском

заведении пресловутой Wunderfrau, которая была в страшном негодовании на то, что раздутое водянкою тело блестящего гофмейстера и богача перестало жить прежде, чем покинуло ее гостеприимный и целебный кров...

Совещание министров так и не состоялось. Я не знаю, созывали ли они по принадлежности своих «сведущих людей», в лице попечителей, губернаторов и жандармских штаб-офицеров, но только на мой вопрос: не составить ли краткий журнал *нашего* совещания, Пален махнул безнадежно рукою, сказав: «Ах! нет, до того ли теперь!» И, действительно, отношения к Турции принимали грозный оборот, и 12 апреля была объявлена ей война. Внутренние обстоятельства отошли на задний план, и началась кровавая трагедия, предпринятая будто бы с целью удовлетворить общественному мнению, на которое прежде не обращалось, однако, никакого внимания и выразителями которого теперь являлись полупьяные и свихнувшиеся с пути добровольцы и проникнутые воинственным азартом газеты, ко взглядам которых в прежние годы и по вопросам, близко касавшимся России, правительство, внимательное ныне, оставалось обыкновенно презрительно-глухо.

Эта же зима, с декабря 1876 г. по апрель 1877 г., ознаменовалась и особою агитациею в пользу употребления телесных наказаний против политических преступников. Мысль о возможности наказывать их розгами бродила еще с 1875 г. При вступлении моем в должность вице-директора Пален дал мне для прочтения записку, составленную, по его словам, Фришем, тогда еще обер-прокурором сената, об учрежде-

ний особых, специальных тюрем для политических преступников, где предполагалось подвергать мужчин в случаях дисциплинарных нарушений телесному наказанию до ста ударов по постановлению особого совета, состоявшего при каждой из таких тюрем. Пален, передавая мне эту записку впредь до востребования, уменьшил число ударов до шестидесяти* и зачеркнул слова «мужского пола». Это были, однако, лишь неопределенные и сравнительно робкие попытки ввести телесное наказание для уже приговоренных политических преступников и притом не за их преступления, а за дисциплинарные нарушения... Но в конце 1876 г. за эту мысль, освобожденную уже от всяких стеснительных условий, взялись совершенно беззастенчивые руки. Летом этого года я встретил вечером у баронессы Раден[47] статс-секретаря, князя Д. А. Оболенского,[48] типического барича, слегка будирующего правительство, вспоминающего о *своих друзьях* — Николае Милютине,[49] Черкасском,[50] Соловьеве[51] и т. п. и с большим интересом рассказывающего о кружке вел. кн. Елены Павловны,[52] в котором он был, повидимому, видным и уважаемым членом. При этом он с грустью говорил о том неудовольствии, которое он возбудил в государе, прямодушно раскритиковав годичный отчет министра народного просвещения графа Толстого, переданный на рассмотрение его как члена Государственного совета. В ламентациях его на свое положение слышалась тайная похоть к какому-либо министерскому портфелю; но в общем он производил впечатление довольно

* См. Приложение IV.

порядочного и очень интересного человека. Мы заболтались до поздней ночи и вышли вместе, продолжая разговор среди наступавшего рассвета. Мне не хотелось спать; разговаривая, мы пошли по Невскому и дошли до дома графини Протасовой, где он жил. Здесь он стал упрашивать меня зайти хоть на минуту, желая мне прочесть что-то, что «вылилось у него из души». Я вошел; заспанные и несколько удивленные лакеи подали вино, и он стал читать записку, которая начиналась пышным вступлением о мудрости Екатерины Великой и знании ею людей. Затем, после нескольких красиво округленных, но бессодержательных фраз, делался внезапный переход к политическому движению в России *и рекомендовалось подвергать политических преступников вместо уголовного взыскания телесному наказанию без различия пола...* Эта мера должна была, по мнению автора, отрезвить молодежь и показать ей, что на нее смотрят как на сборище школьников, но не серьезных деятелей, а стыд, сопряженный с сечением, должен был удерживать многих от участия в пропаганде. «Что вы скажете?» — спросил он меня, обращая ко мне красивое и довольное лицо типа хищной птицы с крючковатым носом... «Кому назначается эта записка?» — спросил я, приходя в себя от совершенной неожиданности всего, что пришлось выслушать. «Государю! Пусть он услышит голос своего верного слуги. Но я хочу знать ваше мнение, я вас так уважаю» и т. д.— «Вы или шутите, — отвечал я, — или совершенно не понимаете вашей молодежи, попавшей на революционную дорогу, если думаете испугать и остановить ее розгами. Опозорив прави-

тельство, возмутив против него массу порядочных людей, вы все-таки не достигнете цели. Политические преступники будут свивать себе мученические венцы из розог, будут указывать на свои истязания как на лучшее оправдание своей ненависти к правительству, и не только не станут скрывать своего сечения, но найдутся и такие, которые будут, à titre d'estime, вымышлять даже, что их секли. Вы вызовете яростное ожесточение в молодежи и глубокое негодование в людях, чуждых революционным тенденциям. Какой отец простит вам сечение своей взрослой дочери? Какой «сеченый» сочтет возможным стать впоследствии другом порядка, каким он легко и без позорного забвения своего унижения, может стать даже после годов каторги? Наказывайте подданного, когда он нарушает положительный закон, но не убивайте чувства собственного достоинства в человеке! И можно ли советовать такую меру государю, отменившему телесное наказание?! Нет, князь, вы выбрали плохое средство снять с себя неудовольствие государя...» Оболенский очень сконфузился, стал защищаться, доказывать, что это лишь проект, что ничего определенного он сам не решил, что мое мнение ему очень важно и т. д.

Уже взошло солнце, когда я вышел от этого милого господина, который, как оказалось, умел, сверх Государственного совета, забраться на теплое местечко председателя совета учетного и ссудного банка с 25 000 рублей жалованья «за представительство» и, готовя розги для девушек, которых полуголодная восприимчивость толкала на чтение и распространение запрещенных книжек, в то же время объяснял, что его

дочь, выходя замуж, будет иметь всего лишь 25 000 рублей доходу, восклицая с отчаянием: mais c'est presque la misère!..*

Вылившаяся из души Оболенского мысль потекла по петербургским салонам и кабинетам quasi-государственных людей, принимая в себя сочувственные ручейки. Чаще и чаще стали заговаривать о необходимости отнять у политических преступников право считать себя действительными преступниками, опасными для государства, а поставить их в положение провинившихся школьников, заслуживающих и школьных мер исправления: карцера и розги... Даже прекрасные уста наших великосветских дам не брезгали этим предметом... «Да, скажите, — говорила мне изящная и по-своему добрая графиня К., — скажите, почему же нельзя сечь девушек, если они занимаются пропагандой? Я этого не понимаю!» — «Если вы — милая, образованная женщина и мать семейства, мать подрастающих дочерей — не понимаете, почему нельзя сечь взрослых девушек, и спрашиваете это у меня, у мужчины, то я не могу вам этого объяснить... Представьте себе лишь, что вашу бы дочь, лет восемнадцати, высекли...» — «О! — отвечала мне моя собеседница с выраже-

* Князь Оболенский пошел дальше по пути предположений об уголовных реформах. В 1887 г., в Ясной Поляне наш великий писатель, гр. Л. Н. Толстой, рассказывал мне, что в начале 80-х годов он встретился по какому-то поводу с ним, и князь Оболенский серьезно ему доказывал, что для сокращения побегов важных преступников их следовало бы ослеплять и тем отнимать у них физическую возможность бежать... что было и дешево и целесообразно...

нием презрительной гордыни, — *мои* дочери в пропаганду не пойдут!»

Вскоре явились у князя Оболенского и конкуренты относительно предложения спасительного сечения. Особенно между ними выдвигался председатель с.-петербургского окружного суда Лопухин,[53] родственник Оболенского, человек несведущий и безнравственный, «хищник последней формации», о котором еще будет речь впереди. Он тоже носился с какой-то запиской, читал ее даже некоторым сослуживцам своим по суду и поднес ее графу Палену. В ней проект сечения был разработан по пунктам, и, помнится, оно должно было производиться без различия пола секомых «чрез полицейских служителей». Пален тоже начинал под влиянием всего этого что-то прорицать относительно сечения и на мои возражения, приведенные выше, ответствовал, обыкновенно, что «это все теории»...

Я удержал у себя прилагаемый к этой рукописи рапорт прокурора полтавского суда «об открытии лиц, принадлежащих к революционным партиям», на котором рукою Палена положена следующая резолюция: «Необходимо исходатайствовать закон, на основании которого училищному начальству предоставляется право подвергать телесному наказанию всякого студента или ученика, занимающегося пропагандою».[54]

Начавшаяся война положила предел этим проектам. Но они образовали свой осадок, всплывший в свое время на поверхность... К эпохе этих сладких мечтаний о розге относится очень характеристичный случай, рассказанный мне Верою Аггеевною Абаза. Оболенский опоздал на обед у члена Государственного совета

К. К. Гроте,[55] где был и один из вреднейших людей царствования Александра II, тормозивший всю законодательную деятельность, хитрый и умный российский Полоний — князь Сергей Николаевич Урусов,[56] председатель департамента законов и начальник II Отделения. Извиняясь, Оболенский объяснил свой поздний приезд пребыванием в суде, на процессе «50-ти», причем сказал: «Ну вот, на что это похоже? Девчонке какой-то, обвиняемой в пропаганде, председатель говорит: «Признаете ли вы себя виновною? что вы можете сказать по поводу показания этого свидетеля?» и т. д. А та рисуется и красуется!.. Эх, думал я... разложил бы я тебя, да всыпал бы тебе сто штук горячих, так ты бы иначе заговорила, матушка! Вся дурь прошла бы! Право! Поверьте, вышла бы из нее добрая мать семейства, хороший человек за себя замуж взял бы!»— Все потупились и молчали... «Извините меня, ваше сиятельство, — прервал молчание Урусов, низко, по обыкновению, кланяясь, — извините меня! *Я на сеченой не женюсь!*»

Утром 13 июля 1877 г. я был в Петергофе, где накануне обедал с И. И. Шамшиным[57] у Сольского, а затем ночевал у моего старого товарища Пассовера[58]. Я собирался уехать на десятичасовом пароходе, но в Нижнем саду было так заманчиво-хорошо, Пассовер был в таком ударе, его замечательный ум так играл и блистал, а день был воскресный, что я решился остаться до часа... Когда я вернулся домой, в здание министерства юстиции, мне сказали, что у меня два раза был Трепов, поджидал довольно подолгу

и, наконец, уехал, оставив записку: «Жду вас, ежели возможно, сегодня в пять часов откушать ко мне». Вслед затем пришел Фукс, несколько расстроенный, и рассказал мне, что Трепову не поклонился в доме предварительного заключения Боголюбов и был за то по приказанию Трепова высечен, что произвело чрезвычайный переполох в доме и крайнее возбуждение среди арестантов. То же подтвердил приехавший вслед за Фуксом товарищ прокурора Платонов,[59] заведывавший арестантскими помещениями. Он рассказал и все подробности. Оказалось, что Трепов, приехав часов в десять утра по какому-то поводу в дом предварительного заключения, встретил на дворе гуляющими Боголюбова и арестанта Кадьяна.[60] Они поклонились градоначальнику; Боголюбов объяснялся с ним; но когда, обходя двор вторично, они снова поровнялись с ним, Боголюбов не снял шапки. Чем-то взбешенный еще до этого, Трепов подскочил к нему и с криком: «шапку долой!» сбил ее у него с головы. Боголюбов оторопел, но арестанты, почти все политические, смотревшие на Трепова из окон, влезая для этого на клозеты, подняли крик, стали протестовать. Тогда рассвирепевший Трепов приказал высечь Боголюбова и уехал из дома предварительного заключения. Сечение было произведено не тотчас, а по прошествии трех часов, причем о приготовлениях к нему было оглашено по всему дому. Когда оно свершилось под руководством полицеймейстера Дворжицкого, то нервное возбуждение арестантов, и преимущественно женщин, дошло до крайнего предела. Они впадали в истерику, в столбняк, бросались в бессознательном состоянии на

окна и т. д. Внутреннее состояние дома предварительного заключения представляло, по словам Платонова, ужасающую картину. Требовалась помощь врача, можно было ожидать покушений на самоубийства и вместе с тем каких-либо коллективных беспорядков со стороны арестантов. Боголюбов, вынесший наказание безмолвно, был немедленно переведен в Литовский замок. Прокуратура, как видно было из рассказов Фукса и Платонова, ограничилась слабыми и недействительными протестами и, повидимому, потеряла голову...[61]

Все эти известия произвели на меня подавляющее впечатление. Я живо представлял себе этот отвратительный дом предварительного заключения, с его душными, лишенными света, камерами, в которых уже четыре года томились до двухсот человек политических арестантов, преимущественно по жихаревскому делу. Тоска одиночества сделала их изобретательными: они перестукивались и разговаривали в отверстия ватерклозетных ящиков, задыхаясь от испарений, чтобы иметь хоть какую-нибудь возможность сказать и услышать живое слово. Годы заключения сделали свое дело и разрушительно подействовали на организм большинства из них. Одиночество, неизвестность, томительность ожидания, четыре года почти без света и движения (первый год существования дома прогулки были организованы так, что на каждого заключенного приходилось не более десяти минут в месяц!), подавленные страсти в самый разгар их пробуждения, — все это, сопутствуемое цынгою, доводило арестантов до величайшего нервного раздражения и душевного возбуждения. Не даром, с начала жихаревского политического

дела в одиночных камерах русских тюрем насчитывалось 54 человека умерших, лишивших себя жизни или сошедших с ума политических арестантов. И тут-то, среди такого болезненно-чувствительного, нервно-расстроенного населения, разыгралась отвратительная сцена насилия,[62] ничем не оправдываемого и безусловно *воспрещаемого* законом.[63] Еще за месяц до этого сенат, по уголовному кассационному департаменту, разъяснил категорически, что телесному наказанию, за дисциплинарные нарушения, приговоренные к каторге подлежат лишь по прибытии на место отбытия наказания или в пути, при следовании этапным порядком.[64] Приговор же о Боголюбове еще не вошел в законную силу, ибо еще не был получен (особым присутствием) указ об оставлении его кассационной жалобы без последствий. Я пережил в этот печальный день тяжкие минуты, перечувствовал те ощущения отчаяния и бессильного негодования, которые должны были овладеть невольными свидетелями истязания Боголюбова при виде грубого надругательства силы и власти над беззащитным человеком, который, притом, будучи студентом, конечно, далеко уже ушел от взгляда «отчего и не посечь мужика»... Я ясно сознавал, что все это вызовет бесконечное ожесточение в молодежи, что сечение Боголюбова будет эксплоатироваться различными агитаторами в их целях с необыкновенным успехом и что в политических процессах с 13 июля начинает выступать на сцену новый ингредиент: между судом и политическими преступниками резко вторгается грубая рука административного произвола.

Глубоко огорченный всем этим, я пошел к Палену, которого застал в беседе с одним хитроумным Улиссом правоведческого мира — Голубевым.[65] «Какая тяжелая новость!» — сказал я ему. — «Да! и кто мог этого ожидать так скоро, — отвечал Пален, — как жаль, что все это случилось! Я очень, очень огорчен». — «Я не только огорчен, я просто возмущен, граф, и уверяю вас, что эта отвратительная расправа будет иметь самые тягостные последствия». — «Какая расправа? О чем вы говорите?» — изумленно спросил меня Пален. — «О происшествии в доме предварительного заключения». — «Ах, помилуйте, я совсем о другом! Наш достойнейший Владимир Степанович Адамов умер! Вот телеграмма его жены; какое несчастие!» — «Ну, это несчастие еще не большое и легко поправимое, но то, что произошло в доме предварительного заключения, действительно несчастие! — сказал я. — Разве вы не знаете, граф, что там наделал Трепов?» — Пален вспыхнул и запальчиво сказал мне: «Знаю и нахожу, что он поступил очень хорошо; он был у меня, советовался, и я ему разрешил высечь Боголюбова... надо этих мошенников *так!*» — и он сделал энергический жест рукою... Хитроумный Улисс поспешил удалиться от щекотливого разговора, в котором, пожалуй, пришлось бы высказать свое мнение... «Но, знаете ли, граф, что там происходит теперь?» И я рассказал ему все, что передал мне Платонов. «Ах! — продолжал горячиться Пален, размахивая сигарой, — ну, что же из этого? Надо послать пожарную трубу и обливать этих девок холодною водою, а если беспорядки будут продолжаться, то по всей этой

дряни надо стрелять! Надо положить конец всему этому... я не могу этого более терпеть, они мне надоели, эти мошенники!» — «Это не конец, а *начало*, — сказал я ему, теряя самообладание, — вы не знаете этих людей, вы их вовсе не понимаете, — и вы разрешили вещь совершенно противозаконную, которая будет иметь ужасные последствия; этот день не забудется арестантами дома предварительного заключения; c'est plus qu'un crime, c'est une faute, это не только ничем неоправдываемое насилие, это — политическая ошибка»... — «Ах! оставьте меня в покое, — вышел Пален из себя, — какое вам дело до этого? Это не касается департамента министерства юстиции; позвольте мне действовать как я хочу, и не подвергаться вашей критике; когда вы будете министром, действуйте, как знаете, а теперь министр — я и в советах не нуждаюсь...» — «Вы говорили мне не то, граф, когда настаивали на моем переходе в министерство юстиции из прокуратуры, и роль, которую вы мне предлагали, не была ролью пассивного свидетеля мер, против которых нельзя не возражать». — «Ах! вы так смотрите на вашу службу...» — пробормотал Пален. Наступило тяжелое молчание... Я передал ему некоторые спешные бумаги и вышел, взволнованный и возмущенный тупым озлоблением этого человека, который мнил себя руководителем правосудия и ухмылялся с видимым удовольствием, когда узнал, что по-польски он титулуется «minister sprawiedliwoscy...»

Целый день провел я в чрезвычайном удручении, и мысль выйти в отставку соблазняла меня не раз. Но что было бы этим достигнуто? Со смертью благородного Эссена,[66] твердого и

умелого товарища министра, в министерстве юстиции не было никого, кто составлял хотя бы некоторый противовес Палену в его сумасбродных выходках и мнениях. Преемник Эссена, Фриш, ставил своею задачею лишь приискивать и придавать законную форму этим мнениям, упорно уклоняясь от всяких разногласий со своим патроном. Все остальное по своему положению не могло иметь влияния, и хотя законодательным отделением и управлял вполне честный и добрый Андрей Александрович Бенкендорф,[67] но я не имел уверенности, что проведу его в виде-директора на свое место. Уйти теперь — значило разнуздать совершенно прокуроров палат относительно применения закона 19 мая и оставить массу вопросов первостепенной важности на жертву бездушной канцелярской формалистики, представители которой стали бы праздновать победу. Я решился ждать, пока хватит терпения...

Три дня я не ходил с бумагами к Палену, посылая их ему при кратких записках. Он возвращал мне их довольно медленно, но с согласием на мои предположения. Секретарь министерства передавал мне, что министр после столкновения со мною был тоже расстроен, на другой день сказался нездоровым и вообще был не в духе... Когда мы увиделись и вели объяснения на чисто формальной почве, он сказал мне: «Я прошу вас продолжать исправлять должность директора... я хочу остановиться с назначением преемника Адамову», давая тем понять, что он признает невозможным назначение меня директором, несмотря на мое несомненное на то право. Меня это только порадо-

вало, избавляя от неприятных объяснений при отказе от должности, которая приковала бы меня надолго к ненавистному департаменту. Но в самом департаменте то, что я не был назначен директором, произвело большую сенсацию, и вокруг меня началось то неуловимое чиновничье «играй назад», которое испытывал всякий бюрократ, впавший в немилость. Вообще с рокового дня 13 июля давно уже натянутые отношения между мною и Паленом обострились окончательно. Он только терпел меня, тяготясь мною и, видимо, все более и более склоняясь на сторону нелюбимых им когда-то правоведов, с их покладистым миросозерцанием и исполнительностью. Еще в мае того же года, в виду предстоящего увеличения состава кассационных департаментов, он предлагал мне место прокурора харьковской палаты. Не желая принимать эту искаженную законом 19 мая должность и покидать мою скромную кафедру в Училище правоведения, я отказался, но заявил, что с удовольствием принял бы место председателя с.-петербургского окружного суда. Теперь и я, и он, повидимому, нетерпеливо ждали скорейшего окончания реформы в сенате, которая избавила бы его от моего, как он говорил, «постоянного противодействия», а мне раскрыла бы снова потерянный рай любимой судебной деятельности...

14 июля днем ко мне приехал Трепов, *узнать, отчего я не хотел у него обедать накануне.* Я откровенно сказал ему, что был и возмущен и расстроен его действиями в доме предварительного заключения, и горячо объяснил ему всю их незаконность и жестокость не только относительно Боголюбова, но и относительно всех содержа-

щихся в доме предварительного заключения, измученных нравственно и физически долгим и томительным содержанием, которое и сам он не раз признавал таковым, собираясь даже жаловаться государю на переполнение тюрьмы политическими арестантами. Трепов не стал защищаться, но принялся уверять меня, что он сам сомневался в законности своих действий и поэтому не тотчас велел высечь Боголюбова, который ему будто бы *нагрубил*, а поехал посоветоваться к управляющему министерством внутренних дел, князю Лобанову-Ростовскому,[68] но не застал его дома. От Лобанова он отправился к начальнику III Отделения Шульцу, который, лукаво умывая руки, объявил ему, что это—вопрос юридический, и направил его к графу Палену. До посещения Палена он заходил ко мне, ждал меня, чтобы посоветоваться как со старым прокурором, и, не дождавшись, нашел в Палене человека, принявшего его решение высечь Боголюбова с восторгом, как проявление энергической власти, и сказавшего ему, что он не только не считает это неправильным, но разрешает ему это как министр юстиции... Несколько смущенный этою не совсем ожиданною поддержкою Палена и, быть может, желая услышать совершенно противоположное, чтобы с честью выйти на законном основании из ложного положения, он, Трепов, снова зашел ко мне, но меня не было... Медлить долее было неудобно, надо было выполнить то, что он пообещал в доме предварительного заключения, и полицеймейстеру Дворжицкому было поручено «распорядиться». «Клянусь вам, Анатолий Федорович,—сказал Трепов, вскакивая с кресла и крестясь на образ,—кля-

пусь вам вот этим, что если бы Пален сказал мне половину того, что говорите вы теперь, я бы призадумался, я бы приостановился, я бы иначе взыскал с Боголюбова... Но, помилуйте, когда министр юстиции не только советует, но почти просит, могу ли я сомневаться? Я — солдат, я — человек не ученый, юридических тонкостей не понимаю! Эх, зачем вас вчера не было?! Ну, да ничего, — прибавил он затем, — теперь там уже все спокойно, а им на будущее время острастка... Боголюбова я перевел в Литовский замок. Он здоров и спокоен. Я ничего против него не имею, но нужен был пример. Я ему послал чаю и сахару. А в доме предварительного заключения теперь все успокоились. И когда это окончится, это проклятое жихаревское дело?! Да, трудное наше положение. Я так и государю скажу, когда он приедет... Я ведь — солдат, я юридических тонкостей не понимаю. Я спрашивал совета у министра юстиции. Он разрешил! Если что неправильно — это его вина. Вы ведь знаете: когда мне объяснят, что «закон гласит», я всегда послушаюсь, так вы на меня не сердитесь!.. Ведь мое положение трудное, надо столицу охранять... они все на войне, а я тут сиди да соблюдай порядок, когда все распущено! И зачем они эту войну затеяли?» и т. д. И Трепов удалился, тоже, повидимому, чувствуя себя не по себе... Я не знаю, пил ли Боголюбов треповский чай и действительно ли он — студент университета — чувствовал себя хорошо после треповских розог, но достоверно то, что через два года он умер в госпитале центральной тюрьмы в Ново-Белгороде, в состоянии мрачного помешательства.[69]

История в доме предварительного заключения не осталась безгласной. В «Новом времени», в № 502, она была рассказана довольно подробно и перепечатана в других газетах. Но в это время она прошла довольно незаметно. Только что произошли две несчастные «Плевны», и общество, устремив жадные и испуганные взоры за Дунай, мало интересовалось своими внутренними делами. Иное значение, как оказалось впоследствии, имела эта история в среде революционной партии. Не с процесса Засулич, как думали близорукие и тупоумные политики, а с сечения Боголюбова надо считать начало возникновения террористической доктрины среди нашей «нелегальной» молодежи. С этого момента идея «борьбы» затемняется идеею «мщения», и оскорбляемая уже не одним произволом, но доведенная до отчаяния прямым и грубым насилием, эта молодежь пишет на своем знамени «око за око»... Видимое спокойствие, водворившееся в доме предварительного заключения после 13 июля, было, как оказалось впоследствии, лишь покровом для самых возмутительных насилий со стороны рассвирепевшего местного начальства. 19 июля я получил от Е. А. Гернгросс[70] — доброй и сострадательной женщины — письмо на ее имя от старушки Волховской, матери политического арестанта.[71] Письмо это было написано «слезами и кровью».

«Простите великодушно смелость,—писала она, что, не имея чести знать вас лично, но только слыша об вас постоянно, как об человеке, во всякое время готовом притти на помощь ближнего; смелость эту дало мне отчаяние, переполняющее мою скорбную душу. Вчера я имела сви-

дание с сыном, находящимся в доме предварительного заключения, и нашла его в ужасном положении как физически, так и нравственно. Его, человека измученного трехлетним одиночным заключением, человека больного, с окончательно расстроенными нервами, страдавшего всю зиму невралгией, оглохшего совершенно, его били городовые! Били по голове, по лицу, били так, как только может бить здоровый, но бессмысленный, дикий человек в угоду и по приказу своего начальника,—человека, отданного их произволу, беззащитного и больного узника. Потом они втолкнули его в какой-то темный карцер, где он пролежал обеспамятевший до тех пор, пока кому-то, из сострадания или страха, чтобы он там не умер, угодно было освободить его. Все эти побои производились городовыми в присутствии полицейского офицера, состоящего помощником начальника тюрьмы, и когда мой сын обратился к нему с вопросом, за что и почему его так жестоко оскорбляют, и просил его обратить внимание на то, что он никакого сопротивления не делает, что готов итти добровольно, куда желают, тот только махнул рукой, и они продолжали свое жестокое, бесчеловечное дело до тех пор, пока его не заперли в карцер. Каково его нравственное состояние, я не берусь, да и не сумею описать вам. Состояние же моей истерзанной души вы, как мать, как женщина с сердцем, вы поймете легко и простите, что я обращаюсь к вам, прошу вас, умоляю вас всем, что для вас свято и дорого, научите меня, куда и к кому мне прибегнуть, у кого искать защиты от такого насилия, насилия страшного, потому что оно совершается людьми, стоя-

щими высоко и до сего дня стоявшими и во мнении всего общества так же высоко. Молчать я не могу, видя, как хладнокровно точат нашу кровь! Я пойду всюду, куда бы вы мне ни указали! Прежде я, да и все мы надеялись, что дети наши окружены людьми, что начальство — люди развитые и образованные, но вот те, которые поставлены выше других, выше многих, не постыдились поднять руку на безоружных, связанных по рукам и ногам, людей, не задумались втоптать в грязь человеческое достоинство! Где же гарантия? Нам говорят, что осужденный не есть человек, он — ничто; но ведь мой сын еще не осужден, он еще может быть и оправдан! Но мне кажется, что для *человека* и осужденный все остается человеком, хоть он и лишен *гражданских* прав. А мы удивляемся туркам. Чем же мы счастливее тех несчастных, на помощь которым так охотно идет наш народ, идем мы все и во главе народа вся царская семья? И в то же время наших детей в отечественных тюрьмах замучивают пытками, забивают посредством наемных людей, сажают в нетопленые карцеры без окон, без воздуха и дают глотками воду, да и то изредка! Много бы еще сказала я вам, но сил душевных недостает вспоминать все эти ужасы. Скажите, такими ли способами успокаивают молодые, горячие головы? С истинным почтением и полным уважением к вам, ваше превосходительство, остаюсь Екатерина Волховская. 17 июля 1877 г.»

Письмо говорило само за себя, и я послал его Платонову, прося разъяснить мне, в виду его сообщений, что в доме предварительного заключения все успокоилось и вошло в свою колею.

«Письмо г-жи Волховской,—отвечал он мне,—содержит в себе, к нашему величайшему стыду, сущую правду». Далее в письме указывалось, что смотритель даже на требование его, Платонова, не хотел освободить Волховского из карцера, и что вообще факт с ним—лишь один из многих в том же роде, о которых будет сказано в особом представлении по начальству. 29 июля вследствие этого представления к Палену поступил рапорт Фукса, где содержались указания на самые вопиющие злоупотребления и прямые злодейства начальства дома предварительного заключения. Оказалось, что, ободренное сечением Боголюбова, оно устроило повальную расправу с политическими арестантами. Их сажали огулом в карцер, не обращая внимания на правого и виноватого в произведенном 13 июля шуме, и держали там по нескольку дней. При этом многих из них били, били жестоко и с разными ухищрениями, надевая, например, на голову мешки, чтобы заглушить крик. Из карцеров по целым дням не выносились нечистоты и для наиболее неугодных начальству арестантов был даже устроен особый тесный и темный карцер, рядом с *паровою топкою*, нагревающею все здание, вследствие чего температура в карцере становилась при отсутствии всякой вентиляции невыносимою. Посаженным в этот карцер не ставили воды, а изредка лишь давали «отпивать». Товарищ прокурора, посетивший эти карцеры, *дважды впадал в дурноту от удушающего воздуха и смрада* «параши» и продуктов разложения, в которых завелись черви.[72] Фукс взывал о вмешательстве Палена, ссылаясь на то, что начальство дома предварительного заключения не слушается про-

куратуры, а жалобы на него градоначальнику и в комитет для высшего заведывания домом остаются без последствий. И, действительно, председатель этого комитета, князь Лобанов-Ростовский, недовольный назначением в комитет своего личного врага — Трепова, не собирал членов в заседание, и сообщения прокурора палаты клались вследствие этого под сукно. Пален, очевидно, сознавая, что он связал себя данным Трепову разрешением сечь Боголюбова, ограничился лишь препровождением рапорта градоначальнику по 1085 ст.,[73] а тот ограничился лишь сменою смотрителя Курнеева с зачислением в штат полиции.

Я прилагаю к настоящей записке в копии рапорт Фукса.* Быть может, этот документ когда-нибудь в руках спокойного историка внутренних политических смут, которые так взволновали нашу жизнь за последние годы, послужит ценным указанием на то, где надо искать начало тому жестокосердному отчаянию, которого мы были затем свидетелями. «Кто сеет ветер — пожнет бурю»,— гласит св. писание, и этот рапорт, при всей своей официальной сухости, наглядно рисует нам, *как и когда* сеялся тот ветер, из которого выросла кровавая буря последующих лет...

Осень 1877 г. застала общество в самом удрученном состоянии. Хвастливые надежды, возлагавшиеся на нашу боевую силу, заставлявшие даже в «высоких сапогах» видеть сильно действующее на турок средство и признавать военный гений даже в вел. князе Николае Николаевиче-старшем, не осуществились.

* См. приложение V.

Три «Плевны», одна неудачнее другой, нагромоздившие целые гекатомбы безответственных русских солдат (этой, по циничному выражению генерала Драгомирова,[74] «серой скотины»), доказывая, что у нас нет ни плана, ни единства действий и что победа вовсе не связана с днем высочайшего тезоименитства, — были у всех на глазах, наболели у всех на сердце... Самодовольная уверенность в несомненном поражении «врагов святого креста» сменилась страхом за исход войны, и все начали невольно прислушиваться к злорадным предсказаниям западной прессы... Наступали всеобщее уныние и тревога. Политический кредит России за границей падал, а во внутренней ее жизни все замолкло, как будто всякая общественная деятельность прекратилась. Но в этой тишине министерство юстиции торопливо ставило на подмостки судебной сцены громадный политический процесс по жихаревскому делу. Обвинительный акт, над составлением которого товарищ обер-прокурора Желеховский трудился ровно год, был, наконец, вручен обвиняемым.

В октябре предстояло разбирательство этого процесса, умышленно раздутого «спасителями отечества» до чудовищных размеров, причем должна была развернуться искусственно созданная картина такого внутреннего разложения России, которое заранее, в глазах недоброжелательной Европы, обрекало на четвертую «Плевну» и на ряд поражений эту будто бы обуреваемую анархическими движениями бессильную внутри и бестолковую извне страну. Было очевидно, что время для ведения процесса избрано самое неудобное. Это понял вел. князь Константин

Николаевич.[75] В 20-х числах сентября он пригласил к себе Фриша и доказывал ему совершенную неуместность большого политического дела в разгар внешних затруднений и поражений России. Он хотел прекращения этого дела и просил Фриша обдумать этот вопрос. Вернувшись от вел. князя Константина Николаевича, Фриш пригласил меня и Желеховского[76] на совещание вечером к себе на квартиру. Я приветствовал мысль вел. князя и, разделяя ее вполне, доказывал, что прекращение дела мотивированным указом, данным сенату, произвело бы превосходное впечатление на общество, было бы делом справедливым и человеколюбивым и, вероятно даже, привлекло бы многих из обвиняемых в действующую армию в качестве сестер милосердия и санитаров. Желеховский — воплощенная желчь — бледнея от прилива злобы, настаивал на продолжении дела, играя на общественной безопасности и достоинстве государства. Узкий, мало образованный и несчастный в семейной жизни правовед, он давно составил себе славу ярого (и, повидимому, искреннего) обвинителя. Еще в 1867 г. он отличился при обвинении Рыбаковской (Биби-Ханум-Омар-Бековой) в убийстве любовника, причем одним из доказательств ее безнравственности приводил то, что она забеременела, уже находясь в тюрьме, чем и вызвал напоминание Арсеньева, что тюрьмы и поведение в них арестантов находятся под надзором прокуратуры. В бытность мою прокурором в С.-Петербурге он пришел ко мне однажды, печалясь, что *проиграл дело*, утешая себя тем, однако, что он, все-таки «*вымазал подсудимому всю морду сапогом*». В это же время я должен был удалить

его от надзора за арестантскими помещениями, так как своею придирчивостью и бездушием он приводил арестантов в ожесточение, грозившее опасными последствиями... Узнав о предположениях вел. князя, он чувствовал, что почти двести человек, над которыми можно будет всячески изощряться, строя на их несчастии свой твердый облик «защитника порядка», ускользают из рук, и, горячо иронизируя и инсинуируя против моей «гуманности», ратовал за непрекращение дела. Фриш не высказывался, но в конце объявив, что разрешение этого вопроса надо предоставить графу Палену, отпустил Железновского. Мы продолжали о том же, и, в конце концов, Фриш, повидимому, согласился с моими доводами и просил меня поехать к Палену в его митавское имение и лично переговорить с ним. На другой день я уехал, увозя с собою письмо Фриша и радуясь, что на этот раз мы оба — я словесно, а он письменно — будем убеждать Палена в одном и том же. На станции Ауц, Рига-Митавской железной дороги, меня встретил экипаж и доставил в имение Палена Гросс-Ауц. Встревоженный моим приездом, Пален встретил меня на крыльце великолепного дома, расположенного на берегу топкого и глинистого озера. Два дня, проведенные мною в Гросс-Ауце, были наполнены разговорами о предмете моей миссии. Пален колебался, неистовствовал против «мошенников», сердился на Константина — «и зачем он вмешивается!» — соглашался со мною в отдельных посылках, но спорил против вывода и по вечерам впадал в сонливое состояние, из которого по временам выходил с испуганными возгласами. В нем, очевидно, происходила внутренняя

борьба. На второй день графиня Пален (наивно удивлявшаяся описанию домашнего быта тургеневских «Фимочки и Фомочки» — «разве он это все видел?..» — но отлично умевшая вести свои домашние и придворные дела и имевшая огромное влияние на мужа) пригласила меня гулять и стала горячо оспаривать мои доводы за предположение Константина. Она видела в нем интригу против мужа и не хотела понять простых и практических побуждений, руководивших Константином. Особенно ее возмущало то, что *они* останутся без наказания. Она говорила с глубочайшим презрением о привлеченных к жихаревскому делу, подозревала всех прикосновенных к нему девушек в грубейшем разврате, и ее прекрасное лицо искажалось недобрым чувством. Все это было дурным признаком. Вечером Пален, уклоняясь от дальнейшей беседы об этом деле, объявил, что еще ничего не решил и что желает лично объясниться с Константином. На рассвете мы выехали с большою остзейскою помещичьею помпою. Нам обоим не спалось, мы уселись в салон директорского вагона, отданного «под министра», и при унылом свете начинающегося серого и сырого сентябрьского дня я повел против Палена последнюю атаку, всеми силами стараясь склонить его к соглашению с Константином Николаевичем, пробуя затронуть в нем струны отца семейства и проектируя в подробной форме самое содержание указа сенату. Он должен был начинаться признанием преступного характера действий привлеченных. Эта преступность и вынудила простреть над ними карающую десницу закона. Но возникшая война дала возможность молодому поколению

ознаменовать себя подвигом беззаветной храбрости на поле брани и самоотверженною деятельностью у одра больных и умирающих. Русское молодое поколение показало себя достойным любви и доверия своего монарха, и, желая явить доказательство таковых, он во имя честных и доблестных слуг отечества, отдавших на служение ему свою молодую жизнь, не отвращает лица своего от заблудших и дает им свое отеческое прощение, призывая их на законный путь служения родине, ныне подъявшей на себя трудный и высокий подвиг... Этот указ, — говорил я, — обезоружит большинство этой раздраженной преследованием молодежи и, что главное, примирит с правительством массу семейств, ныне оплакивающих своих исторгнутых членов. Это будет акт высокой политической мудрости. Наоборот, представьте себе, граф, положение правительства в случае нового постыдного поражения на Дунае! И без того все теперь уже негодуют и исполнены упреков. Какой удобный повод говорить: вот правительство, безумное в предприятиях и бездарное в их осуществлении, которое только и способно, что на постыдную подъяческую войну с нашими детьми за то, в сущности, что они с увлечением, свойственным молодости, указывали на его негодность, ныне столь блистательно доказанную. И неужели можно думать, что уголовный приговор над двумя стами молодых людей, подписанный, быть может, одновременно с условиями бесславного мира, послужит к чести и к укреплению правительства? Да если мы и победим, в чем, как видно, сомневается даже вел. князь Константин, то и тогда не будет ли такой приговор диссонансом?

Нет, граф, не упорное преследование после четырех лет страданий за идеи, за книжки, за кружки, а прощение... прощение и примирение!.. Даже спокойный и холодный ум Фриша склоняется к прекращению, и я чрезвычайно рад, что на этот раз имею его своим союзником. «Вы думаете?— спросил Пален, казалось, поддавшийся моим убеждениям.— Вы думаете? Ну, вы ошибаетесь! Эдуард Васильевич пишет мне именно, что, по его мнению, этого дела никак прекращать нельзя...» Разговор наш продолжался еще очень долго; Пален со свойственною ему логикою доказывал мне, что, уговаривая его согласиться на прекращение, я хочу конституции для России, но что теперь еще не время и т. д. Но, во всяком случае, он прибыл в Петербург, не совершенно отвергая мысль о прекращении. Задавленная опасением за прочность своего служебного положения и всевозможными придворно-бюрократическими наслоениями, природная доброта его начинала пробиваться наружу и при благоприятных условиях могла бы парализовать противоположные внушения... Константин принял Палена надменно, заставил долго прождать в биллиардной среди представлявшихся лиц и стал ему «импонировать». Пален обиделся, увидел в этом покушение на свою самостоятельность и достоинство и решительно отказался прекратить дело... Константин не стал настаивать и махнул рукой... Железховский торжествовал и в зале 1-го отделения с.-петербургского окружного суда начались переделки и приспособления ее для двухсот подсудимых...

ОТДЕЛ ВТОРОЙ

В октябре 1877 г. открылись заседания особого присутствия под председательством сенатора Петерса[77] и продолжались почти до Рождества 1877 г. При открытии заседаний в «Правительственном вестнике» было напечатано сообщение с кратким обзором имеющего слушаться дела и с обещанием печатать *подробный* отчет о всем происходящем в заседании.[78] Обвинительный акт занял много номеров «Правительственного вестника», но затем, вопреки обещанию, известия о судебном следствии стали передаваться в совершенно бессмысленном по своей краткости виде, в следующем роде: «В заседании 20 октября допрошены свидетели: Иванов, Петров и Сидоров; выслушано заявление прокурора о применении 620 ст. Уст. угол. суд.[79] и объяснения защиты, а затем допрошены эксперты Кузьмин и Григорьев» Газетам было запрещено печатать свои собственные стенограммы, а разрешено перепечатывать из «Правительственного вестника» его лаконические известия, составлявшие насмешку над гласностью судебного производства. Это недостойное уважающего себя правительства явное неисполнение печатно дан-

ного обещания, было вызвано, но, конечно, не оправдано, проявлением крайнего раздражения подсудимых, которое выражалось в самых неприятных и даже отталкивающих сценах. Тут говорились дерзости суду; явно высказывалось по адресу сенаторов, что их считают холопами и не верят в возможность беспристрастия с их стороны; между подсудимыми и свидетелями происходили пререкания самого резкого свойства и однажды даже дошло до драки между подсудимыми и полицией, причем в публике, пускаемой по билетам, которые тотчас же были подделаны, поднялась суматоха, а один из защитников лишился чувств. Места за судьями вечно были полны сановных зевак; в залах суда были во множестве расставлены жандармы, и ворота здания судебных установлений, как двери храма Януса, заперты накрепко, будто самый суд находился в осаде. О том, что происходило в суде, распространялись по городу самые неправдоподобные, но тем не менее возбуждающего характера слухи с партийной окраской. Некоторые сановные негодяи распространяли, например, слухи, будто бы исходившие от очевидцев, что подсудимые, стесненные на своих скамьях и пользуясь полумраком судебной залы, совершают во время следствия половые сонтия; с другой стороны, рассказывали, что подсудимые будто бы заявляют об истязаниях и пытках, которым их подвергают в тюрьме, но что жалобы их остаются «гласом вопиющего в пустыне» и т. п. Молчание газет и лаконизм «Правительственного вестника» давали простор подобным слухам, которые в болезненно-возбужденном обществе расходились с необыкновенною быстро-

той и всевозможными вариантами. Во всем чувствовалось, что потеряно равновесие, что болезненное озлобление подсудимых и известной части общества, близкой им, дошло до крайности. Искусственно собранные воедино, подсудимые, истощенные физически и распаленные нравственно, устроили, уже на суде, между собою нечто в роде круговой поруки и с увлечением выражали свое сочувствие тем из своей среды, кто высказывался наиболее круто и радикально. Взятые в одиночку, разбросанные и по большей части незнакомые между собою, набранные со всей России, они не представляли собою ничего опасного и, отделавшись в свое время разумно-умеренным наказанием, давно бы в большинстве обратились к обычным занятиям. Но тут, соединенные вместе, они представляли целую политическую партию, опасную в их собственных глазах для государства. Мысль о принадлежности к такой партии открытых бордов против правительства отуманивала их и бросалась им в юную, воспаленную голову. Место неопределенной и скорее теоретической, чем практической, вражды к правительству занимал открытый бой с этим правительством — на глазах товарищей, пред лицом суда, в присутствии публики... Обвинительная речь Желеховского, длинная и бесцветная, [80] поразила всех совершенно бестактною неожиданностью. Так как почти против ста подсудимых не оказывалось никаких прочных улик, то этот *судебный наездник* вдруг в своей речи объявил, что отказывается от их обвинения, так как они были-де привлечены лишь для составления *фона* в картине обвинения остальных. За право быть этим «фоном»

они, однако, заплатили годами заключения и разбитою житейскою дорогою! Такая беззастенчивость обвинения вызвала разнообразный отпор со стороны защиты и подсудимых и подлила лишь масла в огонь. *Защитительные* речи обратились в большинстве в *обвинительные* против действий Жихарева и аггелов его, а последние слова подсудимых оказывались проникнутыми или презрительною иронией по отношению к суду, или же пламенным изложением не защиты, а излюбленных теорий. Между прочим, будущий герой засуличевского процесса — Александров[81] — погрозил Желеховскому потомством, которое прибьет его имя к позорному столбу гвоздем... «и гвоздем острым!..» — прибавил он. Наконец, процесс был окончен. Общество с изумлением узнало, что из 193 привлеченных осужденных оказывается лишь 64 человека, что остальные от суда освобождены, т. е. понесли досудебное наказание — и наказание тяжелое — задаром, и что даже за двадцать семь из приговоренных сенат ходатайствует перед государем о милосердии.[82]

Негодование в образованных кружках было единодушное; повсюду ходили по рукам стихи Боровиковского, воспевавшего страдания недавних подсудимых и бичевавшего суд и общество поддельным по чувству, но звучным по форме стихом,[83] и повсюду начались, под разными вымышленными предлогами, сборы денег в пользу осужденных и оправданных, для доставления им средств уехать на родину...

Так наступил 1879 год...

24 января я вступил в должность председателя окружного суда. Для меня как будто на-

чиналась после ряда беспокойных годов деятельность, чуждая неожиданных тревог, заранее определенная и ясная. Нервное возбуждение и хлопотливость прокурорских занятий и бесплодно протестующая, опутанная канцелярской паутиной, роль «советника при графе Палене» оставались позади. Открывался широкий горизонт благодарного судейского труда, который в связи с кафедрой в Училище правоведения мог наполнить всю жизнь, давая, наконец, в виду совершенной определенности положения несменяемого судьи, возможность впервые подумать и о личном счастии...

В день вступления в должность я принимал чинов канцелярии, судебных приставов и нотариусов и должен был в виду распущенности, допущенной моим предместником Лопухиным, вовсе не занимавшимся внутренними распорядками суда, решительно высказать собравшимся мой взгляд на отношение их к суду и к публике. Когда вся эта церемония была окончена, собравшиеся у меня в кабинете члены суда принесли весть, что какая-то девушка стреляла в это утро в градоначальника и его, как водится говорить в подобных рассказах под первым впечатлением, смертельно ранила...

Окончив неотложные занятия по суду, я поехал к Трепову, который незадолго пред тем переселился в новый дом против Адмиралтейства. Я нашел у него в приемной массу чиновного и военного народа, разных сановников и полицейских врачей. Старику только что произвели опыт извлечения пули, но опыт неудачный, так как, несмотря на повторение его затем, пуля осталась неизвлеченною, что давало

Салтыкову-Щедрину, жившему впоследствии на одной с ним лестнице, повод ругаться, говоря, что при встречах с Треповым он боится, что тот в него «выстрелит». Старик был слаб, но в виду его железной натуры опасности не предвиделось. Тут же, в приемной, за длинным столом, против следователя Кабата и начальника сыскной полиции Путилина,[84] сидела девушка среднего роста, с продолговатым бледным, нездоровым лицом и гладко зачесанными волосами. Она нервно пожимала плечами, на которых неловко сидел длинный серый бурнус, с фестонами внизу по борту, и, не смотря прямо пред собою, даже когда к ней обращались с вопросами, поднимала свои светло-серые глаза вверх, точно во что-то всматриваясь на потолке. Этот взор, возведенный «горе» из-под нахмуренных бровей, сжатые тонкие губы над острым, выдающимся подбородком и вся повадка девушки носили на себе отпечаток решимости и, быть может, некоторой восторженной *рисовки*... Это была, именовавшая себя Козловою, подавшая прошение Трепову и выстрелившая в него в упор из револьвера-бульдога. Она заявляла, что решилась отомстить за незнакомого ей Боголюбова, о поругании которого узнала из газет и рассказов знакомых, и отказывалась от дальнейших объяснений. Это была *Вера Засулич*...[85] В толпе, теснившейся вокруг и смотревшей на нее, покуда *только* с любопытством, был и Пален в сопровождении Лопухина, с половины декабря назначенного прокурором палаты и уже успевшего в здании судебных установлений устроить себе казенную квартиру и даже завести казенных лошадей на счет сокра-

щения служительских квартир и курьерских лошадей... Когда я подошел к ним, Пален сказал: «Да! Анатолий Федорович проведет нам это дело прекрасно». — «Разве оно уже настолько выяснилось?» — «О, да! — ответил за Палена Лопухин, — вполне; это дело личной мести, и присяжные ее обвинят, как пить дадут». К удивлению моему, и Пален что-то несвязно стал пророчать о том, что присяжные себя покажут, что они должны отнестись строго и т. д. Уходя, я заметил суматоху и волнение в передней: по лестнице шел государь навестить Трепова, останавливаясь почти на каждой ступеньке и тяжело дыша, с выражением затаенного страдания на лице, которому он старался придать грозный вид, несколько выпучивая глаза, лишенные всякого выражения... Рассказывали, что Трепов, страдавший от раны, исход которой еще не был вполне выяснен и мог грозить смертью, продолжал все-таки «гнать свою линию» и сказал на слова участия государя: «Эта пуля, быть может, назначалась вам, ваше величество, и я счастлив, что принял ее за вас», — что очень не понравилось государю, который больше у него не был и вообще стал к нему заметно холодеть, чему, быть может, способствовали и преувеличенные слухи о чрезвычайном состоянии, которое должно будет остаться после раненого градоначальника.

«Что следствие? — спросил я дня через три Лопухина. — Нет признаков политического преступления?» — «Нет, — утвердительно отвечал Лопухин, — это дело простое и пойдет с присяжными, которым предстоит случай отличиться...» Между тем, у него уже была не приобщенная к следствию телеграмма прокурора одес-

ской палаты, полученная еще 25 января, о том, что, по агентурным сведениям прокурора, «преступницу», стрелявшую в Трепова, зовут Усулич, а не Козловой, из чего оказывалось, что одесским революционным кружкам уже заранее было известно, *кто должен* совершить покушение на Трепова. Эта телеграмма была Лопухиным скрыта от следователя, так как Козлова уже объявила свое настоящее имя. Никакого исследования связи «Усулич» с одесскими кружками, в то время вообще начинавшими проявлять весьма активную деятельность, не было произведено. Точно так же о прошлом Засулич, переплетенном почти десятилетним участием в тайных сообществах, к следствию не было приобщено никаких сведений, и даже я лично услышал о нем впервые лишь на суде, а о телеграмме узнал лишь после суда. В тупой голове Палена и в легкомысленном мозгу образцового ташкентца, стоявшего во главе петербургской прокуратуры, образовалась idée fixe — вести это дело судом присяжных для того, чтобы дать ему отличиться. Всякий намек на мотивы Засулич устранялся avec un parti pris и с настойчивостью, просто странною со стороны министерства, которое еще недавно раздувало политические дела по ничтожнейшим поводам. Я думаю, что Пален первоначально был искренно убежден в том, что тут нет политической окраски, и в этом смысле говорил с государем, но что потом, связанный этим разговором и, быть может, обманываемый Лопухиным, он уже затруднялся дать делу другое направление... Какие цели были у Лопухина — мне не ясно и до сих пор, если только здесь были цели, а не простое легкомыслие и

упорство в раз высказанном необдуманном взгляде на дело. Во всяком случае, из следствия было тщательно вытравлено все, имевшее какой-либо политический оттенок, и даже к отысканию несомненной сообщницы Засулич, купившей для нее револьвер, не было принято никаких серьезных мер... [86] Лопухин кричал всюду, что министр юстиции столь уверен в суде присяжных, что смело передает ему *такое* дело, хотя мог бы изъять его путем особого высочайшего повеления. [87] Таким образом, неразумно и с легковесною поспешностью подготовлялся процесс, который должен был иметь во многих отношениях роковое значение для дальнейшего развития судебных учреждений.

Поступок Засулич произвел большое впечатление в обществе. Большинство, не любившее Трепова и обвинявшее его в подкупности, в насилиях над городским самоуправлением посредством высочайших повелений, возлагавших на город неожиданные тяготы, радовалось постигшему его несчастью. «Поделом досталось!» — говорили одни... «старому вору»,— прибавляли другие. Даже между чинами полиции, якобы преданными Трепову, было затаенное злорадство против «Федьки», как они звали его между собою. Вообще, сочувствия к потерпевшему не было, и даже его седины не вызывали особого сожаления к страданиям. [88] Главный недостаток его энергической деятельности в качестве градоначальника — отсутствие нравственной подкладки в действиях — выступал пред общими взорами с яркостью, затемнявшею несомненные достоинства этой деятельности, и имя Трепова не вызывало в эти дни ничего, кроме

жестокого безучастия и совершенно бессердечного любопытства. Да и впоследствии по отношению к нему общее мнение мало изменилось, хотя между его преемниками — злобно-бездарным Зуровым, глупым Федоровым, трагикомическим шарлатаном Барановым и развратным солдафоном Козловым — и им была целая пропасть в смысле ума, таланта и понимания своих задач.

Отношение к обвиняемой было двоякое. В высших сферах, где всегда несколько гнушались Треповым, находили, что она — несомненная любовница Боголюбова и все-таки «мерзавка», но относились к ней с некоторым любопытством. Я видел у графа Палена в половине февраля фотографические карточки «мерзавки», находившиеся у графини Пален, которые ходили по рукам и производили известный эффект. Иначе относилось среднее сословие. В нем были восторженные люди, видевшие в Засулич новую русскую Шарлотту Кордэ;[89] были многие, которые усматривали в ее выстреле протест за поруганное человеческое достоинство — грозный призрак пробуждения общественного гнева; была группа людей, которых пугала доктрина кровавого самосуда, просвечивавшаяся в действиях Засулич. Они в тревожном раздумьи качали головами и, не отказывая в симпатии характеру Засулич, осуждали ее поступок как опасный прецедент... Мнения, горячо дебатируемые, разделялись: одни рукоплескали, другие сочувствовали, третьи не одобряли,[90] но никто не видел в Засулич «мерзавку» и, рассуждая разно о ее преступлении, никто, однако, не швырял грязью в преступницу и не обдавал ее злобной пеной всевозможных измышлений об ее отношениях

к Боголюбову. Сечение его, принятое в свое время довольно индиферентно, было вновь вызвано к жизни пред равнодушным вообще, но впечатлительным в частности, обществом. Оно — это сечение — оживало со всеми подробностями, комментировалось как грубейшее проявление произвола,[91] стояло пред глазами втайне пристыженного общества как вчера совершенное, и горело на многих слабых, но честных сердцах как свеженанесенная рана. Если и встречались лица, которые, подобно славянофильскому генералу Кирееву, спрашивавшему меня: «что же, однако, делать, чтобы Засуличи не повторялись?» и получившему лаконический ответ: «не сечь!» — удивленно и негодующе пожимали плечами, то большинство по своим воззрениям разделяло ходившие тогда по рукам стихи:

Грянул выстрел-отомститель,
Опустился божий бич,
И упал градоправитель
Как подстреленная дичь!

В конце февраля следствие было окончено и по просьбе Палена, переданной мне чрез Лопухина, дело назначено было к слушанию на 31 марта. Я советовал пустить его летом, среди мертвого сезона, когда, возбуждение, вызванное Засулич, утихнет и успокоится, но Пален настаивал на своей просьбе, утверждая, что и государь, на которого он вообще любил ссылаться, желает скорейшего окончания дела. Трепов между тем поправился, вступил в должность и ездил в коляске по городу, всюду рассказывая, что если он и высек Боголюбова, то по совету и поручению Палена, и лицемерно заявляя, что он не только не желает зла Засулич, но даже будет рад, если она будет оправ-

дана. Пален негодовал на эти рассказы в тесном кружке искательных друзей и знакомых, но решительно опровергнуть Трепова не смел.

В половине марта 1878 г., сидя в заседании общего собрания окружного суда, я получил совершенно неожиданно официальное письмо от министра юстиции, в котором я извещался, что государь император изволит принять меня в ближайшее воскресенье после обедни. Представление совершилось с обычными приемами. Длинная обедня в малой церкви дворца, едва слышная в круглой комнате, где происходил болтливо-шопотливый раут прилизанных людей со свеже пробритыми подбородками, одетых в новенькие мундиры; затем препровождение всех представлявшихся в боковую комнату, опрос их престарелым и любезным обер-камергером, графом Хрептовичем; молчаливое ожидание, обдергивание, подтягивание себя... затем бегущие арапы, останавливающиеся у широко-распахнувшихся половинок дверей... удвоенное внимание... и — сам самодержец в узеньком уланском мундире, с грациозно-сгибающейся талией, красиво-колеблющеюся походкою и «pour le mérite'ом» на шее. Старая любовь, вынесенная из далекого детства, когда еще в день 18 февраля 1855 г.[92] мы с братом[93] венчали его бюстик бумажными цветами среди радостно вздохнувшего и с надеждою смотревшего вперед литературного мирка, собравшегося у отца;[94] благодарные, неизгладимые воспоминания о 19 февраля[95] и судебной реформе,[96] озарившие молодость моего поколения своим немеркнущим светом; живое чувство радости, испытанное мною со всеми без исключения в Петербурге в восторженные

дни после 4 апреля,[97] — все это прихлынуло сразу к сердцу и заставило забыть хоть на время скорбь, вызванную многими бездушными мерами последних лет. Я не успел еще всмотреться в царя, в его усталое лицо, доброе очертание губ и впалые виски, как он, сказав два слова представлявшемуся Строганову (Григорию Александровичу)[98] и молча слегка поклонившись пяти сенаторам и директору департамента министерства юстиции Манасеину,[99] очутился предо мною. Едучи во дворец, я смутно надеялся на разговор по поводу дела Засулич, которое, по словам Палена, так живо интересовало государя, и решился рассказать ему бестрепетно и прямодушно печальные причины, создавшие почву, на которой могут вырастать подобные проявления самосуда. По приему сенаторов я увидел, как несбыточны мои надежды сказать слово правды русскому царю, и ждал молчаливого поклона. Вышло ни то, ни другое. Государь, которому назвал меня Хрептович, остановился против, оперся, с усталым видом, левою рукою, отогнутою несколько назад, на саблю и спросил меня, где я служил прежде (причем я по рассеянности ответил, что был прокурором окружного суда), сказал в неопределенных выражениях, устремив на меня на минуту тусклый взгляд, что надеется, что я и впредь буду служить так же успешно и хорошо и т. п. Остальных затем он обошел молча и быстро удалился. Хрептович с сочувствием пожал мне руку, я уловил несколько завистливых взглядов и понял, что мне оказано официальное отличие. Вслед за тем подошел Арсеньев,[100] воспитаннику которого, вел. князю Сергею Александровичу, я пока-

зывал года за два пред тем петербургские тюрьмы во всей их неприглядной наготе, чем вызвал крайнее неудовольствие в сферах Зимнего дворца. Он предложил мне посмотреть в кабинете императрицы Реуфа-Пашу, который привез ратифицированные султаном прелиминарные условия Сан-Стефанского договора.[101] И я видел сквозь трельяж, за которым толпились любопытствующие сановники, знакомую мне по Красному Кресту болезненную фигуру императрицы и пред нею человека высокого роста, с очень маленькою головою, в феске, налезавшей на уши и бросавшей тень на умное, грустное, бледное лицо, обрамленное маленькою черною бородою. Зимнее солнце лило яркие косые лучи в обширный кабинет и, играя на пахучих гиацинтах, освещало политический мираж, принимавшийся тогда многими за победную действительность.

На другой день Пален, пригласив меня к себе и спросив, доволен ли я приемом государя, приступил прямо к делу. «Можете ли вы, Анатолий Федорович, *ручаться* за обвинительный приговор над Засулич?» — «Нет, не могу!» — ответил я. «Как так? — точно ужаленный, воскликнул Пален,—вы не можете ручаться!?. вы не уверены?» — «Если бы я был сам судьею по существу, то и тогда, не выслушав следствия, не зная всех обстоятельств дела, я не решился бы вперед высказать свое мнение, которое притом в коллегии не одно решает вопрос. Здесь же судят присяжные, приговор которых основывается на многих неуловимых заранее соображениях. Как же я могу ручаться за *их* приговор? Состязательный процесс представляет много особенностей, и при нем дело не поддается предрешению, так

что в рассказе Лабуле о подсудимом, который на вопрос судьи о том, «s'il plaide coupable ou non?» * — отвечал: «voilà une étrange question! Ni vous ni moi n'en savons rien avant d'avoir entendu les témoins!» — содержится верный, хотя и оригинально выраженный взгляд на современный процесс. Я предполагаю, однако, что здравый смысл присяжных подскажет им решение справедливое и чуждое увлечений. Факт очевиден, и едва ли присяжные решатся отрицать его. Но ручаться я не могу!..» — «Не можете? не можете? — волновался Пален. — Ну, так я доложу государю, что председатель не может ручаться за обвинительный приговор, я должен это доложить государю!» — повторил он с неопределенною и бесцельною угрозою. «Я даже просил бы вас об этом, граф, так как мне самому крайне нежелательно, чтобы государь возлагал на меня надежды и обязательства, к осуществлению которых у меня как у судьи нет никаких средств. Я считаю возможным обвинительный приговор, но надо быть готовым и к оправданию, и вы меня весьма обяжете, если скажете государю об этом, как я и сам бы сказал ему, если бы он стал меня спрашивать по делу Засулич». — «Да-с! — горячился Пален, — и я предложу государю передать дело в особое присутствие, предложу изъять его от присяжных! Вот вам и ваши любезные присяжные! Вот ваши любимые присяжные! Вам это, конечно, будет очень неприятно, вы их ставите т а к!» — И он показал рукою, как я ставлю присяжных... «Но вы сами вино-

* Признает ли он себя виновным.

ваты! Вы — судья, вы — беспристрастие, вы — не можете ручаться... Ну! что делать! Нечего делать! Да! Вот... ну что ж!» и т. д. «Граф, — сказал я, прерывая его речь, обратившуюся уже в поток бессмысленных междометий, — я люблю суд присяжных и дорожу им; всякое выражение недоверия к нему мне действительно очень больно; но если от них требуется непременно обвинительный приговор и одна возможность оправдания заставляет вас — министра юстиции — уже выходить из себя, то я предпочел бы, чтобы дело было у них взято; оно, очевидно, представляет для этого суда больше опасности, чем чести. Да и вообще, раз по этому делу не будет допущен свободный выбор судейской совести, то к чему и суд! Лучше изъять все дела от присяжных и передать их полиции. Она всегда будет в состоянии вперед поручиться за свое решение... Но позвольте вам только напомнить две вещи: прокурор палаты уверяет, что в деле нет и признаков политического преступления; как же оно будет судиться особым присутствием, созданным для политических преступлений? Даже если издать закон об изменении подсудности особого присутствия, то и тут он не может иметь обратной силы для Засулич. Да и кроме того, ведь она уже предана суду судебною палатою. Как же изменять подсудность дела после того как она определена узаконенным местом? Теперь уже поздно!» — «О, проклятые порядки! — воскликнул Пален, хватая себя за голову, — как мне все это надоело, как надоело! Ну, что же делать?» — спрашивал он затем озабоченно. «Да ничего, думаю я, не делать; оставить дело итти закон-

ным порядком и положиться на здравый смысл присяжных; он им подскажет справедливый приговор...» — «Лопухин уверяет, что обвинят наверное...» — говорил Пален в унылом раздумьи. «Я не беру на себя это утверждать, но думаю, что возможно и оправдание». — «Зачем вы мне прежде этого не сказали?» — укоризненно говорил Пален.[102] «Вы меня не спрашивали, и разве уместно было мне, председателю суда, приходить говорить с вами об исходе дела, которое мне предстоит вести. Все, за что я могу ручаться, это — за соблюдение по этому делу полного беспристрастия и всех гарантий правильного правосудия...» — «Да! правосудие, беспристрастие! — иронически говорил Пален, — беспристрастие... но ведь по этому проклятому делу правительство в праве ждать от суда и от вас особых услуг...» — «Граф, — сказал я, — позвольте вам напомнить слова d'Aguesseau[103] королю: «Sire, la cour rend des arrêts et pas des services». — «Ах, это все теории!» — воскликнул Пален свое любимое словечко, но в это время доложили о приезде Валуева, и его красивовеличественная фигура прервала наш разговор...

Вдумываясь в тогдашнее настроение общества в Петербурге, действительно трудно было сказать утвердительно, что по делу Засулич последует обвинительный приговор. Такой приговор был бы несомненен в Англии, где живое правосознание разлито во всем населении, где чувство законности и государственного порядка вошло в плоть и кровь общества и где, наверное, все, что было понятного в возмущении Засулич поступком Трепова и трогательного в ее самопожертвовании, повлияло бы только

на мягкость приговора, но не на существо его. Но надо заметить, что в Англии, да и во всякой свободной стране, злоупотребление Трепова давно уже вызвало бы запросы в палате, оценку по достоинству в печати и, вероятно, соответствующее взыскание, или, по крайней мере, неодобрение правительства. Быть может, как говорят, в Англии секут арестантов, и с точки зрения англичан данный поступок Трепова был и правилен, но дело в том, что он был противен русским законам и оскорблял сложившиеся в лучшей части общества за последние двадцать лет взгляды на личное достоинство человека... и, если бы поступок Трепова имел эти же свойства в Англии, то во взыскании с него или в порицании его, выраженном публично, общественное мнение нашло бы значительное удовлетворение. L'incident serait clos — и оставалась бы одна Засулич со своим самосудом... Но так ли было у нас?! Несмотря на закон, на разъяснения сената, сечение связанного *студента,* который еще *не был каторжником,* оставалось без всяких последствий для превысивших свою власть; главный виновный не только продолжал стоять на своей служебной высоте, но ему не было сделано ни замечания, ни намека по поводу его дикой расправы.

Выстрел Засулич обратил внимание общества на совершившийся в его среде акт грубого насилия в то время, когда все его внимание было обращено на театр войны. И настроение общества в Петербурге в это время вовсе не было столь благодушным, чтобы думать, что оно отказалось от суровой критики правительственных действий... Наоборот, именно в начале весны

1878 г. в петербургском обществе проявлялась раздражительная нервность и крайняя впечатлительность. Наши присяжные являлись очень чувствительным отголоском общественного настроения; они во многих отношениях были похожи на мультипликатор, указывающий на силу давления паров, подавляющих в данную минуту возможность зрелой и бесстрастной деятельности собирательного общественного мозга. В этом их достоинство, но в этом и их великий недостаток, ибо вся нетвердость, поспешность и переменчивость общественного настроения отражаются и на присяжных. Искренность не есть еще правда, и приговоры русских присяжных, всегда почтенные по своей искренности, далеко не всегда удовлетворяли чувству строгой правды; их всегда можно было объяснить, но с ними иногда трудно было согласиться...

На нервное состояние общества очень повлияла война. За первым возбуждением и поспешными восторгами по поводу Ардагана и переправы через Дунай последовали тяжелые пять месяцев тревожного ожидания падения Плевны, которая внезапно выросла на нашем пути и все более и более давила душу русского человека, как тяжелый, несносный кошмар. Падение Карса блеснуло светлым лучом среди этого ожидания, но затем снова все мысли обратились к Плевне, и горечь, негодование, гнев накипали на сердце многих. Известие о взятии Плевны вызвало громадный вздох облегчения. Точно давно назревший нарыв прорвался и дал отдых от непрестанной, ноющей боли... Но место, где был нарыв, слишком наболело, и гной не вытек... Утратилась вера в целесообразность,

в разумность действий верховных вождей русской армии. И когда наше многострадальное, увенчанное дорого купленною победою, войско было остановлено у самой цели, пред воротами Константинополя, и обречено на позорное политическое бездействие; когда размашисто написанный Сан-Стефанский договор оказался только проектом, содержащим не «повелительные грани», установленные победителями, а гостинодворское запрашивание у Европы, которая сказала: «nie poswalam»; когда в ответ на робкое русское «vae victis», Англия и Австрия ответили гордым «vae victoribus», — тогда в обществе сказалась горечь напрасных жертв и тщетных усилий. Наболевшее место разгорелось новою болью. В обществе стали громко раздаваться толки, совершенно противоположные тем, которые были до войны. Стали говорить о малодушии государя, о крайней неспособности его братьев и сыновей и мелочном его тщеславии, заставлявшем его надеть фельдмаршальские жезлы и погоны, когда в сущности он лишь мешал да ездил по лазаретам и «имел глаза на мокром месте». Стали рассказывать злобные анекдоты про придворно-боевую жизнь и горькие истины про колоссальные грабежи, совершавшиеся под носом у главнокомандующего, который больше отличался шутками дурного тона, чем знанием дела. К печальной истине стала примешиваться клевета, и ее презренное шипенье стало сливаться с ропотом правдивого неудовольствия. Явился скептицизм, к которому так склонно наше общество, скептицизм даже и относительно самой войны, которую еще так недавно приветствовали люди самых различных

направлений. «Братушки» оказывались, по общему единодушному мнению, «подлецами», а турки, напротив, «добрыми, честными малыми», которые дрались как львы, в то время как освобождаемых братьев приходилось извлекать из «кукурузы» и т. д. Да и самая война начала иногда приписываться, лишь личному и затаенному издавна желанию государя вернуть утраченные в 1856 г. области и тем удовлетворить своему оскорбленному исходом крымской войны самолюбию. Забывалось, что все толкали его на эту войну, так как она признавалась «святою задачею России» и «великим делом освобождения славян». Циркулировала чья-то игра слов, что вся эта война определяется одним словом: «О-ш и б к а!».

В Москве еще хранился жар, там возбуждался вопрос о добровольном флоте, но Петербург охладел и, обращая свои взоры на внутренние дела, не мог не видеть весьма неутешительной картины. Курс падал стремительно и, несмотря на недавние успехи, стоял 203—203,5 марок за 100 рублей, государственный долг возрос *чрезвычайно*, и со всех сторон доходили вести о злоупотреблениях властей, особенно разнуздавшихся во время пребывания «набольших» за Дунаем. С запада, из Минской губернии, шли рассказы о возмутительных действиях губернатора Токарева и члена совета министерства внутренних дел Лошкарева по логишинскому делу, где была разыграна целая сатурналия в честь и при участии розог; с востока получались сведения о свирепствах казанского сатрапа Скарятина,[104] который предался чудовищным жестокостям над татарским населением, среди которого он иско-

ренял *сочиненный им бунт*... Это делалось в стране, правительство которой имело гордыню утверждать, что оно ведет свой народ на величайшие материальные и кровавые жертвы, чтобы доставить *свободу славянским братьям*. Свобода представляется на практике трояко: в благосостоянии экономическом, веротерпимости и самоуправлении. Но какое самоуправление несли мы с собою, оставляя у себя простор Скарятиным и Токаревым и убивая самым фактом войны начатки народного представительства в Турции? О каких принципах веротерпимости могла быть речь, когда турки лишь не позволяли звонить в колокола, а мы в Седлецкой губернии силою и обманом обращали в православие униатов и проливали их кровь, когда они не хотели отдавать последнее имущество, описанное за недостаточно поспешное обращение «на лоно вселюбящей матери-церкви?» И какой мрачной иронией дышало пролитие крови русского солдата, оторванного от далекой курной избы, лаптей и мякины, для обеспечения благосостояния «братушки», ходящего в сапогах, раздобревшего на мясе и кукурузе и тщательно запрятывающего от взоров своего «спасителя» плотно набитую кубышку в подполье своего прочного дома с печами и хозяйственными приспособлениями? Да! это так, но надо было обеспечить все это от «турецких зверств», т. е. в сущности от жестокого укрощения турецким правительством бунта подвластной народности, подстрекаемой извне, против своего законного государя... А Польша? А Литва? Диктатура Муравьева,[105] ссылки тысяч поляков в Сибирь? А 1863 год[106] и гордые ответы Горчакова[107-108]

иностранным державам, что «сей старинный спор» есть домашнее дело осуществления державных прав монарха над своими мятежными подданными? И по мере того как проходил чад ложно-патриотического увлечения среди скептически настроенного общества, яснее и яснее чувствовалась лицемерная изнанка этой истощающей войны, которая, добыв сомнительные для России результаты, не дала никакого улучшения в ее домашних делах...

И это чувство раздражало общественные нервы. Успокаивающих элементов вокруг не было. Система классического образования с «камнем мертвых языков» вместо хлеба живого знания родины, языка и природы попрежнему тяготела над семьею, тревожа ее и раздражая. А исход большого политического процесса заставлял пугаться за все, что было в этой семье живого и выходящего из ряда по живости и восприимчивости своего характера. Из тысячи почти человек, привлеченных [109] и на половину загубленных Жихаревым, оказывались осужденными лишь шестьдесят четыре, да из них о двадцати семи сенат ходатайствовал пред государем. Правда, это ходатайство было по докладу Палена отвергнуто, и высоким судьям, которые, постановляя суровый приговор, взывали к помощи монарха для успокоения своей смущенной совести, было сказано, что они ошиблись в своей надежде, что в них видят облеченную в красный мундир и хорошо оплаченную машину для наказания, а не людей, которые понимают, что «qui n'est que juste est cruel!..» Но это едва ли могло содействовать успокоению общества.

Освобожденные от суда в значительном числе оставались в Петербурге, приходили в соприкосновение с обществом, и их рассказы, слухи о самоубийствах и сумасшествиях в их среде и вольные и невольные преувеличения их друзей и семейных поддерживали глухое недовольство и омерзение к судебной процедуре по политическим делам. Тяжкие дни террора были еще далеко, семена его еще зрели в ожесточенных сердцах, а общество после происходившего в тумане безгласности процесса знакомилось с целями и приемами заговорщиков или по их личным односторонним рассказам, или же в большинстве случаев по беллетристическим произведениям. Из только что вышедшей «Нови» [110] общество узнало, что они во многом нелепы, незнакомы ни с народом, ни с его историей, что к наиболее цельным из них примазываются разные фразистые пошляки, что у них нет ясных и прямых целей. Но из той же «Нови» общество узнавало, что они — преступные пред законом, невежественные и самонадеянные пред историею и ее путями — не бесчестные, не своекорыстные, не низкие и развратные люди, какими их старались представить с официальной стороны. И общество не верило официальным глашатаям, а вручало свое сердце и думу великому художнику, который так умел угадывать его духовные запросы... Но если «Новь» устанавливала спокойный и примирительный взгляд на эту молодежь, то появившийся в мартовской книжке «Вестника Европы» за 1878 г. рассказ Луканиной «Любушка» [111] бил с чрезвычайной силою и блестящим талантом уже прямо по струнам горячего сострадания и

симпатий к ним. Впечатление этого рассказа, одного из chef d'oeuvre'ов русской литературы, рассказа старой няни о том, как ее дитятко, ее Любушка ушла в пропаганду и погибла «так, за ничто, за слова...», было потрясающее. Он читался повсюду нарасхват и вызывал слезы у самых сдержанных людей... В то же время весь Петербург ходил смотреть в величавой и освещенной сверху зале Академии художеств картину Семирадского[112] и останавливался, прикованный мастерством художника, пред засмоленными и подожженными христианами, умирающими за то, во *что* они верят, пред тупо-животным взором возлежащего на перламутровых носилках откормленного Цезаря; в то же время Росси[113] будил заснувшие чувства и исторгал слезы своею мастерскою игрою в великих произведениях Шекспира, а удивительный «*Христос*» Габриеля Макса[114] смотрел в темной комнате клуба художников — то закрытыми, то открытыми глазами — прямо в смущенную душу погрязших в обыденной суете и деловом бессердечии многочисленных зрителей... Все соединялось вместе, действовало на нервы с разных сторон, и среднее общество Петербурга, из которого должны были выйти будущие судьи Засулич, было напряжено, расстроено и болезненно-восприимчиво.

А 31-ое марта приближалось... Этому дню предшествовало несколько процессуальных эпизодов, из которых один особенно характеристичен. Дело вступило в суд, и вызванная для получения обвинительного акта Засулич заявила, что избирает своим защитником присяжного поверенного Александрова. На другой же день, 24 марта,

он подал заявление с ходатайством о вызове нескольких лиц, которые, содержась в доме предварительного заключения летом 1877 г., видели действия Трепова и все последующее, послужившее мотивом к совершению ею выстрела. В распорядительном заседании я не находил оснований для вызова этих свидетелей, так как их показания не имели прямого отношения к делу и только его осложняли. На это товарищи мои, составлявшие присутствие, члены суда Ден и Сербинович, доказывали, что в многолетней практике суда было принято не отказывать обвиняемому в вызове свидетелей, предоставляя им полную свободу в выборе средств защиты, и что, кроме того, в обвинительном акте как мотив преступления были указаны рассказы знакомых Засулич и известия газет о сечении Боголюбова, так что сама прокуратура дает повод к более точному разъяснению мотива. К этому взгляду присоединился и товарищ председателя Крестьянов. Я считал, однако, что того указания на мотив, которое сделано в обвинительном акте, достаточно и что, в виду неотрицания никем факта наказания Боголюбова, нет и оснований дополнять сведения о нем разными подробностями, которые могут внести в дело только излишнюю примесь раздражения. Члены суда склонились к моему мнению, и вечером, в тот же день, было написано мною подробное определение, находящееся в деле, об отказе в ходатайстве защитника на основании 575 ст. Уст. угол. суд.[115] В тот же вечер зашли ко мне Ден и Крестьянов. Они говорили, что их тревожит состоявшееся определение, что оно идет вразрез с практикою

суда и в деле столь щекотливом как будто заранее ставит судей на сторону обвинения, связывая руки защите. Я не согласился с ними и успокоил их тем, что по 576 ст. Уст. угол. суд.[116] подсудимая имеет право в семидневный со дня отказа срок заявить суду о представлении просимых свидетелей лично или о вызове их на ее счет... По точному смыслу этой статьи, как она понималась и практиковалась всею русскою судебною практикою уже двенадцать лет, не было никакого сомнения, что при таком заявлении подсудимой *председатель обязан немедленно сделать распоряжение о вызове просимых свидетелей.* Начертывая 575 и 576 статьи, законодатель имел в виду не стеснять подсудимого в его защите, а лишь оградить свидетелей от напрасной траты времени и отвлечений от занятий по одному лишь неосновательному желанию подсудимого. Поэтому он и поставил подсудимого в неизбежность — или согласить лично этих несущественных, по мнению суда, свидетелей на явку, или же принять издержки их вызова на свой счет. Поэтому подсудимая могла после объявления ей об отказе все-таки ходатайствовать о вызове свидетелей по 576 ст. Этот взгляд, казавшийся всем судебным деятелям того времени ясным, не подлежащим спору и подтвержденным рядом случаев из судебной практики, успокоил моих товарищей в их благородной тревоге.

На другой день постановление суда было объявлено, а часа в четыре ко мне в кабинет пришел расстроенный товарищ прокурора Андреевский[117] и взволнованным голосом рассказал историю назначения обвинителя по делу Засулич. Первоначальный выбор Лопухина остановился

на товарище прокурора Жуковском.[118] Умный, образованный и талантливый Мефистофель петербургской прокуратуры был очень сильным и опасным обвинителем. Его сухая, чуждая всяких фраз, пропитанная беспощадной желчью, но всегда очень обдуманная и краткая речь как нельзя больше гармонировала с его жидкой фигурой, острыми чертами худого, зеленовато-бледного лица, редкою, заостренною бородкою, тонкими ядовитыми губами и насмешливо приподнятыми бровями над косыми глазами, из которых светился недобрым блеском озлобленный ум. Вкрадчивым голосом и редким угловатым жестом руки с исхудалыми цепкими пальцами вил он обвинительную, нерасторжимо-логическую паутину вокруг подсудимого и, внезапно прерывая речь, пред ее обычным заключением, садился, судорожно улыбаясь и никогда не удостаивая ответом беспомощного жужжания растерянного защитника. Его всегдашняя сухая сдержанность подвергалась печальному испытанию лишь тогда, когда винные пары попадали ему в голову. Тогда он терял самообладание, становился груб, придирчив, и в его цинически-откровенных словах выбивалась наружу его уязвленная жизнью и исполненная презрения душа. Страшный недуг талантливых русских людей коснулся и его концом своего крыла и раз был причиною почти испорченной судебной карьеры его, начавшейся блистательно. В половине 60-х годов он был костромским губернским прокурором и участвовал в качестве официального лица в проводах жандармского штаб-офицера, получившего другое назначение. За обедом он сохранял свою служебную сдержанность, но когда свежий волжский воздух

на пристани, куда все поехали провожать голубого офицера, усилил действие винных паров, он неожиданно для всех брякнул провожаемому, который хотел с ним поцеловаться: «Ты куда лезешь?! Чего тебе, е. т. м.!! Стану я с тобою, со шпионом, целоваться! Прочь, с. сын!» и т. д. На товарищеских обедах, бывавших в среде петербургской прокуратуры, он нередко пьянел от очень небольшого количества вина и тогда из чрезвычайно остроумного и блестящего импровизатора обращался быстро в несносного и дерзкого задиралу. Лучшими его речами в Петербурге были речи по делу Марквордта, обвинявшегося в поджоге, и по знаменитому делу Овсянникова.[119] В первом случае подсудимый, содержатель сарептского магазина, открытие которого подготовлялось замысловатыми рекламами, был предан суду вопреки заключению прокуратуры о совершенной недостаточности улик и был настолько уверен в своем оправдании, что явился в суд во фраке и белом галстуке. Жуковский произвел такое действие своею речью, что обвиненный присяжными «без снисхождения» Марквордт, препровожденный под арест в Литейную часть, вонзил себе в грудь перочинный нож по самую рукоятку и имел еще силы отломить ее и взойти на лестницу, где и упал... мертвый... Когда, испуганный этим трагическим исходом и страшась за душевное настроение Жуковского, я поспешил к нему рано утром, то нашел его еще в постели усталого, но весело острящего над тем, что «этот дурак» вздумал привести над собою в исполнение приговор более строгий чем тот, который постановлен судом. Речь его по делу Овсянникова была великолепна

и не терпла даже от сравнения с блестящею диалектикою Спасовича, [120] который в качестве гражданского истца восклицал: «Нам говорят, что это все лишь одни предположения, одни черточки, одни штрихи, а не серьезное обвинение. Ну да! Это — штрихи, это — черточки, но из них составляются линии, а из линий — буквы, а из букв — слоги, а из слогов — *слово*, и это слово — «*поджог*»!.. Когда после окончания дела Овсянникова Пален собрал у себя лиц, возбудивших (меня), исследовавших (Маркова и Книрима) и проведших это дело (Жуковского), и торжественным голосом объявил нам о монаршем удовольствии по поводу действий, давших возможность довести до обвинительного приговора миллионера-самодура, в деянии которого полиция видела лишь случай, Жуковский остался верен себе и с ядовитою иронией, весьма мало гармонировавшею настроению бывшего псковского губернатора, очутившегося министром юстиции, сказал: «Да, ваше сиятельство, мы именно этим и отличаемся от администрации: мы всегда бьем стоячего, а она всегда — лежачего...»

Таков был будущий обвинитель Засулич. Но ему не понравилось бить стоячую в оправдание тех, кто бил лежачего, и, ссылаясь на то, что преступление Засулич имеет политический характер и что, обвиняя ее, он, Жуковский, поставит в трудное и неприятное положение своего брата, эмигранта, живущего в Женеве, он наотрез отказался от предложенной ему чести. Тогда Лопухин обратился к Андреевскому. Мягкий и гуманный, поэт в жизни и в литературе, «говорящий судья» на обвинительной трибуне,

независимый и всегда благородный в приемах, С. А. Андреевский составлял полную противоположность Жуковскому и, в силу известного закона о противоположностях, был тоже выдающимся по своей даровитости обвинителем. На предложение Лопухина, сделанное в присутствии прокурора окружного суда Сабурова,[121] он ответил вопросом о том: может ли он в своей речи признать действия Трепова неправильными? Ответ был отрицательный. «В таком случае я вынужден отказаться от обвинения Засулич,— сказал он, — так как не могу громить ее и умалчивать о действиях Трепова. Слово осуждения, сказанное противозаконному действию Трепова с прокурорской трибуны, облегчит задачу обвинения Засулич и придаст ему то свойство беспристрастия, которое составляет его настоящую силу...» Лопухин стал его уговаривать, то тупо иронизируя над либеральным знаменем, которым прикрывался Андреевский, то уговаривая его и упрашивая, то показывая когти и внутренне скрежеща зубами, то заверяя его, что это не служебный, а частный разговор. «Зачем вы меня уговариваете, — сказал ему, наконец, Андреевский, — когда вы можете мне предписать? Дайте мне письменный ордер, и я уже тогда увижу, что мне делать: подчиняться или...» — «Оставить службу? — перебил его Лопухин,—да я этого не хочу, что вы?!» И уверив его еще раз, что разговор имеет совершенно частный характер, он отпустил его[122] и потребовал к себе Кесселя...[123] На другой день от Андреевского и Жуковского было официально потребовано объяснение, на каком основании они отказались от обвинения. А Кес-

сель, зайдя ко мне в кабинет, объявил, что он *вынужден* был принять поручение обвинять Засулич.

Я знал Кесселя давно. Застав его в 1871 г. чрезвычайно строптивым исполняющим должность следователя и предупрежденный Паленом еще в Казани, что при первой моей жалобе Кессель будет причислен к министерству юстиции, я защищал его против нареканий прокуратуры и при первой возможности взял прямо в городские товарищи прокурора на высший оклад, поручал ему большие обвинения, поощрял его литературные работы в «Судебном вестнике» и, уйдя из прокуратуры, рекомендовал его для командировки с особыми правами на место Тилигульской железнодорожной катастрофы;[124] избавляя его от столкновений с Фуксом, устроил ему занятия при Гарткевиче[125] по собиранию материалов для будущего уголовного уложения. По странной аберрации чувства я питал совершенно незаслуженную симпатию к этому угрюмому человеку. Мне думалось, что за его болезненным самолюбием скрываются добрые нравственные качества и чувство собственного достоинства. Но я никогда не делал себе иллюзий относительно его обвинительных способностей. Поэтому и увидев совершенно убитый вид Кесселя, я не мало удивился выбору Лопухина и живо представил, какую бесцветную, слабосильную и водянистую обвинительную речь услышит Петербург, нетерпеливо ждавший процесса Засулич. Из разговора с Кесселем оказалось, что им обуял малодушный страх пред тем, как отнесутся в обществе и в кругу товарищей к тому, что после отказа двух из них от обви-

нения он все-таки принял его на себя, и он приискивал разные резоны в свое оправдание. Я старался его успокоить, внушая ему, что отказы товарищей основаны на исключительных соображениях, которых он может не иметь или не разделять; что, проведя обвинение спокойно, без задора и громких фраз, он исполнит лежащую на нем, как на лице прокурорского надзора, обязанность, и что воспрещение обсуждать действия Трепова лишь затрудняет его *и без того трудную* задачу, но не изменяет ее существа... Но он совершенно упал духом, и, жалея его, а также предвидя скандалезное неравновесие сторон на суде при таком обвинителе, я предложил ему, если представится случай, попробовать снять с него эту тяжесть. Он очень просил меня сделать это, хотя в глазах его я заметил то выражение, которое так хорошо определяется русскою поговоркою: «и хочется, и колется, и маменька не велит»... Случай говорить о нем да и о многом по делу Засулич представился скоро.

На другой же день, 27 марта, меня пригласил к себе Пален по какому-то маловажному делу, которое, очевидно, служило лишь предлогом. Разговор, почти немедленно, перешел на предстоящий процесс, и после разных упреков по адресу Андреевского и Жуковского и заявления, что «пусть только пройдет дело, а там мы еще поговорим», — Пален сказал мне: «Ну, Анатолий Федорович, теперь все зависит от вас, от вашего уменья и «красноречия». — «Граф, — ответил я, — уменье председателя состоит в беспристрастном соблюдении закона, а красноречивым он быть не должен, ибо существенные признаки резюме —

бесстрастие и спокойствие... Мои обязанности и задачи так ясно определены в уставах, что теперь уже можно сказать, что я буду делать в заседании...» — «Да, я знаю — беспристрастие! Беспристрастие! Так говорят все ваши «статисты» (так называл он людей, любивших ссылаться на статьи уставов), но есть дела, где нужно смотреть так, знаете, политически; это проклятое дело надо спустить скорей и сделать на всю эту проклятую историю так (он очертил рукою в воздухе крест), и я говорю, что если Анатолий Федорович захочет, то он *так им* (т. е. присяжным) скажет, что они сделают все, что он пожелает! Ведь, так, а?!» — «Граф, влиять на присяжных должны стороны, это их законная роль; председатель же, который будет гнуть весь процесс к исключительному обвинению, сразу потеряет всякий авторитет у присяжных, особливо у развитых, петербургских, и, я могу вас уверить по бывшим примерам, окажет медвежью услугу обвинению».— «Да, но повторяю, от вас, именно от вас правительство ждет в этом деле услуги и содействия обвинению. Я прошу вас оставить меня в уверенности, что мы можем на вас опереться... Что такое стороны? Стороны — вздор! Тут все зависит от вас!..» — «Но позвольте, граф, ведь вы высказываете совершенно невозможный взгляд на роль председателя, и могу вас уверить, что я не так понимал эту роль, когда шел в председатели, не так понимаю ее и теперь. Председатель — судья, а не сторона, и, ведя уголовный процесс, он держит в руках чашу со святыми дарами. Он не смеет наклонять ее ни в ту, ни в другую сторону — иначе дары будут пролиты... Да

и если требовать от председателя не юридической, а *политической* деятельности, то где предел таких требований, где определение рода услуг, которые может пожелать оказать иной, не в меру услужливый, председатель? Нет, граф! Я вас прошу не становиться на эту точку зрения и не ждать от меня ничего, кроме точного исполнения моих обязанностей... Я понимаю, впрочем, в виду общественного настроения, ваши тревоги и, становясь на время в старое положение вице-директора, позволяю себе дать вам один совет. Вы знаете, что суд отказал в вызове свидетелей, могущих разъяснить факты, внушившие Засулич мысль о выстреле в Трепова. Но на-днях истекает неделя с объявления ей об этом, и она может обратиться и, вероятно, обратится с требованием об их вызове на ее счет. Оно будет для суда обязательно. Мы не имеем права отказать ей в этом. Но свидетели такого рода, несомненно, коснутся факта сечения Боголюбова, рассказы о котором так возбудили Засулич. Этим будет дан защитнику очень благодарный и опасный в умелых руках материал. Вы знаете Александрова больше, чем я, и не станете отрицать за ним ни таланта, ни ловкости. Несомненно, что он напряжет все свои силы в этом деле, сознавая, что оно есть пробный камень для адвокатской репутации... Против такого защитника и по *такому* вообще благодарному для защиты делу необходим по меньшей мере равносильный обвинитель — холодный, спокойный, уверенный в себе и привыкший представлять суду более широкие горизонты, чем простое изложение улик. Он может, и даже должен, отдать защите факт наказания

Боголюбова, не пытаясь опровергать его возмутительность. Да, граф, возмутительность и незаконность!.. Он мог бы даже от себя прибавить слово порицания и решительно отвергнуть всякую солидарность с образом действий Трепова... Но, предоставив защитнику «въезжать всем дышлом» в вопрос факта, на почве которого нельзя спорить, не рискуя быть позорно побитым, обвинитель должен уметь подняться над этим фактом в высоту общих государственных соображений; он должен уметь нарисовать картину общества, где царствует самосуд и где от ума, а следовательно, и от глупости каждого частного человека зависит признать другое лицо виновным и привести над ним в исполнение свой произвольный, узкий, подсказанный озлоблением, приговор. На этой высоте должен укрепиться прокурор и, увлекши защиту за собою в эту область, разбить ее оружием здравого смысла. Прокурор должен поступить как Геркулес в мифе об Антее. Известно, что Антей по временам становился неодолимо силен, и Геркулес заметил, что это бывает тогда, когда он касается ногами *почвы*, которая и дает ему эту чудодейственную силу. Тогда он поднял его на воздух и там, оторвав от почвы, задушил. Почва Антея в деле Засулич, это — факт наказания Боголюбова. Надо сделать этому факту надлежащую оценку, в унисон с защитником, но затем оторвать его от *почвы* и победить в области общих соображений. Это, по моему мнению, единственный прием для правильного исхода обвинения, и с этой точки зрения Андреевский, на которого вы так негодуете, прав, затрудняясь поддерживать обвинение,

стыдливо умалчивая о мотивах преступления... Как же, однако, представлена прокуратура по этому делу? Вы знаете, граф, что я несколько пристрастен к Кесселю-и, может быть, даже несколько преувеличиваю его достоинства, но могу вас уверить, что трудно сделать более неудачный выбор обвинителя... Он уже теперь волнуется и пугается этого дела. Он никогда не выступал по таким серьезным делам; хороший «статист» и знаток следственной части, он — совершенно ничтожный противник для Александрова...» — «Да, но кого же назначить, когда «эти подлецы» отказались?! — воскликнул Пален и прибавил с кисло-сладкой улыбкой: — Такой обвинитель, о котором вы говорите, был лишь один, это — А. Ф. Кони, но его, к несчастью, уже нет»... — «По-вашему и вопреки его желанию, — прибавил я, — но вы имеете еще большие силы в прокуратуре: у вас есть Масловский, умный и серьезный обвинитель, ведший с большим тактом политические дела, к которым, по своему характеру, близко подходит дело Засулич; есть Смирнов, талантливый, энергический обвинитель игуменьи Митрофании... [126] поручите одному из них»... — «Но ведь они — товарищи прокурора палаты». — «Имеющие по закону право обвинять в окружном суде», — прибавил я. — «Да, конечно, — возразил Пален, внезапно впадая в усталый тон, — но это значит — придавать делу слишком важное значение... слишком важное значение», — прибавил он глубокомысленно, — «Не вы ли сами придавали ему до сих пор такое значение, граф?!» — «И притом, видите, любезный Анатолий Федорович, назначение обвинителя —

дело прокурора палаты; уж добрейший А. А. Лопухин знает, что делает, он все взвесил; нет, знаете, не надо придавать этому делу такое значение... и обвинитель не так важен, мы все-таки надеемся на вас...» Видя, что он впадает в сонливое отупение, я прекратил беседу, сказав, что дело в виду общественного настроения имеет большое значение, и повторил просьбу не ожидать от меня каких-либо исключительных действий. «И вы думаете, что может быть оправдательный приговор?» — спросил Пален, зевая. «Да, может быть и при неравенстве сторон более чем возможен...» — «Нет, что обвинитель!—задумчиво сказал Пален.—А вот о чем я вас очень прошу, — внезапно оживившись, обратился он снова ко мне: — знаете что? Дайте мне кассационный повод на случай оправдания, а?» — И он хитро подмигнул мне глазом... Я не мог не улыбнуться этой циничеческой наивности министра юстиции. «Я председательствую всего третий раз в жизни, — сказал я, — ошибки возможны и, вероятно, будут, но делать их сознательно я не стану, считая это совершенно несогласным с достоинством судьи, и принимаю такое предложение ваше просто за шутку...» — «Нет, какая шутка?! — серьезно сказал Пален. — Я вас очень прошу, вы это так умно сумеете сделать...» Я молча встал, и мы расстались...

Выходя от Палена, поразившего на этот раз даже меня своим легкомыслием, я невольно вспомнил, как он, еще в 1869 г., негодуя на харьковскую прокуратуру за возбуждение следствия против пьяных и буйных влиятельных баричей — Шидловского и Паскевича, оскорбив-

ших в театре частного пристава Смирницкого, просил меня при возвращении моем из-за границы принять обвинение их на себя *и на суде от него отказаться*, и был очень недоволен, встретив несогласие на это со стороны маленького провинциального товарища прокурора. Он, очевидно, ничему не научился и ничего не забыл из своих старых приемов в протекшие между обоими этими предложениями девять лет.

В суде меня встретил Крестьянов и, подавая прошение Александрова о вызове просимых свидетелей на счет Засулич, торжествующим образом сказал мне: «Ну, вот видите, придется вызвать!» Вопрос об обязательности вызова по 576 ст. до такой степени давно уже перестал быть вопросом, что я, занятый чем-то другим, сказал ему: «Да, теперь надо вызвать». Он, очень храбрый и даже грубоватый в коллегии, но постыдно трусливый и нерешительный в одиночку, унес прошение в отделение, в котором председательствовал, и, сделав на нем надпись «вызвать» и, из осторожности, на всякий случай, не подписав ее, приказал немедленно послать повестки свидетелям. Впоследствии эта надпись причинила много тревожных минут этому человеку, мужиковатое псевдопрямодушие которого плохо прикрывало трусливую душонку судебного чиновника.

Между тем, день разбирательства приближался...

В обществе рос интерес к делу и распускались самые нелепые толки, а меня заваливали письмами и просьбами о билетах. Особенно интересовались попасть в заседание дамы, и ле-

вый ящик моего стола, куда я бросаю письма, был пропитан запахом духов от разноцветных записочек с затейливыми монограммами и гербами.

Нечего было и думать о впуске публики без билетов. Это значило бы вызвать всевозможные беспорядки, скандалы и, может быть, даже увечья. В виду массы просьб я должен был принять какую-либо систему раздачи билетов в отвратительные сиденья в душной и темной зале 1-го отделения с.-петербургского окружного суда.

У меня сохранился листок, на котором записана раздача билетов, в которой впоследствии усматривалась та же тенденциозность. Вот как были распределены билеты: десяти членам гражданских отделений суда — по 1 билету, десяти членам уголовного отделения — по 1, семи товарищам председателя — по 2, прокурору палаты — 6, прокурору суда — 2, товарищам прокурора палаты — 4, товарищам прокурора суда — 6, старшему нотариусу — 1, старшему председателю судебной палаты — 4, членам палаты — 6, судебным следователям Кабату и Кириму — по 1, членам совета — 10, сенаторам Ковалевскому и барону Медему по 1, товарищу обер-прокурора Голубеву — 1, управляющему канцелярией министерства юстиции барону Корфу — 3, Грум-Гржимайло — 1, в III Отделение — 3, Трепову — 3, М. А. Сольской — 1, Е. Е. Ковалевской — 1, Цуханову — 3, Таганцеву — 5, Склифассовскому — 5, Градовскому — 2, г-же Стасюлевич — 2, военным судьям — 5, Горемыкину — 2, Белостоцкому — 1, Посулину — 1, г-же Христианович — 1, О. И. Чертковой — 2, Нарышкиной — 1, кн. Барятинской — 1,

Замятнину — 2, кн. Тенишевой — 2, Давыдову — 2, Ераковым — 2, Страхову — 1, Хирякову — 1, г-же Прево, Мерц, Ковалевой, Сомовой — по 1, Масляникову — 1.

Присяжные сознавали всю важность предстоящего им дела и относились к нему с некоторой торжественностью. Они поручили судебному приставу, состоявшему при отделении, спросить у меня, не следует ли им в виду важности заседания 31 марта надеть фраки, у кого есть, и белые галстухи... Я просил передать им, что не нахожу этого нужным.

Вечером 30 марта, пойдя пройтись, я зашел посмотреть, исполнены ли мои приказания относительно вентиляции и приведения залы суда в порядок для многолюдного заседания... Смеркалось, зала смотрела мрачно и бог знает, что предстояло на завтра. С мыслями об этом завтра вернулся я домой и с ними провел почти бессонную ночь...

ВЕРА ЗАСУЛИЧ
в той тальме, в которой она стреляла в Трепова
Из собрания Государственного Исторического музея

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ [127]

Заседание 1-го отделения с.-петербургского окружного суда открылось 31 марта 1878 г., ровно в 11 часов утра, при переполненном зале. Среди присутствовавших в местах, отведенных за судейскими креслами, находились: государственный канцлер, князь Горчаков, государственный секретарь Сольский, товарищ генерал-фельдцейхмейстера граф Баранцов, [128] граф Строганов, [129] член совета министерства внутренних дел Деспот-Зенович, председатель департамента экономии Государственного совета Абаза, [130] несколько членов Государственного совета, сенатор Арцимович, [131] губернатор и много лиц судебного ведомства. В местах, отведенных для представителей печати, находились между прочим Ф. М. Достоевский [132] и Б. Н. Чичерин. [133]

Состав суда: председатель — А. Ф. Кони и члены — Сербинович и Ден. Подсудимую обвинял товарищ прокурора Кессель, защищал присяжный поверенный Александров.

По объявлении председателем, что слушанию суда подлежит дело о дочери капитана Вере Засулич, обвиняемой в покушении на убийство, было отдано распоряжение о вводе под-

судимой, которая, на обычные вопросы председателя, сообщила о своем звании, имени и фамилии и подтвердила получение копии обвинительного акта, а также списка судей и присяжных заседателей.

После этого судебным приставом было доложено, что не явились свидетели: со стороны обвинения — ген.-ад. Трепов и со стороны защиты — Куприянов [134] и Волховской. Секретарь доложил, что 26 марта от ген.-ад. Трепова поступило заявление, что он, по состоянию здоровья, не может не только явиться в суд, но и воспользоваться правом, предоставленным ему 65 ст. Уст. угол. суд., в удостоверение чего представлено им медицинское свидетельство (выданное профессором Склифассовским, почетным лейб-медиком Каде и директором Максимилиановской лечебницы Барчем), в котором сказано, что он не только не может явиться в суд для дачи показания по делу дочери капитана В. Засулич, но и подвергнуться допросу на дому, без явного вреда для здоровья; затем окружный суд, с своей стороны, сделал распоряжение о вызове содержащихся в Петропавловской крепости Куприянова и Волховского, но из III Отделения собственной е. и. в. канцелярии поступило отношение (от 30 марта за № 978), в котором сказано, что «на основании существующих особых правил для содержащихся в С.-Петербургской крепости и применяясь к I п. 388 ст. Уст. угол. суд., находящиеся в означенной крепости арестованными Феликс Волховской и Михаил Куприянов не могут быть доставлены 31 марта в заседание с.-петербургского окружного суда в качестве свидетелей по делу Засулич.

Товарищ прокурора полагал признать причину неявки свидетелей законной и не встречал препятствий к слушанию дела.

Присяжный поверенный Александров. Что касается свидетеля ген.-ад. Трепова, то показание его я считаю несущественным для дела и полагаю возможным продолжать следствие. Что касается до неявки свидетелей Куприянова и Волховского, то эта неявка не зависит от них: III Отделение собственной е. и. в. канцелярии ссылается на I п. 388 ст. Уст. угол. суд., как на причину недоставления этих двух свидетелей. Этот I п. 388 ст. говорит, что законною причиною неявки может быть лишение свободы, но это касается неявки, а в настоящем случае есть недоставление вызванных свидетелей, то эта статья применена быть не может. Что касается до ссылки III Отделения на существующие правила об арестантах, то по этому предмету я ничего не могу сказать, так как эти правила остаются мне неизвестны; я только могу сослаться на то, что по процессу Нечаева из Петропавловской крепости были доставлены в суд, в качестве свидетелей, Волховской, Успенский и пр. Я не знаю, последовало ли с тех пор какое-либо изменение этих правил и просил бы суд, в видах особого снихождения, сделать немедленно зависящее от него распоряжение о том, чтобы Волховской и Куприянов были доставлены из Петропавловской крепости.

Председатель. Окружный суд, выслушав заявления сторон, признает причину неявки свидетеля ген.-ад. Трепова уважительною и, на основании 626 ст. Уст. угол. суд., постановил прочесть показание свидетеля Трепова, данное

на предварительном следствии; что касается неявки других двух свидетелей — Волховского и Куприянова, то, имея в виду ссылку на I п. 388 ст. и что судом были приняты все зависящие от него меры для доставления их в суд, т. е. были вручены повестки, о доставке их было сообщено коменданту Петропавловской крепости и III Отделению, но повестки эти возвращены в суд и сообщено, что, по существующим правилам, доставка их в суд не представляется возможною,— в виду чего суд не признает возможным прибегать к другим мерам и постановляет, несмотря на неявку их, продолжать судебное заседание.

Затем последовало образование «присутствия» присяжных заседателей. Всех присяжных явилось 29, из них: 24 очередных и 5 запасных. После отвода защитой 11 присяжных,[135] для образования «присутствия» осталось 18. По запискам избранными оказались следующие лица: надворный советник А. И. Сергеев, надворный советник К. С. Алексеев, купец 2-й гильдии В. А. Якимов, свободный художник С. Ф. Верховцев, надворный советник А. И. Лохов, помощник смотрителя С.-Петербургского александро-невского духовного училища М. Г. Мысловский, надворный советник П. С. Купинский, титулярный советник Н. В. Дадонов, коллежский секретарь Д. П. Петров, действительный студент А. И. Хализев, коллежский регистратор А. А. Джамусов и дворянин Р. Е. Шульц-Торма; запасные — И. Е. Ситников и Н. Н. Любавин.[136] Для избрания старшины присяжные удалились в совещательную комнату; избранным оказался А. И. Лохов.

После приводе присяжных заседателей к присяге председатель обратился к ним со следующими словами.

Председатель. Господа присяжные, я должен сделать вам напоминание о ваших обязанностях, но так как вы исполняете их не в первый раз, то я ограничусь только напоминанием вам данной вами присяги.

По существу своему она содержит в себе, в главных чертах, указание на те нравственные обязанности, которые вы несете. Вы помните, что в этой присяге сказано, что вы приложите всю силу вашего разумения, отнесетесь с полнейшим вниманием к делу, не упуская ни малейших подробностей, повидимому, несущественных, мимолетных, но которые, по своей совокупности, в значительной степени рисуют дело и разъясняют его действительное значение.

Вы обязуетесь, кроме того, присягою рассматривать все обстоятельства, как уличающие, так и оправдывающие подсудимую; вы обязуетесь рассматривать совершенно беспристрастно все, что может быть сказано против подсудимой и за нее, и, сопоставив то и другое, сделать свой вывод; вы обязуетесь подать решительный голос согласно с тем, что услышите на суде.

Вы должны помнить, что вы выскажете не мнение, а приговор, и с этой точки зрения вы должны припомнить, что, быть может, по настоящему делу, которое произвело большое впечатление в обществе, вам приходилось слышать разные разговоры и мнения, которые объясняли дело то в ту, то в другую сторону —

я бы советовал вам забыть их; вы должны помнить только то, что увидите и услышите на суде, и помнить, что то, что вы слышали вне стен суда, были мнения, а то, что вы скажете — будет приговор; то, что вы слышали вне стен суда, не налагает на вас нравственной ответственности, а ваш приговор налагает на вас огромную ответственность пред обществом и пред подсудимой, судьба которой в ваших руках.

Затем, вы обязуетесь судить по убеждению совести,— не по впечатлению, а по долгому, обдуманному соображению всех обстоятельств дела; вы не должны поддаваться мимолетным впечатлениям, вы должны смотреть во всех обстоятельствах дела на их сущность.

Я должен сказать, что на вас может подействовать обстановка настоящего дела: это большое количество слушателей и некоторая торжественность заседания, не свойственная обыкновенным заседаниям, — на это вы не должны обращать внимания — для вас, как членов суда, кроме суда, подсудимой, сторон и свидетелей ничего не должно существовать; вы должны помнить, что к каждому делу, интересному и неинтересному, вы должны относиться с полным вниманием; для вас не может быть дел важных и неважных, вы должны относиться ко всякому делу одинаково; в том и другом случае у вас в руках находится судьба человека; в том и другом случае вы должны произнести приговор, отрешась от всех впечатлений побочных; в виду этого я прошу вас отрешиться от той обстановки, которая вас окружает, и помнить, что на вас лежит серьезная обязанность.

Что касается до ваших прямых обязанностей, то они состоят в том, что вы не должны входить в сношения с лицами посторонними и не должны разглашать тайны ваших совещаний, хотя вы не ответственны за ваш приговор ни перед кем, но тем не менее свобода ваша была бы стеснена. Вы не должны входить в сношения потому, чтобы вас не могли заподозрить, что эти сношения могли влиять на ваш приговор.

Что касается ваших прав, то вы имеете право на исследование всех обстоятельств дела; ничто в деле не может быть от вас скрыто; вы имеете право делать вопросы, расспрашивать и самую подсудимую о всех обстоятельствах, которые вам покажутся неясными (последним правом вы можете пользоваться, только обращаясь к суду).

Вы имеете право делать письменные заметки.

За сим я надеюсь, что вы отнесетесь с полным вниманием к этому делу.

После этого председатель пригласил секретаря прочесть обвинительный акт.

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ,

коим предается суду С.-Петербургского окружного суда, с участием присяжных заседателей, дочь капитана Вера Иванова З а с у л и ч, содержащаяся под стражей

24 января 1878 г., в 10 часов утра, в С.-Петербурге, в приемной комнате с.-петербургского градоначальника ген.-ад. Трепова, неизвестною женщиною, подавшею лично прошение градоначальнику от имени дворянки Козловой, было совершено покушение на убийство ген.-ад.

Трепова посредством выстрела, произведенного почти в упор из револьвера, заряженного пулями большого калибра.

По судебно-врачебному осмотру, произведенному в тот же день, и заключению врачей, данному, как первоначально, так и при окончании предварительного следствия, — оказывается, что ген.-ад. Трепову выстрелом из револьвера, произведенным почти в упор пулею большого калибра, причинена огнестрельная тяжкая и опасная для жизни рана, проникающая с левой стороны в полость таза.

Спрошенные при предварительном следствии ген.-ад. Федор Федорович Трепов и свидетели очевидцы события маиор Курнеев, надворный советник Греч и коллежский асессор Цуриков удостоверили, что выстрел из револьвера, ранивший градоначальника, был произведен в приемной комнате стоявшею подле ген.-ад. Трепова неизвестною женщиною, которая тогда же была задержана, причем в то же время при ней был найден пятиствольный, длиною четверть аршина, заряженный четырьмя пулями, повидимому, новый револьвер, сохранивший в стволе пороховую копоть.

Задержанная, таким образом, на месте совершения преступления неизвестная женщина первоначально скрыла свое имя и звание, но затем объяснила, что она — дочь капитана Вера Иванова Засулич, что и подтверждено данными, собранными предварительным следствием. Относительно предъявленного Засулич обвинения в покушении на убийство с.-петербургского градоначальника она объяснила, что преступление совершено ею с заранее обдуманным

намерением, причем последствие произведенного ею выстрела — смерть ген.-ад. Трепова или нанесение ему тяжелой раны — было для нее безразлично, так как она тем или другим способом желала отомстить градоначальнику за его распоряжение о наказании розгами арестанта Боголюбова. Сведения о наказании Боголюбова, которого Засулич, по ее показанию, совершенно не знала, были получены ею первоначально летом 1877 г. в Пензенской губернии из газет, а затем в С.-Петербурге из рассказов разных лиц.

Слух о наказании Боголюбова, по объяснению обвиняемой, хорошо знакомой с душевным настроением лиц, лишенных свободы, произвел на нее сильное впечатление, под влиянием которого у нее родилась и созрела мысль об отомщении градоначальнику. С этой целью Засулич в конце декабря 1877 г. или начале января 1878 г., чрез посредство одного из своих знакомых, ничего не знавшего о ее намерении, приобрела пятиствольный револьвер и утром 24 января, находясь в приемной с.-петербургского градоначальника, в расстоянии одного или полутора аршин от ген.-ад. Трепова выстрелила в него один раз из означенного револьвера.

Из справки, доставленной к делу управляющим домом предварительного заключения, видно, что 13 июля 1877 г., по предписанию с.-петербургского градоначальника за № 6641, лишенный по суду всех прав состояния и приговоренный к ссылке в каторжные работы Архип Боголюбов был наказан 25 ударами розог как главный виновник беспорядков, проис-

шедших в тот день в доме предварительного заключения.

На основании вышеизложенного, дочь капитана, Вера Ивановна Засулич, 28 лет, обвиняется в том, что 24 января 1878 г. в С.-Петербурге, в приемной комнате с.-петербургского градоначальника, имея заранее обдуманное намерение лишить жизни ген.-ад. Федора Федоровича Трепова, почти в упор выстрелила в левый бок последнего из револьвера, заряженного пулею большого калибра, причем означенным выстрелом причинила градоначальнику Трепову тяжелое повреждение, которое не повлекло за собою смерти ген.-ад. Трепова только по особым, непредвиденным обвиняемой Засулич, обстоятельствам.

Преступное деяние Засулич предусмотрено 9 и 1454 ст. Улож. о наказ. (1866 г.), а потому она, согласно 201 ст. Уст. угол. суд., подлежит суду с.-петербургского окружного суда, с участием присяжных заседателей.

Председатель. Подсудимая, вы обвиняетесь в том, что, имея заранее обдуманное намерение убить ген.-ад. Трепова, пришли к нему в дом 24 января с заранее принесенным вами револьвером и причинили ему тяжкую рану выстрелом из этого револьвера, причем смерть не последовала по обстоятельствам, устранить которые было не в вашей власти. Признаете вы себя виновной?

О. Я признаю, что я произвела выстрел.

В. Угодно вам рассказать — вследствие чего вы сделали это?

О. Я прошу г. председателя позволить мне объяснить мотивы после допроса свидетелей.

Приглашен свидетель майор Курнеев.

Председатель. Вы служите при канцелярии градоначальника?

О. Да.

В. Какую должность занимали тогда, когда было совершено это преступление?

О. Должность чиновника особых поручений.

В. В чем заключаются настоящие ваши обязанности?

О. Я обязан дежурить, постоянно находиться при градоначальнике.

В. Покушение на жизнь ген.-ад. Трепова произошло на вашем дежурстве?

О. Да.

В. Расскажите, что вам известно.

О. Подсудимая Засулич была введена мною в числе прочих просителей и поставлена была мною первою. Она подавала прошение о выдаче свидетельства для поступления в домашние учительницы. Когда вошел градоначальник, он принял от нее прошение и повернулся вправо к следующей просительнице, и когда начал говорить с нею, я сделал подсудимой Засулич знак глазами, чтоб она вышла. Но все внимание подсудимой было обращено на рядом стоявшего чиновника особых поручений Греча. Когда я сделал знак, чтобы она вышла, она сделала движение, как будто бы хотела выходить, и в это время последовал выстрел.

В. В каком расстоянии она стояла?

О. В полшага.

В. То есть, вы полагаете, что выстрел произошел на расстоянии полшага?

О. Я не могу припомнить. Она сделала движение, чтобы встать, и в это время последовал выстрел.

В. Вы слышали сами звук выстрела?

О. Да, слышал.

В. Что вы сделали в это время?

О. В то время как г. градоначальник крикнул, я так был поражен этим, что уже не помню, что было; помню только, что схватил подсудимую и спросил ее: где револьвер, и она мне ответила, что бросила.

В. Боролась с вами подсудимая?

О. Нет.

В. Делала она движение, чтоб выстрелить второй раз?

О. Нет, у нее не было револьвера, она его бросила.

В. Так что вы утверждаете, что она выстрелила один раз?

О. Да, один раз.

В. Затем послали за доктором?

О. Да, я поехал.

В. При этом подсудимая не объясняла вам причину своего поступка?

О. Нет, ничего не говорила.

Товарищ прокурора. Далеко ли вы стояли от подсудимой?

О. Шагах в двух-трех.

В. Далеко ли стояли другие лица, окружавшие градоначальника, — его чиновники, например, г. Греч?

О. Греч стоял ближе меня к подсудимой.

В. Вы окружали градоначальника в виде полукруга?

О. Да, мы сзади стояли.

В. Долго ли принимал прошение градоначальник от самой подсудимой, приблизительно как?

О. Он спросил подсудимую, она отвечала ему; это продолжалось минуты две-три, не больше.

В. В чем была одета подсудимая?

О. На ней была надета шляна и, кажется, черный платок повязан сверх шляпы; затем, на ней была надета тальма или пальто без рукавов.

В. Широкая тальма?

О. Да, широкая.

По просьбе прокурора свидетелю была предъявлена карточка подсудимой в том костюме, в котором она явилась к градоначальнику, и он признал ее.

Присяжный поверенный Александров. Вы сказали, что показывали подсудимой глазами, чтоб она вышла после аудиенции у градоначальника?

О. Да.

В. Таким образом, следовательно, вы ее из глаз не выпускали?

О. Да.

В. Вы не видели, чтоб она делала движение, целилась в градоначальника, чтоб у нее рука высовывалась из-под тальмы?

О. Я так стоял, что подсудимая была видна мне только по-пояс.

В. Она была заграждена от вас?

О. Да.

В. Тут произошел короткий промежуток между аудиенцией и выстрелом, — несколько мгновений, несколько секунд?

О. Да, так, одна минута не больше.

В. Вы не видали, когда она бросила револьвер?

О. Нет.

В. Когда вы подошли к ней, револьвер был уже брошен?

О. Да, брошен.

В. И никто к ней, кроме вас, не прикасался,— вы первый подошли и схватили ее за горло?

О. Не помню хорошенько, это была такая минута...

В. Вы сами освободили ее или вас кто-нибудь оторвал от нее?

О. Я передал ее дежурному офицеру, который вывел ее из приемной.

В. Теперь позвольте перейти к июлю месяцу. Вы тогда заведывали домом предварительного заключения?

О. Да, заведывал.

В. Какого рода там было происшествие 13 июля с арестантом Боголюбовым?

О. Когда градоначальник сделал замечание — зачем политические арестанты гуляют не в отведенном им отделении...

В. Я просил бы объяснить, по какому случаю это было.

О. Господин градоначальник приехал в дом предварительного заключения, вышел на двор, где гуляют арестованные, и сделал замечание — почему они не гуляют в отделении, им отведенном; в это время подошел Боголюбов и вступил в разговор. Что он говорил, я не помню, но градоначальник сказал ему: «Я не с вами говорю». Тогда Боголюбов сделал какую-то грубость, сказал что-то дерзкое, и градоначальник приказал посадить его в карцер.

В. Я просил бы припомнить, с кем именно градоначальник встретил Боголюбова?

О. Не помню.

В. Он вдвоем или втроем гулял?

О. Нет, один.

В. Не помните, какой вопрос сделал градоначальник и что отвечал Боголюбов?

О. Не помню.

В. Таким образом, вы не изволите припомнить те замечания, которые сделал градоначальник, и те дерзости, которые отвечал Боголюбов?

О. Не помню, я говорю так вообще.

В. Вследствие чего Боголюбов делал эти дерзости?

О. Не могу сказать.

В. Затем последовало распоряжение градоначальника — посадить Боголюбова в карцер?

О. Да.

В. Дальше что последовало?

О. Его посадили в карцер.

В. Скажите, при встрече с градоначальником Боголюбов оказал почтение?

О. Никакого.

В. Снимал шапку?

О. Нет, вообще политические арестанты очень невежливы: никогда не кланяются.

В. Когда последовало распоряжение отвести Боголюбова в карцер, что было?

О. Арестанты стали шуметь, кричать: «Не сметь трогать Боголюбова».

В. Разве распоряжение было высказано настолько громко, что вся тюрьма могла слышать это?

О. Да.

В. Но это происходило на дворе...

Председатель. Я нисколько не намерен стеснять свободу защиты, но я просил бы держаться только обстоятельств дела.

Присяжный поверенный Александров. Я необходимо должен разъяснить фактическую сторону дела.

Председатель. Но эти обстоятельства не относятся до дела.

Присяжный поверенный Александров. Мне кажется, что эти сведения могут оказаться полезными; во всяком случае, я прошу снисхождения, потому что, может быть, некоторые вопросы могут показаться излишними, но предварительно трудно решить, какой вопрос нужен для защиты или нет. Я всегда придерживаюсь того правила: лучше спросить больше, чем недоспросить. *(Свидетелю)*. Крики, которые начались между арестантами, были ли вызваны Боголюбовым, повлиял ли он на арестантов знаком, или независимо от него начались эти крики?

О. Я не могу сказать.

В. Вы не припомните того, что Боголюбов на вопрос градоначальника: почему арестанты гуляют вместе? — ответил, что он, Боголюбов, совсем по другому делу, чем те арестанты, с которыми он ходит.

О. Я не помню, что он начал говорить, но только он начал говорить, и тогда градоначальник заметил, что это до него не касается, чтоб он ушел; затем последовали дерзости со стороны Боголюбова, но я не помню какие.

В. Вследствие чего последовало распоряжение о наказании Боголюбова?

О. Вследствие того, что арестанты начали бунтовать.

В. Какая связь между бунтом арестантов и наказанием Боголюбова?

О. Этого я не знаю.

В. Наказание было произведено в тот же день?

О. В тот же день, но я при этом не был, я был потребован к прокурору судебной палаты.

В. Вы не можете припомнить, как скоро последовало наказание после отъезда градоначальника?

О. Я не могу сказать, но помню, что это было до обеда.

В. Вы не помните, где происходило наказание и при каких обстоятельствах?

О. Кажется, в коридоре.

В. Вы были у прокурора до наказания или после?

О. До наказания; меня сейчас же потребовал прокурор.

В. Вы имели распоряжение о наказании словесное или письменное?

О. Письменное.

В. Вы его когда же получили?

О. В тот же день, когда градоначальник уехал, — он прямо домой поехал, и вскоре я получил это предписание.

В. Вы не можете сказать, прошел большой промежуток времени?

О. Нет, очень короткий.

В. Наказание последовало по получении письменного распоряжения или до?

О. Письменное распоряжение было получено во время моего присутствия, а наказание произведено в мое отсутствие.

В. Кто в ваше отсутствие распоряжался этим наказанием?

О. Кажется, служителя.

Председатель. Боголюбов был наказан вследствие шума, который делали аректан-

ты, или вследствие дерзостей, которые сам делал?

О. Вследствие шума арестантов.

Присяжный заседатель. Свидетель Курнеев говорит, что выстрел последовал в левую сторону, между тем из показания его видно, что левый бок находился в стороне от подсудимой.

Свидетель. Первая стояла подсудимая, градоначальник повернулся, переговоривши с подсудимой, и очутился к ней левой стороной.

Член суда Ден. Градоначальник отошел от первой просительницы, или нет?

О. Он сделал полшага.

Председатель *(к Засулич)*. Вы знакомы с ген.-ад. Треповым?

О. Нет, я его не знаю и никогда не встречала его, в первый раз видела.

Свидетель надворный советник Греч.

Председатель. Вы служите в канцелярии градоначальника?

О. Да.

В. Какую должность занимаете?

О. Чиновника особых поручений.

В. Вы были в день происшествия дежурным?

О. Да.

В. Расскажите, как это произошло?

О. В 10 часов утра я, Курнеев и дежурный офицер Цуриков ввели просителей в приемную комнату градоначальника; просителей было человек двенадцать, в числе их была подсудимая. Она встала первая около дверей кабинета генерала. Он вышел, она подала ему прошение, что просит свидетельство о поведении. Когда ее генерал спросил об адресе, она сказала, что адрес указан. Затем генерал повернулся к следующей

просительнице, которая стояла около печки, так что подсудимая осталась с боку. Она устремила взоры свои на меня, и на Курнеева пристально посмотрела; я приписал это тому, что она хотела выйти, но не могла потому, что тут стоял стул. В это время раздался выстрел, и генерал Трепов пошатнулся несколько в сторону, затем стал падать. Подсудимая стояла предо мною, в руках ее был револьвер, но она сейчас же его опустила, и я его поднял потом; она была арестована Курнеевым.

В. Объясняла она, почему она это сделала?

О. Нет, ничего не объясняла.

В. Как она была одета? Как на этой карточке?

О. Нет, она была без платка.

В. На каком расстоянии она стояла?

О. Она стояла совершенно близко.

В. Как вы полагаете, выстрел был в упор?

О. Да, в упор.

Товарищ прокурора. Вы говорите, что вы на нее смотрели?

О. Да, потому что она устремила взоры на меня.

В. Вы стояли еще ближе к Трепову, чем маиор Курнеев?

О. Я стоял с правой стороны от генерала.

В. Как вы полагаете, много времени прошло со времени аудиенции Засулич до выстрела?

О. Очень мало, может быть, одна минута, — генерал всего два вопроса сделал.

В. У вас не было сомнения, чтобы она желала сделать другой выстрел?

О. Нет, незаметно.

Свидетель коллежский асессор Цуриков.

Председатель. Вы где служите?

О. Помощником пристава охтенского участка.

В. Вы были 24 января у градоначальника?

О. Я был тогда дежурным.

В. Что там случилось?

О. В десять часов генерал потребовал просителей; в то время с просителями находился я, чиновник особых поручений и экзекутор канцелярии Курнеев. Просителей было человек пятнадцать; первая стояла Засулич. Он подошел к ней первой, принял прошение, спросил, о чем оно, сделал пометку и повернулся ко второй просительнице. В это время последовал выстрел. Я взял ее за руки, Курнеев за плечи, и я повел ее. Генерал взялся правой рукой за бок, потом упал.

В. Генерал начал падать после того как вы повели Засулич, или до этого?

О. Нет, когда выстрел последовал, и я взял ее за руки, генерал вскорости взялся рукой за бок и постепенно начал падать.

В. В каком расстоянии стояла Засулич, когда стреляла?

О. Не более как на пол-аршина.

В. Что она говорила, зачем это сделала?

О. Я спрашивал ее, когда привел в дежурную комнату, спрашивал о ее звании. Она назвалась дворянкой Козловой, Тверской губ. и уезда, дочерью отставного подпоручика, находилась домашней учительницей. Вместе с тем я спрашивал, что ее побудило, и она сказала: Боголюбовская история.

Товарищ прокурора. Вы разговаривали с ней долго?

О. Да, я все время находился с нею.

В. Что вы можете сказать о состоянии ее духа после выстрела, — была ли она в волнении?

О. Этого не было заметно.

В. Долго градоначальник с нею разговаривал?

О. Нет, недолго.

В. Далеко вы стояли от градоначальника?

О. Нет, недалеко — первый стоял Греч, Курнеев, потом я.

В. Когда последовал выстрел, видели вы револьвер или нет?

О. Нет.

В. Высовывался конец револьвера из-под тальмы?

О. Нет.

В. Тальма была широкая, длинная?

О. Да.

Свидетелю была предъявлена карточка Засулич, которую он признал.

Свидетель придворный конюх Соловьев.

Председатель. Что вы знаете по этому делу? Вы были очевидцем преступления?

О. Да. Когда нас позвали в приемную комнату, где принимаются прошения, нас поставили в порядке; та, которая сделала выстрел, встала первой. Вышел генерал Трепов, взял у нее прошение; затем подошел ко второй, спросил, о чем у нее прошение, та не могла ответить. В это время раздался выстрел, я сейчас взад, прошение выпало у меня из рук. Я поддержал Федора Федоровича; принесли подушку, а нам домой велено итти.

В. Как далеко она стояла?

О. Она стояла, затем старушка и я.

В. Когда она выстрелила, револьвер упал у нее?

О. Да, упал на пол.

Товарищ прокурора. Много ли времени прошло между разговором градоначальника и тем, что она выстрелила?

О. Я, право, не знаю; в скором времени. Генерал только успел спросить, в чем прошение, старушка не могла ответить.

В. Долго он разговаривал с Засулич?

О. Нет, он только спросил, в чем прошение, и она ответила.

В. Чиновники далеко стояли от Засулич и градоначальника или близко?

О. Нет, они стояли близко.

В. Вы видели Засулич в той комнате, в которой дожидали приема, пока не ввели вас в зал?

О. Нет, я ее не заметил.

В. Вами никто не был замечен, кто бы ходил, волновался?

О. Нет, я ничего не заметил, я только думал о своем прошении.

Свидетель оружейник Лежен.

Председатель. Вы — хозяин оружейного магазина?

О. Нет, — я сын его.

В. Вы торгуете в оружейном магазине?

О. Да.

Свидетелю были предъявлены два револьвера, лежавшие на столе вещественных доказательств.

Председатель. Вам знакомы эти револьверы?

О. Да.

В. Что вам известно об их покупке?

О. Револьвер этот куплен у меня 12 января неизвестным лицом *(указывает на револьвер, который короче)*. Он прежде купил револьвер, потом вынул из кармана другой и сказал, не возьму ли я его в обмен. В первый раз револьвер был куплен накануне Рождества.

В. Кто приходил, тот же самый человек?

О. Да.

В. Который из двух револьверов сильнее?

О. Тот, который был куплен у меня последним.

В. Для чего употребляются такие револьверы, употребляются ли они для охоты?

О. Для охоты не употребляются.

Председатель. Не признают ли стороны нужным прочесть показания свидетеля, потому что в его показаниях встречаются разногласия.

Стороны изъявили согласие.

Председатель. Вы показывали, что 24 декабря был куплен у вас револьвер немецкой работы, а вторая покупка была 4 января *(читает)*: «24 декабря пришел в 2 часа в магазин неизвестный человек, спросил револьвер «Бульдог» и купил револьвер немецкой работы за 21 рубль. Затем тот же человек пришел 4 января и спросил револьвер английской работы, причем продал представленный револьвер системы Вейдле за 11 руб. и доплатил 10 руб. В оба раза он патронов не покупал и объяснял, что у него есть много такого калибра патронов, которые подходят к «Бульдогу».

Товарищ прокурора. Только один сорт револьверов сильнее того, который купил неизвестный?

О. Да, только еще один сорт, тот длиннее этого значительно.

В. Старый револьвер, который был принесен для продажи, был в исправности?

О. Да.

В. Но он был слабее?

О. Да, значительно слабее.

В. Калибр пуль разный?

О. Да, разный.

Подсудимой были предъявлены оба револьвера. Она сказала, что стреляла из того, который короче, а другого никогда не видала.

Председатель (*свидетелю*). Что — система этих револьверов одинакая?

О. Да, одинакая.

Затем свидетелю и подсудимой были предъявлены патроны. Она признала, что ими был заряжен револьвер.

Прочтено было показание ген.-ад. Трепова, данное им 24 января 1878 г. следующего содержания:

«Сегодня, в 10 ч. утра, во время приема просителей в приемной комнате находилось несколько просителей. Приняв первую просительницу — фамилии ее не упомню, я приступил ко второй, которая на вопрос мой: что ей угодно? — стала просить выдать ей свидетельство с удостоверением о ее поведении. Она была очень закутана и теплее одета, чем другие лица, так что я не мог рассмотреть ее. Когда я приступил к третьей просительнице, которая стояла рядом со второй, и повернулся к ней лицом, раздался выстрел, которого, однако, я не слышал, и я упал раненый в левый бок. Маиор Курнеев бросился на стрелявшую женщину и между ними завязалась борьба, причем женщина не отдавала упорно револьвера и желала произвести второй выстрел. Женщины я этой до сих пор не знал и не знаю, что за причина побудила ее покуситься на мою жизнь».

Председатель. Подсудимая Засулич, здесь были даны показания свидетелей, очевидцев вашего преступления. Что вы можете сказать вообще о показаниях свидетелей относительно факта совершенного вами поступка? Объясните, хотели вы стрелять второй раз?

О. Нет.

В. Что сделалось после с револьвером?

О. Я его бросила тотчас же. Я его бросила, потому что боялась, что когда бросятся на меня, я могу выстрелить второй раз, потому что курок очень легко спускался, а я этого не желала.

В. Объясните, откуда вы приобрели этот револьвер?

О. Я просила купить одного знакомого.

В. Объясняли вы ему причину?

О. Нет, не объясняла.

В. Откуда вы достали патроны?

О. Он же принес коробочку.

В. Боролись вы с теми лицами, которые вас задержали?

О. Я вовсе не боролась, ни одного движения не сделала.

Член суда Ден. Вы дали денег тому лицу на покупку револьвера?

О. Я сказала, что дам деньги, он купил на свои и, когда принес мне револьвер, я дала ему деньги.

В. Сколько вы дали денег?

О. Кажется, 21 рубль.

В. Раньше вы пробовали стрелять из револьвера?

О. Нет, незаряженный пробовала.

Предъявлено было подсудимой прошение, поданное ею градоначальнику.

Председатель. Это прошение вы подавали?

О. Да.

В. Не можете ли объяснить, почему вы назвались Козловой?

О. Это была первая попавшаяся фамилия.

В. Отчего вы не назвались вашим собственным именем?

О. Я потому не хотела назваться своей фамилией, что раньше я была прописана у одной знакомой девицы, и я думала, что дело мое будет разбираться политическим порядком; могли узнать, что она живет со мною, ее стали бы разыскивать и могли арестовать; я хотела дать возможность моей знакомой уйти от преследований, а если бы тотчас было известно мое имя, то она не могла бы уйти.

В. Под каким именем вы были прописаны на квартире?

О. Под именем Лапиной.

В. В виду чего вы были прописаны под этой фамилией? Потому что хотели совершить преступление?

О. Да.

Присяжный заседатель. Не обращалась ли подсудимая прежде к ген.-ад. Трепову с какой-нибудь просьбой?

О. Нет, никогда не обращалась.

Председатель. Подсудимая, теперь начнется допрос свидетелей, вызванных вашим защитником, — не хотите ли дать объяснение, о чем вы хотели их спрашивать?

О. О том происшествии, которое было в доме предварительного заключения.

В. Какое отношение это имеет к делу?

О. Если бы не было этого происшествия, я не стреляла бы.

В. Откуда оно стало вам известно?

О. Из газет, из краткой газетной заметки, потом из рассказов разных лиц в Петербурге.

В. Разных лиц, бывших очевидцами?

О. Нет, слышавших от очевидцев; я так много слышала рассказов, что могла проверить.

В. Какую газетную заметку вы прочитали?

О. В «Новом времени».

В. Что там было сказано?

О. Там было сказано, что один член администрации, посетив дом предварительного заключения и встретив гулявших на дворе арестантов, вследствие какого-то невежливого неудовлетворительного ответа на вопрос, приказал посадить Боголюбова в карцер, а за неснятие им шапки она была сбита у него с головы кулаком, а потом было приказано высечь его. Подробности этого происшествия я слышала из рассказов.

В. Вы приехали в Петербург и здесь расспрашивали или узнали об этом внутри России?

О. В Петербурге.

В. Зачем приехали в Петербург?

О. У меня здесь родные.

В. У вас была уже тогда цель отомстить ген.-ад. Трепову?

О. Нет, тогда определенной цели не было, я приехала по своим делам.

Свидетель Петропавловский.[137]

Председатель. Вы знаете подсудимую?

О. Нет.

В. Вы содержались в доме предварительного заключения?

О. Да.

В. Вы имели свидания с кем-нибудь?

О. Нет, я ни с кем не видался.

В. Когда вы сидели в тюрьме, вы не могли рассказывать кому-нибудь?

О. Нет.

В. Вы писали кому-нибудь?

О. Нет, писать было также нельзя.

В. Когда вы выпущены из дома предварительного заключения?

О. 23 января 1878 г.

В. Вы подсудимой не рассказывали ничего о том, что было в доме предварительного заключения?

О. Нет, я ее не знал.

Присяжный поверенный Александров. Вы присутствовали при встрече градоначальника с Боголюбовым?

О. Да.

В. Расскажите, как это происходило?

О. Я гулял вместе с девятью человеками, которые были выведены на двор для гулянья. Эти девять человек разделились на группы; в каждой было по два, по три человека; в одной из групп были Кадьян, Боголюбов и я. Это было около 10 часов утра. Вдруг отворяются ворота и появляется градоначальник. Мы в то время стояли на противоположном конце двора; градоначальник подходит к нашей группе и обращается к управляющему, который шел рядом с ним, и спрашивает его раздраженным тоном — почему мы гуляем вместе, так как по правилам мы должны и в камерах сидеть в одиночку. В это время управляющим был маиор Курнеев. Что он ответил, я не знаю; но вместо него счел нужным ответить сам Боголюбов, который заметил, что он уже присужден и имеет право видеться со всеми теми, которые сидят тут, в доме предварительного заключения. После этого градоначальник стал еще более раздражен. Он обратился к Боголюбову и довольно зычным голосом закричал: «Разве я к тебе обращаюсь?..»—и этот вопрос повторил несколько раз.

В конце концов, он закричал: «Взять его в карцер!» Но так как в это время не было лица, которое могло бы исполнить его приказание, мы имели возможность обойти еще вокруг двора. Когда мы обошли и встретились опять с управляющим и градоначальником, тогда градоначальник подбегает к Боголюбову очень близко, замахивается на него рукой и кричит: «Долой шапку!» Боголюбов, видя угрожающее движение руки, отскакивает; вследствие такого движения шапка свалилась несколько на-бок; он подхватывает ее и надевает; тогда опять градоначальник подбежал к нему и замахнулся на него рукою, но я был тогда в таком возбужденном состоянии, что не видал, сбил ли он с него шапку. В скором времени после этого Боголюбов был отведен в карцер.

Председатель. Что вам известно о наказании?

О. Я сам об этом не слыхал, так как в то время уже сидел в камере.

В. Так что потом об этом узнали?

О. Да.

В. Другие арестанты при этом производили шум?

О. Да, во время последней сцены, когда градоначальник замахнулся рукой на Боголюбова, сделался ужасный шум, и вследствие этого шума градоначальник ушел.

В. Был один шум, или что было еще?

О. Нет, был только шум.

В. Форточки разбивались?

О. Нет, в то время был только один шум.

В. Боголюбов к чему был присужден?

О. Он был присужден к каторге.

В. Встречаясь с градоначальником, он кланялся ему?

О. Когда мы первый раз встретились с ним, мы все сделали ему поклон; Боголюбов снял шапку так же, как и Кадьян.

Присяжный поверенный Александров. Не было возбуждения со стороны Боголюбова прочих арестантов к шуму?

О. Нет, после тех слов, которые вызвали раздражение градоначальника, Боголюбов ничего не говорил; я мог слышать, так как стоял возле него.

В. Вследствие чего же начался шум со стороны арестантов?

О. Когда они увидали последнюю сцену, когда градоначальник сшиб шапку с Боголюбова, тогда все подняли крик негодования.

В. Вы не припомните, не ответил ли Боголюбов градоначальнику, что он по другому делу, нежели вы и доктор Кадьян?

О. Он именно это и сказал ему при первой встрече, что он осужден и, кроме того, по другому делу.

В. Вы услышали в тот же день о наказании Боголюбова?

О. Об этом я слышал часа через три. Курнеев зашел на двор к нам и громко сказал, что Боголюбова будут сечь.

В. Это он сказал вслух при арестантах?

О. Да, и после этого произошел ужасный шум.

По просьбе защиты была прочтена заметка газеты «Новое время», сообщающая об этом происшествии:

«С неделю уже в городе ходят настойчивые слухи о каком-то происшествии в доме предва-

рительного заключения, находящемся рядом с зданием судебных установлений. «Голосу» передавали по этому поводу, что 13 июля один из представителей администрации в Петербурге, при посещении тюрьмы, остался недоволен порядками, заведенными в тюрьме лицами прокурорского надзора, на обязанности которых лежит наблюдение за содержанием арестованных. Между прочим, он заметил, что три арестанта прогуливаются вместе, и обратился к одному из арестантов с вопросом о причине такой свободы. Арестант этот оказался одним из обвиненных по делу о беспорядках, происшедших 6 декабря прошлого года на площади Казанского собора, Боголюбовым, приговоренным уже особым присутствием Правительствующего сената к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу, но еще ожидающим исполнения этого приговора. Неудовлетворительный, а может быть и недостаточно почтительный, ответ Боголюбова вызвал со стороны посетителя тюрьмы распоряжение о немедленном заключении арестанта в карцер. Исполнявшему это приказание пришлось проводить Боголюбова опять по двору, где находилось и лицо, отдавшее приказание. Проходя вблизи стоявшего с другими лицами посетителя, Боголюбов не снял фуражки; представитель администрации размахом руки сшиб фуражку с головы Боголюбова, а в наказание за оказанное ему неуважение приказал тюремному начальству подвергнуть Боголюбова телесному наказанию для примера другим содержащимся. На следующий день распоряжение это было исполнено, и Боголюбов наказан розгами в коридоре тюрьмы, в присут-

ствии всех арестантов того отделения, в котором содержался».

Товарищ прокурора. В виду прочтения этой заметки я просил бы прочитать копию с предписания градоначальника о наказании Боголюбова.

Присяжный поверенный Александров. Я полагаю, что прочтение этой копии будет нарушением форм и обрядов судопроизводства. На основании закона на суде могут быть прочитаны протоколы осмотра или вещественные доказательства. Копия с предписания градоначальника не может считаться вещественным доказательством, каковым мог бы считаться только подлинник этого предписания или протокол осмотра этого подлинника судебным следователем с понятыми и проч. Я это предвидел и потому предварительно просил окружный суд истребовать подлинник предписания градоначальника, но в этом мне было отказано, и я полагаю, что теперь, за неимением подлинника, читать копию невозможно. Я не могу утверждать, чтобы эта копия не была согласна с подлинником; но, с другой стороны, у меня нет никаких гарантий, удостоверяющих, что эта копия есть именно действительная копия с предписания градоначальника. В виду этого возможного сомнения, я не считаю возможным прочтение этой копии.

Товарищ прокурора. Если защитник предполагал возможным чтение подлинного предписания, то в чтении копии нет нарушения форм и обрядов судопроизводства. Что касается до того, что защитник говорит, что он не имеет гарантий, что копия эта подлинная, что есть

сомнения, то гарантия представляется подписью лица, удостоверяющего эту копию, которому известно, что за подлог документа он подвергается строгому наказанию.

Присяжный поверенный Александров. Говоря о невозможности прочтения, я разумею невозможность не вследствие содержания копии, — прочтение этой копии, по существу ее, не имеет ничего такого, чем были бы нарушены обряды судопроизводства, — я обращаю внимание на форму. Протокол осмотра, составленный судебным следователем, конечно, мог бы быть прочитан, но если б явилась копия с этого протокола, засвидетельствованная полицейским чиновником, то протокол этот не мог бы быть прочитан не по существу, не по содержанию своему, а по форме, в которой он воплощается. Таким образом, я полагаю, что самый подлинник может быть прочитан, но никак не может быть прочитана такая копия, которая, хотя и удостоверяется должностным лицом, но не таким должностным лицом, которому предоставляется составление следственного акта. Вот потому, что этот документ не удовлетворяет установленной форме, я полагаю невозможным прочтение его.

Председатель. Окружный суд, выслушав заявления сторон, находит, что, хотя в виду окружного суда нет законного основания сомневаться в согласии копии с подлинным предписанием градоначальника, но, несмотря на отсутствие такого основания, ни копия, ни подлинно предписание не могли бы быть прочтены, в виду решения кассационного департамента Правительствующего сената по делу Зимина, коим объяснено, что справки из полицейских

управлений и мест заключений писаны быть не могут, — поэтому суд постановил в ходатайстве прокурора отказать. Но, в виду того, что закон обязывает меня уяснить обстоятельства дела, я должен удостоверить, что в обвинительном акте, который утвержден судебной палатой, сказано, что из справки, доставленной из дома предварительного заключения, видно, что, по предписанию градоначальника, лишенный всех прав состояния арестант Боголюбов был наказан 13 июля 25 ударами розог. Таким образом, вопрос достаточно выяснен. Затем я обращаю внимание на то обстоятельство, что в заметке сказано, что наказание было на другой день, тогда как здесь выяснено, что оно было в тот же день.

Свидетель Голоушев.[138]

Председатель. Вы знаете подсудимую?

О. Нет.

В. Нигде не встречали ее?

О. Нет.

В. Не рассказывали ей ничего о происшествии в доме предварительного заключения?

О. Я ее даже не видел.

В. Имели вы свидания?

О. Да, имел с матерью.

В. Рассказывали ей об этом происшествии?

О. Да.

В. Вам известно, что производится следствие о беспорядках, бывших в доме предварительного заключения?

О. Да, известно.

Присяжный поверенный Александров. Что вам известно о происшествии 13 июля?

О. Я был свидетелем всего происшествия с самого начала. Я сидел по-утру, около 10 часов

у окна и пил чай, когда заметил временное как бы затишье на дворе, показывающее, что там происходит что-то необыкновенное. Я взглянул в окно и увидал, что градоначальник, в сопровождении Курнеева и еще кого-то, вошел во двор. В это время там гуляло несколько подсудимых по политическим делам, в том числе и Боголюбов. Надо сказать, что на четырехугольном дворе есть круг, разделенный радиусами, где заключенные гуляют по одному; но случилось так, что гуляли вместе Кадьян, Петропавловский и Боголюбов. В то время, когда градоначальник встретился с ними, те отдали поклон, но градоначальник прошел мимо, не замечая этого. Затем градоначальник обратился к Курнееву с каким-то вопросом. Потом из общих рассказов я узнал, что вопрос заключался в том: «Зачем подсудимые гуляют вместе? Разве могут лица, сидящие по одному и тому же делу, гулять вместе?» Ответа, вероятно, не последовало. Затем я видел, что Боголюбов, приподняв фуражку, сказал что-то градоначальнику. Оказалось, что он сказал: «Я по другому делу». Тогда я слышал, что градоначальник, очень рассерженный, обратившись к нему, громко крикнул: «Не с тобой говорят»— и спросил его фамилию у Курнеева. Тот отвечал: «Боголюбов». — «Осужденный?» — «Да». Тогда градоначальник крикнул: «В карцер!» Последовало общее недоумение, затем градоначальник продолжал путь с сопровождавшим его Курнеевым, а Боголюбов пошел по другую сторону круга, так что они неизбежно должны были встретиться. Когда опять Боголюбов поравнялся с градоначальником, тогда градо-

Начальник закричал: «В карцер! в карцер! Шапку долой!» — и замахнулся на него рукой. Сшиб он шапку с Боголюбова или нет, я не знаю, но я видел размах, который должен был попасть в Боголюбова, и шапка свалилась. Тогда начался шум, да иначе и быть не могло. Я помню, что через несколько времени, когда шум стал затихать, Курнеев вышел на двор и объяснил, что Боголюбова будут сечь, — вероятно, желая успокоить арестованных. Может быть, я вношу известную долю волнения в этот рассказ...

Председатель. Вы не волнуйтесь, успокойтесь немного.

Голоушев. Я был слишком близким свидетелем этого происшествия и не могу забыть его и мне трудно удержаться от волнения. *(Продолжает).* Затем поднялся общий крик негодования, который проявился тем, чем может проявиться у человека, запертого в клетке. Затем началась расправа. Я был посажен в карцер и не мог слышать как происходила экзекуция; я слышал только стоны, крики, но как было — сказать не могу. Затем я прошу позволить мне объяснить еще одно обстоятельство, которое может выяснить дело присяжным заседателям. Вся эта история отозвалась на всех так сильно, что о ней было подано тогда же заявление в особое присутствие и был поставлен вопрос так, что если преступление не будет разобрано, то подсудимые отказываются от всякого участия в суде.

В. Доводимо было до вашего сведения о самом производстве экзекуции?

О. Это не было доведено официальными лицами, но понятно, что рассказы об этом дохо-

дили до меня. Я слышал, что экзекуцию первоначально предполагалось произвести при всех подсудимых на дворе, но потом, почему-то, произвели ее в коридоре, откуда могли доноситься стоны и свист розог.

Свидетель Щитолев.

Председатель. Вы знаете подсудимую Засулич?

О. Нет, не знаю.

В. Вы с ней не встречались?

О. Нет.

В. Рассказывали об обстоятельствах происшествия в доме предварительного заключения?

О. Нет, никогда.

Присяжный поверенный Александров. Что вы знаете о происшествии 13 июля в доме предварительного заключения?

О. В доме предварительного заключения, летом, содержащиеся там преступники имеют обыкновение большею частью проводить время на окнах. 13 июля, когда я занимался в своей камере, я услышал шум на дворе. Я подбежал к окну и увидал градоначальника и еще несколько лиц, совершенно незнакомых, которые вместе с управляющим стояли подле осужденного по политическому делу Боголюбова; когда я подошел к окну, в это время я увидел, что градоначальник замахнулся рукой на Боголюбова, но я не заметил, ударил ли он его или хотел сбить с него шапку, но мне казалось, что он не сбил шапки, а она сама свалилась от движения Боголюбова, который уклонился от удара. Из окон арестованных поднялись крики негодования, градоначальник повернулся и быстро пошел со двора. После его ухода долго еще

раздавались крики из окон, и некоторые из сидевших ближе слышали, что градоначальник велел посадить Боголюбова в карцер, и передали это своим товарищам; тогда поднялись крики: «Освободить Боголюбова из карцера»; когда его уже надзиратель увел туда, эти крики продолжались с полчаса, или с час времени — определить не могу, потому что мы тогда все находились, большею частью, в возбужденном состоянии. Через час или полчаса вошел исправлявший должность управляющего во двор; крики смолкли; арестованные думали, что он желает сказать что-либо, чтобы успокоить, но он, вместо того, объявил нам, что Боголюбов будет высечен. Это объявление возбудило негодование всех подсудимых, они чувствовали себя в высшей степени оскорбленными, и крики начались с новой силой. Я думаю, через час мы услышали по коридору особенно сильное движение, и некоторые из товарищей закричали, что в доме находится много городовых, которые заходят в камеры и куда-то ведут арестантов, но ко мне не входили.

В. По делу о беспорядках вас допрашивали?

О. Нет.

Председатель. Я должен вам сказать, господа присяжные заседатели, что в показаниях этого свидетеля заключается утверждение того, что были беспорядки и что производится дело о превышении власти лицами, заведывавшими домом предварительного заключения, но это не касается настоящего дела.

Присяжный поверенный Александров. О самом свойстве экзекуции имеете вы сведения?

О. Это было часа в два. Сидящие внизу дома предварительного заключения, в первых нумерах, сказали, что производится экзекуция перед их камерами; сначала этому многие не поверили, думали, что это обман, хотя те уверяли, что слышали даже стоны, но потом, через некоторое время, пришел один из начальствующих и сказал, что производится экзекуция.

Председатель. Каким образом сообщило вам начальство?

О. У нас есть обыкновение, что управляющий и его помощник выходят на двор и разговаривают с нами.

Свидетельница Чарушина[139] (урожденная Кувшинская).

Председатель. Вы знаете Засулич?

О. Нет.

В. Вам не приходилось рассказывать ей о боголюбовской истории?

О. Нет.

В. Вы имели свидания?

О. Имела.

В. Вы рассказывали кому-либо об этом происшествии?

О. Рассказывала.

В. Вы вызывались как свидетельница к судебному следствию по делу о беспорядках 13 июля в доме предварительного заключения?

О. Да.

Присяжный поверенный Александров. Какие сведения имеете вы о происшествии 13 июля?

О. Я, собственно, видела приготовление к сечению. Я помещалась в верхней камере, из которой прекрасно виден выходной двор. Около

10 часов утра — не ручаюсь за верность, этот день был такой ужасный для заключенных, но приблизительно это было так — стали доноситься до нас шум, гул, крики; но впоследствии оказалось, что это был шум, который доносился на женское отделение с мужского отделения. Потом на дворе началось большое движение, нечто необыкновенное, начали проходить толпы городовых, я не могу сказать, сколько времени это продолжалось, но видела две или три толпы, человек по 20 или 30. На женском отделении все чувствовали, что происходит что-то необыкновенное, но что именно — мы не знали. Наконец, предположения наши стали делаться более точными. Против наших окон, на проходном дворе, были два сарая; вдруг двери раскрылись, и оттуда вытащили огромные вязанки розог и начали делать из них небольшие пучки: стало ясно, что приготовляется, что готовится что-то тяжелое, все начали догадываться — экзекуция... Я не могу не волноваться при этом воспоминании...

Председатель. Вы успокойтесь, не волнуйтесь. Скажите, что касается только Боголюбова.

О. Когда вязали розги, вяжущие делали жестами угрожающие движения, смотря на наши окна и по направлению к мужскому отделению.

В. Солдаты вязали?

О. Да, солдаты и служителя дома предварительного заключения.

В. Это произвело какое-нибудь волнение, крики на женском отделении?

О. Да, волнение было очень сильное. Требовали, чтобы пришел кто-нибудь из админи-

страдании, чтобы спросить, что это значит, но на это требование никто не явился. Собственно говоря, волнение выражалось в том, в чем может выразиться волнение человека запертого.

В. После этого волнения продолжалось вязание розог?

О. И после этого продолжали вязать розги, но вязание происходило уже в сарае. Когда же проносили их через двор, то прикрывали фалдами и полами платья.

В. Не можете ли сказать, сколько было приготовлено розог?

О. Довольно большое количество, но точно сказать не могу: было не пять, не шесть, не восемь пучков, но больше.

По просьбе товарища прокурора председатель приглашает Курнеева для вторичного допроса. [140]

Товарищ прокурора. Вы были опрошены судебным следователем по делу о беспорядках в доме предварительного заключения?

Курнеев. Да.

В. В качестве кого?

О. На меня была жалоба.

В. В качестве обвиняемого? [141]

О. Да.

Присяжный поверенный Александров. Я просил бы позволения пояснить это обстоятельство, так как мне об этом деле неизвестно. Я просил суд об извлечении справок из этого следствия, но мне было отказано. Так как теперь вопрос об этом деле поднят заявлением вашего превосходительства и прокурором пред присяжными заседателями, я просил бы предложить манору Курнееву вопрос: в чем он обвиняется и за что привлечен к этому делу?

Курнеев. По жалобе политических подсудимых, что будто бы по моему распоряжению их били.

В. Когда это было?

О. После того, как их сажали за бунт в карцер.

В. Так что это обвинение не имеет никакого отношения к наказанию Боголюбова? [142]

О. Нет, никакого.

Председатель. Подсудимая Засулич, свидетельские показания окончены, что вы можете теперь сказать?

Засулич. О происшествии 13 июля и о мотивах его я слышала в Петербурге от разных лиц, с которыми встречалась. Рассказывали о том, как в камеры врывались солдаты, как шумевших сажали в карцер; потом я слышала, что Боголюбову было дано не 25 ударов, а наказывали до тех пор, пока не перестал кричать. Я по собственному опыту знаю, до какого страшного нервного напряжения доводит долгое одиночное заключение. А большинство из содержавшихся в то время в доме предварительного заключения политических арестантов просидело уже по три и три с половиной года, уже многие из них с ума посходили, самоубийством покончили. Я могла живо вообразить, какое адское впечатление должна была произвести экзекуция на всех политических арестантов, не говоря уже о тех, кто сам подвергся сечению, побоям, карцеру, и какую жестокость надо было иметь для того, чтобы заставить их все это вынести, по поводу неснятой при вторичной встрече шапки. На меня все это произвело впечатление не наказания, а надругательства, вызванного какой-то личною злобой. Мне казалось, что такое дело не может, не должно пройти бес-

следно. Я ждала, не отзовется ли оно хоть чем-нибудь, но все молчало, и в печати не появлялось больше ни слова, и ничто не мешало Трепову, или кому другому, столь же сильному, опять и опять производить такие же расправы, — ведь так легко забыть при вторичной встрече шапку снять, так легко найти другой, подобный же ничтожный предлог. Тогда, не видя никаких других средств к этому делу, я решилась, хотя ценою собственной гибели, доказать, что нельзя быть уверенным в безнаказанности, так ругаясь над человеческой личностью... (В. И. Засулич была настолько взволнована, что не могла продолжать. Председатель пригласил ее отдохнуть и успокоиться; немного погодя она продолжала). Я не нашла, не могла найти другого способа обратить внимание на это происшествие... Я не видела другого способа... Страшно поднять руку на человека, но я находила, что должна это сделать.

Председатель. Расскажите, как вы это сделали, после какого промежутка времени, задолго ли до этого решились?

Засулич. Сказать определенно не могу, может быть за неделю.

В. Вы в первый раз в Петербурге узнали о подробностях наказания розгами?

О. Да, тотчас по приезде в Петербург.

В. Когда вы отправились к Трепову, вы желали его убить или только...

О. Убить или ранить — мне было все равно. Я хотела только показать этим, что нельзя так безнаказанно надругаться над человеком.

В. В вашем объяснении записано, что вы хотели отомстить градоначальнику.

О. Да, я хотела обратить внимание общественного мнения на это происшествие и сделать не так легким, не так возможным надругание над человеческим достоинством.

В. Когда вы стреляли, вы целились в какое-нибудь определенное место?

О. Нет, я стреляла наудачу, так, как вынулся револьвер, не целясь; если бы я была больше ростом или градоначальник меньше, то выстрел пришелся бы иначе, и я бы, может быть, убила его.

В. По какому делу вы содержались в одиночном заключении?

О. Я была свидетельницей по нечаевскому [143] делу и просидела в тюрьме год и десять месяцев.

В. Но вы были в качестве обвиняемой?

О. Сначала в качестве обвиняемой.

В. Какое вы имеете звание и чем занимаетесь?

О. Я была сослана... училась... Но мне трудно говорить обо всех подробностях; я рассказала свою биографию моему защитнику, — может быть, он расскажет ее суду.

Присяжный поверенный Александров. В моих беседах с подсудимою она передала мне многие биографические подробности и заявила, что ей было бы тяжело самой рассказывать это перед судом. Я думаю, что суд и господин прокурор разрешат мне в моей речи указывать на те биографические подробности, которые могут иметь отношение к настоящему делу. Если я получу уверенность в этом, тогда подсудимая не будет входить в объяснения, но если мне будет отказано, то я прошу дать ей слово, — с некоторым усилием она расскажет свою жизнь.

Председатель. Здесь вопрос другой, — здесь идет вопрос о месте воспитания ее. Подсудимая, где вы учились?

Засулич. Я кончила курс в Москве, в пансионе. Потом, несколько лет спустя, училась в Харькове и имею звание повивальной бабки, но мне трудно говорить обо всех подробностях...

Председатель. Господин товарищ прокурора, вы не встречаете препятствий к тому, чтобы биографические подробности подсудимой были рассказаны ее защитником?

Товарищ прокурора. Как мне ни тяжело не согласиться с желанием защиты рассказать биографические подробности о подсудимой в защитительной речи, но, так как тогда для меня могут явиться некоторые неожиданности в речи защиты, то я желал бы дать возможность рассказать самой подсудимой.

Засулич. В нескольких словах я могу теперь рассказать.

Присяжный поверенный Александров. Я желал бы отложить биографические подробности до конца судебного следствия.

Председатель пригласил экспертов; профессоров Склифассовского и Богдановского и докторов Барча, Дункана и Баталина, бывших в зале заседания во все время судебного следствия, дать ответы на следующие вопросы: на каком расстоянии могла быть нанесена рана и к какого рода повреждениям относится эта рана — к тяжким или легким.

Эксперты единогласно высказали мнение, что выстрел был произведен в упор, так что сюртук был обожжен, и что рана принадлежит

к разряду тяжких. В настоящее время состояние больного сравнительно удовлетворительно, однако же, тем не менее, рана еще гноится, и пуля, оставшаяся в теле, может образовать затек или иным образом может подвергнуть жизнь опасности. Вообще определить исход раны в настоящее время совершенно невозможно.

По окончании экспертизы председатель предложил подсудимой рассказать ее биографию.

Засулич. В марте 1867 г. я вышла из пансиона, выдержала экзамен на домашнюю учительницу и поступила на место писца к мировому судье в Серпухове. Осенью 1868 г. я приехала в Петербург, жила с матерью, ходила работать в переплетную и, кроме того, ходила в школу для учителей, чтобы обучиться звуковому способу преподавания. Там познакомилась с Нечаевым, который свел меня со своими знакомыми, получал на мое имя письма, а уехав за границу, присылал письма на мой адрес. В апреле 1869 г. у меня сделали обыск, ничего ровно не нашли; мать во время обыска заявила, что мы в Москву собираемся, на дачу. После этого, почти каждый день, из участка приходил городовой справляться, когда мы выезжаем. Выехали мы 30 апреля и в Москве, на вокзале, были арестованы. Переночевали в части и на другой день отправились с двумя жандармами в Петербург, прямо в III Отделение. Мать отпустили, а меня свезли в Литовский замок, где я просидела до мая 1870 г. В первую же неделю ареста заехал ко мне жандармский офицер и спросил, что я имею показать, прибавив, что от моих показаний будет зави-

сеть мое освобождение. Я отвечала, что даже не знаю, за что я арестована, и никак не могу «иметь что-нибудь показать». С тех пор меня целый год никуда не вызывали и ни о чем не допрашивали, так что я даже начала думать, что меня забыли в тюрьме. В мае меня перевели в крепость и допрашивали в чамодуровской комиссии. Наконец, в марте 1871 г., на пятой неделе поста, меня освободили и на Святой опять арестовали в первом часу ночи и посадили в пересыльную. В пересыльной ко мне ходила сестра, носила мне провизию, лакомства, книги, но ни денег, ни одежды не принесла. Высылка нам в голову не приходила; думали, что это недоразумение, так как прокурор, при освобождении, объявил мне, что я оказалась ни в чем невиновною и вполне свободна. На пятый день меня с двумя жандармами отправили в Крестцы, привезли к исправнику, и он отпустил меня на все четыре стороны с двумя рублями в кармане и в одном платье. Нашлись добрые люди, согласившиеся в доме дать мне комнату и кормить меня. В июне, вследствие моего прошения о «кормовых» и заявления зятя[144] (тоже ссыльного), что он может меня содержать, я была переведена в Тверь, затем была на суде свидетельницей, а после суда снова отправлена с жандармами туда же.

В 1872 г., летом, зятя, по подозрению в давании семинаристам запрещенных книг, перевели в Солигалич, Костромской губ., а меня, после его отъезда, арестовали, возили для допроса о семинаристах в Петербург и затем тоже в Солигалич отправили. В декабре 1873 г.

перевели в Харьков, где я оставалась под надзором полиции и без права выезда из него до сентября 1875 г. Там я окончила курс на акушерку, но, бывши под надзором полиции, не могла получить себе места. Я просила снять с меня полицейский надзор. Через несколько времени мне был разрешен выезд. В конце 1875 г. я уехала искать себе места. Потом жила то в Харькове, то в Петербурге. Последнее время была в Пензе.

Председатель. Не желают ли стороны чем-нибудь дополнить судебное следствие?

Заявлений о дополнении судебного следствия сделано не было.

Председатель. Судебное следствие окончено. Суд приступит к прениям. Господин товарищ прокурора, слово за вами.

РЕЧЬ ОБВИНИТЕЛЯ

товарища прокурора К. И. Кессель

Господа судьи, господа присяжные заседатели! По делам, выходящим из ряда обыкновенных, стороны, приступая к изложению своих доводов, нередко прилагают много усилий, чтобы обратить ваше внимание на важность дела и на то значение, которое будет иметь ваш приговор по этому делу. Позвольте мне не следовать этому примеру. Я делаю это потому, что знаю, что вы обращаете одинаковое внимание на все дела, которые подлежат вашему рассмотрению; я вместе с тем полагаю, действительно, что важное дело не нуждается ни в каких усилиях для того, чтобы поставить его на какой-то особый пьедестал. А между тем эти усилия поставить дело на

пьедестал, это, так сказать, муссирование дела, несовместимо с тем спокойствием и хладнокровием, которое необходимо для всестороннего и беспристрастного рассмотрения дела. Поэтому позвольте мне прямо приступить к изложению обстоятельств дела.

Я обвиняю подсудимую Засулич в том, что она имела заранее обдуманное намерение лишить жизни градоначальника Трепова и что 24 января, придя с этой целью к нему на квартиру, выстрелила в него из револьвера. Кроме того, я утверждаю, что Засулич сделала все, что было необходимо для того, чтобы привести свое намерение в исполнение.

Из этого вы видите, что мое обвинение несколько разнится от того сознания, которое вы слышали от самой обвиняемой. По ее словам, которые вы слышали, у нее существовало безразличное намерение: или убить, или ранить градоначальника Трепова. Таким образом, по словам Засулич, она имела то, что юристы называют альтернативным умыслом и что в общежитии называется условным намерением. Я утверждаю, что дело было не так, но прежде чем перейти к доказательствам, я считаю нужным сказать, как следует смотреть на сознание обвиняемого. Всякому известно, что человек, по свойству своей природы, стремится к тому, чтобы устранить все для него неприятное; каждый человек, обладающий умственными способностями, взрослый, живущий в обществе, знает, что за преступление законом полагается неприятное для преступника последствие; если, несмотря на все это, человек взрослый, живущий в обществе, обладающий умственными спо-

собностями, сознается в преступлении, то из этого можно выводить одно только заключение: что преступление действительно совершено лицом сознающимся. Таким образом, сознание служит достаточным доказательством тех фактов, относительно которых оно делается. Но это правило не безусловно. Бывают случаи, когда человек, в силу указанного уже свойства своей природы, сознаваясь, умалчивает — вольно или невольно, умышленно или неумышленно — о некоторых фактах дела или, не скрывая фактов, придает им не то значение, которое они в действительности имели.

Я сказал все это для того, чтобы объяснить, почему я вовсе не желаю упрекать Засулич в том, что она сознается, по моему мнению, не вполне: закон, как вам известно, дает подсудимому право даже вовсе не отвечать на вопросы, которые ему предлагаются; закон поступает таким образом потому, что обвиняемому, в силу человеческой природы, весьма естественно и свойственно, умышленно или неумышленно, придавать фактам не то значение, которое они имеют.

Затем я перехожу к изложению фактов настоящего дела. Уже один взгляд на орудие, которым совершено преступление, наводит на ту мысль, что у Засулич было намерение не только ранить, но и убить. Если бы этого намерения не было, то можно было бы действовать оружием менее смертоносным. Но мало того, что самое оружие указывает на цель преступления; мало того, что преступление совершено при помощи огнестрельного оружия,— оно совершено наиболее сильным огнестрель-

ным оружием. Вы слышали здесь показание свидетеля Лежена, который удостоверил, что кроме револьверов, называемых бульдогами, к числу которых принадлежит и револьвер, купленный для Засулич, существует только один еще род револьверов сильнее этих бульдогов, но эти последние револьверы употребляются единственно для медвежьей охоты и по размеру очень длинны. Следовательно, такой револьвер не мог служить для цели Засулич. Подсудимая Засулич, как она сама говорит, приобрела револьвер только для того, чтобы произвести выстрел в градоначальника Трепова; следствием уже доказано, что хотя она имела револьвер до совершения преступления, тем не менее, для совершения преступления она приобрела еще более сильный, именно тот, который у нее был взят. Вы помните из показания Лежена, что к нему был принесен другой револьвер, который гораздо длиннее бульдога, но бьет слабее бульдога. Мне могут сказать, что Засулич давала одно только поручение купить револьвер и что для нее было безразлично, какой револьвер будет куплен. Я утверждаю, что это не так.

Всякий человек, который исполняет какое-нибудь поручение, старается исполнить его так, как оно ему было дано. Если было поручено купить револьвер, и если куплен весьма сильный, то из этого можно вывести только одно заключение, что в действительности было поручено купить именно сильный револьвер. Затем, если бы не требовался сильный револьвер, то для чего же было покупать новый, когда в руках уже имелся револьвер. Чей был револь-

вер, отданный Лежену при покупке бульдога? На вопрос этот можно дать два ответа: или что револьвер принадлежал неизвестному господину, исполнявшему поручение Засулич, или что он принадлежал самой подсудимой. Если остановиться на первом предположении, то возникают следующие вопросы: почему этот господин, получив простое поручение купить револьвер, не предложил свой; почему он выбирал другой и приплачивал 11 рублей к тому, который у него был? 11 рублей сумма, правда, незначительная, но для Засулич достаточно важная. Вы слышали, что она не имеет собственных средств к жизни. Она — акушерка, которая старается получить диплом на звание домашней учительницы, — все это — занятия почтенные, но, к сожалению, дающие много труда и мало средств к жизни. При таких условиях, Засулич, если бы она не имела особой цели, не стала бы приплачивать деньги за новый револьвер, когда в ее распоряжении уже находился револьвер и без этой приплаты. Если же отданный Лежену револьвер принадлежал самой Засулич, то заключение является то же самое: другой револьвер куплен только потому, что именно нужен был револьвер сильнее того, который имелся.

Но, спрашивается, для чего же нужен был сильный револьвер, когда и слабым на таком близком расстоянии можно было причинить значительное увечие. Расстояние было так близко, что выстрел, произведенный на этом расстоянии, все свидетели, а равно и эксперты, называют выстрелом в упор. На этот вопрос я отвечаю, что сильный револьвер был нужен Засулич, потому что ей было мало вероятности достиг-

нуть своей цели, именно убийства; ей нужна была полная в этом уверенность и для этого ей необходим был сильный револьвер. Но, кроме того, есть другие факты, доказывающие то же самое. Вы помните, что выстрел нанесен в весьма опасное место — в левый бок. Каждый, самый малосведущий, человек знает устройство человеческого тела настолько, чтобы понимать, что выстрел, сделанный в этом направлении, чрезвычайно опасен. Что такая рана может причинить смертельное повреждение, Засулич должна была знать, тем более, что она, по своей профессии, знакома с строением человеческого тела: она имеет понятие о внутреннем расположении органов тела и о том значении, которое имеют эти органы для жизни человека.

Сопоставьте эти факты с объяснением Засулич, прибавьте ко всему этому заключение экспертов, которое вы от них слышали и по единогласному заявлению которых вы знаете, что выстрел причинил несомненно тяжелое повреждение, что он только случайно оказался несмертельным; что если бы пуля приняла несколько иное направление, то исход был бы другой. Если вы сопоставите все это с объяснением Засулич относительно безразличности для нее нанесения раны или причинения смерти, то вы придете к тому же заключению, как и я, т. е. что она приобрела револьвер для того, чтобы, выстрелив в градоначальника Трепова, убить его; она приобрела револьвер наиболее сильный; она, кроме того, выстрелила почти в упор и по такому направлению, по которому всего естественнее можно было ожидать смерти. Все эти обстоятельства достаточно убеждают

в том, что она действительно покушалась на жизнь градоначальника Трепова.

Я теперь же хочу рассмотреть те возражения, которые мне могут быть сделаны защитою и которые я предвижу по вопросам, предложенным свидетелям во время судебного следствия. Мне могут быть сделаны следующие возражения: если Засулич действительно желала сделать выстрел только с целью причинить смерть, совершить убийство; если для нее не было безразлично убить или ранить, то почему она не выстрелила в то время, когда стояла лицом к лицу с градоначальником? Почему потом, когда градоначальник Трепов повернулся к ней боком, она не выстрелила несколько выше и не убила наповал? Ведь она обладает некоторыми знаниями относительно расположения внутренних органов человека, следовательно, легче другого могла направить свой выстрел прямо в сердце.

Я полагаю, что это возражение не имеет значения. Действительно, несколько мгновений, секунд градоначальник стоял лицом к лицу с Засулич, но в это время они разговаривали: ген.-ад. Трепов предлагал ей вопросы, на которые получал ответы; следовательно, в это время он смотрел на Засулич, и, конечно, при малейшем ее движении, он, как человек энергичный и решительный, заметив дуло револьвера, сумел бы отразить удар. Но, независимо от этого, я должен сказать, что я не причисляю Засулич к разряду тех людей, которые могут без малейшей степени возбужденного состояния стрелять в человека, хотя бы они и задолго до этой минуты решились на такое

преступление: как бы Засулич твердо ни решилась, все-таки ею должно было овладеть волнение в тот момент, когда ей пришлось приводить свое намерение в исполнение; вот это-то волнение и было причиной того, что она потеряла несколько секунд, в течение которых градоначальник стоял перед нею. Кроме того, я должен заметить, что всякий человек, который обдуманно решается совершить убийство, конечно, прежде обставит дело так, чтобы оно совершилось наиболее удобно, так, чтобы то действие, которое направлено к убийству, действительно вело к этой цели. И, конечно, такой человек легко сообразит, что выстрел сзади или сбоку скорее поведет к цели, нежели выстрел, произведенный прямо, стоя лицом к лицу с своей жертвой, особенно в том случае, когда выстрел направляется в человека, который, при своей известной энергии и решимости, легко может предусмотреть и отклонить удар.

Но почему Засулич, когда градоначальник Трепов повернулся к ней боком, не выстрелила вернее и не убила Трепова наповал?

В ответ на этот вопрос я попрошу вас вспомнить обстановку, при которой произведено покушение. Из показаний свидетелей Курнеева, Греча и Цурикова вы знаете, что все они находились близко от Засулич. Все они находились тут для того, чтобы исполнять распоряжения градоначальника и наблюдать за порядком. Мы не имеем никакого основания предполагать, чтобы они не исполняли своей обязанности; если бы они что-нибудь заметили, то, конечно, тотчас же постарались бы предупредить происшествие. Курнеев показывает, что немедленно после

подачи прошения он показывал глазами Засулич, чтобы она уходила. Когда Засулич поняла, что ей необходимо уходить; когда она увидела, что оставалось только несколько секунд для приведения намерения в исполнение; что Курнеев обратился уже к ней с просьбой удалиться,— ей оставалось только произвести выстрел так, чтобы стоявший близко от нее градоначальник не заметил этого выстрела. Она так и сделала, она не подняла насколько нужно руку с револьвером, она выстрелила, не вынув револьвера из-под тальмы. Если бы она еще немного приподняла револьвер, то это было бы замечено Курнеевым и Гречем, которые бросились бы к ней с целью отнять револьвер. Прибавьте еще к этому, господа присяжные заседатели, то смущение, в котором находилась Засулич; оно также было причиной того, что господин Трепов не получил смертельной раны. Правда, свидетель Цуриков говорит, что он не заметил, чтобы Засулич была смущена после происшествия, а Цуриков наблюдал за нею немедленно после происшествия, но это было не спокойствие, не хладнокровие,— это было оцепенение, наступающее в человеке после сильного нервного напряжения.

Итак, выстрел был произведен с целью причинить смерть градоначальнику, и если смерти не последовало, то это произошло не потому, чтобы Засулич не желала смерти господина Трепова, а потому, что обстоятельства сложились весьма благоприятно, потому еще, что потерпевший обладает чрезвычайно крепким организмом и, наконец, вследствие благоприятного исхода течения, о котором скромность господ экспертов заставила их умолчать.

Переходя к тем объяснениям, которыми Засулич мотивирует свое преступление, я, прежде всего, заявляю, что ни порицать, ни оправдывать действия градоначальника Трепова я не буду по следующим соображениям: я не могу не помнить, что градоначальник Трепов был спрошен по этому делу в качестве свидетеля; я не могу не помнить, что свидетель дает показание только о фактической стороне дела, что он не может входить в объяснение фактов, хотя бы они касались даже его собственных действий. Как представитель обвинительной власти, я не могу отступить от того принципа, которым должен руководствоваться прокурор в своих действиях, и не могу судить человека, не выслушавши его объяснений. Повторяю, я не могу и не желаю переходить на ту почву, на которой мне, вопреки указанному принципу, вопреки основным началам нашего судопроизводства, пришлось бы смотреть как на подсудимого, на человека, который является в деле свидетелем, то есть в настоящую минуту человека беззащитного. Но, независимо от всего этого, подобного рода разбор действий господина Трепова я нахожу и совершенно излишним. Я основываю это на следующих соображениях: я верю вполне Засулич, что те факты, которые она выставляет как мотив своего поступка, представлялись ей в том виде, в каком она излагала их здесь; я верю и в те чувства, о которых она здесь говорила. Я не желаю этим сказать, что признаю raison d'être, правильность или неправильность этих чувств. Я просто принимаю их как факты, исходящие из того общего положения, что каждый человек волен иметь те

чувства, те симпатии и антипатии, какие ему угодно. Никто не может требовать от человека отчета в его чувствах, и суд менее чем кто-либо другой имеет права, средств и желаний требовать такого отчета. Но когда чувства переходят в действия, когда симпатии или антипатии из области внутренней жизни человека переходят в область внешнего мира, населенного другими людьми, — тогда дело изменяется; тогда является на сцену другое соображение, состоящее в том, что никто не имеет права производить такого рода действий, которые нарушают права, а тем более касаются жизни другого лица. Каждый волен любить или ненавидеть кого ему угодно, но никто не может нарушать чужих прав. Всякий человек, имеющий здравый рассудок, должен понимать, что нельзя выражать свои чувства в таких действиях, в каких выразила их Засулич. Всякий человек, обладающий разумом и сердцем, посредством которых он может выработать в себе основные для всех одинаковые и всем понятные принципы нравственности, должен понимать, что такого рода действия, как действия Засулич, ведут не ко благу общества, а к тому, что на место разумных чувств и той мудрости сердца, к которым все мы обязаны стремиться, — права гражданства в жизни получают грубые инстинкты, ведущие к общественной дезорганизации.

Вот почему суд обязан потребовать отчет от человека, который выражает свои чувства так, как выразила их Засулич. Эта обязанность суда тем настоятельнее, чем важнее право, нарушенное подобного рода действиями; и нет, конечно, сомнения, что жизнь каждого чело-

века, будь он преступник или высокопоставленный общественный деятель, составляет такое право, обязанность защищать которое составляет самую настоятельную и самую дорогую обязанность суда.

Засулич, конечно, понимает, что указанием на свои чувства она не может оправдывать тех действий, которые она совершила; она понимает, что между ее чувством и действиями существует глубокая пропасть. Вот почему Засулич старается построить мост для перехода через эту пропасть.

Она говорит, что была убеждена, что действия, о которых она слышала и которыми возмущалась, должны были чем-нибудь отразиться на том лице, которое она считала виновником их. Она говорит, что хотела доказать, что нельзя безнаказанно производить подобного рода действия. Из этих слов Засулич видно, что ее действия служили как бы выражением обязанности, которую она на себя приняла, обязанности устранить явления, которые, по ее мнению, были вредны обществу. Нет сомнения, что обязанность каждого человека — помогать общественному развитию уничтожением всяких явлений, которые препятствуют этому развитию. Это положение составляет несомненную и всем известную нравственную истину. Да, несомненно, каждый человек обязан помогать общему развитию, но нет также сомнения, что ни один человек не имеет права возводить свои собственные взгляды на степень судебного приговора, этого единственного выразителя общественной совести; ни один человек не имеет права, при помощи подобной замены, прикры-

вать свои собственные взгляды ссылкою на обязанность. А какое право имела Засулич считать свое собственное решение чем-то в роде приговора суда? Какое право она имела присваивать своим взглядам те последствия, которые имеет только судебный приговор? Конечно, никакого, если не считать правом — уверенности в своей непогрешимости, уверенности чрезвычайно вредной, если за нею следует стремление осуществить свой взгляд, свое мнение, quand même, во что бы то ни стало.

Таким образом, для оправдания своих действий недостаточно сослаться на обязанность каждого человека содействовать развитию общества уничтожением вредных общественных явлений; необходимо, кроме того, иметь полные, несомненные и не подлежащие опровержению факты, доказывающие, что взгляд данного лица на известное общественное явление вполне солидарен со взглядом общества. Но и этого мало: необходимо еще подумать и о средствах, при помощи которых данное лицо желает провести этот взгляд в действительность. Здесь я считаю необходимым снова повторить замечание, сделанное мною, когда я говорил о чувствах. Каждый волен иметь те взгляды и убеждения, какие ему угодно; никто не может требовать отчета относительно убеждений, но, равным образом, никто не волен проводить в жизнь такие взгляды и убеждения, которые нарушают право других лиц. Точно так же никто не может действовать способом, составляющим нарушение чужих прав. Вот почему вопрос о способах действия приобретает громадное значение. Но разрешение этого вопроса не представляет

особых затруднений. «Поступай всегда так, чтобы то правило, на основании которого ты действуешь, могло быть признано за обязательное всеми разумными существами» — вот веками выработанная и всеми признанная формула образа действий как в частной, так и в общественной жизни. А так как разум доставляет нам неоспоримые доказательства необходимости нравственности, то нравственные действия и суть те, которые обязательны для каждого разумного существа.

В практической жизни общие положения, принципы нравственности осуществляются в правовых нормах; эти нормы выражаются законом, который путем отрицательным, путем определения, чего нельзя делать, указывает границы, за пределами которых начинается область безнравственности. Итак, в практической жизни формула поведения может быть изложена следующим образом: поступай всегда так, чтобы действия твои были законны. Следовательно, взявшись за исправление тех или других общественных явлений, признаваемых нами за вредные, мы должны действовать средствами нравственными, средствами законными. Эти средства принадлежат к числу самых сильных, самых быстрых, ведущих прямо к цели. И хотя в числе этих средств нет места самоуправству, но зато здесь мы находим то средство, которое называется судом — хранителем справедливости, судом, решающим, что̀ право и что̀ не право. Но этот суд требует, чтобы человек, желающий исправлять злоупотребления, сам сначала искоренил бы из себя небрезгливость в выборе средств и приобрел бы желание понимать ту

важную истину, которая заключается в изречении: in legibus salus — в законе спасение!

Время теперь обратиться снова к разбору способа действий Засулич. Я ни одной минуты не могу представить себе, чтобы Засулич считала те средства, к которым она прибегала, нравственными. Я не могу предположить этого потому, что вообще не допускаю в нашем обществе возможности существования таких людей, которые даже при самом поверхностном развитии, при самых смутных понятиях о нравственности, считали бы убийство за поступок нравственный. Остается поэтому предположить только одно: значит, по мнению Засулич, цель оправдывает средства, флаг прикрывает груз. Много, господа, было разного рода теорий, основанных на более или менее смелых софизмах, которые причиняли обществу много вреда, много бедствий, но не было ни одного софизма, который причинил столько вреда, сколько этот. И нужно удивляться, что находятся еще люди, которые предполагают, что при помощи безнравственных средств можно достигнуть нравственных целей. Нужно удивляться, как эти люди не могут понять того, что нет ни одного явления и факта внутренней или внешней жизни, которые не оказывали бы влияния на другие, не только ближайшие, но и самые отдаленные факты и явления; нужно удивляться, как эти люди не хотят понять, что если, по их мнению, цель может смягчать вредное значение дурных средств, употребленных для достижения этой благой, по их мнению, цели, то, с своей стороны, и эти средства должны также оказывать влияние на характер цели, для достижения

которой они употреблены. Нужно удивляться, как не хотят понять, что дурное средство, употребленное для достижения благой будто бы цели, само является фактом, требующим уничтожения.

И посмотрите, с какой беспощадной суровостью Засулич стремилась к достижению предположенной ею цели. Самоуверенно предположив, что ее взгляд вполне солидарен со взглядом общества, получив о боголюбовском деле сведения от лиц, не бывших очевидцами этого события, то есть из третьих рук, Засулич сочла возможным устроить какой-то тайный суд над лицом, сделавшим известные распоряжения. Устроив тайный суд, она сочла возможным соединить в своем лице и прокурора, и защитника, и судью; она считала возможным постановить смертный приговор, который она же, молодая женщина, и привела в исполнение, к счастью, не удавшееся. Я ни одной минуты не думаю, чтобы вы могли признать, что подобного рода средства не преступны. Я вполне уверен в вашем согласии с тем, что каждый общественный деятель, кто бы он ни был, имеет право на суд законный, а не на суд Засулич. Я уверен также в вашем согласии, что никакая общественная жизнь, никакая общественная организация не возможна там, где общественные деятели, администраторы, судьи, земские деятели, публицисты вынуждены были бы помнить, что как бы они ни поступали, а с той или с другой стороны на них все-таки будет направлен револьвер. Я думаю, что эти общественные деятели имеют право на то, на что имеет право каждый человек, — право на жизнь.

Я кончил. Я утверждаю что, обвиняя Засулич, я защищаю жизнь человека и заключаю свою речь теми же словами, которыми окончила Засулич: «Страшно поднять руку на жизнь человека». И я твердо уверен, что в глубине убеждений Засулич существует горькое, но правдивое сознание, что не только в ваших, но даже в ее собственных глазах никакие самые красноречивые рассуждения не сотрут пятен крови с рук, покусившихся на убийство.

РЕЧЬ ЗАЩИТНИКА

присяжного поверенного П. А. Александрова

Господа присяжные заседатели! Я выслушал благородную, сдержанную речь товарища прокурора, и со многим из того, что сказано им, я совершенно согласен; мы расходимся лишь в весьма немногом, но, тем не менее, задача моя, после речи господина прокурора, не оказалась облегченной. Не в фактах настоящего дела, не в сложности их лежит его трудность; дело это просто по своим обстоятельствам, до того просто, что если ограничиться одним только событием 24 января, тогда почти и рассуждать не придется. Кто станет отрицать, что самоуправное убийство есть преступление; кто будет отрицать то, что утверждает подсудимая, что тяжело поднимать руку для самоуправной расправы? Все это истины, против которых нельзя спорить, но дело в том, что событие 24 января не может быть рассматриваемо отдельно от другого случая: оно так связуется, так переплетается с фактом совершившегося в доме предварительного заключения 13 июля, что если непонятным будет смысл покушения, произведен-

ного В. Засулич на жизнь ген.-ад. Трепова, то его можно уяснить, только сопоставляя это покушение с теми мотивами, начало которых положено было происшествием в доме предварительного заключения. В самом сопоставлении, собственно говоря, не было бы ничего трудного; очень нередко разбирается не только такое преступление, но и тот факт, который дал мотив этому преступлению. Но в настоящем деле эта связь до некоторой степени усложняется, и разъяснение ее затрудняется. В самом деле, нет сомнения, что распоряжение ген.-ад. Трепова было должностное распоряжение. Но должностное лицо мы теперь не судим, и ген.-ад. Трепов является здесь, в настоящее время, не в качестве подсудимого должностного лица, а в качестве свидетеля, лица, потерпевшего от преступления; кроме того, чувство приличия, которое мы не решились бы переступить в защите нашей и которое не может не внушить нам известной сдержанности относительно ген.-ад. Трепова как лица, потерпевшего от преступления, — я очень хорошо понимаю, что не могу касаться действий должностного лица и обсуждать их так, как они обсуждаются, когда это должностное лицо предстоит в качестве подсудимого. Но из того затруднительного положения, в котором находится защита в этом деле, можно, мне кажется, выйти следующим образом. Всякое должностное, начальствующее лицо представляется мне в виде двуликого Януса, поставленного в храме, на горе: одна сторона этого Януса обращена к закону, к начальству, к суду, она ими освещается и обсуждается, обсуждение здесь полное, веское, правдивое; другая сторона обращена к нам, простым смертным, стоя-

щим в притворе храма, под горой. На эту сторону мы смотрим, и она бывает не всегда одинаково освещена для нас. Мы к ней подходим иногда только с простым фонарем, с грошевой свечкой, с тусклой лампой, многое для нас темно, многое наводит нас на такие суждения, которые не согласуются со взглядами начальства, суда на те же действия должностного лица. Но мы живем в этих, может быть, иногда и ошибочных понятиях, на основании их мы питаем те или другие чувства к должностному лицу, порицаем его или славословим его, любим или остаемся к нему равнодушны, радуемся, если находим распоряжения вполне справедливыми. Когда действия должностного лица становятся мотивом для наших действий, за которые мы судимся и должны ответствовать, тогда важно иметь в виду не только то, правильны или неправильны действия должностного лица с точки зрения закона, а как мы сами смотрели на них. Не суждения закона о должностном действии, а наши воззрения на него должны быть приняты, как обстоятельства, обусловливающие степень нашей ответственности. Пусть эти воззрения будут и неправильны, — они ведь имеют значение не для суда над должностным лицом, а для суда над нашими поступками, соображенными с теми или другими руководившими нас понятиями. Чтобы вполне судить о мотиве наших поступков, надо знать, как эти мотивы отразились в наших понятиях. Таким образом, в моем суждении о событии 13 июня не будет обсуждения действий должностного лица, а только разъяснение того, как отразилось это событие на уме и убеждениях Веры Засулич. Оставаясь в этих пределах, я, полагаю, не буду судьею действий

должностного лица и затем надеюсь, что в этих пределах мне будет дана необходимая законная свобода слова и вместе с тем будет оказано снисхождение, если я с некоторой подробностью остановлюсь на таких обстоятельствах, которые с первого взгляда могут и не казаться прямо относящимися к делу. Являясь защитником В. Засулич, по ее собственному избранию, выслушав от нее, в моих беседах с нею, многое, что она находила нужным передать мне, я невольно впадаю в опасение не быть полным выразителем ее мнения и упустить что-либо, что, по взгляду самой подсудимой, может иметь значение для ее дела.

Я мог бы теперь начать прямо со случая 13 июля, но нужно прежде исследовать почву, которая обусловила связь между 13 июля и 24 января. Эта связь лежит во всем прошедшем, во всей жизни В. Засулич. Рассмотреть эту жизнь весьма поучительно; поучительно рассмотреть ее не только для интересов настоящего дела, не только для того, чтобы определить, в какой степени виновна В. Засулич, но ее прошедшее поучительно и для извлечения из него других материалов, нужных и полезных для разрешения таких вопросов, которые выходят из пределов суда: для изучения той почвы, которая у нас нередко производит преступления и преступников. Вам сообщены уже о В. Засулич некоторые биографические данные; они не длинны, и мне придется остановиться только на некоторых из них.

Вы помните, что с 17-и лет, по окончании образования в одном из московских пансионов, после того как она выдержала с отличием экзамен на звание домашней учительницы, Засулич вернулась в дом своей матери. Старуха мать ее живет

здесь в Петербурге. В небольшой, сравнительно, промежуток времени, 17-летняя девушка имела случай познакомиться с Нечаевым и его сестрой. Познакомилась она с ней совершенно случайно, в учительской школе, куда она ходила изучать звуковой метод преподавания грамоты. Кто такой был Нечаев, какие его замыслы, — она не знала, да тогда еще и никто не знал его в России; он считался простым студентом, который играл некоторую роль в студенческих волнениях, не представлявших ничего политического.

По просьбе Нечаева В. Засулич согласилась оказать ему некоторую, весьма обыкновенную услугу. Она раза три или четыре принимала от него письма и передавала их по адресу, ничего, конечно, не зная о содержании самих писем. Впоследствии оказалось, что Нечаев — государственный преступник, и ее совершенно случайные отношения к Нечаеву послужили основанием к привлечению ее в качестве подозреваемой в государственном преступлении — по известному нечаевскому делу. Вы помните из рассказа В. Засулич, что двух лет тюремного заключения стоило ей это подозрение. Год она просидела в Литовском замке и год в Петропавловской крепости. Это были 18-й и 19-й годы ее юности.

Годы юности, по справедливости, считаются лучшими годами в жизни человека; воспоминания о них, впечатления этих лет остаются во всю жизнь. Недавний ребенок готовится стать созревшим человеком. Жизнь представляется пока издали ясною, казовою, обольстительною стороною, без мрачных теней, без темных пятен. Много переживает юноша в эти короткие годы, и пережитое кладет след на всю жизнь. Для мужчины это

пора высшего образования; здесь пробуждаются первые прочные симпатии, здесь завязываются товарищеские связи, отсюда выносятся навсегда любовь к месту своего образования, к своей alma mater. Для девицы годы юности представляют пору расцвета, полного развития; перестав быть дитятею, свободная еще от обязанностей жены и матери, девица живет полною радостью, полным сердцем. То — пора первой любви, беззаботности, веселых надежд, незабываемых радостей, пора дружбы; то — пора всего того дорогого, неуловимо-мимолетного, к чему потом любят обращаться воспоминаниями зрелая мать и старая бабушка.

Легко вообразить, как провела Засулич эти лучшие годы своей жизни, в каких забавах, в каких радостях провела она это дорогое время, какие розовые мечты волновали ее в стенах Литовского замка и казематах Петропавловской крепости. Полное отчуждение от всего, что за тюремной стеной. Два года она не видала ни матери, ни родных, ни знакомых. Изредка только через тюремное начальство доходила весть от них, что все, мол, слава богу, здоровы. Ни работы, ни занятий. Коекогда только книга, прошедшая через тюремную цензуру. Возможность сделать несколько шагов по комнате и полная невозможность увидеть что-либо через тюремное окно. Отсутствие воздуха, редкие прогулки, дурной сон, плохое питание. Человеческий образ видится только в тюремном стороже, приносящем обед, да в часовом, заглядывающем, время от времени, в дверное окно, чтобы узнать, что делает арестант. Звук отворяемых и затворяемых замков, бряцание ружей сменяющихся часовых, мерные шаги караула да уныло-музыкальный звон часов Петропавловского

шница. Вместо дружбы, любви, человеческого общения — одно сознание, что справа и слева, за стеной, такие же товарищи по несчастию, такие же жертвы несчастной доли.

В эти годы зарождающихся симпатий Засулич, действительно, создала и закрепила в душе своей навеки одну симпатию — беззаветную любовь ко всякому, кто, подобно ей, принужден влачить несчастную жизнь подозреваемого в политическом преступлении. Политический арестант, кто бы он ни был, стал ей дорогим другом, товарищем юности, товарищем по воспитанию. Тюрьма была для нее alma mater, которая закрепила эту дружбу, это товарищество.

Два года кончились. Засулич отпустили, не найдя даже никакого основания предать ее суду. Ей сказали: «иди»,— и даже не прибавили: «и более не согрешай», потому что прегрешений не нашлось, и до того не находилось их, что в продолжение двух лет она всего только два раза была спрошена, и одно время серьезно думала, в продолжение многих месяцев, что она совершенно забыта. «Иди». Куда же итти? По счастию, у нее есть куда итти — у нее здесь, в Петербурге, старуха-мать, которая с радостью встретит дочь. Мать и дочь были обрадованы свиданием; казалось, два тяжкие года исчезли из памяти. Засулич была еще молода — ей был всего 21-й год. Мать утешала ее, говорила: «Поправишься, Верочка, теперь все пройдет, все кончилось благополучно». Действительно, казалось, страдания излечатся, молодая жизнь одолеет, и не останется следов тяжелых лет заключения.

Была весна, пошли мечты о летней дачной жизни, которая могла казаться земным раем после

тюремной жизни; прошло десять дней, полных розовых мечтаний. Вдруг поздний звонок. Не друг ли запоздалый? Оказывается — не друг, но и не враг, а местный надзиратель. Объясняет он Засулич, что приказано ее отправить в пересыльную тюрьму. — «Как в тюрьму? Вероятно, это недоразумение, я не привлечена к нечаевскому делу, не предана суду, обо мне дело прекращено судебною палатою и Правительствующим сенатом». — «Не могу знать, — отвечает надзиратель, — пожалуйте, я от начальства имею предписание взять вас».

Мать принуждена отпустить дочь. Дала ей кое-что: легкое платье, бурнус; говорит: «Завтра мы тебя навестим, мы пойдем к прокурору, этот арест — очевидное недоразумение, дело объяснится, и ты будешь освобождена».

Проходят пять дней, В. Засулич сидит в пересыльной тюрьме с полной уверенностью скорого освобождения.

Возможно ли, чтобы, после того как дело было прекращено судебною властью, не нашедшей никакого основания в чем бы то ни было обвинять Засулич, она едва двадцатилетняя девица, живущая у матери, могла быть выслана и выслана только-что освобожденная после двухлетнего тюремного заключения.

В пересыльной тюрьме навещают ее — мать, сестра; ей приносят конфекты, книжки; никто не воображает, чтоб она могла быть выслана, и никто не озабочен приготовлениями к предстоящей высылке.

На пятый день задержания ей говорят: — Пожалуйте, вас сейчас отправляют в город Кресты. — «Как отправляют? Да у меня нет ничего для дороги. Подождите, по крайней мере,

дайте мне возможность дать знать родственникам предупредить их. Я уверена, что тут какое-нибудь недоразумение. Окажите мне снисхождение, подождите, отложите мою отправку хоть на день, на два, я дам знать родным». — «Нельзя, — говорят, — не можем по закону, требуют вас немедленно отправить».

Рассуждать было нечего. Засулич понимала, что надо покориться закону, не знала только, о каком законе тут речь. Поехала она в одном платье, в легком бурнусе; пока ехала по железной дороге было сносно, потом поехала на почтовых, в кибитке, между двух жандармов. Был апрель месяц, стало в легком бурнусе невыносимо холодно: жандарм снял свою шинель и одел барышню. Привезли ее в Крестцы. В Крестцах сдали ее исправнику, исправник выдал квитанцию в принятии клади и говорит Засулич: «Идите, я вас не держу, вы не арестованы. Идите и по субботам являйтесь в полицейское управление, так как вы состоите у нас под надзором».

Рассматривает Засулич свои ресурсы, с которыми ей приходится начать новую жизнь в неизвестном городе. У нее оказывается рубль денег, французская книжка да коробка шоколадных конфект.

Нашелся добрый человек, дьячок, который поместил ее в своем семействе. Найти занятие в Крестцах ей не представилось возможности, тем более, что нельзя было скрыть, что она — высланная административным порядком. Я не буду затем повторять другие подробности, которые рассказала сама В. Засулич.

Из Крестцов ей пришлось ехать в Тверь, в Солигалич, в Харьков. Таким образом началась

ее бродячая жизнь,[145] — жизнь женщины, находящейся под надзором полиции. У нее делали обыски, призывали для разных опросов, подвергали иногда задержкам не в виде арестов и, наконец, о ней совсем забыли.

Когда от нее перестали требовать, чтобы она еженедельно являлась на просмотр к местным полицейским властям, тогда ей улыбнулась возможность контрабандой поехать в Петербург и затем с детьми своей сестры отправиться в Пензенскую губернию. Здесь она, летом 1877 г., прочитывает в первый раз в газете «Голос» известие о наказании Боголюбова.

Да позволено мне будет, прежде чем перейти к этому известию, сделать еще маленькую экскурсию в область розги.

Я не имею намерения, господа присяжные заседатели, представлять вашему вниманию историю розги, — это завело бы меня в область слишком отдаленную, к весьма далеким страницам нашей истории, ибо история русской розги весьма продолжительна. Нет, не историю розги хочу я повествовать перед вами, я хочу привести лишь несколько воспоминаний о последних днях ее жизни.

Вера Ивановна Засулич принадлежит к молодому поколению. Она стала себя помнить тогда уже, когда наступили новые порядки, когда розги отошли в область преданий. Но мы, люди предшествовавшего поколения, мы еще помним то полное господство розог, которое существовало до 17 апреля 1863 г. Розга царила везде: в школе, на мирском сходе, она была непременной принадлежностью на конюшне помещика, потом в казармах, в полицейском управлении... Суще-

ствовало сказание, — апокрифического, впрочем, свойства, — что где-то русская розга была приведена в союз с английским механизмом, и русское сечение совершалось по всем правилам самой утонченной европейской вежливости. Впрочем, достоверность этого сказания никто не подтверждал собственным опытом. В книгах наших уголовных, гражданских и военных законов розга испещряла все страницы. Она составляла какой-то легкий мелодический перезвон в общем громогласном гуле плети, кнута и шпицрутенов. Но настал великий день, — день, который чтится Россия, — 17 апреля 1863 г., — и розга перешла в область истории. Розга, правда, не совсем, но все другие телесные наказания миновали совершенно. Розга не была совершенно уничтожена, но крайне ограничена. В то время было много опасений за полное уничтожение розги, опасений, которых не разделяло правительство, но которые волновали некоторых представителей интеллигенции. Им казалось вдруг как-то неудобным и опасным оставить без розог Россию, которая так долго вела свою историю рядом с розгой, — Россию, которая, по их глубокому убеждению, сложилась в обширную державу и достигла своего величия едва ли не благодаря розгам. Как, казалось, вдруг остаться без этого цемента, связующего общественные устои? Как будто в утешение этих мыслителей розга осталась в очень ограниченных размерах и утратила свою публичность.

По каким соображениям решились сохранить ее, я не знаю, но думаю, что она осталась как бы в виде сувенира после умершего или удалившегося навсегда лица. Такие сувениры обыкно-

венно приобретаются и сохраняются в малых размерах. Тут не нужно целого шиньона, достаточно одного локона; сувенир, обыкновенно, не выставляется наружу, а хранится в тайнике медальона, в дальнем ящике. Такие сувениры не переживают более одного поколения.

Когда в исторической жизни народа нарождается какое-либо преобразование, которое способно поднять дух народа, возвысить его человеческое достоинство, тогда подобное преобразование прививается и приносит свои плоды. Таким образом и отмена телесного наказания оказала громадное влияние на поднятие в русском народе чувства человеческого достоинства. Теперь стал позорен тот солдат, который довел себя до наказания розгами, теперь смешон и считается бесчестным тот крестьянин, который допустит себя наказать розгами.

Вот в эту-то пору, через 15 лет после отмены розог, которые, впрочем, давно уже были отменены для лиц привилегированного сословия, над политическим осужденным арестантом было совершено позорное сечение. Обстоятельство это не могло укрыться от внимания общества: о нем заговорили в Петербурге, о нем вскоре появляются газетные известия. И вот эти-то газетные известия дали первый толчок мыслям В. Засулич. Короткое газетное известие о наказании Боголюбова розгами не могло не произвести на Засулич подавляющего впечатления. Оно производило такое впечатление на всякого, кому знакомо чувство чести и человеческого достоинства.

Человек, по своему рождению, воспитанию и образованию чуждый розги; человек, глубоко

чувствующий и понимающий все ее позорное и унизительное значение; человек, который по своему образу мыслей, по своим убеждениям и чувствам не мог бы без сердечного содрогания видеть и слышать исполнение позорной экзекуции над другими, — этот человек сам должен был перенести на собственной коже всеподавляющее действие унизительного наказания.

Какое, думала Засулич, мучительное истязание, какое презрительное поругание над всем, что составляет самое существенное достояние развитого человека, и не только развитого, но и всякого, кому не чуждо чувство чести и человеческого достоинства.

Не с точки зрения формальностей закона могла обсуждать В. Засулич наказание, произведенное над Боголюбовым, но и для нее не могло быть ясным из самых газетных известий, что Боголюбов, хотя и был осужден в каторжные работы, но еще не поступил в разряд ссыльно-каторжных, что над ним не было еще исполнено все то, что, по фикции закона, отнимает от человека честь, разрывает всякую связь его с прошедшим и низводит его на положение лишенного всех прав. Боголюбов содержался еще в доме предварительного заключения, он жил среди прежней обстановки, среди людей, которые напоминали ему его прежнее положение.

Нет, не с формальной точки зрения обсуждала В. Засулич наказание Боголюбова; была другая точка зрения, менее специальная, более сердечная, более человеческая, которая никак не позволяла примириться с разумностью и справедливостью произведенного над Боголюбовым наказания.

Боголюбов был осужден за государственное преступление. Он принадлежал к группе молодых, очень молодых людей, судившихся за преступную манифестацию на площади Казанского собора. Весь Петербург знает об этой манифестации, и все с сожалением отнеслись тогда к этим молодым людям, так опрометчиво заявившим себя политическими преступниками, к этим так непроизводительно погубленным молодым силам. Суд строго отнесся к судимому деянию. Покушение явилось в глазах суда весьма опасным посягательством на государственный порядок, и закон был применен с подобающей строгостью. Но строгость приговора за преступление не исключала возможности видеть, что покушение молодых людей было прискорбным заблуждением и не имело в своем основании таких расчетов, своекорыстных побуждений, преступных намерений, что, напротив, в основании его лежало доброе увлечение, с которым не совладал молодой разум, живой характер и дал им направиться на ложный путь, приведший к прискорбным последствиям.

Характерные особенности нравственной стороны государственных преступлений не могут не обращать на себя внимания. Физиономия государственных преступлений нередко весьма изменчива. То, что вчера считалось государственным преступлением, сегодня или завтра становится высокочтимым подвигом гражданской доблести. Государственное преступление нередко — только разновременно высказанное учение преждевременного преобразования, проповедь того, что еще недостаточно созрело, и для чего еще не наступило время.

Все это, несмотря на тяжкую кару закона, постигающую государственного преступника, не позволяет видеть в нем презренного, отвергнутого члена общества, не позволяет заглушить симпатий ко всему тому высокому, честному, доброму, разумному, что остается в нем вне сферы его преступного деяния.

Мы, в настоящее славное царствование, тогда еще с восторгом юности, приветствовали старцев, возвращенных монаршим милосердием из снегов Сибири, этих государственных преступников, явившихся энергическими деятелями по различным отраслям великих преобразований, тех преобразований, несвоевременная мечта о которых стоила им годов каторги.

Боголюбов судебным приговором был лишен всех прав состояния и присужден к каторге. Лишение всех прав и каторга — одно из самых тяжелых наказаний нашего законодательства. Лишение всех прав и каторга одинаково могут постигнуть самые разнообразные тяжкие преступления, несмотря на все различие их нравственной подкладки. В этом еще нет ничего несправедливого. Наказание, насколько оно касается сферы права, изменения общественного положения, лишения свободы, принудительных работ, может, без особенно вопиющей неравномерности, постигать преступника самого разнообразного характера. Разбойник, поджигатель, распространитель ереси, наконец, государственный преступник — могут быть, без явной несправедливости, уравнены постигающим их наказанием.

Но есть сфера, которая не поддается праву, куда бессилен проникнуть нивелирующий закон, где всякая законная уравнительность была бы

величайшей несправедливостью. Я разумею сферу умственного и нравственного развития, сферу убеждений, чувствований, вкусов, сферу всего того, что составляет умственное и нравственное достояние человека.

Высокоразвитый, полный честных нравственных принципов, государственный преступник и безнравственный, презренный разбойник или вор могут одинаково, стена об стену, тянуть долгие годы заключения, могут одинаково нести тяжкий труд рудниковых работ, но никакой закон, никакое положение, созданное для них наказанием, не в состоянии уравнять их во всем том, что составляет умственную и нравственную сферу человека. Что, потому, для одного составляет ничтожное лишение, легкое взыскание, то для другого может составить тяжелую нравственную пытку, невыносимое, бесчеловечное истязание.

Закон карающий может отнять внешнюю честь, все внешние отличия, с ней сопряженные, но истребить в человеке чувство моральной чести, нравственного достоинства судебным приговором, изменить нравственное содержание человека, лишить его всего того, что составляет неотъемлемое достояние его развития, — никакой закон не может. И если закон не может предусмотреть все нравственные, индивидуальные различия преступника, которые обусловливаются их прошедшим, то является на помощь общая, присущая человеку, нравственная справедливость, которая должна подсказать, что́ применимо к одному, и что́ было бы высшею несправедливостью в применении к другому.

Если с этой точки зрения общей справедливости смотреть на наказание, примененное

к Боголюбову, то понятным станет то возбуждающее, тяжелое чувство негодования, которое овладевало всяким, неспособным безучастно относиться к нравственному истязанию над ближним.

С чувством глубокого, непримиримого оскорбления за нравственное достоинство человека отнеслась Засулич к известию о позорном наказании Боголюбова.

Что был для нее Боголюбов? Он не был для нее родственником, другом, он не был ее знакомым, она никогда не видала и не знала его. Но разве для того, чтобы возмутиться видом нравственно раздавленного человека, чтобы притти в негодование от позорного глумления над беззащитным, нужно быть сестрой, женой, любовницей?

Для Засулич Боголюбов был политический арестант, и в этом слове было для нее все: политический арестант не был для Засулич отвлеченное представление, вычитываемое из книг, знакомое по слухам, по судебным процессам, — представление, возбуждающее в честной душе чувство сожаления, сострадания, сердечной симпатии. Политический арестант был для Засулич — она сама, ее горькое прошедшее, ее собственная история, — история безвозвратно погубленных лет, лучших и дорогих в жизни каждого человека, которого не постигает тяжкая доля, перенесенная Засулич. Политический арестант был для Засулич — горькое воспоминание ее собственных страданий, ее тяжкого нервного возбуждения, постоянной тревоги, томительной неизвестности, вечной думы над вопросами: Что я сделала? Что будет со мной? Когда же наступит конец? Политический аре-

стант был ее собственное сердце, и всякое грубое прикосновение к этому сердцу болезненно отзывалось на ее возбужденной натуре.

В провинциальной глуши газетное известие действовало на Засулич еще сильнее, чем оно могло бы действовать здесь, в столице. Там она была одна. Ей не с кем было разделить свои сомнения, ей не от кого было услышать слово участия по занимавшему ее вопросу. Нет, думала Засулич, вероятно, известие неверно, по меньшей мере оно преувеличено. Неужели теперь, и именно теперь, думала она, возможно такое явление? Неужели 20 лет прогресса, смягчение нравов, человеколюбивое отношение к арестованному, улучшение судебных и тюремных порядков, ограничение личного произвола, неужели 20 лет поднятия личности и достоинства человека вычеркнуты и забыты бесследно? Неужели к тяжкому приговору, постигшему Боголюбова, можно было прибавлять еще более тяжкое презрение к его человеческой личности, забвение в нем всего прошлого, всего, что дали ему воспитание и развитие? Неужели нужно было еще наложить несмываемый позор на эту, положим, преступную, но во всяком случае не презренную личность? Нет ничего удивительного, продолжала думать Засулич, что Боголюбов в состоянии нервного возбуждения, столь понятного в одиночно-заключенном арестанте, мог, не владея собой, позволить себе то или другое нарушение тюремных правил, но на случай таких нарушений, если и признавать их вменяемыми человеку в исключительном состоянии его духа, существуют у тюремного начальства другие меры, ничего общего не имеющие

с наказанием розгами. Да и какой же поступок приписывает Боголюбову газетное известие? Неснятие шапки при вторичной встрече с почетным посетителем. Нет, это невероятно, — успокаивалась Засулич; подождем, будет опровержение, будет разъяснение происшествия; по всей вероятности, оно окажется не таким, как представлено.

Но не было ни разъяснений, ни опровержений, ни гласа, ни послушания. Тишина молчания не располагала к тишине взволнованных чувств. И снова возникал в женской экзальтированной голове образ Боголюбова, подвергнутого позорному наказанию, и распаленное воображение старалось угадать, перечувствовать все то, что мог перечувствовать несчастный. Рисовалась возмущающая душу картина, но то была еще только картина собственного воображения, не проверенная никакими данными, не пополненная слухами, рассказами очевидцев, свидетелей наказания; скоро явилось и то и другое.

В сентябре Засулич была в Петербурге; здесь уже она могла проверить занимавшее ее мысль происшествие по рассказам очевидцев или лиц, слышавших непосредственно от очевидцев. Рассказы, по содержанию своему, не способны были усмирить возмущенное чувство. Газетное известие оказывалось непреувеличенным; напротив, оно дополнялось такими подробностями, которые заставляли содрогаться, которые приводили в негодование. Рассказывалось и подтверждалось, что Боголюбов не имел намерения оказать неуважение, неповиновение, что естественное уклонение от заушения, которое

ему угрожало, что попытка сбить с Боголюбова шапку вызвала крики со стороны смотревших на происшествие арестантов независимо от какого-либо возмущения их к тому Боголюбовым. Рассказывались дальше возмутительные подробности приготовления и исполнения наказания. Во двор, на который из окон камер неслись крики арестантов, взволнованных происшествием с Боголюбовым, является смотритель тюрьмы и, чтобы «успокоить» волнение, возвещает о предстоящем наказании Боголюбова розгами, не успокоив никого этим в действительности, но несомненно доказав, что он, смотритель, обладает и практическим тактом и пониманием человеческого сердца. Перед окнами женских арестантских камер,—в виду испуганных чем-то необычайным, происходящим в тюрьме, женщин, — вяжутся пуки розог, как будто бы драть предстояло целую роту; разминаются руки, делаются репетиции предстоящей экзекуции, и, в конце концов, нервное волнение арестантов возбуждается до такой степени, что ликторы in spe считают нужным убраться в сарай и оттуда выносят пуки розог уже спрятанными под шинелями.

Теперь, по отрывочным рассказам, по догадкам, по намекам нетрудно было вообразить и настоящую картину экзекуции. Восставала эта бледная, испуганная фигура Боголюбова, не ведающая, что он сделал, что с ним хотят творить; восставал в мыслях болезненный его образ. Вот он, приведенный на место экзекуции и пораженный известием о том позоре, который ему готовится; вот он, полный негодования и думающий, что эта сила негодования даст ему

силы Самсона, чтоб устоять в борьбе с массой ликторов, исполнителей наказания; вот он, падающий под массою пудов человеческих тел, насевших ему на плечи, распростертый на полу, позорно-обнаженный, несколькими парами рук, как железом, прикованный, лишенный всякой возможности сопротивляться, и, над всей этой картиной, мерный свист березовых прутьев, да также мерное счисление ударов благородным распорядителем экзекуции. Все замерло в тревожном ожидании стона; этот стон раздался,— то не был стон физической боли — не на нее рассчитывали; — то был мучительный стон удушенного, униженного, поруганного, раздавленного человека. Священнодействие совершилось, позорная жертва была принесена!.. (Аплодисменты, громкие крики: браво!)

Председатель. Поведение публики должно выражаться в уважении к суду. Суд не театр, одобрение или неодобрение здесь воспрещается. Если это повторится вновь, я вынужден буду очистить залу.

...Сведения, полученные Засулич, были подробны, обстоятельны, достоверны. Теперь тяжелые сомнения сменились еще более тяжелою известностью. Роковой вопрос восстал со всей его беспокойною настойчивостью. Кто же вступится за поруганную честь беспомощного каторжника? Кто смоет, кто и как искупит тот позор, который навсегда неутишимою болью будет напоминать о себе несчастному? С твердостью перенесет осужденный суровость каторги, он примирится с этим возмездием за его преступление, быть может, сознает его справедливость, быть может, наступит минута, когда

милосердие с высоты трона и для него откроется, когда скажут ему: «Ты искупил свою вину, войди опять в то общество, из которого ты удален, — войди и будь снова гражданином». Но кто и как изгладит в его сердце воспоминание о позоре, о поруганном достоинстве; кто и как смоет то пятно, которое на всю жизнь останется неизгладимым в его воспоминании? Наконец, где же гарантия против повторения подобного случая? Много товарищей по несчастию у Боголюбова, — неужели и они должны существовать под страхом всегдашней возможности испытать то, что пришлось перенести Боголюбову? Если юристы могли создать лишение прав, то отчего психологи, моралисты не явятся со средствами отнять у лишенного прав его нравственную физиономию, его человеческую натуру, его душевное состояние; отчего же они не укажут средств низвести каторжника на степень скота, чувствующего физическую боль и чуждого душевных страданий?

Так думала, так не столько думала, как инстинктивно чувствовала В. Засулич. Я говорю ее мыслями, я говорю почти ее словами.[146] Быть может, найдется много экзальтированного, болезненно-преувеличенного в ее думах, волновавших ее вопросах, в ее недоумении. Быть может, законник нашелся бы в этих недоумениях, подведя приличную статью закона, прямо оправдывающую случай с Боголюбовым: у нас ли не найти статьи закона, коли нужно ее найти? Быть может, опытный блюститель порядка доказал бы, что иначе поступить, как было поступлено с Боголюбовым, и невозможно, что иначе и порядка существовать не может.

Быть может, не блюститель порядка, а просто практический человек сказал бы, с полной уверенностью в разумности своего совета: «Бросьте вы, Вера Ивановна, это самое дело: не вас ведь выпороли».

Но и законник, и блюститель порядка, и практический человек не разрешили бы волновавшего Засулич сомнения, не успокоили бы ее душевной тревоги. Не надо забывать, что Засулич натура экзальтированная, нервная, болезненная, впечатлительная; не надо забывать, что павшее на нее, чуть не ребенка в то время, подозрение в политическом преступлении, подозрение не оправдавшееся, но стоившее ей двухлетнего одиночного заключения, и затем бесприютное скитание надломили ее натуру, навсегда оставив воспоминание о страданиях политического арестанта, толкнули ее жизнь на тот путь и в ту среду, где много поводов к страданию, душевному волнению, но где мало места для успокоения на соображениях практической пошлости.

В беседах с друзьями и знакомыми, наедине днем и ночью, среди занятий и без дела, Засулич не могла оторваться от мысли о Боголюбове, и ниоткуда сочувственной помощи, ниоткуда удовлетворения души, взволнованной вопросами: кто вступится за опозоренного Боголюбова, кто вступится за судьбу других несчастных, находящихся в положении Боголюбова? Засулич ждала этого заступничества от печати, она ждала оттуда поднятия, возбуждения так волновавшего ее вопроса. Памятуя о пределах, молчала печать. Ждала Засулич помощи от силы общественного мнения. Из тиши кабинетов, из интимного круга приятель-

ских бесед не выползало общественное мнение. Она ждала, наконец, слова от правосудия. Правосудие... Но о нем ничего не было слышно.

И ожидания оставались ожиданиями. А мысли тяжелые и тревоги душевные не унимались. И снова и снова и опять и опять возникал образ Боголюбова и вся его обстановка.

. Не звуки цепей смущали душу, но мрачные своды мертвого дома леденили воображение; рубцы — позорные рубцы — резали сердце, и замогильный голос заживо погребенного звучал:

Что ж молчит в вас, братья, злоба,
Что ж любовь молчит?

И вдруг внезапная мысль, как молния, сверкнувшая в уме Засулич: «О, я сама! Затихло, замолкло все о Боголюбове, нужен крик, в моей груди достанет воздуха издать этот крик, я издам его и заставлю его услышать!» Решимость была ответом на эту мысль в ту же минуту. Теперь можно было рассуждать о времени, о способах исполнения, но само дело, выполненное 24 января, было бесповоротно решено.

Между блеснувшею и зародившеюся мыслью и исполнением ее протекли дни и даже недели; это дало обвинению право признавать вмененное Засулич намерение и действие заранее обдуманным.

Если эту обдуманность относить к приготовлению средств, к выбору способов и времени исполнения, то, конечно, взгляд обвинения нельзя не признать справедливым, но в существе своем, в своей основе, намерение Засулич не было и не могло быть намерением хладнокровно обдуманным, как ни велико по

времени расстояние между решимостью и исполнением. Решимость была и осталась внезапною, вследствие внезапной мысли, павшей на благоприятную, для нее подготовленную, почву, овладевшей всецело и всевластно экзальтированной натурой. Намерения, подобные намерению Засулич, возникающие в душе возбужденной, аффектированной, не могут быть обдумываемы, обсуждаемы. Мысль сразу овладевает человеком, не его обсуждению она подчиняется, а подчиняет его себе и влечет за собою. Как бы далеко ни отстояло исполнение мысли, овладевшей душой, аффект не переходит в холодное размышление и остается аффектом. Мысль не проверяется, не обсуживается, ей служат, ей рабски повинуются, за ней следуют. Нет критического отношения, имеет место только безусловное поклонение. Тут обсуживаются и обдумываются только подробности исполнения, но это не касается сущности решения. Следует ли или не следует выполнить мысль, — об этом не рассуждают, как бы долго ни думали над средствами и способами исполнения. Страстное состояние духа, в котором зарождается и воспринимается мысль, не допускает подобного обсуждения; так вдохновенная мысль поэта остается вдохновенною, не выдуманною, хотя она и может задумываться над выбором слов и рифм для ее воплощения.

Мысль о преступлении, которое стало бы ярким и громким указанием на расправу с Боголюбовым, всецело завладела возбужденным умом Засулич. Иначе и быть не могло: эта мысль как нельзя более соответствовала тем потребностям, отвечала на те задачи, которые волновали ее.

Руководящим побуждением для Засулич обвинение ставит месть. Местью и сама Засулич объяснила свой поступок, но для меня представляется невозможным объяснить вполне дело Засулич побуждением мести, по крайней мере мести, понимаемой в ограниченном смысле этого слова. Мне кажется, что слово месть употреблено в показании Засулич, а затем и в обвинительном акте, как термин наиболее простой, короткий и несколько подходящий к обозначению побуждения, импульса, руководившего Засулич.

Но месть, одна «месть» была бы неверным мерилом для обсуждения внутренней стороны поступка Засулич. Месть обыкновенно руководится личными счетами с отомщаемым за себя или близких. Но никаких личных, исключительно ее, интересов не только не было для Засулич в происшествии с Боголюбовым, но и сам Боголюбов не был ей близким, знакомым человеком.

Месть стремится нанести возможно больше зла противнику; Засулич, стрелявшая в ген.-ад. Трепова, сознается, что для нее безразличны были те или другие последствия выстрела. Наконец, месть старается достигнуть удовлетворения возможно дешевою ценой, месть действует скрытно, с возможно меньшими пожертвованиями. В поступке Засулич, как бы ни обсуждать его, нельзя не видеть самого беззаветного, но и самого нерасчетливого самопожертвования. Так не жертвуют собой из-за одной узкой, эгоистической мести. Конечно, не чувство доброго расположения к ген.-ад. Трепову питала Засулич; конечно, у нее было известного рода

недовольство против него, и это недовольство имело место в побуждениях Засулич, но ее месть всего менее интересовалась лицом отомщаемым; ее месть окрашивалась, видоизменялась, осложнялась другими побуждениями.

Вопрос справедливости и легальности наказания Боголюбова казался Засулич неразрешенным, а погребенным навсегда,—надо было воскресить его и поставить твердо и громко. Униженное и оскорбленное человеческое достоинство Боголюбова казалось невосстановленным, несмытым, неоправданным, чувство мести — неудовлетворенным. Возможность повторения в будущем случаев позорного наказания над политическими преступниками и арестантами казалась непредупрежденной.

Всем этим необходимостям, казалось Засулич, должно было удовлетворить такое преступление, которое с полной достоверностью можно было бы поставить в связь с случаем наказания Боголюбова и показать, что это преступление явилось как последствие случая 13 июля, как протест против поругания над человеческим достоинством политического преступника. Вступиться за идею нравственной чести и достоинства политического осужденного, провозгласить эту идею достаточно громко и призвать к ее признанию и уверению, — вот те побуждения, которые руководили Засулич, и мысль о преступлении, которое было бы поставлено в связь с наказанием Боголюбова, казалось, может дать удовлетворение всем этим побуждениям. Засулич решилась искать суда над ее собственным преступлением, чтоб поднять и вызвать обсуждение забытого случая о наказании Боголюбова.

Когда я совершу преступление, думала Засулич, тогда замолкнувший вопрос о наказании Боголюбова восстанет; мое преступление вызовет гласный процесс, и Россия, в лице своих представителей, будет поставлена в необходимость произнести приговор не обо мне одной, а произнести его, по важности случая, в виду Европы, той Европы, которая до сих пор любит называть нас варварским государством, в котором атрибутом правительства служит кнут.

Этими обсуждениями и определились намерения Засулич. Совершенно достоверным поэтому представляется то объяснение Засулич, которое при том же дано было ею при самом первоначальном ее допросе и было затем неизменно поддерживаемо, что для нее было безразлично: будет ли последствием произведенного ею выстрела — смерть или только нанесение раны. Прибавлю от себя, что для ее целей было бы одинаково безразлично и то, если б выстрел, очевидно, направленный в известное лицо, и совсем не произвел никакого вредного действия, если б последовала осечка или промах. Не жизнь, не физические страдания ген.-ад. Трепова нужны были для Засулич, а появление ее самой на скамье подсудимых и вместе с нею появление вопроса о случае с Боголюбовым.

Было безразлично, совместно существовало намерение убить или ранить; намерению убить не отдавала Засулич никакого особенного преимущества. В этом направлении она и действовала. Ею не было предпринято ничего для того, чтобы выстрел имел неизбежным следствием смерть. О более опасном направлении

выстрела она не заботилась. А, конечно, находясь в том расстоянии от ген.-ад. Трепова, в каком она находилась, она, действительно, могла бы выстрелить совершенно в упор и выбрать самое опасное направление. Вынув из кармана револьвер, она направила его так, как пришлось: не выбирая, не рассчитывая, не поднимая даже руки. Она стреляла, правда, в очень близком расстоянии, но иначе она и не могла действовать. Ген.-ад. Трепов был окружен своею свитою, и выстрел на более далеком расстоянии мог грозить другим, которым Засулич не желала вредить. Стрелять совсем в сторону было совсем дело не подходящее: это сводило бы драму, которая нужна была Засулич, на степень комедии.

На вопросе о том, имела ли Засулич намерение причинить смерть или имела намерение причинить только рану, прокурор остановился с особенной подробностью. Я внимательно выслушал те доводы, которые он высказал, но я согласиться с ними не могу, и они все падают перед соображением о той цели, которую имела В. Засулич. Ведь не отвергают же того, что именно оглашение дела с Боголюбовым было для В. Засулич побудительною причиною преступления. При такой точке зрения мы можем довольно безразлично относиться к тем обстоятельствам, которые обратили внимание господина прокурора, например, то, что револьвер был выбран из самых опасных. Я не думаю, чтобы тут имелась в виду наибольшая опасность; выбирался такой револьвер, какой мог удобнее войти в карман: большой нельзя было бы взять, потому что он высовывался бы из кармана,—необ-

ходимо было взять револьвер меньшей величины. Как он действовал — более опасно или менее опасно, какие последствия от выстрела могли произойти, — это для Засулич было совершенно безразлично. Мена револьверов произведена была без ведения Засулич. Но если даже и предполагать, как признает возможным предполагать прокурор, что первый револьвер принадлежит В. Засулич, то опять-таки перемена револьвера объясняется очень просто: прежний револьвер был таких размеров, что не мог поместиться в кармане.

Я не могу согласиться и с тем весьма остроумным предположением, что Засулич не стреляла в грудь и в голову ген.-ад. Трепова, находясь к нему en face, потому только, что чувствовала некоторое смущение, и что только после того как несколько оправилась, она нашла в себе достаточно силы, чтобы произвести выстрел. Я думаю, что она просто не стреляла в грудь ген.-ад. Трепова потому, что она не заботилась о более опасном выстреле: она стреляет тогда, когда ей уже приходится уходить, когда ждать более нельзя.

Раздался выстрел... Не продолжая более дела, которое совершала, довольствуясь вполне тем, что достигнуто, Засулич сама бросила револьвер, прежде чем успели схватить ее, и, отойдя в сторону, без борьбы и сопротивления, отдалась во власть набросившегося на нее маиора Курнеева и осталась не задушенной им только благодаря помощи других окружающих. Ее песня была теперь спета, ее мысль исполнена, ее дело совершено.

Я должен остановиться на прочтенном здесь показании ген.-ад. Трепова. В этом показании

сказано, что после первого выстрела Засулич, как заметил генерал Трепов, хотела произвести второй выстрел, и что началась борьба: у нее отнимали револьвер. Это совершенно ошибочное показание ген.-ад. Трепова объясняется тем весьма понятным взволнованным состоянием, в котором он находился. Все свидетели, хотя также взволнованные происшествием, но не до такой степени, как ген.-ад. Трепов, показали, что Засулич совершенно добровольно, без всякой борьбы, бросила сама револьвер и не показывала намерения продолжать выстрелы. Если же и представилось ген.-ад. Трепову что-либо похожее на борьбу, то это была та борьба, которую вел с Засулич Курнеев и вели прочие свидетели, которые должны были отрывать Курнеева, вцепившегося в Засулич.

Я думаю, что, в виду двойственности намерения Засулич, в виду того, что для ее намерений было безразлично последствие большей или меньшей важности, что ею ничего не было предпринято для достижения именно большего результата, что смерть только допускалась, а не была исключительным стремлением В. Засулич, — нет оснований произведенный ею выстрел определять покушением на убийство. Ее поступок должен быть определен по тому последствию, которое произведено в связи с тем особым намерением, которое имело в виду это последствие.

Намерение было: или причинить смерть, или нанести рану; не последовало смерти, но нанесена рана. Нет основания в этой нанесенной ране видеть осуществление намерения причи-

нить смерть, уравнивать это нанесение раны покушению на убийство, а вполне было бы справедливо считать не более как действительным нанесением раны и осуществлением намерения нанести такую рану. Таким образом, отбрасывая покушение на убийство, как не осуществившееся, следовало бы остановиться на действительно доказанном результате, соответствовавшем особому условному намерению — нанесению раны.

Если Засулич должна понести ответственность за свой поступок, то эта ответственность была бы справедливее за зло, действительно последовавшее, а не такое, которое не было предположено как необходимый и исключительный результат, как прямое и безусловное стремление, а только допускалось.

Впрочем, все это — только мое желание представить вам соображения и посильную помощь к разрешению предстоящих вам вопросов; для личных же чувств и желаний Засулич безразлично, как бы ни разрешился вопрос о юридическом характере ее действий, для нее безразлично быть похороненной по той или другой статье закона. Когда она переступила порог дома градоначальника с решительным намерением разрешить мучившую ее мысль, она знала и понимала, что она несет в жертву все — свою свободу, остатки своей разбитой жизни, все то немногое, что дала ей на долю мачеха судьба.

И не торговаться с представителями общественной совести за то или другое уменьшение своей вины явилась она сегодня перед вами, господа присяжные заседатели.

Она была и осталась беззаветною рабой той идеи, во имя которой подняла она кровавое оружие.

Она пришла сложить перед вами все бремя наболевшей души, открыть скорбный лист своей жизни, честно и откровенно изложить все то, что она пережила, передумала, перечувствовала, что двинуло ее на преступление, чего ждала она от него.

Господа присяжные заседатели! Не в первый раз на этой скамье преступлений и тяжелых душевных страданий является пред судом общественной совести женщина по обвинению в кровавом преступлении.

Были здесь женщины, смертью мстившие своим соблазнителям; были женщины, обагрявшие руки в крови изменивших им любимых людей или своих более счастливых соперниц. Эти женщины выходили отсюда оправданными. То был суд правый, отклик суда божественного, который взирает не на внешнюю только сторону деяний, но и на внутренний их смысл, на действительную преступность человека. Те женщины, совершая кровавую расправу, боролись и мстили за себя.

В первый раз является здесь женщина, для которой в преступлении не было личных интересов, личной мести, — женщина, которая со своим преступлением связала борьбу за идею, во имя того, кто был ей только собратом по несчастью всей ее молодой жизни. Если этот мотив проступка окажется менее тяжелым на весах общественной правды, если для блага общего, для торжества закона, для общественной безопасности нужно призвать кару законную, тогда —

да совершится ваше карающее правосудие! Не задумывайтесь!

Не много страданий может прибавить ваш приговор для этой надломленной, разбитой жизни. Без упрека, без горькой жалобы, без обиды примет она от вас решение ваше и утешится тем, что, может быть, ее страдания, ее жертва предотвратила возможность повторения случая, вызвавшего ее поступок. Как бы мрачно ни смотреть на этот поступок, в самых мотивах его нельзя не видеть честного и благородного порыва.

Да, она может выйти отсюда осужденной, но она не выйдет опозоренною, и остается только пожелать, чтобы не повторялись причины, производящие подобные преступления, порождающие подобных преступников. [147]

Председатель. Подсудимая Засулич! Вам принадлежит последнее слово. Что вы имеете сказать?

Засулич. Ничего не имею.

Председатель объявил прения оконченными и прочитал проект поставленных судом на разрешение присяжных заседателей вопросов. Первый вопрос поставлен о том: виновна ли Засулич в том, что, решившись отмстить градоначальнику Трепову за наказание Боголюбова и приобретя с этой целью револьвер, нанесла 24 января, с обдуманным заранее намерением, ген.-ад. Трепову рану в полость таза пулею большого калибра; второй вопрос о том, что если Засулич совершила это деяние, то имела ли она заранее обдуманное намерение лишить жизни градоначальника Трепова, и третий вопрос о том, что если Засулич имела целью лишить

жизни градоначальника Трепова, то сделала ли она все, что от нее зависело, для достижения этой цели, причем смерть не последовала от обстоятельств, от Засулич не зависевших.

Стороны против этого проекта вопросов не возражали, и суд их утвердил, после чего председатель обратился к присяжным заседателям со следующими словами.

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ А. Ф. КОНИ

Господа присяжные заседатели! Судебные прения окончены, и вам предстоит произнести ваш приговор. Вам была предоставлена возможность всесторонне рассмотреть настоящее дело, пред вами были открыты беспрепятственно все обстоятельства, которые, по мнению сторон, должны были разъяснить сущность деяния подсудимой, — и суд имеет основание ожидать от вас приговора обдуманного и основанного на серьезной оценке имеющегося у вас материала. Но прежде чем вы приступите к означенному обсуждению дела, я обязан дать вам некоторые указания о том, как и в каком порядке надо приступать к оценке данных дела.

Когда вам предлагается вопрос о виновности подсудимого в каком-либо преступлении, у вас естественно и прежде всего возникают два вопроса: о том, *кем* совершено деяние и *что именно* совершено. Вы должны спросить себя, находится ли перед вами лицо, ответственное за свои проступки, т. е. не такое, в котором старость ослабила, молодость не вполне развила, болезнь погасила умственные силы. Вы должны убедиться, что перед вами находится человек,

сознающий свои поступки и, следовательно, могущий подлежать за них ответственности.

В настоящем деле нет указаний на душевную болезнь, нет и вопроса о возрасте, и если защитник говорил пред вами о состоянии «постоянного аффекта», т. е. гнетущего и страстного порыва, то и он не указывал на то, чтобы этим состоянием у подсудимой затемнялось сознание. Что же касается до нервности подсудимой, следы которой не могли ускользнуть от вас, то нервность лишь вызывает бо́льшую впечатлительность.

Поэтому я думаю, что первый вопрос не представит для вас особых трудностей. Но второй вопрос труднее. Вы должны знать, на основании твердых данных, что́ именно совершено. Мало знать, что то или другое преступное деяние совершено, — необходимо знать, *для чего* оно совершено, т. е. знать *цель* и уяснить себе намерение подсудимого.

А затем возникает более общий вопрос: из каких побуждений сделано то, что привело подсудимого пред вас.

Есть дела, где эти вопросы разрешаются сравнительно легко, где в самом преступлении содержится уже и его объяснение, содержится указание на его цель. В таких делах, по большей части, для всякого ясно, к чему стремится обвиняемый. Так, кража в огромном большинстве случаев совершается для завладения чужим имуществом тайно, грабёж — для похищения его явно, изнасилование для удовлетворения животной страсти и т. д.

Но есть дела более сложные. В них неизбежно надо исследовать внутреннюю сторону деяния.

Один факт еще ничего не говорит, или, во всяком случае, говорит очень мало. Таково *убийство*. Убийство есть лишение жизни. Оно является преступным, когда совершается не для самообороны. Но оно может быть совершаемо различно. Я могу совершить убийство необдуманно, играя заряженным оружием; я могу убить в драке, нанося удары направо и налево; могу притти в негодование и, в порыве гнева, убить оскорбителя; могу, не ослепляемый раздражением, сознательно лишить жизни другого и могу, наконец, воспитать в себе прочную ненависть и под влиянием ее, в течение многих иногда дней, подготовить себя к тому, чтобы решительным, но задолго предвиденным ударом лишить кого-либо жизни. Все это будут ступени одной и той же лестницы, все они называются убийством, — но какая между ними разница! И для того, чтобы ошибочно не стать ступенью ниже, или, в особенности, ступенью выше, чем следует по справедливости, — необходимо рассмотреть внутреннюю сторону преступления. Это рассмотрение укажет, какое это убийство, если только это убийство.

Но в настоящем деле обвинением поднят вопрос о *покушении*. Вам из явлений обыденной жизни известно, что̀ такое покушение. Оно может быть различно. Бывают случаи, когда человек сам останавливается, приступив к совершению преступления. Стыд, страх, внутренний голос, слабость воли — могут остановить его в самом начале. Но когда и выстрелил человек, когда замахнулся оружием, — могут быть разные исходы: удар пришелся мимо, последовал промах, или удар пришелся в защищенное, слу-

чайно или неслучайно, место и, встретив препятствие, не причинил вреда, или же, наконец, удар дошел по назначению, но особенности организма того, кому он был назначен, уничтожили, ослабили смертоносную силу. Удар может быть нанесен так, что есть полная вероятность, что он разрушит такие части тела, с невредимостью которых связана самая жизнь, а между тем случайное отклонение лезвия ножа или пути, избранного пулею, оставит важные внутренние органы без существенных повреждений или причинит такие, для борьбы против которых окажется достаточно жизненной силы у поврежденного организма. В этих последних случаях закон считает, что обвиняемый исполнил все, что от него зависело. Смерть не произошла не по его воле, и не от него уже зависело устранить ее, отдалить ее приход.

С таким именно случаем, по мнению представителя обвинительной власти, имеете вы теперь дело. Вы вдумаетесь в обстоятельства дела и в то, что было объясняемо вам здесь, и решите — есть ли прочные данные для этого вывода.

Картина самого события в приемной градоначальника 24 января должна быть вам ясна. Все свидетельские показания согласны между собою в описании того, что сделала Засулич. Револьвер, брошенный ею, пред вами. Объяснение, почему она его бросила, вы слышали. Оно подтверждается как устройством спуска курка револьвера, так и тою, предвиденною ею, суматохой около нее после выстрела, о которой обстоятельно рассказали здесь Курнеев и Греч. Некоторое сомнение может возбудить лишь показание потерпевшего, прочитанное здесь на

суде. Но это сомнение будет мимолетное. Для него нет оснований, и предположение о борьбе со стороны Засулич и о желании выстрелить еще раз — ничем не подтверждается. Надо помнить, что показание потерпевшего дано почти тотчас после выстрела, когда под влиянием физических страданий и нравственного потрясения, в жару боли и волнения, ген.-ад. Трепов не мог вполне ясно различать и припоминать все происходившее вокруг него. Поэтому, без ущерба для вашей задачи, вы можете не останавливаться на этом показании.

Факт выстрела, причинившего рану, несомненен. Но какая это рана, какой ее исход, каково ее значение? Здесь были выслушаны эксперты. Эксперты — те же свидетели. Они также говорят о том, что видели или слышали. Но они отличаются одним свойством от свидетелей обыкновенных. Обыкновенный свидетель — человек простой, относящийся непосредственно к виденному и слышанному. Его личные впечатления и выводы иногда затемняют то красноречие фактов, которое содержится в его показании. Но эксперт — свидетель по преимуществу, вооруженный научным знанием и специальным опытом. Поэтому он не только может, но должен говорить о значении того, что он видит и слышит; его выводы освещают дело, устраняют многие сомнения и неясность обыденных представлений заменяют определенным взглядом, основанным на строгих данных науки.

И к свидетелям и к экспертам можно относиться с бо́льшим или меньшим доверием. Я напомню вам, что доверие к свидетелю на суде должно основываться на нравственном, а если

свидетель—эксперт, то и на научном его авторитете.

Вы примените эти условия к показаниям экспертов, бывших пред вами. Если вы найдете, что эксперты относились к делу с полным спокойствием и вниманием, что они, несмотря на разнообразное свое положение, вполне свободно сошлись в одних и тех же выводах, то вы, вероятно, отнесетесь к ним с доверием. Если, затем, вы припомните, что здесь пред вами были трое из наиболее выдающихся хирургов столицы, и в том числе два профессора хирургии, и что они имели возможность проследить ранение и его последствия, так сказать, по горячим следам, у постели больного, то вы придадите их показаниям научный авторитет. Сущность этих показаний от вас не ускользнула: рана нанесена, как оказывается из осмотра опаленного места на мундире, почти в упор — рана тяжелая и грозившая опасностью жизни.

Внутренняя сторона деяния Засулич будет затем подлежать особому вашему обсуждению. Здесь надо приложить всю силу разумения, чтобы правильнее оценить цель и намерение, вложенные в действия подсудимой. Я укажу лишь на то, что более выдающимися основаниями для осуждения представляются здесь: во-первых, собственное объяснение подсудимой и, во-вторых, обстоятельства дела, независимые от этого объяснения, но которыми во многих отношениях может быть проверена его правильность или неправильность.

Собственное объяснение подсудимой прежде всего оценивается по тому доверию, какое вообще внушает или не внушает личность подсу-

димой. На скамью обвиняемых являются люди самых различных свойств. Обстановка, в которой они действовали до появления на этой скамье, обыкновенно отражается и на степени доверия, внушаемого их объяснениями перед судом. В большинстве случаев к объяснениям подсудимого надо относиться с осторожностью. Он слишком близкий к делу человек, он слишком большое участие в нем принимает, чтобы относиться к нему со спокойствием, чтобы иногда, под влиянием своего положения, невольно не смотреть на деяние свое односторонне, т. е. не вполне согласно с истиной. Это настолько понятное явление, что обращаться к подсудимому с укором не следует, а следует лишь искать проверки объяснения подсудимого в сложившихся так или иначе фактах дела. Но собственное объяснение подсудимого, в особенности в делах, подобных настоящему, всегда должно быть принимаемо во внимание.

Существует, если можно так выразиться, два крайних типа, по отношению к значению даваемых ими объяснений. С одной стороны — обвиняемый в преступлении, построенном на своекорыстном побуждении, желавший воспользоваться в личную выгоду плодами преступления, хотевший скрыть следы своего дела, бежать сам и на суде продолжающий то же, в надежде лживыми объяснениями выпутаться из беды, которой он всегда рассчитывал избежать, — игрок, которому изменила ловкость, поставивший на ставку свою свободу и желающий отыграться на суде. С другой стороны — отсутствие личной выгоды в преступлении, решимость принять его неизбежные последствия,

без стремления уйти от правосудия, — совершение деяния в обстановке, которая заранее исключает возможность отрицания вины.

Между этими двумя типами укладываются все обвиняемые, бывающие на суде, приближаясь то к тому, то к другому. Очевидно, что обвиняемый первого типа заслуживает менее доверия, чем обвиняемый второго. Приближение к тому или другому типу не может уничтожать преступности деяния, приведшего обвиняемого к необходимости давать свои объяснения на суде, но может влиять на степень доверия к этим объяснениям.

К какому типу ближе подходит Вера Засулич — решите вы, и сообразно с этим отнесетесь с большим или меньшим доверием к ее словам о том, что именно она имела в виду сделать, стреляя в ген.-ад. Трепова. Вы слышали объяснения Засулич здесь, вы помните сущность ее объяснения тотчас после происшествия. Оно приведено в обвинительном акте. Оба эти показания, в сущности, сводятся к желанию нанесением раны или причинением смерти отомстить ген.-ад. Трепову за наказание розгами Боголюбова и тем обратить на случившееся в предварительной тюрьме общее внимание. Этим, по ее словам, она хотела сделать менее возможным на будущее время повторение подобных случаев.

Вы слышали прения сторон. Обвинитель находит, что подсудимая совершила мщение, имевшее целью убить ген.-ад. Трепова. Обвинитель указывал вам на то нравственное осуждение, которому должны подвергаться избранные подсудимою средства, даже и в тех случаях,

когда ими стремятся достигнуть нравственных целей. Вам было указано на возможность такого порядка вещей, при котором каждый, считающий свои или чужие права нарушенными, постановлял бы свой личный, произвольный приговор и сам приводил бы его в исполнение. Рассматривая с этой точки зрения объяснения подсудимой и проверяя их обстановкою преступления, прокурор находил, что подсудимая хотела лишить жизни потерпевшего.

Вы слышали, затем, доводы защиты. Они были направлены преимущественно на позднейшее объяснение подсудимой, в силу которого рана или смерть ген.-ад. Трепова была безразлична для Засулич, — важен был выстрел, обращавший на причины, по которым он был произведен, общее внимание. Таким образом, по предположению защиты, подсудимая считала себя поднимающею вопрос о восстановлении чести Боголюбова и разъяснении действительного характера происшествия 13 июля,—и не только перед судом России, но и перед лицом Европы. То, что последовало после выстрела, не входило в расчеты подсудимой.

Вы посмотрите спокойным взглядом на те и другие доводы, господа присяжные заседатели. Вы остановитесь на их беспристрастном разборе и, производя его, вероятно, встретитесь с вопросами.

Если нужно обращать на что-либо общее внимание, хотя бы путем необыкновенного или даже незаконного поступка, то является ли стрельба из револьвера и на расстоянии, на котором трудно промахнуться, единственным неизбежным средством? Общее внимание исклю-

чительно ли связано с действиями, которые почти неминуемо сопровождаются пролитием крови? Выстрел, направленный не в человека, но с внешними признаками покушения, не так же ли может поднять вопрос? Наконец, поднятие вопросов, хотя бы и о действительно больных сторонах общественной жизни, способом, избранным подсудимою, не является ли резким нарушением правильного устройства этой жизни, не является ли лекарством, которое оставляет болезненные следы, так как определение в каждом данном случае вопроса, который должен быть таким образом поднят, ставится в зависимость от произвола, от развития, от разума или неразумия отдельного лица.

Обратясь к показанию Засулич, вы поищите в нем доказательств того, что она могла быть твердо уверена, что дело ее будет разбираться обыкновенным судом, публичным, гласным; в виду этого вопроса, я должен вам напомнить, что она здесь, на суде, объяснила именование себя Екатериною Козловой боязнью за своих знакомых, так как предполагала, что дело о ней будет производиться политическим порядком. А по этим делам закон разрешает закрывать двери суда всегда, когда это будет признано судом нужным.

Обсуждая доводы прокурора, вам придется остановиться на том, что́ надо понимать под мщением. Придется разобрать значение первоначального заявления подсудимой о желании отомстить. Быть может, в самом этом слове вы найдете и объяснение практической цели, для которой был произведен выстрел, если вы согласитесь с обвинителем в его взгляде на поступок Засулич.

Чувство мщения свойственно немногим людям; оно не так естественно, не так тесно связано с человеческой природой, как страсть, например, ревность, но оно бывает иногда весьма сильно, если человек не употребит благороднейших чувств души на подавление в себе стремления отомстить, если даст этому чувству настолько ослепить себя и подавить, что станет смешивать отомщение с правосудием, забывая, что враждебное настроение — плохое подспорье для справедливости решения. Каждый более или менее, в эпоху, когда еще характер не сложился окончательно, испытывал на себе это чувство. Состоит ли оно в непременном желании уничтожить предмет гнева, виновника страданий, вызвавшего в душе прочное чувство мести? Или на ряду с желанием уничтожить — и притом гораздо чаще — существует желание лишь причинить нравственное или физическое страдание, или и то и другое страдание вместе? Акты мщения встречаются, к сожалению, в жизни в разнообразных формах, но нельзя сказать, чтобы в основе их всегда лежало желание уничтожить, стереть с лица земли предмет мщения.

Вы знаете жизнь, — вы и решите этот вопрос. Быть может, вы найдете, что в мщении выражается не исключительное желание истребить, а и желание причинить страдание и подвергнуть человека нравственным ударам. Если вы найдете это, то у вас может явиться соображение, что указание Засулич на желание отомстить еще не указывает на ее желание непременно убить ген.-ад. Трепова.

Разрешить так или иначе вопрос о степени доверия к показанию подсудимой нельзя, не

перейдя к проверке его данными дела. И здесь вы снова встретитесь с рядом вопросов. Во-первых, вы обратите внимание на оружие и на то, что оно куплено по поручению подсудимой. Показание Лежена охарактеризовало перед вами свойства револьвера. Это — один из сильнейших. Вместе с тем по конструкции своей он один из самых коротких. Вы припомните мнение обвинителя, что калибр револьвера, его боевая сила указывают на желание убить, — но вы не упустите из виду и того соображения, что размер револьвера делал удобным его ношение в кармане и его незаметное вынутие оттуда, причем не цель непременного убийства могла быть в виду, а лишь обстановка, в которой придется стрелять. Во-вторых, вы обсудите расстояние, с которого произведен выстрел, и место, куда он произведен. То, что он произведен почти в упор, может служить указанием на желание причинить смертельное повреждение, но не надо упускать из виду, что расстояние между ген.-ад. Треповым и Засулич обусловливалось обстановкою, и, быть может, с другого места выстрела уже и нельзя было произвести. Вы решите: было ли расстояние, с которого был произведен столь близкий выстрел, выбрано Засулич произвольно, и не было ли бы удобнее для целей убийства стрелять с несколько большего расстояния, так как тогда можно, не стесняясь расстоянием, навести пистолет в наиболее опасную часть тела. При этом вы сделаете и оценку выбора места, куда произведен был выстрел. Вы припомните, что говорил обвинитель о волнении подсудимой, мешавшем ей сделать выстрел иначе, но не забудете также и того, что, и по

обыденным понятиям и по медицинскому исходу настоящего ранения, наиболее опасными местами для причинения смерти являются голова и грудь. Вы вообще обратите особое внимание на оценку данных самого события.

Перед вами здесь было высказано, что для определения того, что Засулич не хотела убить, не нужно особенно останавливаться на фактах, — они, повидимому, представляются не имеющими значения. Но я не могу со своей стороны дать вам такого совета. Я думаю, что на факты нужно во всяком деле обращать особое внимание. На одних предположениях и теоретических выводах судебного решения, — обвинительного или оправдательного — безразлично, — строить нельзя. Предположения и выводы являются иногда прочною и верною связью между фактами, но сами по себе еще ничего не доказывают. Всего лучше и несомненнее цифры, — где нет цифр, там остаются факты, но если цифр нет, если факты отбрасываются в сторону, то всякий вывод является произвольным и лишенным оснований. Поэтому, повторяю, — при обсуждении двух возникающих из дела вопросов о покушении на убийство и о нанесении раны вдумайтесь в факты и подвергните их тщательному разбору. Отвечая на первый из поставленных вам вопросов, вы ответите на вопрос о ране, — тяжелой и обдуманной заранее; отвечая не только на первый, но и на второй вопрос, вы отвечаете на вопрос об убийстве, которое, как вы видите из прежнего вопроса, предполагается не совершившимся только от причин, которые устранить или создать было не в силах Засулич. Ответ на все эти вопросы дает

полную картину покушения на убийство, — ответ на один первый дает картину нанесения, сознательно и обдуманно, тяжелой раны.

При признании подсудимой виновною вам придется выбирать между этими двумя ответами. Быть может, у вас возникнут сомнения относительно выбора одного из этих ответов. В виду этого я должен вам напомнить, что по общему юридическому и нравственному правилу всякое сомнение толкуется в пользу подсудимого; в применении к двум обвинениям в различных преступлениях это значит, что избирается обвинение в преступлении слабейшем.

Остается указать еще на ту часть вопроса первого, одинаково применимую и к покушению на убийство и к нанесению тяжелой раны, которая говорит о заранее обдуманном намерении.

Каждое действие чем серьезнее, тем более оно обдуманно; то же и по отношению к преступлению. Обвинительная власть находит, что подсудимая учинила свое деяние, задолго его обдумав и приготовясь к нему; защита полагает, что ничего обдуманного заранее не было и что Засулич, думая о том, что она впоследствии совершила в приемной градоначальника, находилась в состоянии постоянного аффекта, т. е. в состоянии постоянного гнетущего и страстного раздражения. Преступления, совершенные в состоянии раздражения, существенно отличаются от обдуманных заранее. Если вы признаете, что подсудимая в то время, когда стреляла в ген.-ад. Трепова, находилась в состоянии вызванного в ней незадолго перед тем раздражения и гнева, то вы отвергнете

обдуманность и исключите ее из первого вопроса, прибавив к нему, в случае утвердительного ответа на прочие его части, «но без обдуманного намерения». Закон, однако, признает запальчивость и раздражение как последствия внезапно налетевшего гнева, который вполне овладевает человеком. Неожиданная обида, насилие, явное притеснение, возмутительное поведение могут в очевидцах или в потерпевшем вызвать негодование, которое заставит его забыть об окружающем и броситься на обидчика или, вступив с ним в объяснение, постепенно потерять всякое самообладание и свершить над ним преступное деяние, последствий которого совершитель за час, за полчаса иногда вовсе и не предвидел и которых он в спокойном состоянии сам ужаснулся бы. Но где есть некоторое время подумать, побыть с самим собою, где на первом плане не гнев, а более спокойное и более глубокое враждебное чувство, там убийство является уже умышленным. Там же, где желание причинить вред или убить существует более или менее продолжительное время, где человек встает и ложится с одной мыслью, с одной решимостью, где он приобретает средства для своего деяния и затем, однажды, все обдумав и предусмотрев и на все решившись, идет на свершение своего дела, — там мы, с точки зрения закона, имеем дело с преступлением предумышленным, т. е. совершенным с заранее обдуманным намерением. Каждый день, в течение долгого приготовления и обдумывания, человек этот может негодовать на свою будущую жертву, каждый день воспоминание о ней может возбуждать и гнев, и раздражение,

и все-таки, если это продолжалось много, много дней и в течение их мысль о будущем деле созрела и развивалась, — закон указывает на предумышление.

Не в гневе, не в страстном негодовании отличие преступления, совершенного предумышленно, от деяния, сделанного в раздражении, а в промежутке времени, дающем возможность одуматься, критически отнестись к себе и к задуманному делу и, призвав на помощь силу воли, отказаться от заманчивого плана. Там, где была эта возможность критики, возможность отказа, возвращения назад, возможность раздумия, там закон видит условия обдуманности. Где этого нет, когда человек неожиданно поглощен страстным порывом, там закон видит аффект.

Господа присяжные! Мне нечего говорить вам о порядке ваших совещаний: он вам известен. Нечего говорить о важности ваших обязанностей как представителей общественной совести, призванных творить суд. Открывая заседание, я уже говорил вам об этом, и то внимание, с которым вы относились к делу, служит залогом вашего серьезного отношения к вашей задаче. Указания, которые я вам делал теперь, — есть не что иное, как советы, могущие облегчить вам разбор данных дела и приведение их в систему. Они для вас нисколько не обязательны. Вы можете их забыть, вы можете их принять во внимание. Вы произнесете решительное и окончательное слово по этому важному, без сомнения, делу. Вы произнесете это слово по убеждению вашему, глубокому, основанному на всем, что вы видели и слышали, и ничем не стесняемому, кроме голоса вашей совести.

Если вы признаете подсудимую виновною по первому или по всем трем вопросам, то вы можете признать ее заслуживающею снисхождения, по обстоятельствам дела. Эти обстоятельства вы можете понимать в широком смысле. К ним относится все то, что обрисовывает перед вами личность виновного. Эти обстоятельства всегда имеют значение, так как вы судите не отвлеченный предмет, а живого человека, настоящее которого всегда прямо или косвенно слагается под влиянием его прошлого. Обсуждая основания для снисхождения, вы припомните раскрытую перед вами жизнь Засулич. Быть может, ее скорбная, скитальческая молодость объяснит вам ту накопившуюся в ней горечь, которая сделала ее менее спокойною, более впечатлительною и более болезненною по отношению к окружающей жизни, и вы найдете основания для снисхождения.[148]

(К старшине). Получите вопросный лист. Обсудите дело спокойно и внимательно, и пусть в приговоре вашем скажется тот «дух правды», которым должны быть проникнуты все действия людей, исполняющих священные обязанности судьи.

Присяжные удалились для совещания.

ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Прерывая заседание с уходом присяжных, я вошел в свой кабинет очень усталый, но с чувством некоторого облегчения, вполне понятного в председателе, который, после трудного и чреватого событиями судебного следствия и обостренных прений, отпустил присяжных совещаться. Я не мог, конечно, предрешить приговора, но я сознавал, что ни присяжные, ни общество не в праве упрекнуть суд «в игре в правосудие». Пред первыми было открыто все внутреннее содержание дела, и их совесть могла возвысить свой голос, не смущаясь предположением, что что-либо утаено, скрыто, спрятано под сукно угодливыми или трепетными судьями. Все, что было известно суду о личности подсудимой, о мотивах и обстановке ее действий, было выяснено пред присяжными, и если они чего-либо, игравшего роль в поступке Засулич, не знали, то это было лишь то, чего не знал и сам суд. И общество в лице своих разнообразных и многочисленных представителей было свидетелем широкого применения начал нового суда, невзирая на исключительность дела и особенности участников. Оно имело пред собою суд

«для всех равный». От присяжных зависело, если они находили это справедливым, показать, что это — суд «милостивый», а граф Пален позаботился, со своей стороны, чтобы он был и «скорый»...

Обращаясь мыслью к приговору, который обсуждался в эти минуты за закрытыми дверями комнаты присяжных, я надеялся, что если разум присяжных возобладает над чувством и подскажет им решение о виновности в нанесении тяжелой раны, но без намерения убить, — решение, в котором признание вины соединялось бы со «снисхождением», — то такое признание, не идя вразрез ни с фактами дела, ни с требованиями общественного порядка, давало бы суду возможность применить к виновной наказание сравнительно не тяжкое.

Кроме того, в виду признания присяжными, что одно насилие (со стороны власти) не уполномочивает на другое (со стороны подвластных), суд получил бы полное основание, особо оттенив первое из этих насилий, почерпнуть в произведенном им впечатлении и в житейской обстановке подсудимой поводы для ходатайства перед государем о дальнейшем смягчении, о милосердии... Последствия этого были бы самые благотворные во всех отношениях. Представление суда — подробное и твердое — указывало бы государю на то, как беззастенчиво преступают его сановники границы законности и уважения к человеческому достоинству; наказание, понесенное Засулич, дважды смягченное, не возмущало бы никого своею жестокостью; самый поступок Засулич, шедшей на кару и принявшей ее, приобретал бы характер действительного,

несомненного самоотвержения, и, наконец, главнее всего, — пред Россиею и даже, в виду важности процесса, пред всею Европою развернулась бы картина суда настоящего, не боящегося смотреть в глаза истине и бестрепетно ищущего только *правды*. Мы, слуги нового суда, могли бы сказать всем тайным и явным его врагам: «Смотрите! на ряду с исключительными судами, не внушающими к себе ни доверия, ни уважения, есть суд, который, соблюдая все гарантии правосудия и давая все средства защиты обвиняемому, умеет достигать справедливых приговоров, не возмущая совести общества и в то же время научая его узнавать свои язвы... Обвинительный приговор, выражая слово порицания самосуду, в то же время был бы результатом такого судебного исследования, которое ясно показывало бы всем «властителям и судьям», что «nil inultum remanebit; quidquid latet apparebit!..»

Судьба судила, однако, иначе... В кабинете у себя я застал Ковалевского и Чичерина. Мне важно было узнать мнение первоприсутствующего уголовного кассационного департамента о ходе дела на суде, тем более что в этом отношении М. Е. Ковалевский издавна, и по справедливости, считался авторитетом. «Ну что, мой строгий судья?..» — спросил я его. «Обвинят, несомненно», — отвечал он мне, не поняв вопроса. «Нет! А как шло дело?» — «Очень хорошо! — сказал он, крепко сжимая мою руку, — вы сумели соединить строгий порядок с предоставлением сторонам самых широких прав, и, даже желая вас, по дружбе, раскритиковать, я не могу ни к чему придраться... Иначе этого дела и нельзя бы вести...» Чичерин удивлялся,

как такое дело можно вести с присяжными. «Оно имеет несомненный политический оттенок, — говорил он, — и если присяжные вынесут обвинительный приговор (в чем он не сомневался), то этим они покажут, что они умнее тех, кто передал это дело на их суд. Но можно ли, однако, их подвергать таким испытаниям?..» *

Вслед за тем вошел Лопухин и таинственно сообщил мне, что на улице неспокойно, что можно ожидать беспорядков, и он боится, чтобы присяжные не пострадали за свой обвинительный приговор от каких-либо насилий толпы.[149] Действительно, из окон приемной, выходящих на Шпалерную, видна была толпа в несколько сот человек. Она совершенно запрудила собою улицу от Литейной до дома предварительного заключения. Преобладали широкополые шляпы, высокие сапоги и пледы; были видны зеваки и любопытные; но центр толпы ожидал чего-то, очевидно, сознательно и тревожно. В нем резко жестикулировали, оживленно разговаривали, и смутный шум глухого говора, доносясь сквозь открытую форточку, наполнял легким гулом своды пустой приемной. Чувствовалось, что вокруг суда волнуются политические страсти, что пена и брызги их разбиваются у самых его дверей. Лопухин интересовался очень, знает ли полиция об этом сборище, и приняты ли меры к его рассеянию, готовый, повидимому, войти с нею в обсуждение необходимых мероприятий. Я советовал ему не волноваться, сказав, что в случае обвинительного приговора я задержу присяжных в суде, покуда толпа не разойдется...

* См. приложение VI.

«Обвинят! обвинят наверное!» — восклицал он и отправился любезно болтать в судейскую комнату, полную табачного дыма и любопытствующих звездоносцев, из которых некоторые почувствовали себя не совсем спокойно, когда он указал им в окно на толпу, тоже, по-своему, любопытствующую...[150]

«Звонок, звонок присяжных!» — сказал судебный пристав, просовывая голову в дверь кабинета... Они вышли, теснясь, с бледными лицами, не глядя на подсудимую... Настала мертвая тишина... Все притаили дыхание... Старшина дрожащею рукою подал мне лист...[151] Против первого вопроса стояло крупным почерком: «*нет, не виновна!..*» Целый вихрь мыслей о последствиях, о впечатлении, о значении этих трех слов пронесся в моей голове, когда я подписывал их... Передавая лист старшине, я взглянул на Засулич... То же серое, «несуразное» лицо, ни бледнее, ни краснее обыкновенного; те же поднятые кверху, немного расширенные глаза... «Нет!» — провозгласил старшина, и краска мгновенно покрыла ее щеки, но глаза так и не опустились, упорно уставившись в потолок... «не *вин*...», но далее он не мог продолжать...

Тому, кто не был свидетелем, нельзя себе представить ни взрыва звуков, покрывших голос старшины, ни того движения, которое, как электрический толчок, пронеслось по всей зале.[152] Крики несдержанной радости, истерические рыдания, отчаянные аплодисменты, топот ног, возгласы: «Браво! Молодцы! Вера! Верочка! Верочка!» — все слилось в один треск и стон, и вопль. Многие крестились; в верхнем, более демократическом отделении для публики, обнимались;

даже в местах за судьями усерднейшим образом хлопали... Один особенно усердствовал над самым моим ухом. Я оглянулся — помощник генерал-фельдцейхмейстера, граф Баранцов, раскрасневшийся седой толстяк, с азартом бил в ладони. Встретив мой взгляд, он остановился, сконфуженно улыбнулся, но едва я отвернулся, снова принялся хлопать...[153]

В первую минуту судебные пристава бросились было к публике, вопросительно глядя на меня. Я остановил их знаком и, сказав судьям: «будем сидеть», не стал даже звонить. Все было бы бесполезно, а всякая активная попыка водворить порядок могла бы иметь трагический исход. Все было возбуждено... Все отдавалось какому-то бессознательному чувству радости... и поток этой радости легко мог обратиться в поток ярости при первой серьезной попытке удержать его полицейскою плотиною. Мы сидели среди общего смятения, неподвижно и молча, как римские сенаторы при нашествии на Рим галлов. Но крики стали мало-по-малу замолкать, и наконец настала особая, если можно так выразиться, взволнованная тишина. Мне оставалось объявить Засулич свободною и закрыть заседание. Но настроение публики было таково, что сказать Засулич: «вы свободны, вы можете оставить ваше место!» — значило отдать ее на руки восторженной и возбужденной толпе и вызвать самые беспорядочные и, быть может, даже безобразные по форме проявления триумфа. Нельзя было делать стены суда местом буйно-радостных демонстраций, которые за дверями суда, на улице, среди собравшейся толпы, могли разрастись до размеров, вызывающих вмешательство силы. Я решился отступить

от правила о немедленном освобождении подсудимых. «Вы оправданы! — сказал я Засулич. — Отправьтесь в дом предварительного заключения и возьмите ваши вещи; приказ о вашем освобождении будет прислан немедленно. Заседание закрыто!» [154]

Публика с шумом и возгласами хлынула внутрь залы заседаний, перескакивая через барьеры, и окружила скамью подсудимой и место защитника. Ласковые слова сыпались на Засулич; присяжных поздравляли; Александров не успевал отвечать на рукопожатия и, едва спустился с лестницы, как был подхвачен на руки и с криками торжества пронесен до самой Литейной. Зала опустела.

Проходя к себе, взволнованный всем происшедшим, я увидел, что с угла Литейной на Шпалерную скорым шагом, в шинелях внакидку, входит команда жандармов, человек в тридцать. Она потеснила толпу, которая все больше и больше волновалась, ближе к дому предварительного заключения. «Из ворот этого дома, в самую пасть этой толпы выйдет Засулич, — подумал я, — будет встречена шумным восторгом, подхвачена на руки, несена с триумфом, а жандармы, конечно, вызваны, чтобы «тащить» и «не пущать», — и произойдет столкновение, быть может, кровавое. Всего этого можно было избежать, осуществив освобождение Засулич, не выпуская ее на Шпалерную. Для этого ее можно было привести, по соединительному ходу, назад, в суд, и выпустить чрез обыкновенно запертые ворота на Захарьевскую, объявив затем толпе, что она уже уехала. Но сделать такое распоряжение по дому предварительного заключения могла одна лишь местная прокуратура. На вопрос:

«где прокурор суда и прокурор палаты?» — мне отвечали, что оба «изволили уехать к министру», оставив здание судебных установлений, в котором Лопухин, в качестве инспектора, был блюстителем порядка, с шумящею публикою внутри и с грозно разраставшеюся толпою снаружи... Предчувствуя неминуемое столкновение молодежи с полициею и уличные беспорядки, я решился прибегнуть к единственному доступному мне средству и пригласил к себе полицеймейстера Дворжицкого. Трепов, возложив на него, за полгода пред тем сечение Боголюбова, поручил ему же управление чинами полиции, командированными в суд.

Будущий спутник государя на роковом пути по Екатерининскому каналу предстал предо мною с злорадною улыбкою на красивом лице. Объяснив ему мои опасения, я сказал ему, что, за отсутствием обоих прокуроров, он один как представитель местной полиции имеет теперь право делать какие-либо распоряжения в доме предварительного заключения, управляющий которым находится в прямом подчинении градоначальнику. «Вы лучше меня знаете, что может произойти на улице, если Засулич будет выпущена к толпе, осаждающей ворота дома предварительного заключения, — говорил я. — На вашей обязанности лежит устранить возможность беспорядков, размер которых нельзя заранее и определить. Я не имею власти в доме предварительного заключения, но прошу вас отправиться туда немедленно, внутренним ходом из зала суда и, пригласив с собою Засулич, провести ее на судебный двор. Я прикажу смотрителю здания немедленно отворить ворота на Захарьевскую и выпустить Засулич

через них. Толпа ждет на Шпалерной; Захарьевская широка и пустынна, и никто не думает, что из суда есть выход и на нее; начинает смеркаться. и Засулич спокойно удалится, куда хочет, не возбуждая ничьего внимания. Когда она уедет, толпе можно будет объявить, что она вышла на Захарьевскую, и все обойдется благополучно. Сделайте это: прошу вас убедительно и настоятельно...» Дворжицкий поклонился с военной грацией, приподнимая свои полковничьи эполеты, и сказал: «Слушаю-с! — прибавив с усмешкою: — только я попрошу сделать в здании суда надлежащие распоряжения, чтобы не вышло потом каких-либо недоразумений». — «Заприте немедленно ворота суда с Литейной и прикажите отомкнуть ворота на Захарьевскую, передав ключ господину Федосееву, — сказал я позванному немедленно смотрителю, указывая ему на расторопного судебного пристава, — вы же, господин Федосеев, отправьтесь вместе с господином полицеймейстером в дом предварительного заключения и проводите Засулич на Захарьевскую, заперев затем ворота... Теперь торопитесь, господин Дворжицкий, так как предписание суда уже послано в дом предварительного заключения. Можно быть спокойным, что вы все сделаете, как мы говорим?» — «Будьте уверены, ваше превосходительство, — отвечал, любезно раскланиваясь, треповский ликтор, — наша обязанность — не допускать беспорядка»...

Оставшись один и несколько успокоенный тем, что тревоги этого дня, повидимому, исчерпаны, я уже собирался уходить, но был задержан одним членом из наших высших учреждений (Деспот-Зеновичем), высоким, худым стариком с Алексан-

дровской звездою на груди... «Пришел вас поблагодарить за билет, данный мне для семейства, — говорил он. — Ну, что скажете вы о нынешнем дне? а?!.» — «День этот еще не кончен, и все, что произошло, еще так близко, так не остыло, — отвечал я, — что трудно сказать что-либо определенное... но боюсь, чтобы для нашего суда присяжных... он не был день *роковой*». [155] «Счастливейший день моей жизни! Счастливейший день моей жизни! — вскричал сановник, ударяя себя с силою по звезде, и лицо его внезапно покраснело, и старческие нервные слезы заблистали в его глазах. — Счастливейший день!» — повторил он тихо, крепко сжимая мою руку.

С трудом пробравшись сквозь толпу на Шпалерной, я встретил при повороте на Литейную торопливо идущего молодого человека в высоких сапогах и старой медицинской фуражке. «Позвольте узнать, — спросил он меня, запыхавшись, — не были ли вы в суде? Не знаете ли, чем кончилось дело? Куда ее присудили, или оно еще идет?» — «Дело кончено; Засулич оправдана». — «Неужели?! Оправдана! Боже мой!» Крепкие руки порывисто меня обняли, по щеке моей скользнули влажные губы и жесткие усы, и фуражка помчалась далее... Чрез несколько минут мимо церкви Сергия рысью промчался по направлению к суду взвод жандармов... Семья Арцимовичей, у которых я обещал обедать, уже сидела за столом вместе с гостями, пришедшими из суда после того как присяжные ушли совещаться... Все были уверены в обвинении Засулич, и мое заявление, что она оправдана, было принято сначала за шутку. Не успел окончиться обед, как почти вбежал новый гость — А. А. А. [156] «Вы здесь спокойно

сидите, — взволнованно сказал он, — а знаете ли что происходит на улице?.. Там стреляют, дерутся с жандармами; недалеко отсюда, на Воскресенском проспекте, лежит убитый».[157] Оказалось, что через четверть часа после моего ухода из суда Засулич была выпущена из дома предварительного заключения прямо в толпу, на Шпалерную. Дворжицкий сдержал свое обещание «предотвратить беспорядки»... Когда я возвращался домой, истомленный тревогами и впечатлениями этого дня, по улицам с грохотом мчались пожарные, и в стороне окружного суда вставало яркое зарево близкого пожара. За Невою, на Выборгской, горела огромная фабрика, и темно-багровые облака, медленно клубясь, нависали над местностью, где разыгралось дело, возбудившее страсти глубоко и надолго...

На другой день, рано утром, ко мне приехал Косоговский, бывший псковский губернатор, выбранный Тимашевым в директора полиции. Исполнительный, пустой и узкий бюрократ, искушенный в производстве административных исследований, имевших целью всегда доказать, что «все обстоит благополучно» и что «напрасно вольтерианцы доказывают»; человек бумаги, соглашений и компромиссов — он был во вражде с Треповым, с которым имел по службе постоянные отношения. Он составлял велеречивые доклады, писал шутливые стихотворения, переводил Alfred de Musset[158] и, разъезжая по России, принимал роскошные обеды и «местные вина» от чинов полиции. Трепов с трудом мог написать несколько строк, делая в слове, состоящем из трех букв, четыре ошибки («есчо», т. е. еще);[159] в литературе признавал только «Поли-

цейские ведомости» и ни в какие фамильярности с подчиненными не вступал. Трепов был — энергия, движение, во всем искал непосредственных, практических результатов и искренно желал усовершенствований в своем деле. Косоговский был — застой, инерция и тщательно ограждал свое ведомство от всяких «непристойных» (его любимое выражение) запросов жизни целыми баррикадами отписок, справок и докладов, выросших на почве добрых отношений с «нужными человечками». Между тем этим двум людям почти ежедневно приходилось входить в служебные соприкосновения, причем Трепов кипел, негодовал и постоянно выходил из формальных рамок, в которые старался его вдвинуть директор департамента. Иногда их вражда принимала острый характер, и в комитете по управлению домом предварительного заключения взаимное раздражение их очень часто грозило вызвать бурную сцену, так что председатель, князь Лобанов-Ростовский, смущался и переставал верить во всемогущество своих приятных манер и забавных анекдотов.

Я встретился впервые с Косоговским в комиссии по обсуждению сочинений о тюрьмах, представленных на конкурс, объявленный тюремным комитетом; потом мы сошлись в 1876 г., под председательством седого и хитрого Китицына, бывшего, несмотря на свое совершенное невежество не только в юриспруденции, но и в грамоте, юрисконсультом двух министерств — двора и внутренних дел. Это было в мертворожденной комиссии, куда были переданы все жалобы администрации на судебные учреждения для разработки вопросов о безусловной доказательной

силе полицейских протоколов, об отмене права судей делать предостережения чинам полиции, о порядке служебных сношений между представителями администрации и судьями, о церемониале приемов и т. д. Тогда благодаря невежеству и лени Китицына и тому, что Косоговский писал куплеты (в чем я его усердно поощрял), а представитель III Отделения, Еремеев, рисовал женские торсы, ножки и головки, мне и покойному Пясецкому удалось свести все эти вопросы *на-нет*. Начальство негодовало на то, что Китицын ничего не умел провести, и не дало ему никакой награды, но опасные вопросы были на время погребены, чтобы, к сожалению, отчасти и притом с успехом всплыть впоследствии и уже по инициативе министра юстиции. Через год я встретил Косоговского на Кавказе, в Кисловодске, где он был неразлучен со «своим другом», звероподобным начальником пересыльной части, грязным циником, генерал-лейтенантом Беленченко. Маскарадный герой и «почетный член домов терпимости», Беленченко оставил во мне весьма живое воспоминание по одной сцене, бывшей в тюремной комиссии под председательством Зубова. Будучи вызван как эксперт по пересыльной части, он поразил всех заявлением, что в России и Сибири *административно* пересылаются ежегодно от восьми до десяти тысяч человек.

В комиссию ездил весьма деятельно Шувалов, стремясь изъять тюрьмы из ведения министерства внутренних дел и приурочить тюремную *статику*, т. е. места заключения, к министерству юстиции, поставив последнее в необходимость отдать тюремную *динамику*, т. е. пересыльную

часть, в руки жандармского корпуса и III Отделения и, таким образом, сверх закона 19 мая о политических дознаниях, связать свое ведомство еще новою пуповиною с министерством юстиции. Заявление Беленченко передернуло его, и, крутя свой тонкий ус, он запальчиво сказал, что это неправда. К нему присоединились некоторые члены, доказывая, что, вероятно, Беленченко помещает в это число и пересылаемых по судебным приговорам, вследствие подлежащих статей Улож. о наказ., а также непринятых обществами, водворяемых на родину по их желанию и т. д. «Ведь у вас есть статейные списки, разве вы не различаете по ним оснований пересылки?» — раздраженно спросил Шувалов. Беленченко встал во весь свой громадный рост и, обиженный вопросом Шувалова, сказал, широко разевая плотоядные уста: «Да помилуйте, ваше сиятельство, зачем мне смотреть основания?! Не смотрел и смотреть не намерен! Зачем мне их знать? Мне указывают человека и говорят: «в Якутск!» — Слушаю-с! Кладу его в колесо, повернул, — и он сделал быстрое круговое движение рукою, — трах! Он в Якутске. А кто он, зачем и почему — мне-то какое дело? Я, ваше сиятельство, — машина; повернул колесо: раз, раз — и готово; раз, раз — и готово! А до личности мне и дела нет! С какой радости?!.» — и он сел, поглаживая лысину, улыбаясь и самодовольно оглядывая слушателей, «срезанных» его profession de foi...

Приехав ко мне на другой день после дела Засулич, Косоговский, захлебываясь от удовольствия, стал рассказывать, какое благотворное впечатление произвел приговор и как все поря-

дочные люди рады разоблачению «непристойных действий» Трепова. Косвенное порицание недруга, выразившееся в приговоре присяжных, его восхищало, и, позабыв свой официальный консерватизм, он превозносил их, уверяя, что они *не могли* иначе поступить и что теперь, конечно, «этого непристойного самодура» уберут. Приглашение к министру юстиции помогло мне отделаться от этого господина, истинная цена и источник чувств и взглядов которого в данную минуту мне были ясны.

Я нашел Палена гораздо более спокойным, чем ожидал. «Ну, вот видите, каковы они, ваши присяжные! — встретил он меня. — Ну, уж пусть теперь не взыщут, пусть не взыщут!» Но затем стал, без особого волнения, говорить о деле, повидимому, более негодуя на уличные последствия процесса, чем на самый приговор. Я рассказал ему некоторые подробности процесса и ту роль, которую разыграл Дворжицкий. «Этого нельзя так оставить! — возмущался он, — надо написать или сказать Трепову, а то это еще поставят нам на счет, пусть он взыщет!..» — «Нет, — сказал я, — писать официально Трепову неудобно, так как заботы по устранению беспорядков на улице вовсе не входили в мои служебные обязанности, да и вообще с ним всегда удобнее и успешнее дело идет при личных объяснениях; я заеду к нему сегодня и расскажу все подробно...» — «Да! Да! — твердил Пален, — наделали мне эти присяжные хлопот! Но, я слышал; что *вами* дело было ведено превосходно и безукоризненно... это мне говорили очевидцы...»

От Палена я поехал к Трепову. Хотя мне не хотелось его видеть, так как я предвидел, что

разговор о действиях Дворжицкого неизбежно перейдет и к приговору присяжных, который не мог не уязвить старика глубоко, пошатнув его внешний авторитет... Но я не считал возможным оставить случай с Дворжицким без последствий. Умышленность действий этого господина и злорадное желание усугубить последствия оправдания Засулич были слишком очевидны. Я нашел старика в фальшиво-сентиментальном настроении. Он твердил, что «благодарит бога» за оправдание Засулич, так как не желал и не желает ей зла, но тут же, рядом, с недоумением спрашивал, что *он* сделал присяжным и за что они его так жестоко оскорбили своим приговором? «Я хлопотал всегда о пользах города и благоустройстве его — и вот теперь награда...» — твердил он с видимой горечью и снова возвращался к тому, что был рад, узнав об оправдании, и при первой вести о нем будто бы даже перекрестился, сказав: «ну, и слава богу!» Он, видимо, впервые примерял одежду «христианского смирения», избрав со свойственным ему умом наиболее приличный и подходящий к случаю костюм. Я поспешил прекратить этот разговор, сказав ему, что оправдание Засулич выражает собою, прежде всего, сострадание к ее житейским бедствиям, и что, если в нем можно видеть протест присяжных, то, во всяком случае, лишь против нарушения закона, выразившегося в случае с Боголюбовым, а отнюдь не стремление оскорбить или унизить лично его, Трепова. Затем я перешел к случаю с Дворжицким. Трепов, который в прежнее время, обыкновенно, кипятился и пылал гневом на бездеятельность своих агентов, отнесся к моему

рассказу очень хладнокровно. Он, очевидно, был предупрежден и настроен надлежащим образом. «Да, конечно, жаль, что Дворжицкий не исполнил вашего желания,[160] — сказал он, снова напуская на себя меланхолию, — но, видите ли, Анатолий Федорович, *мои* меня очень любят и уважают — и Дворжицкий в том числе — и они все, и он в том числе, не могли не быть оскорблены и расстроены приговором присяжных... Ну, а где же от расстроенного и огорченного человека требовать внимания и сообразительности. Дворжицкий, может быть, и хотел бы исполнить все, что вы ему говорили, да вспомнил все, что произошло, ну и забыл... Нет, уж тут, по правде, не он, а присяжные виноваты — они и его, и всех так расстроили...»

Мне стало ясно, что у них решено поставить уличный беспорядок и пролитую кровь «нам на счет», как выражался Пален, и я прекратил беседу со стариком, снова впавшим в тон «христианского смирения».

Оправдание Засулич разразилось над петербургским обществом, подобно электрическому удару, радостно возбудив одних, устрашив других и всех равно взволновав. Повсюду только и было разговору, что о нем, а газетные отчеты, сообщая в течение нескольких дней все перипетии процесса, держали общественное любопытство в возбужденном состоянии и знакомили провинцию «с нашею злобою дня», которая приобретала значение знаменательного общественного явления. В огромной части образованного общества оправдание это приветствовалось горячим образом.[161] В нем видели урок,

предостережение; близорукие любители сравнений говорили уже не только о русской Шарлотте Корде, но и о «взятии Бастилии»... Чувствовалось, что приговор присяжных есть гласное, торжественное выражение негодования по поводу административных насилий, и большинство только с этой точки зрения его и рассматривало, окрашивая деятельность суда в политический колорит. В этом же смысле и весьма единодушно высказывалась и петербургская печать. Передовые статьи большей части газет рассматривали решение присяжных именно как протест общественной совести, которая была возмущена явным нарушением закона и грубым насилием и не нашла в себе слова осуждения для той, которая явилась выразительницей негодования, накопившегося в душе многих...[162] Приговор присяжных, быть может, и не правилен юридически, но он верен нравственному чутью; он не согласен с мертвою буквою закона, но в нем звучит голос житейской правды; общество ему не может отказать в сочувствии... и caveant consules!..

Таково было содержание большей части статей и заметок, появившихся в первые дни после процесса. Особенною горячностью отличался воскресный фельетон «Голоса».[163] Он производил очень сильное впечатление. В написанных с неподдельным увлечением и талантом строках Григорий Градовский[164] рассказывал пережитое им во время процесса. Пред ним зала суда, наполненная «избранною публикою», блещущая звездами, «так тесно» сидящими, точно на Млечном пути, — и бледная подсудимая; но все это застилает галлюцинация... ему кажется, что не ее, а его, и с ним все общество, судят и что за-

щита говорит обвинительную речь, отнимая у них всякую надежду на оправдание. Но галлюцинация проходит — чредою проносятся обстоятельства дела, и событие 13 июля восстает пред ним во всей своей отталкивающей наготе, заслоняя недавние болгарские ужасы... Он не в силах передать в подробностях эту «страницу человеческой жестокости» — пусть читатели прочтут сами, — но он чувствует, что все это совершено не одним «потерпевшим», а всеми, всеми, всем обществом, которое молчало, когда совершалось поругание закона, всею печатью, которая не поднимала своего голоса, и что все они своею апатиею, своим равнодушием к попранию справедливости, воздвигли руку Засулич, у которой были отняты, без вины и приговора, ее молодость и малейшая надежда на лучшее будущее. И вот, когда среди общего томления раздается, покрываемое взрывом восторга, слово оправдания, ему снова грезится, что не она, а он сам оправдан, что теперь все пойдет хорошо, после ряда неудач и горя, и что наступила желанная, хотя и тяжелая минута, с которой должно начаться общественное выздоровление...[165]

В таком же тоне высказывались и другие органы печати. Одно «Новое время» молчало. Оно, повидимому, начинало прислушиваться к камертону из Москвы и начинало «гнуть свою линию» в том направлении, которого оно стало с таким позорным успехом и беззастенчивостью держаться в последующие годы.

Но исход дела и напугал многих. Правительство почувствовало общественное значение решения присяжных, принятого с таким восторгом. Все те, кто, быть может, лично и брезгая

насилием, были не прочь допустить его в руках других «для порядка», увидели, что за это приходится дорого платиться; многих возмутило то, что в решении «каких-то присяжных» прозвучал голос осуждения сановнику, генерал-адъютанту, крупному представителю власти... Давно начавшийся разлад между административною практикою и теоретическими требованиями, выросшими на почве преобразований Александра II, сказался резко, громко, во всеуслышание — и победа, нравственная победа, осталась не за практикою. Поле битвы оказалось перенесенным в чужую, независимую сферу, и в ней мероприятия административного произвола не нашли ни ценителей, ни знатоков. Склониться пред этим фактом значило войти в узкие рамки закона, стеснить себя навсегда, сознательно отречься от того, что поэт называл «необходимостью самовластья и прелестями кнута». Надо было стать на защиту колеблемого авторитета, ибо «сегодня Трепов», а завтра кто-нибудь повыше... ведь, «кто богу не грешен, царю не виноват», и т. д. Наконец очень многие были возмущены отрицанием виновности подсудимой, при наличности факта преступления и сознания в нем. При полном непонимании, которое существует в нашем обществе относительно судебных порядков и способов отправления правосудия, почти для всех вопрос: «*виновен ли?*» и до сих пор равносилен вопросу: «*сделал ли?*» И когда человеку, который сам сознает, что «сделал», говорят: «не виновен», — то в обществе поднимается крик, в котором искренность недовольства равняется лишь глубине невежества. В деле Засулич был именно такой случай, и никто не хотел понять,

что, говоря «не виновна», присяжные вовсе не отрицали того, что она сделала, а лишь не вменяли ей этого в вину. Мне рассказывали, что в это именно время, в одном из клубов, заслуженный генерал, негодуя на исход процесса, кричал: «Помилуйте, да и могло ли быть иначе при таком председателе?! Она говорит сама, что стреляла, а господин Кони спрашивает у присяжных: виновна ли она?! Нет! Как это вам нравится: виновна ли она? а?!»

В правительственных сферах забили тревогу, как только после первого впечатления явилось сознание, что общество, выйдя из пассивной роли, выразило осязательно и наглядно в громе рукоплесканий и криках восторга свое неодобрение, свое резкое порицание самому началу беззаконных действий видного сановника и в его лице — всей предержащей власти. В этих сферах были не прочь полиберальничать за обеденным столом и повздыхать о конституции за дымящеюся сигарою; готовы были молчаливо-одобрительно выслушивать и даже поощрять самые низкие клеветы и сплетни про этого самого синовника; с удовольствием шутили насчет «небесного» царя, а иногда насчет «земного», и притом насчет последнего весьма злобно и грязно, но «публичное доказательство» недовольства и возможности критики казалось опасным и нетерпимым. И вот те, кто называл Трепова «старым вором», кто удивлялся, как может государь вверять столицу этому «краснорожему фельдфебелю», этой «полицейской эрыге», как его называли некоторые, стали на его защиту и завопили о колебании правосудия и о том, что «если так пойдет, то надо бежать из России...»

В Английском клубе поднялась тревожная болтовня, и приговор над судом присяжных был подписан совокупностью сановных желудков, обладатели которых почувствовали себя солидарными с Треповым. Таким образом, в обществе образовалось два взаимно-противоположных взгляда, проводимых со страстностью и нетерпимостью, давно невиданными.[166] Для одних — решение по делу Засулич было вполне правильным выражением политического настроения общества, и в этом состояла его высота и целесообразность. Для других — это решение было проявлением революционных страстей и начавшегося разложения государственного порядка.[167] Людей, которые бы видели в этом решении роковое последствие целого ряда предшествующих прискорбных явлений и тревожный симптом болезненной неудовлетворенности общества, было немного. Для огромного большинства дело представлялось не так. Одни находили, что суд может, не теряя своего значения и смысла и оставаясь все-таки судом, сделаться органом проявления политических страстей, за неимением для них другого выхода; другие считали, что горючий материал, так ярко вспыхнувший по поводу этого дела, создан решением присяжных и что, не будь суда для проявления недовольства, не было бы и недовольства. Они, вопреки старому юридическому правилу, думали наоборот, что sublatus effectus — tollitur causa.

В кружках, на которые распадается образованное общество, почти не существует никакой внутренней дисциплины. Нет ее, в особенности, в среде людей либерального образа мыслей.

Трудно себе представить больший разлад, нетерпимость, тупую либеральную ортодоксальность, какие существуют между ними. Говоря о том, что «мы друг друга едим и тем сыты», Посошков духовными очами провидел нашу либеральную партию, которая менее всего думает о необходимости сплоченности в виду общих недугов — невежества, косности и произвола. Следы некоторой дисциплины есть, однако, в среде консерваторов или, вернее, ретроградов. Там есть кое-какое единение, бывают известные лозунги... Это проявилось и после дела Засулич.

Пока либералы жужжали о «проявлении общественного самосознания» и ликовали по поводу «взятия Бастилии», бюрократы и всякого сорта «друзья порядка» вырабатывали себе однообразный взгляд на дело и соответственную «ligne de conduite». Признать, что общественное мнение и даже совесть общества выразились в приговоре присяжных, — значило нравственно наложить на себя руку. Итак, присяжные выразили лишь самих себя в решении, постановленном к негодованию всего «благомыслящего общества». Их, однако, двенадцать человек, они свободны, независимы и пришли в суд свежими и чуждыми рутине и предвзятым мнениям, а между тем произнесли такое решение. Значит, они почерпнули его в своей совести? Нет, не в совести, а в неразумении, усиленном неподготовленностью к сильным, искусственно созданным впечатлениям. Они введены в заблуждение, и их нечего винить. Но кто же искусственно подготовил эти вредоносные впечатления? — Суд! Коронный суд! Он допустил говорить о действиях Трепова, и это произвело сильное

впечатление; он дозволил защитнику говорить о сечении и потрясти этим слушателей; он не оградил присяжных от влияния на них чувства, картины, образа; он не сказал им лаконически: «Вот — Засулич, она стреляла и созналась; больше вам нечего знать — судите ее!» Вот, кто виноват! И прежде и более всего — председатель. Нечего видеть в этом приговоре проявление общественного негодования и этим тревожиться. Это, просто, ошибки, неумение, тенденциозность суда и, в особенности, председателя — вот и все! И вот отправная точка: глупые присяжные, скверные судебные порядки и красный нигилист — председатель. На этом и станем твердо и бесповоротно!..

И вот дня через два начала реветь буря негодования на действия суда, буря, в которую первую скрипку со свойственным ему вредным талантом начал играть Катков.[168]

Но еще прежде чем разразилась буря, произошел один комический эпизод, достойный спасения от забвения. Вечером, в воскресенье, 2 апреля ко мне, в мое отсутствие, являлся адъютант принца Петра Георгиевича Ольденбургского[169] и просил прибыть на другой день к его высочеству ровно в десять часов утра. Во дворце, куда я пришел, запоздав, на лестнице меня встретил встревоженный Алопеус, директор Училища правоведения, где я читал лекции уголовного судопроизводства. «Что такое, зачем меня зовет принц?» — «Ах, вы опоздали, Анатолий Федорович, он уже два раза спрашивал о вас! Идите, идите! Теперь некогда объяснять вам, но такая история, что мы просто не знаем, что и делать», — лепетал мне этот хотя и «прискорб-

ный умом», но не без хитрецы человек. — «Там — Таганцев», [170] — прошептал он в большой тревоге; и я вошел к принцу в большой кабинет, окнами на Неву, по которой, озаренный первым весенним солнцем, шел лед...

Феноменально глупый, добрый и честный в душе, с драгоценной для карикатуриста физиономией и наивными голубыми глазами, принц быстро пошел ко мне навстречу и усадил за старинный ломберный стол, против Таганцева, который посмотрел на меня многозначительно, слегка пожав плечами. «Вот, — начал принц, торопясь, сбиваясь и говоря в нос, — и вы! Я очень рад, мы приступим; так, по моему мнению, дело итти не может, и я созвал вас, чтобы вместе обсудить... Приговор об этой девке переполнил чашу моего терпения; теперь уж для всех ясно, что такое суд присяжных; вы оба знаете мой взгляд, мы не раз об этом говорили, помните, а? Помните?» Я наклонил голову в знак того, что помню, и, действительно, я не мог забыть того, как, принимая меня при поступлении моем в Училище, добродушный принц доказывал мне ошибочность моего взгляда на присяжных, объясняя, что этот суд введен в России лишь благодаря коварству такого красного (sic!), как Н. И. Стояновский, [171] и что, вообще, он построен «на эшафотах казненных королей». Когда я напомнил ему, что Людовик XVI [172] осужден конвентом, Карл I [173] — парламентом, а Максимилиан Мексиканский [174] — военным судом, то он замахал руками и вскричал: «Что вы! что вы! Это все был суд присяжных, это всем известно». Через год, присутствуя у меня на экзамене, он спросил воспитанника,

который взял билет об английских судебных учреждениях: «Какой король ввел присяжных в этой стране?» Экзаменующийся (это был Стахович) замялся и взглянул вопросительно. «Он этого не знает, ваше высочество, я им об этом не говорил». — «Отчего же не говорили?» — укоризненно сказал принц. «Да я сам этого не знаю...» Он выпучил с изумлением глаза, сморщил брови и спросил: «Как! Вам это неизвестно?! Не может быть!» — «Уверяю вас, ваше высочество, до сих пор я думал, что суд присяжных в Англии образовался постепенно, сложившись исторически, путем разных видоизменений и обычаев, как слагались, например, наша община и артель, но, если вы поделитесь со мною сведениями по этому предмету, я буду очень вам обязан...» Он взглянул на меня торжествующим образом и громко сказал: «Суд присяжных в Англии ввел Карл I Стюарт... и сейчас же был казнен», — добавил он вполголоса, наклоняясь ко мне, чтобы не вводить в соблазн воспитанников. — «Я всегда говорил государю о необходимости уничтожить это вредное учреждение, — продолжал он свою беседу со мною и с Таганцевым. — Я прямо это говорил; знаете, я всегда прямо, я ведь имею eine gewisse Narrenfrechheit, — прибавил он с трогательным добродушием. — Вот, теперь это дело. Ведь это ужас! Как можно было оправдать?! Но у себя этого я терпеть не намерен. Я решил, что чины и воспитанники Училища должны подать государю адрес и выразить свое негодование по поводу оправдания Засулич и неправильных действий суда присяжных вообще. Нельзя оставлять отправление правосудия в руках этих сапожников. Я хочу

прочесть вам проект адреса, написанный мною сегодня ночью. Вчера еще я приказал Алопеусу и Дорну (инспектор классов), чтобы все было готово к подписанию адреса воспитанниками и преподавателями. Но я желаю знать ваше мнение о редакции. Надо торопиться!» И он пошел к своей конторке, на которой лежал какой-то исписанный лист... Смущение и тревога Алопеуса, который, сделавшись недавно директором, конечно, не решался возражать принцу, — становились понятны. Затеялось и летело на всех парах к исполнению дело бессмысленное и ни с чем несообразное. Таганцев иронически улыбался и молчал, очевидно, предоставляя мне объясняться с принцем.

«Позвольте, ваше императорское высочество, прежде чтения проекта адреса, обратить ваше внимание на совершенную необычность такого заявления пред государем со стороны воспитанников учебного заведения. Я не знаю ни одного случая подачи подобного адреса». — «Как! а адресы университетов по случаю выстрела Каракозова и по поводу недавней войны?» — «Да, такие адресы были поданы, но война есть событие, касающееся всей страны от мала до велика, да и адрес этот был подписан лишь профессорами, желавшими доказать, что идея борьбы за славян находит себе сочувственный отголосок и в ученом мире, а адрес по поводу 4 апреля содержал в себе выражение радости о спасении любимого монарха. Не знаю, подписывали ли его студенты, но не сомневаюсь, что ваше высочество не допускаете мысли об отождествлении покушения на жизнь государя с покушением на жизнь Трепова...»

Стрела попала в цель, и принц в негодовании забормотал: «Ах! как можно, как можно! Какое мне дело до Трепова, но вот эти присяжные...» — «Присяжные, ваше высочество, установлены законом, данным государем; учреждение этого суда санкционировано державною волею. Удобно ли, чтобы ученики, готовящиеся быть специальными служителями закона и государственных учреждений, выражали свое порицание форме суда, установленной государем? Отчего тогда не допустить порицаний с их стороны и другим государственным учреждениям? И кто же будет порицать? Мальчики, не знающие жизни и никогда даже и в суде-то не бывавшие... Притом они готовятся в судьи, прокуроры, адвокаты и, следовательно, к постоянному соприкосновению с судом присяжных. Что, если государю не угодно будет даже и после адреса уничтожить этот суд? В каком неловком, недостойном положении будет впоследствии эта молодежь, действуя рука об руку, в неразрывной связи с судом, о негодности и вредоносности которого она торжественно свидетельствовала пред своим государем? А что, если притом, познакомясь с судом присяжных, многие из этой молодежи найдут свое мнение о нем, высказанное в адресе, легкомысленным и поспешным? Помянут ли они добром училище, в стенах которого их принудили к протесту, заставляющему их, с годами опыта, устыдиться? И уверены ли вы, ваше высочество, что государь, прочитав этот адрес, отменит суд присяжных?»

Принц покраснел, грустно поник головою и пробормотал: «Нет, я не уверен... нет! Государь этого не сделает, потому что, потому... что...

ну, одним словом, aus politischer Klugheit!» — «Так, какую же цель будет иметь этот адрес?» — «А мнение преподавателей? а? Это уже люди зрелые...» — сказал он, уклоняясь от ответа. «Из которых, однако, — продолжал я, — лишь двое вполне компетентны судить о правильности действий присяжных, это — Н. С. Таганцев и я, т. е. преподаватели уголовного права и судопроизводства, а между тем наших-то подписей и не может быть под адресом...» — «Как? Отчего?!» — вскричал принц, нетерпеливо вскакивая с кресла. Таганцев, сочувственно наклонил голову, видимо, одобряя мой план кампании против «*высочайшей нелепости*»... «Оттого, что я вел дело Засулич и, по закону, скрепил своей подписью решение присяжных. Поэтому мне как судье неприлично подписывать протест против приговора, постановленного при моем участии, тем более что закон указывает правильный и единственный путь протеста — в кассационном порядке. Находя присяжных учреждением негодным, могу ли я оставаться председателем суда, действующего именно при помощи этого учреждения? Точно так же, мне думается, что и Н. С. Таганцев мог бы подписать такой исключительный адрес, лишь если бы и все его товарищи по университету, где проходит его главнейшая служба и с которым он связан тесными узами, признали и с своей стороны необходимым поднести такой же адрес государю. Я думаю, что не ошибаюсь...» Принц взглянул на Таганцева недовольно и вопросительно. Тот подтвердил мои слова. Старик стал теряться, сердиться... «Так вы признаете приговор этих «сапожников» правильным, хорошим, похвальным? Убила чело-

века, и права?! А?» — спрашивал он, волнуясь... Мы стали объяснять ему, что приговор юридически неправилен, но понятен, так как присяжные не могли отнестись с сочувствием к действиям Трепова и, кроме того, видели, что именно «убитого-то человека» и нет в деле, а это всегда действует на строгость их приговора... «Ну, что ж, он высек, — горячился принц, — что ж из этого? Ведь эдак во всех нас станут стрелять!» Мы возразили, что случай насилия над Треповым — случай исключительный и притом связанный с его жестокою и несправедливою расправою; стрелять же в него, принца, искренно любимого всеми за доброту и заботу о благе своих питомцев, может только сумасшедший, так что, ставя себя на одну доску с Треповым, он нарочно забывает ту общую симпатию, которою уже давно и прочно окружено его имя... Но добрый старик, не обидевший сознательно на своем веку мухи, упорно стоял на своем. «В меня будут стрелять, — твердил он и, внезапно придав лицу решительное выражение... — я тоже высек!!!» — сказал он отрывисто и оглянул нас взором человека, поставившего неотразимый аргумент... «Но кого? За что? Это не безразлично!» — спросили мы. «Воспитанника Гатчинского института!.. Такой негодяй! Знаете, что он сделал?.. Он взял в рот бумаги, нажевал ее эдак: м-м-м-м, — и он показал своими губами с комическою большою бородавкою, *как* жевал виновный бумагу, — и плюнул ею учителю в лицо... нажевал и эдак «пфль»... — и он изобразил плевок, — прямо в лицо... Каков?! Я его приказал высечь!» — «И хорошо сделали, — сказал я, едва сдерживая

улыбку, — но, позвольте узнать, сколько ему лет?» — «Двенадцать лет! двенадцать... Теперь и он станет в меня стрелять!» — «Да, ведь, это еще ребенок, шалун, а не студент университета», — возразили мы. «Все равно! Он вырастет и будет тогда стрелять, вы увидите!» — волновался наш августейший собеседник... Наступило молчание... «Так вы не можете подписать адрес?» — «Нет, ваше высочество, не считаем возможным». — «Ну, без этого его и подавать нельзя, когда такой... такой Widerstand с вашей стороны... А жаль! Я думал, что это было бы полезно... и целую ночь писал проект... вот он, прочтите и скажите ваше мнение; я не особый стилист, но я хотел все это выразить, все это выразить...» — сказал он уныло, протягивая мне взятый с конторки лист. Он, очевидно, сдавался на капитуляцию. Взять лист, обсуждать его содержание — означало: напрасно тянуть тягостные переговоры и, пожалуй, вызвать в нем горячую защиту мертворожденного литературного детища. Положив лист на стол и поставив на него шляпу, — «нет! ваше высочество, — решительно сказал я, — мы не будем читать проект; нам было бы больно видеть, сколько труда, времени, необходимого для отдыха, и, следовательно, здоровья потрачено вами на этот бесплодный труд», — и я протянул к нему лист обратно. Принц вздохнул разорвал проект на мелкие куски и молча подал нам руку, давая знать, что аудиенция окончена... 175 «Ну, что? Ну, что? — с тревожным любопытством спрашивал на лестнице Алопеус, — будем подавать адрес?» Но догнавший нас адъютант позвал его к принцу, дав ему возможность услышать ответ от самого виновника тревоги.

На следующий день, во вторник утром, ко мне пришел старший председатель судебной палаты, сенатор С. А. Мордвинов,[176] любимец и товарищ по университету графа Палена, который в короткое время вытянул его из одесской таможни на место председателя Петербургского судебного округа и в сенат, несмотря на сомнения по части семейных добродетелей, возбуждаемые Мордвиновым в своем покровителе. Веселый собеседник, дамский угодник, знаток и поклонник красоты, скромно сознавший и доказавший способность выпить в один присест бутылку коньяку, Мордвинов должен был быть очаровательным начальником таможенного округа. Но как судья, как юрист он отличался чрезвычайною поверхностью. Судебные деятели, имевшие с ним дело, никак не хотели le prendre au sérieux, а он, со своей стороны, вращаясь, вследствие женитьбы на М. А. Мидюшиной, странной, угловатой, но чрезвычайно правдивой женщине, в высшем служебном кругу, не хотел признавать своих сослуживцев по палате товарищами и, отзываясь о них презрительно в обществе, гадил разными несправедливыми наветами некоторым из них в министерстве, создавая дурную служебную репутацию людям, которым по их сравнительно с ним трудолюбию, добросовестности и знанию он недостоин был развязать ремня у сапога. Слывя почему-то умным человеком, будучи лишь человеком ловким, он умел впоследствии примазаться к сенаторским ревизиям Лорис-Меликова,[177] к Кахановской комиссии,[178] где «старички собирались играть в администрацию по маленькой», и к учреждению, заменившему комиссию прошений;

ораторствуя в гостиных и засыпая, отягченный винными парами, в заседаниях юридического общества, доказывая, что центр тяжести судебных уставов есть «дисциплинарные производства», упорно не заглядывая при ревизии новгородского суда в кассу потому, что «там есть признаки несомненной растраты»... он носил личину консерватизма и утверждал, между прочим, что виновником и, так сказать, отцом революционного настроения среди петербургского общества был К. Д. Кавелин.[179]

«Однако, картинка-то у вас в гостиной не совсем удобная для председателя», — сказал он, свежий, здоровый и изящный, входя в кабинет и показывая на гравюру, изображающую Руже де Лиля, поющего в первый раз марсельезу, напоминая тем графа Палена, который, увидев у меня, в доме министерства юстиции, на стене «Шутов Анны Иоанновны» академика Якоби, с грустным упреком спрашивал: «Зачем вы держите такую картину, такую... неприятную картину?!» — «Какой у вас взгляд, — сказал я Мордвинову, смеясь, — вы сейчас видите товар, не очищенный в политической таможне! Впрочем, успокойтесь, герой картины поет песню, теперь признанную казенным гимном французского государства, своего рода «боже, царя храни», но только наоборот и с французскими приспособлениями».— «Да! острите, острите! — отвечал он, — недаром вас считают красным. Вы знаете, что ведь на вас теперь восстают и стар, и млад. В Английском клубе, особенно после статьи Каткова, вас предают проклятию, а вчера в собранном по поводу дела Засулич совете министров, под председательством государя, Валуев доказал, что

вы — *главный и единственный виновник оправдания ее*, и что вообще судебные чины чрезвычайно распущены и проникнуты противоправительственным духом. Все министры его поддержали; все, за исключением одного...» — «Ну, а граф Пален?» — «Его положение очень, очень трудное», — уклончиво ответил Мордвинов.

Впоследствии я узнал, что граф Пален отдал меня на растерзание, без малейшей попытки сказать хоть слово в разъяснение роли председателя на суде присяжных, а этот «один» министр, не разделявший поспешных обвинений против меня и искавший причин оправдания глубже, был Д. А. Милютин, лично мне незнакомый...[180]

«Что делать, — сказал я Мордвинову, — буря была неизбежна, и следовало предвидеть, что невежественные в судебном деле люди, хотя бы и русские министры, будут закрывать глаза на истинные причины оправдания и станут искать «*человека*» и на него направлять свои удары. Таким человеком, по выдающемуся в процессе положению председателя, представляюсь я. На меня и посыплются укоры, наветы и инсинуации. Но меня интересует мнение юристов-практиков, которые понимают, какая трудная задача выпала мне на долю. Вы сидели, С. А., все заседания сзади меня, — ну, *вы* что скажете? Можно ли было вести дело иначе?» — «Нельзя! положительно, нельзя! Вы сделали все, что, по моему мнению, можно и должно. Я так и объяснял это весьма подробно графу Палену, доказывая ему как очевидец и как старший председатель всю несправедливость нападений на вас. А статью Каткова прочтите: она производит большой эффект!..»[181]

Статья московского громовержца, резюмируя энергическим образом тот взгляд на дело Засулич, по которому в «неслыханном, возмутительном оправдании виноват суд», живописала «безумие петербургской интеллигенции и вакханалию петербургской печати», требуя привлечения к ответственности виновных в том, что действительным подсудимым являлся Трепов. Избиение студентов мясниками Охотного ряда, происшедшее в Москве 3 апреля при перевозке ссылаемых киевских студентов, признавалось проявлением здорового политического чувства, в противоположность растленным нравам невской интеллигенции и чиновных нигилистов.

С этой статьи начался ряд статей Каткова, появлявшихся через довольно долгие периоды, в которых звучало его вечное ceterum censeo по поводу дела Засулич, и инсинуации против председателя обращались уже прямо к лицу г-на Кони, который, «подобрав присяжных, взятых с улицы, подсунул им оправдательный приговор».

Каждый день приносил с собою новые известия, показывавшие, что приговор присяжных произвел глубокое впечатление в правительственных сферах, которое усиливалось все более и более и заставляло ожидать разных «мероприятий» по судебной части. Было достоверно, что в министерстве юстиции кипит работа и под руководством Манасеина изготовляются самым поспешным образом проекты законодательных актов,[182] которые должны урезать суд присяжных и внушить адвокатуре «правила веры и образ кротости». Все «bravi», которые всегда водились около Палена, но на время присми-

рели, подняли голову. Они чувствовали, что «на их улице наступает праздник» и что можно, опираясь на «негодование всех благомыслящих людей», с уверенностью в успехе и благодарности начальства воткнуть свои наемные перья в живое мясо судебных уставов. Из шкапов министерства юстиции вынимались разные, более или менее прочно погребенные «проекты» исправления этих уставов, и услужливые чиновничьи руки, дрожа от радостного волнения, спешили гальванизировать эти трупы, подрумянивая их соответственно «прискорбным явлениям» последнего времени.

Но 5 апреля, придя к Палену после обеда по присланному мне утром приглашению, я увидел, что «мероприятия» предположены не только против учреждений, но и против *личностей*. «Я просил вас к себе для очень серьезного и неприятного объяснения, — встретил меня Пален самым официальным и сухим тоном. — Известно ли вам, какие обвинения возводятся на вас со всех сторон по делу Засулич? — «Я читал статью Каткова и слышал, что в Английском клубе мною очень недовольны...» — «Не в клубе, — перебил меня, раздражаясь, Пален, — не в клубе, а гораздо выше, и такие лица, такие лица, мнения которых должны быть для вас не безразличны. Вас обвиняют в целом ряде вопиющих нарушений ваших обязанностей, в оправдательном резюме, в потачках этому негодяю Александрову, в вызове свидетелей, чтобы опозорить Трепова, в позволении публике делать неслыханные скандалы, в раздаче билетов разным нигилистам. Все говорят, что это было не ведение дела, а демонстрация, сделанная судом под вашим руководством. Какие у вас могут быть оправда-

ния?!» — резко спросил он, очевидно забывая свой первый разговор со мною после процесса. Его необычайный тон и приемы сразу обрисовали мне положение дела. «Вашему сиятельству известно, — сказал я холодно, — что по закону председатель суда не имеет надобности представлять оправдания министру юстиции. Для этого есть особые судебные инстанции. Им, и только им излагает он свои оправдания на законно формулированное обвинение. Я не считаю себя обязанным отвечать на ваш вопрос и опровергать более чем странные обвинения, которые вы, повидимому, разделяете...» — «Да-с! — вспыхнул он, — я разделяю их и объявляю вашему превосходительству, что государь император завтра же, может быть, потребует от меня изготовления указа о вашем увольнении! Это случится несомненно! Что вы на *это* изволите сказать?!» — «Вот оно!» — подумал я... «Я могу скорее спросить у вашего сиятельства, что *вы* на это скажете? — сказал я, сдерживая невольное волнение, — что ответите на такое требование государя *вы* — министр юстиции, блюститель закона, знающий, что судьи несменяемы без уголовного суда... Я же скажу только, что это будет нарушением закона, которое никому не запишется в счет заслуг...» — «Предоставьте мне самому знать свои обязанности по отношению к государю, — высокомерно сказал Пален и вдруг, меняя тон, вскричал: — Я не намерен, я не могу пререкаться из-за этого с государем! Я не хочу рисковать! Благодарю покорно! Я не хочу нести ответственность за ваши неправильные действия!» — «Я не понимаю, что же вам от меня угодно?» — сказал я, берясь за шляпу. «Но, однако, Анатолий Федорович, — отвечал Пален, утихая, — ведь пой-

мите же мое положение! Все говорят, что ваши действия неправильны, люди, которые еще вчера были к вам «padem do nog», не находят слов для вашего осуждения... а вы уклоняетесь от объяснений...» — «Кто же эти люди? Вы сообщили мне прошлый раз о совсем других отзывах. Да и какое серьезное значение могут иметь мнения людей, ничего не понимающих в судебном деле? Крики их меня нисколько не огорчают; иное дело — порицания серьезных юристов, но я покуда их не слышал...» — «Вы ошибаетесь,— перебил он,— это говорят не невежды, не крикуны; это — голос опытных юристов, которые знакомы с ведением дела и мнение которых очень веско...—Я взглянул вопросительно.—Да!—продолжал он,—вот например, все это говорит *С. А. Мордвинов!*» — «Он?!» — невольно вырвалось у меня.— «Да! Да! Он, вот видите! — с торжеством подтверждал Пален, очевидно по-своему истолковывая мое удивление...— И он не может объяснить себе ваших действий на суде, как и я, как и многие!.. Я себе говорю,— продолжал он тоном грустного раздумья, — вероятно Анатолий Федорович не предвидел всего, что произошло, и не умел найтись на суде, потеряв голову! а?»

«Я не считаю возможным оправдываться, граф, когда вы требуете от меня официальных объяснений, но раз мы заговорили о необъяснимости моих действий, я готов несколько рассеять ваши недоумения и устранить предположения о моей «растерянности». Вы видите, граф, что я не теряю спокойствия и теперь, когда мне грозят увольнением, не терял я его и на суде... Меня упрекают за оправдательное резюме... Оно напечатано во всех газетах, со всею подробностью...

Те, кто упрекает, не читали его или злобно извращают его смысл. Я старался быть совершенно объективен, но, читая его сам в печати, я подметил в нем скорее некоторый обвинительный оттенок: «следует признать виновность в нанесении раны и дать снисхождение», — вот что, мне кажется, сквозит из этого резюме... Скажут, что из резюме видно, что я не гну на сторону обвинения, не поддерживаю во что бы то ни стало слабого прокурора, — но я вас дважды предупреждал, что не должен и не стану этого делать... На меня нападают за потворство Александрову, т. е. находят, что следовало его обрывать, стеснять и даже лишить слова. Но за что? Речь его была талантлива, тон ее — сдержанный и прочувственный — производил большое впечатление, но талантливость и влиятельное слово — достоинства в защитнике, противодействовать которым вовсе не входит в задачу суда. Против них надо сражаться не остановками и перерывами, а противопоставлением тех же свойств в лице прокуратуры. Я предупреждал вас, граф, о необходимости уравновешения в этом отношении сторон и не мог забывать роли судьи, стараясь помешать защите подавить собою вялую и трепетную прокурорскую болтовню. Допустить остановки по поводу тона, по поводу силы слова — значит сделать суд ареною самых печальных злоупотреблений. Права председателя не безграничны. Закон запрещает защитнику говорить с неуважением о религии и нравственности, колебать авторитет закона и оскорблять чью-либо личность. Только при этих нарушениях имеет право председатель останавливать защитника. Александров не касался вовсе религии и вопросов нравственности; он преклонялся пред

законом, освободившим русских людей от телесных наказаний, и ни малейшим намеком не колебал значения закона, карающего убийство. Он говорил о Трепове в выражениях, соответственных служебному положению и преклонному возрасту градоначальника. За что же, по какому же поводу, стал бы я его останавливать? Да и с какою целью? Я слишком давно имею дело с присяжными, чтобы не знать, что всякая неосновательная остановка защитника, всякое придирчивое ему замечание — есть удар, нанесенный обвинению. И притом самое сильное место речи Александрова — «экскурсия в область розог», — было построено очень искусно, начинаясь очерком благодеяний государя, избавившего Русь от постыдного свиста плетей и шороха розог и тем поднявшего дух своего народа. Запрещение говорить об этом было бы совершенно бестактно, а в виду ловкой находчивости защитника могло бы вызвать заявление, что он со скорбью подчиняется требованию молчать о благих деяниях монарха, именем которого творится суд... Вы скажете, граф: а содержание речи, а наполнение ее биографиею Засулич и описанием сечения Боголюбова?!. Что же? Это содержание вытекало из существа дела. Суд обязан судить о живом человеке, совершившем преступное деяние, а не об одном только деянии, отвлеченно от того, кто его совершил. Суд действует не в пустом пространстве. Закон разрешает давать снисхождение «по обстоятельствам дела», но, несомненно, что самое выдающееся из всех обстоятельств дела — сам подсудимый, его личность, его свойства. Недаром же его ставят налицо перед судом, требуют его явки, а не говорят о нем, по примеру старых судов, как о номере дела, как об

имени и прозвище, за которым не стоит ничего реального, живого... Поэтому подробности о жизни подсудимой, о ее прошлом имеют законное место в речи защитника. Если они не верны, если они лживы, — дело прокурора указать на это. Если вместо фактов приводятся одни лишь предположения, — дело прокурора разбить их, противопоставить им другие. Александров говорил о прошлом Засулич на основании фактов, не подлежащих сомнению. И опять я скажу о присяжных. Это суд щекотливый и восприимчивый, как химические весы. Легкое подозрение, что их стараются провести, что от них что-либо стараются спрятать, утаить, подрывает их доверие к суду, уничтожает готовность их согласиться с обвинением. Если защитник скажет: «Подсудимая просит меня рассказать вам, господа присяжные, несколько фактов ее жизни, роковым последствием которых явилась для нее скамья подсудимых; она заранее склоняется пред вашим приговором, но она лишь просит вас узнать, кого вы судите...» — и председатель прервет его, запретив говорить об этом как не относящемся к делу, то присяжные, наверно, скажут: «А, значит, нам хотели сказать что-то, что от нас стараются скрыть, — хорошо! Мы, конечно, не знаем, о чем идет дело, но одно для нас несомненно, — это то, что скрываемое говорит в пользу подсудимой, так как об оглашении его просит защитник...» И они примут это к сведению и положат при обсуждении вины на весы в чашку сомнений, причем груз этот будет тем тяжелей, чем он неопределенней. И в результате обвинение, во всяком случае, ничего не выиграет, достоинство же суда, во всяком случае, проиграет!.. Наконец, защитник имеет право, несомненное и полное,

говорить о всем, о чем говорилось на судебном следствии. Поэтому рассказ о сечении в доме предварительного заключения, как основанный на показаниях свидетелей, был вполне закончен в речи Александрова. Признавать его не относящимся к делу, прерывать защитника не мог бы никакой судья, понимающий свои обязанности. Кассационный сенат твердо и определенно высказал, что запрещение ссылаться на показания допрошенных свидетелей есть несомненный повод кассации. Кроме того, запретить говорить о событии 13 июля — значило запретить говорить о мотиве преступления, выставленном даже в обвинительном акте. Но как обсудить вину, не зная мотива, как определить мотив, не зная фактов, на которых он вырос? Согласитесь, что вы разно взглянули бы на убийцу, который совершил свое злое дело, чтобы заплатить настоятельный карточный долг, и на убийцу, который лишил жизни растлителя своей малолетней дочери. А для того чтобы разно, т. е. справедливо, отнестись к обоим, вы должны бы знать, каков был факт, из которого зародилась мысль об убийстве. Да и что за печальную, недостойную картину представлял бы суд, в котором присяжным, «судьям по совести», говорилось бы с председательского места: «Вот — выстрел и вот — сознание... кто такой выстреливший, вам знать не для чего; что вызвало в нем решимость выстрелить — до вас не касается; какой внутренний процесс, какая борьба предшествовали его дурному делу — вопрос праздного любопытства; что его ожидает после осуждения — закон воспрещает вам говорить... ну, а теперь отвечайте: «виновен ли он? И хотя вы должны руководиться внутренним убеждением, но для достижения целей правосудия

мы даем вам лишь доступный внешним чувствам осязательный голый факт...» Общество должно верить в свой суд, должно уважать его деятелей, и оно будет с доверием относиться к его ежедневной, рядовой деятельности, к его приговорам о безвестных Иванах, Сидорах, Егорах, когда по привлекающим общее внимание делам, по делам волнующим и выходящим из ряда оно будет видеть, что суд спокоен и действует безмятежно, не утаивая ничего, ничего не изменяя, не прибегая к исключительным способам и приемам. Вера в правосудие поддерживается не тысячами ежедневных справедливых приговоров, а редкими случаями, когда можно опасаться, что суд станет угодливым, потворствующим, прислуживающимся — в данном случае он таким не оказался. Присяжные — не дети. Они не принимают, развеся уши, все, что им скажут. Если показания свидетелей о событии 13 июля повлияли на них, то, очевидно, в их душе это событие было тесно связано с делом Засулич; если же они, действительно, вовсе не относятся к делу, то и повлиять не могли. Тогда они составляют лишь потерю времени для суда и для присяжных. Но, в последнем случае, это еще не такая ужасная вещь, чтобы по этому поводу подымать крик против суда... «Но *зачем было вызывать свидетелей?*» Это — третье обвинение, взводимое на меня... Свидетели вызваны на основании точного предписания закона, освященного притом долголетнею практикою суда. Пока этот закон существует, его требование «о немедленном распоряжении», о вызове свидетелей на счет подсудимого обязательно для председателя. До сих пор сенат твердо поддерживал это правило, и, пока он не истолкует статью 576 Уст. угол. суд. иначе

и притом противно ее точному смыслу, до тех пор ни один уважающий закон председатель не уклонится от исполнения своей «немедленной» обязанности... Меня упрекают в том, что я не нарушил закона. Но я — судья, а не агент власти, действующей по усмотрению. Моя цель в каждом деле — истина, а не осуществление начала «шито-крыто». И за кого же меня принимали мои порицатели, «падая до ног», когда они думают, что я решился бы обойти указания закона, для меня ясного и разумного, только потому, что показания вызываемых свидетелей могут доставить un mauvais quart d'heure градоначальнику. Он был вызван в суд, мог явиться, мог потребовать суд к себе и лично опровергнуть и парализовать неприятные для него показания. Но он не явился, несмотря на то что его каждый день видят катающимся по городу и что он исполняет свои служебные обязанности. Я мог лишь выразить — и выразил в постановлении суда — что вызываемые свидетели *излишни*, так что суд не принимает на себя их вызова... Больше этого я делать не имел права, будучи председателем суда, а не управы благочиния или вотчинной расправы... Я *разрешил затем публике делать «неслыханные скандалы»*... Желая, чтобы я вел с присяжными дело, держа «карты под столом», от меня требуют и какой-то особой опеки над чувствами публики. Но и в этом отношении мои обязанности как председателя ограничены. Вы знаете, граф, что у нас председательствующий судья не имеет французского «pouvoir discrétionnaire». Если публика ведет себя шумно в заседании, председатель может ее предостеречь и предупредить, что в случае повторения беспорядков она будет удалена. Следовательно, при

первом беспорядке публика должна быть лишь предупреждена о последствиях повторения, но не удалена, разве бы она дозволила себе беспорядки самого крайнего свойства. Так гарантирует закон гласность суда. Что же делала публика в заседании по делу Засулич? Она покрыла аплодисментами то место речи Александрова, где он говорил о наказании Боголюбова. Я тотчас остановил эти рукоплескания и при водворившейся тишине предупредил публику, что зала будет очищена, если повторятся шумные выражения одобрения. Больше этого я сделать не имел ни права, ни основания. И затем все шло спокойно. Но провозглашение решения присяжных вызвало вновь целую бурю восторга. Тут я уже имел и право, и основание очистить залу. И я этого не сделал сознательно и решительно. Я видел, что ни мои распоряжения, ни требования немногих судебных приставов не побудят восторженную толпу оставить залу, что она наполовину не поймет, среди общего шума, этих распоряжений, не услышит этих требований. Но раз приказ — очистить залу, я уже должен был быть последователен и при неуспешности действий приставов потребовать из нижнего этажа военную команду и поручить ей силою осуществить мое требование. Вы не были в суде, а я был; я видел, как была наэлектризована публика, какой порыв овладел ею, и я знал, что появление военной силы привело бы тех, кто рыдал, крестился и ликовал — в ярость. Насилие, победу над которым они торжествовали, предстало бы пред их отуманенными очами в лице солдат со штыками... Кто знает, какие сцены разыгрались бы в самой зале суда при столкновении восторженных и возбужденных людей с силою, действующею

машинально. Раз начав очищение залы, необходимо было бы довести его до конца и уже во что бы то ни стало... Но с какою целью? Для водворения тишины? Но крики радости сменились бы лишь криками гнева, злобными звуками свалки... Для устранения давления на присяжных? Но они уже сделали свое дело и стали частными людьми, которые, вероятно, разделяли ликование толпы... Для уничтожения помехи к ходу дела? Но весь дальнейший ход дела состоял лишь в объявлении Засулич свободною и заседания закрытым... И вот для этих-то эфемерных целей я должен был вызвать столкновение, быть может, кровавое, с тем чтобы после очищения залы, сделавшейся театром уже, действительно, *небывалого скандала*, в виду поломанной мебели и беспорядка, вызванного побоищем, обратиться к пустым стенам и сказать с любезною улыбкою: «заседание закрыто!» Да за кого же, снова спрошу я, принимают меня все эти господа и вы, граф? Я спокойно беру на себя вину в том, что не очистил залу, радуясь, что не принял на себя гораздо большей — очистив залу и, весьма вероятно, осквернив ее ненужным кровопролитием... Я не без основания говорю о кровопролитии: вспомните, что произошло вслед затем на улице, при столкновении жандармов с толпою. Где ручательство, что такие же сцены не разыгрались бы и в суде? Притом, очищая залу, знаете ли, с кого я должен был бы начать? С теснившихся сзади меня сановников, с государственным канцлером во главе. Они шумели в первый раз и ликовали во второй не менее публики, сидевшей в трибунах и явившейся по билетам, розданным мною людям, чуждым, по своему общественному положению, того, что вы называете

«нигилизмом». Мне остается только пожать плечами на обвинение в раздаче билетов нигилистам. В среде публики было много ваших личных знакомых, и они могут подтвердить вам, что нелепость этого обвинения равносильна его лживости. Публика состояла из представителей среднего образованного класса, к которому примыкали лица из литературно-ученой среды, и великосветские дамы, от назойливых просьб которых я не мог отделаться. Если в публике и была увлекающаяся молодежь, сочувствующая кружкам, в которых вращалась подсудимая, то она далеко не составляла большинства и явилась бы в гораздо большем числе, не будь установлено билетов. Наконец, имейте в виду, что из трехсот билетов сто были розданы чинам судебного ведомства, для их друзей и знакомых. Поэтому крики о подборе публики под одну масть — есть *клевета*, рассчитанная на легковерие слушателей... Я понимаю, что всего более производит впечатление тот восторг, с которым было принято оправдание Засулич. Но мне кажется, что в этом отношении дело это, столь возмущающее вас, оказало своего рода услугу...— Пален вышел из своего нахмуренного уныния и взглянул на меня изумленно-вопросительно.— Да, услугу,—продолжал я,—потому что рукоплескания официальной и неофициальной публики показали, на чьей стороне ее сочувствие и *что* возбуждает ее негодование. Средний образованный класс петербургского общества, представленный весьма разнообразно на суде, сказал своими восторгами, нашедшими отголосок в статьях большинства газет, что он понимает, что он разделяет мотив действий подсудимой. Он, в лице присяжных, при шумном одобрении, выразил, что насилие

и произвол правительственных агентов возмущают его настолько, что из-за них он закрывает глаза на самосуд и считает его делом вынужденным и поэтому вполне извинительным. Общественное мнение отказалось поддерживать правительство в его борьбе с противообщественными действиями. Оно сказало: «врачу, исцелися сам!» — и сказало это при рукоплесканиях видных представителей этого самого правительства. Это — признак опасный; но зато он указывает, в чем зло. Общество требует законности. Оно ясно показало, что на его сочувствие и поддержку нечего рассчитывать, если оно не будет убеждено в законности действий органов правительства. Когда правительство, указывая на своего агента, говорит: «обидели!» — оно должно быть готово к спокойному и прямодушному ответу: «за что?» Давно уже чувствуется разлад между общественным мнением и правительством. Он было притих на время войны, но теперь проявился с большею силою. И это надо иметь в виду. Общество показало на деле Засулич, чего от него ожидать в будущем, если не изменить внутренней политики. Революционная пропаганда между тем идет, и не приговорами, хотя бы и самыми строгими, остановить ее. Нужно содействие общества. А оно не удовлетворено, раздражено, возмущено. Вспомните, граф, слова Бисмарка: «Силу революции придают не крайние требования меньшинства, а неудовлетворенные *законные* желания большинства». Общественное мнение, выразившееся по поводу дела Засулич, показало вам, что эти желания не удовлетворены — и... «à bon entendeur — salut!».

«Помилуйте! — вскричал окончательно вышедший из своей мрачной задумчивости Пален, —

это разве — общественное мнение? Это все — дрянь, на которую нельзя обращать внимания. Ей надо показать! — прибавил он с неопределенною угрозою. — Если бы вы хотели, ничего бы этого не случилось! Дело ведь такое ясное, простое! Но когда я узнал, что Кессель не отвел ни одного присяжного и отказался от своего права, я сказал: это — *школа* Анатолия Федоровича! Он всегда мне говорил, что отводить не следует...»

«Да, я всегда это говорил, граф, потому что отвод присяжных, без ясных и неопровержимых факторов относительно их недобросовестности, а лишь на основании слухов, предположений и антипатий, есть *подбор* присяжных, недостойный уважающей себя прокуратуры... Суд присяжных, образованный по неоднократному жребию, есть суд божий, в образовании которого воля единичного лица, да, притом, еще и стороны в деле, должна принимать наименьшее участие. Так говорил я всегда, будучи прокурором; немудрено, что Кессель, бывший когда-то моим товарищем, разделил и припомнил мой взгляд, без всякого совета с моей стороны».

«Да-с, это все прекрасные теории, — сказал иронически Пален и, взглянув на часы, продолжал. — Ну, Анатолий Федорович, быть может, вы и правы, и ваши действия юридически правильны, но этого никогда не поймут в тех сферах, где вас обвиняют. Я постараюсь все это высказать, но не ручаюсь, не ручаюсь... за самые неприятные для вас последствия... — Я молчал, отдавшись моим мыслям. Замолчал и он. — Вот что! — сказал он, наконец, добрым и даже заискивающим тоном, ласково глядя на меня. —

Вот что! *Уполномочьте* меня доложить государю, что вы считаете себя виновным в оправдании Засулич и, сознавая свою вину, просите об увольнении от должности председателя, а? — Я молчал. — Могу вас уверить, — продолжал он, — что государь, по своей доброте, не станет долго гневаться на вас. Он оценит ваше сознание; он так благороден! Я ему напомню о ваших прежних трудах и заслугах, и он вас скоро... он скоро оставит это... это дело. — Я молчал. — Уполномочьте меня, — продолжал Пален, — я вам могу обещать, что вы даже скоро получите новое назначение... например, в прокуратуре, но, конечно, не в «действующей армии». — Мое молчание его, видимо, конфузило. — А там — все пойдет своим чередом; вы еще молоды, у вас много впереди; это будет лишь временная отставка... а? так?»

«Я не могу вас уполномочить, — ответил я, — я не могу дать вам право говорить государю то, чего я не признаю. Удивляюсь, как после всего, что я сейчас говорил вам, после всего, что говорил я до процесса, вы можете мне предлагать признать себя виновным...»

«А! — вспыхнул Пален, изменившись в лице: — Когда так, то уж не взыщите! Не взыщите! Я умою себе руки...»

«Вы их умыли уже в совете министров», — сказал я.

«Я вам еще раз объясняю, что вам грозит увольнение без прошения, если вы не хотите принять моего предложения...»

«Вы можете с помощью высочайшего повеления *убить* меня в служебном смысле, — прервал я его, — но вы совершенно напрасно

предлагаете мне совершить в этом отношении *самоубийство*. Я не согласен ни на какие компромиссы! Пусть меня увольняют!.. Но сам я моего места именно теперь не оставлю...»

«Но, позвольте, — спросил меня ядовито Пален, — что вас так удерживает на этом месте? Вы думаете, что вам легко будет его занимать?»

«Я не жду ничего отрадного на моем месте, — отвечал я тем же тоном. — В адвокатуре («в помойной яме!» — вскрикнул Пален)... в адвокатуре, двери которой для меня открыты, я всегда, без особого труда, получу вдесятеро более, чем получаю теперь, и буду лет через десять иметь возможность сказать навсегда «*прости*» стране, где можно вести с судьею такие разговоры, какие вы, граф, ведете со мною... Поэтому не материальное вознаграждение меня удерживает. Я не честолюбив и спокойно смотрю на награды, чины и звезды, которых лишит меня отныне министерство юстиции. Мало привлекает меня и мое положение. Я знаю, как тягостно положение главы коллегии, находящегося в опале. Желая остаться председателем, я готовлю себе ряд трудных годов. Но меня удерживает, помимо соображения, что я могу быть полезен на моем месте, еще *одно* — и удерживает более всего. На мне должен разрешиться, судя по всему, практически вопрос о несменяемости. Несменяемость — лучшая гарантия, лучшее украшение судейского звания. Благодаря ей легко переносится и скудное вознаграждение, и тяжкая работа судей. Она поддерживает, она ободряет многих деятелей внутри России; она дает им доверие к своим силам в столкновениях со всякою неправдою... И вы хотите, чтобы

эти далекие деятели, живущие только службою, узнали, что председателя первого суда в России, человека, имеющего судебное имя, занимающего кафедру, которого ждет несомненный и быстрый успех в адвокатуре и для которого служба — далеко не исключительное и неизбежное средство существования, — достаточно было попугать несправедливым неудовольствием *высших сфер*, чтобы он тотчас, добровольно, с готовностью и угодливою поспешностью отказался от лучшего своего права, приобретенного годами труда и забот, — отказался от несменяемости... «Если уже его, стоящего на виду и сравнительно независимого, можно было так припугнуть, — скажут они, сидя в каком-нибудь Череповце или Изюме, — то что же могут сделать с нами?! На нас станут кричать и топать ногами, обвиняя нас в *своих* ошибках...» Вот во имя этих-то череповецких и изюмских судей я и не могу дать вам полномочия, о котором вы... говорите...»

«А знаете ли вы, — перебил меня граф Пален, — что даже А. А. Сабуров говорит, что он на вашем месте подал бы в отставку, чтобы протестовать против решения присяжных! Надеюсь, что для вас он-то хоть авторитет!?»

«Если, действительно, он в этом смысле говорит, — отвечал я, с горьким чувством подумав: «et tu quoque!» — то, конечно, для меня он не авторитет, а человек, позабывший на административной службе лучшие судебные традиции. Последовать его мнению — было бы «отречением апостола Петра». Я решительно отвергаю эту новую доктрину протеста председателя против присяжных — выходом в отставку.

Да у вас, в таком случае, не осталось бы ни одного председателя. Когда Сабуров был уважаемым товарищем председателя в Петербурге, ему в голову не приходили такие протесты... Граф! — сказал я, желая окончить этот тягостный разговор и боясь потерять власть над и без того чрезвычайно расстроенными нервами, — я понимал бы вопрос о моем выходе в отставку в одном только случае... Можете ли вы поручиться, что этим будет куплена совершенная неприкосновенность суда присяжных? Что он останется, безусловно, нетронутым?..»

«Нет! Нет! — заговорил Пален. — Это вопросы несовместимые. Государю угодно привести этот суд в порядок. Нет! Против присяжных необходимы меры; надо изъять у них эти дела! Это решено!..»

«Вы помните, граф, что, в бытность мою в департаменте, я постоянно говорил и даже писал о необходимости изменить состав комиссий; уничтожить право немотивированного отвода и разные отяготительные формальности в судебном следствии; дозволить говорить о наказании и т. д. Всем этим предложениям упорно не было дано ходу... Теперь, быть может, эти преобразования, весьма полезные и необходимые для улучшения суда присяжных, удовлетворили бы хулителей этого учреждения. Зачем ломать самый объем действия этого суда?..»

«Это решено! — твердил Пален, — решено бесповоротно; надо изъять, побольше изъять; я теперь уже не хочу слушать эти академические рассуждения, у меня уже Манасеин пишет. Это решено!»

Я встал и, взяв шляпу, сказал: «Я остаюсь при несогласии на ваше предложение и спокойно жду завтрашнего доклада, заранее желая успеха моему будущему преемнику...»

«Но послушайте, Анатолий Федорович, — заговорил, тоже вставая, Пален, и обойдя разделявший нас стол, — я не могу всего этого разъяснить государю; я постараюсь, конечно, но это так трудно, и он велит подать к подписанию указ... подумайте!.. Подумайте еще, не говорите решительно, еще до завтра есть время!»

«Я не изменю своего ответа и завтра, граф», — сказал я. Он холодно протянул мне руку. 185

Смутное чувство владело мною, когда я, выйдя от Палена, ехал в Мариинский театр на представление Росси. Оно не рассеялось ни под влиянием чудной его игры, ни в разговоре с милою, умною соседкою Л. К. Клокачевой, которая оживленно передавала мне свои впечатления о деле Засулич. Мои глаза видели Макбета, величественного и трогательного, при своем трагическом конце; видели растроганный и взволнованный партер и в нем физиономию Фриша, который, при встрече со мною, придал лицу своему строго-окаменелое и как бы оскорбленное выражение... Но внутренний взор обращался далеко назад, на счастливые годы судебной реформы в Харькове и в Казани, на годы веры в новый суд и его прочность, на годы упорного труда, тяжких забот и постоянных тревог в прокуратуре и министерстве, на отвергнутые соблазны адвокатуры... Я не мог, говоря словами Макбета, «изгладить врезанную в мозг заботу, очистить грудь от ядовитой дряни», на-

копленной последними днями и будущий рост которой я предвидел... Как ни старался я развлечься, одна мысль неотвязчиво стояла в голове. Лично я не боялся увольнения, и новая жизнь — в адвокатуре — раскрывалась предо мною довольно заманчиво. Но это, но мысль о том, что наступило время, когда министр юстиции может решиться требовать от судьи, которого он внутренно — я это чувствовал — признает правым, требовать выхода в отставку; мысль о том, что беззаботный насчет судебных уставов государь способен, действительно, подписать поднесенный трепещущим Паленом указ и тем нанести жесточайший нравственный удар в самое сердце судебного ведомства, — вот что меня огорчало глубоко и горячо... Мне был жалок то грозящий, то просящий Пален. Из-за всех его слов ясно виднелся смертельный страх за свое личное положение, за квартиру и оклад. Трудность положения, очевидно, превышала его силы. Он смотрел на свое министерство, как на корабль, в котором открылась опасная пробоина. Он звал меня в этот вечер к борту, в надежде убедить и даже заставить меня выпрыгнуть за борт и тем облегчить и, быть может, спасти тонущее судно. Не имея ни уменья, ни желания поставить вопрос на принципиальную почву, спутывая понятия об обязанностях министра юстиции с понятием о долге отца многочисленного семейства, которое требует «пищевого довольства» и притом довольства роскошного и обильного, Пален чувствовал, что надо непременно указать «виновного» и отдать его на пропятие. Нельзя же было сознаться в ошибочном направлении дела («а зачем ты напра-

влял?») или в негодности и бездарности прокурора («а чего же ты смотрел?..»), или же, наконец, в возмутительности действий Трепова («а зачем же ты ему советовал?..»). Представлялся один исход: выбрать в качестве виновника человека, про которого можно сказать: «Что же с ним делать? Он независим! Он делал по-своему, ничего и никого не слушал!» И если возможно будет при этом прибавить: «он сам, ваше величество, сознает свою вину и, подавленный ею, как милости, просит отставки», — конечно, наверно можно будет смягчить и, во всяком случае, отклонить от себя гнев монарха... Виновная личность устранена; виновное учреждение будет немедленно исправлено, — чего же еще? А там придут следующие дни и «в злобе им довлеющей» потонет incident Sassulitch, так что со временем можно будет лицемерно пожалеть о малодушной поспешности председателя и в порыве обдуманного великодушия сунуть его на какое-нибудь безобидное и невлиятельное место... И вот я был избран «козлищем отпущения», и, осуществляя свое Recht des Nothstandes, Пален предлагал мне «*уполномочить*» его принести меня на алтарь отечества...

Перебирая в уме весь наш разговор, я был внутренно доволен, что не дал ему ни на одну минуту возможности думать, что это жертвоприношение может удасться. Но вместе с тем во мне явилась тревога о том, что, решившись пожертвовать мною quand même, почтенный minister sprawiedliwości все-таки скажет царю о принесении мною «повинной головы» и затем, как уже раз сделал с Мотовиловым, спуская его, против воли, в прокуроры Московской палаты,

будет ссылаться, что *«не так понял меня»*... Надо было предупредить это. И я решился, приехав из театра, написать ему письмо для подтверждения моего отказа исполнить его странную просьбу. К этому присоединилось и другое побуждение: из слов Палена вытекало, что мое увольнение, так сказать, решено в принципе. Я знал, что Пален любил злоупотреблять именем государя, влагая ему в уста не сказанные слова и в голову не выраженные предположения. Но на этот раз я имел основание ему поверить в виду всего происшедшего за два дня в совете министров.

Указ сенату с увольнением без прошения составил бы самую печальную и беспримерную доселе страницу в истории судебной реформы. Одним этим указом, фактически и бесповоротно, уничтожалась бы несменяемость. Статьи учреждения, говорящие о ней, звучали бы насмешкою. Надо было сделать все возможное для избежания такого указа, для устранения такого опасного, развращающего прецедента. Я решился вызвать Палена на объявление мне, от лица государя, желания об оставлении службы. Тогда, в виду категоричности такого желания, не признавая постыдным образом несуществующей виновности, я мог бы подать в отставку, не вызывая появления развращающего судебное ведомство указа.

Ночью я написал Палену это письмо. «Слова ваши не могли не заставить меня вновь, наедине и углубясь в себя, — писал я, — обсудить вопрос, столь близко касающийся моей служебной деятельности. Я призвал себя на свой собственный строгий суд, потребовал у себя от-

чета в каждом своем действии, во всем, что я делал и допускал делать на суде, и, сообразив все это с тем, что произошло бы при образе действий противоположном, не могу признать себя в чем-либо виноватым против моей родины и государя, несмотря на ропот неодобрения вчерашних друзей — сегодняшних врагов. Припоминая все трудности этого исключительного дела и все требования закона, безусловно обязательные для судьи, я пред лицом моей совести не могу признать себя недостойным моего звания или негодным для связанных с ним обязанностей. Когда негодование, возбуждаемое исходом этого дела, уляжется немного, найдутся люди, которые, обсудив беспристрастно весь процесс, признают способ ведения его единственно возможным и целесообразным для избежания ряда неуместных выходок и все-таки оправдательного приговора. Les vaincus ont toujours tort — и, быть может, те, кто не находит слов, чтобы порицать меня и превратно истолковывать мои побуждения, восхищались бы моими стратегическими способностями, в случае даже снисходительного приговора присяжных. Тщетно обращаюсь я к своей совести, чтобы найти в ней отголоски этих укоров. Она мне говорит, что в действиях моих не было ни неумелости, ни тенденциозности». Заявляя поэтому о безусловной невозможности принять предложение Палена, даже и в виде перемещения на другую должность, что было бы равносильно наказанию за вину, которой я не признаю, — я говорил в письме, что, несмотря на обещанное Паленом разъяснение, государь все-таки может признать меня несоответствующим требованиям службы

вообще. Не желая создавать целому ведомству новые затруднения и думая с глубокою болью о возможности колебания, ради меня, высокого и еще не нарушенного закона о несменяемости, я выражал в конце письма, что подчиняюсь необходимости оставить службу лишь в том случае, когда Пален, от имени государя, как статс-секретарь, объявит мне высочайшее желание о том, чтобы я подал в отставку по личной инициативе.

Письмо это, памятное мне дословно (черняк его, к сожалению, где-то завяз между моими бумагами вместе с некоторыми документами и двумя фотографическими карточками Засулич, снятыми тотчас после выстрела в Трепова), обсуждаемое мною теперь, после многих лет, кажется мне слишком мягким по тону и любезным в отношении к человеку, который хотел моего содействия своему предательству. Но это теперь, когда сквозь призму времени эгоистические черты его представляются мне особенно рельефно. Тогда же его жалкий, потерянный и беспомощный вид произвел на мои угнетенные нервы слишком сострадательное впечатление, и некоторая симпатия к этому ничтожному министру, но, в сущности, не злому и, по-своему, порядочному человеку, еще жила в моем сердце. Я не мог на него сердиться и негодовать: он мне был жалок, и тон письма вышел менее резок, чем то было заслужено.

Утром рано я его отослал и в 12 часов, в то время как Пален входил с докладом к государю, я входил в Комнаты государственного совета, в заседание Комиссии о государственном экзамене под председательством И. Д. Делянова.[186]

ОТДЕЛ ПЯТЫЙ

Эта комиссия заслуживает подробного описания, которое, однако, здесь было бы не у места. Под скромным и симпатичным флагом уничтожения прав на чины, даваемые высшим образованием, она, в сущности, имела прикровенною задачею введение государственного экзамена, который, в свою очередь, как мне впоследствии цинически объяснял знаменитый «отец русского классицизма» — Георгиевский,[187] дал бы возможность влиять на ценность, содержание и даже самостоятельность университетского преподавания. По тогдашним временам, однако, ввести такой экзамен прямо было бы трудно. В Государственном совете нашлись бы серьезные оппоненты. Поэтому Толстой придумал образование при Государственном совете комиссии с особыми правами, под председательством старого хитреца Делянова, который, введя в нее Георгиевского и нескольких своих саттелитов, разослал министерствам официальные приглашения о командировании депутатов. Министерства, очевидно, не понимая значения работ этой комиссии, прислали самых бесцветных представителей, за исключением министерства

финансов, которое командировало директора Петербургского технологического института И. А. Вышнеградского [188] (впоследствии министра финансов) и военного, представителем которого явился выдающийся по уму и стойкости полковник Васютинский. Исправляя должность директора департамента, я командировал в комиссию самого себя. Заседания происходили в старом помещении Государственного совета, и им, по прежнему обычаю, предшествовал обильный завтрак, угнетающим образом действовавший на мышление таких членов комиссии, как какой-то директор архивов морского министерства или, в особенности, представитель министерства путей сообщения — начальник инспекторского стола в департаменте общих дел, действительный статский советник Л. В. Брандт.

В первом же заседании карты были раскрыты. Об уничтожении чинов почти не было и речи, а все свелось к вопросу о государственном экзамене, причем Делянов заявил, что нам надлежит лишь обдумать, как устроить экзамен, ибо самое его введение уже предрешено высочайшим повелением об учреждении комиссии. Против этого горячо восстали Вышнеградский, Васютинский и я, и, в виде уступки на наши доводы, Делянов решил послать за границу Георгиевского для изучения организации государственных экзаменов на месте, т. е. в Германии, и заседания комиссии были отсрочены более чем на полгода. Этой отсрочкой мы воспользовались, чтобы выработать план кампании против государственного экзамена, причем особенную деятельность проявил Вышне-

градский, вступивший с остальными единомышленниками в оживленную переписку.

Мы постарались также и об изменении бесцветного состава комиссии. Благодаря Вышеградскому был разумно заменен молчаливый и отупевший морской архивариус, а я убедил директора департамента общих дел министерства путей сообщения Жемчужникова прислать юрисконсульта министерства, глубокого мыслителя Стронина,[189] на место Брандта. Старый литератор и усердный сотрудник «Северной пчелы», Брандт во всей своей маленькой и комической фигуре имел отдаленное и карикатурное сходство с Наполеоном I, чем чрезвычайно гордился, под рукою многозначительно давая понять, что великий полководец при возвращении из России ночевал в доме его родителей, и что его мать отличалась чрезвычайной красотою и произвела на Наполеона сильное впечатление. Эти рассказы, вместе с изданною им глупою книжкою «Наполеон, сам себя изображающий», вызывали весьма недвусмысленные насмешки в печати 40-х годов. В конце 50-х годов Л. В. Брандт сошел с литературной сцены, чтобы выплыть, через много лет, в том виде, в каком я его встретил в комиссии. При первом же завтраке он обильно «нагрузился» и продремал все заседание, но оживился по окончании его и, выйдя на набережную Невы вместе со мною, размахивая пестрым, с табачными пятнами, фуляровым платком и взяв меня по стариковской привычке за борт пальто, сказал мне: «Совершенно с вами согласен. Эта комиссия очень опасная, а? А почему? а?» Зная, что он дремал все заседание, я повторил ему вкратце

мои доводы об опасности отдать в руки одного министра народного просвещения не только озеро высшего образования, но и море государственной службы, посадив его не только у шлюза для выхода из первого, но и у шлюза для входа во второе, причем право регулировать требования от держащих государственный экзамен подействует деморализующим образом и на университетское преподавание и на молодежь, создав ускоренную подготовку по учебникам во вкусе Потсдамской «Schnell Assessoren-Fabrik». «Да, — ответил он мне, продолжая махать платком, — пожалуй! Но вы меня извините. Вы еще молоды, а? И смотрите не глубоко. Тут есть нечто поважнее! По-моему, государственный экзамен есть первая ступень к радикальному уничтожению чинов вообще, а? Позвольте! Я теперь по службе дошел до чина действительного статского советника: я, так сказать, генерал, а? И вдруг чины будут уничтожены! Ведь я тогда — *ничто*?..» — «Да, действительно, вы — *ничто*», — сказал я ему, и мы расстались. Это было летом 1877 г. Когда мы собрались в апреле 1878 г., то прежнее меньшинство обратилось в большинство, причем к нам перешел обиженный каким-то заявлением Делянова и директор лесного департамента, известный нумизмат и очень льстивый человек, граф Эмерик-Гуттен-Чапский. Увидя себя в меньшинстве, Делянов повздыхал и в один прекрасный день заявил нам, что комиссия прекращает свои занятия и что ее труды будут приняты во внимание при переработке университетского устава, которым впоследствии и был торжественно водворен в Российской империи государственный экзамен.

Вот в одном из таких заседаний, в тревожный для меня день 5 апреля, и пришел я, встреченный некоторым смущением и соболезнующим любопытством. Я взял, однако, в руки свое исстрадавшееся сердце и разбитые нервы и с веселым видом, остря и ставя вопросы ребром, стал разбирать доклад Георгиевского. Делянов посматривал на меня не без удивления, а Георгиевский начал свой ответ заявлением, что ему очень трудно бороться с *разрушительным* красноречием г-на председателя окружного суда.

Мне неизвестно, докладывал ли граф Пален про мое письмо государю, и что вообще говорил он ему по этому поводу. Но несомненно одно, что государь не потребовал моей отставки, хотя довольно долго продолжал, как мне это говорил Набоков [190] вспоминать с упреком о деле Засулич. Мысль о моей виновности в чем-то по этому делу, очевидно, была плотно поселна в его душе и давала по временам ростки. Однажды это выразилось даже трогательным образом. В 1879 г. меня постигло жестокое семейное несчастье. Оно обрушилось на меня в момент тяжелой болезни, последовавшей за смертью моего отца, и вызвало временный паралич языка и верхней части тела. В это время, еще слабый от болезни, я должен был по какому-то делу быть у министра Набокова. Он не мог не коснуться больного вопроса, но при этом сказал мне: «Когда я доложил государю о происшедшем, он спросил меня, имеет ли это какое-либо отношение к вам, и, узнав, что имеет и самое близкое, сказал мне «Передай ему от меня, что хотя я и сердит на него за дело За-

сýлич, но я понимаю, как ему должно быть тяжело теперь, и искренно его сожалею. Скажи ему это!»

Но ближайшие советники государя и разные «командующие на заставах» были менее великодушны, чем он, и, конечно, гораздо более несправедливы, ибо могли быть лучше осведомлены. Не добив меня «мытьем», попробовали применить ко мне «катанье», которое началось почти тотчас после процесса. Председатели московского и петербургского окружных судов в виду дороговизны столичной жизни уже несколько лет как получали из остатков кредита на личный состав полторы тысячи добавочного содержания. Обыкновенно оно выдавалось после 1 апреля, по заключении сметы. Я был, однако, лишен этой прибавки, и она стала производиться председателю суда лишь через четыре года, т. е. после моего перехода с этого места.[191]

Усталый душевно, я уехал на Пасху в Харьков, где, впрочем, напрасно искал отдохновения среди друзей. Их расспросы и бесконечные разговоры о деле тяготили меня, а в некоторых я замечал тот начавшийся отлив добрых и искренних ко мне отношений, который разлился потом на широком пространстве. Так, прокурор палаты Мечников, в котором я привык видеть самостоятельного судебного деятеля, неожиданно поразил меня заявлением, что удивляется, как я, при моем уме, полез в такое дело, имея право и возможность оставить его на руках одного из товарищей и предоставив последнему «отправляться вместе с делом к чорту». Слухи о том, что студенты замышляют демонстративно выразить мне свое сочувствие, заставили меня поспешить отъездом из Харькова.

Первое лицо, о котором я услышал, придя в суд по возвращении, был товарищ прокурора Кессель. Еще когда я жил в Казани, он был уже переведен прокурором в Петербург, граф Пален указывал мне на Вебера и Кесселя как на крайне строптивых следователей, и заявлял, что в случае каких-либо новых «выходок» последнего, он, если я пожелаю, будет причислен к министерству. Действительно, в Петербурге Кессель проявил себя рядом капризов и пререканий со смиренным товарищем прокурора Случевским,[192] причем в этих столкновениях право и судебная правда всегда бывали на стороне последнего. Но я не допускал и мысли воспользоваться данным мне графом Паленом разрешением и относил все это к неудовлетворенности болезненного самолюбия Кесселя — человека с желчным видом и больною печенью. Ценя его трудолюбие и некоторые теоретические знания, я предложил ему место товарища прокурора, прямо с городским окладом, и затем всегда относился к нему с особым вниманием и даже лаской. Я поручил ему, между прочим, обвинение по серьезному делу Ниппа о похищении купонов городского кредитного общества, и мне смешно вспомнить, с каким чувством радости прочел я весною 1875 г. в Воронеже, возвращаясь с дознания по делу Овсянникова, маленькую заметку «Голоса», лестно отозвавшегося о речи Кесселя. Перейдя в министерство, я часто приглашал его на маленькие собрания моих знакомых, откровенно делился с ним мыслями и впечатлениями, рекомендовал его Гарткевичу для подготовительных работ по Уложению о наказаниях и, узнав, что он

хандрит и скучает от однообразия своей деятельности, устроил его уполномоченным Красного Креста для сопровождения на место военных действий отряда сестер милосердия, особенно отрекомендовав его организаторше этих отрядов принцессе Евгении Максимилиановне Ольденбургской, которая поэтому приняла его с особою любезностью. О том, как отнесся Кессель к своей обязанности обвинителя по делу Засулич, я говорил уже выше. Оказалось, что ему пришлось составить под надзором и по внушениям прокурора палаты и кассационный протест по делу.* В нем, указывая на фиктивные нарушения, допущенные без возражений или вызванные им же самим, он не постыдился сказать, что действия председателя окружного суда по делу Засулич «явно клонились» к затемнению истины в интересах оправдания Засулич. Протест посылался на просмотр в министерство и был оттуда возвращен с одобрением, а г-н Кессель был, повидимому, крайне удивлен, что я перестал подавать ему руку, несмотря на его неоднократные попытки при встречах отнестись ко мне как будто ничего не произошло.

Одновременно с принесением протеста в министерстве юстиции закипела горячая работа по представлению в Государственный совет проектов об изъятии дел о преступлениях против порядка управления из ведения суда присяжных** и о полном подчинении деятельности адвокатуры дискреционной власти министра юстиции.[193] К обоим проектам приложили руку страст-

* См. приложение VII.
** См. приложение XI.

ность заменившего меня на директорском посту Манасеина и холодная угодливость Фриша. Когда протест поступил в сенат, ко мне пришел Михаил Евграфович Ковалевский — новый первоприсутствующий уголовного кассационного департамента. Старые дружеские отношения, доказанные мною спасением в 1875 г. его честного имени, впутанного в дело Овсянникова [194] г-жею Ворониной, которую любил Ковалевский, от растерзания клеветою и злорадством, повидимому, еще продолжали влиять на этого, когда-то сердечно любимого мною человека. «По делу Засулич, — сказал он мне, — министерство будет оказывать давление на сенаторов. Я мало знаком с личным составом, который набран с бору да с сосенки. Вам многие из них лучше известны. Как вы думаете, кому бы поручить доклад? Что вы скажете о Дейере?» [195] — «Мне кажется, — отвечал я, — что этот выбор будет хорош. Я Дейера лично не знаю, но он очень умело провел дело Струсберга. Я слышал о нем, как о человеке независимом и самостоятельном, хотя и довольно крутом».

Говоря это, я, к сожалению, не знал лишь впоследствии попавшего мне в руки в номерах московских газет руководящего его напутствия по делу Нечаева, [196] выданного нашему правительству Швейцарией для осуждения его не за политическое, а за общее преступление. Это напутствие представляет собою полнейшее нарушение председательского беспристрастия и спокойствия. Впоследствии, сделавшись обер-прокурором, я ближе узнал этого человека и постиг всю глубину омерзения, которое возбуждает его духовная личность, облеченная в соответствую-

щую физическую оболочку. Маленький, с шаткой походкой и трясущейся головой, преисполненный злобы против всех и вся, яростный ругатель власти и в то же время ее бездушный и услужливый раб, Петр Антонович Дейер импонировал многим своим злым языком и дерзким, вызывающим тоном. Сенаторы его боялись, и нужно было употреблять большое напряжение, чтобы в некоторых случаях парализовать его влияние, а влияние это всегда было вредным. По преступлениям против веры он никогда не знал никакой терпимости и с большим искусством комкал кассационные поводы, чтобы свести их к желанному «без последствий». Я не помню в этих делах ни одной кассационной жалобы, которую бы он уважил. Еще хуже было его отношение к национальностям. Достаточно было быть евреем, чтобы не добиться у Дейера никакого правосудия. Иногда, однако, вследствие личных отношений к товарищам по старой московской службе, он делался ярым кассатором и лез на стену, говоря всем дерзости, в пользу отмены обвинительного приговора. Таким было, например, возмутительное дело московского нотариуса Назарова, покушавшегося изнасиловать несчастную девушку Черемнову, заманенную им в западню Эрмитажа, и устроившего с полицией дело так, что ее по осмотру признали имевшею неоднократные совокупления с мужчинами. Оскорбленная этим и не веря в земное правосудие, она застрелилась на паперти храма спасителя и при вскрытии была найдена вполне целомудренной. Несмотря на ловкую защиту Андреевского, московские присяжные осудили Назарова, и за него-то распинался Дейер.

Подобным же делом было дело московского дворянина Крутицкого, сделавшего предложение шестнадцатилетней гимназистке, объявленного ее женихом и заманившего ее под предлогом осмотра будущей квартиры в какие-то номера, где несчастный полуребенок был им напоен и растлен, причем он отказался жениться, ссылаясь на развратные наклонности своей невесты. Несмотря на полную правильность обвинительного приговора присяжных, союзником защитника обвиняемого, грязного чиновника комиссии прошений по бракоразводным делам — Заводовского (выгнанного из товарищей прокурора харьковского окружного суда за приглашение к себе на любовные свидания, на официальном бланке, жены арестованного им политического преступника), явился Дейер. С пеною у рта доказывал он, что дело об изнасиловании возбуждено судебной палатой неправильно, опираясь на то, что мать потерпевшей, по очевидному незнанию терминологии, описав фактическую сторону изнасилования, просила о наказании за обольщение. Не щадивший эпитетов против представителей власти всех степеней, Дейер, однако, охотно принял на себя обязанности первоприсутствующего особого присутствия по политическим делам в сенате и проявил по ним такое черствое инквизиторство, что все порядочные люди в сенате радовались, когда подобные дела, по тем или другим соображениям, передавались в военный суд, вообще гораздо более гуманный, чем суд господ сенаторов. Об этой передаче мог пожалеть исключительно г-н Дейер, который приобрел привычку после каждого дела со смертными приговорами

получать из министерства юстиции крупную сумму для поправления своего драгоценного здоровья. Я живо помню его фигуру безобразного гнома в заседании по делу о приготовлении к убийству разрывными снарядами Александра III ранней весною 1887 г. Интимидируя подсудимых, он приказал им стоя выслушать длиннейший обвинительный акт, а когда подсудимые, с невидимыми, но неизбежными петлями на шее, заранее приговоренные к смерти, сказали свои последние объяснения при судебном следствии, он, нервно вертя руками длинный карандаш, выразил желание пополнить эти объяснения некоторыми разъяснениями. И тогда между ним и подсудимой Гефтман,[197] обвинявшейся в укрывательстве товарищей по заговору, миловидной и скромной девушкой, произошел следующий диалог: «Где вы учились?» — «В Елисаветградской гимназии». — «На чей счет?.. На казенный?» — «Нет, на счет родителей». — «А какой веры ваши родители?» — «Иудейской». — «Гм! Значит — евреи. А чем они занимаются?» — «Коммерцией», — смущенно отвечает подсудимая. «Коммерцией?! — язвительно возглашает Дейер, — значит гешефтом?» Краска заливает лицо несчастной девушки, и она молчит. «Садитесь!» — торжествующим тоном говорит Дейер и продолжает судорожно вертеть карандаш...

«Ну, вот и отлично, — сказал Ковалевский, — ему я и поручу. А вам я должен высказать свое чрезвычайное удовольствие по поводу вашего подробного объяснения, представленного сенату.*

* См. Приложение VIII.

Оно так разъясняет все вопросы, что я не могу себе представить, как можно кассировать это дело. На-днях меня брат Евгений (мой сослуживец по суду еще с Харькова) спрашивает, увидев у меня дело с вашим объяснением: «Ну что *твой* Кони?» А я ему и сказал: «Мой моим и остался... Поскорей бы только сбыть с плеч эту канитель!..»

Я не знаю сущности доклада Дейера, потому что не был в заседании. Но знаменитое решение за № 35 за 1878 г. налицо, — то решение, которое упразднило 576 ст. Уст. угол. суд., вменило мне в вину точное исполнение ее указаний и установило нелепую практику, по которой суд, раз отказав в вызове свидетеля подсудимому, не может пересмотреть свое решение и отменить его по существу. Трудно себе представить весь вред, который принесло действительному правосудию такое сенатское толкование, узаконяющее произвол суда и дающего ему возможность для сокращения судебного заседания отнимать у подсудимого то, в чем он иногда видит единственную возможность своего оправдания. Им была установлена целая категория свидетелей, которых судебная практика приняла называть лишними, не относящимися к делу или же не имеющими для дела значения. Широкая мысль судебных уставов, создавшая 576 статью, была сведена на-нет, и наши суды, с позорной готовностью принялись топтать ее в грязь своей лени и бездушия. В бытность мою обер-прокурором я пробовал, хотя отчасти, восстановить ее значение и ограничить область судейского произвола. Но когда я ушел в сенаторы, то при посредстве почтенного сенатора

Платонова,[198] друга и наперсника князя Мещерского,[199] и при постыдном попустительстве Таганцева старое толкование было установлено с новой силой и резкостью по делу Котельниковых, в котором двукратная просьба двух престарелых сектантов о вызове близко их знающего Бориса Николаевича Чичерина как свидетеля об их нравственности, была отвергнута судом, нашедшим, что при обвинении (по 204 ст. Улож. о наказ.) кого-либо в деянии «гнусном и противонравственном» свидетель о нравственной чистоте подсудимого «не имеет значения для дела!»

В заседании по делу Засулич, после трескучего заключения товарища обер-прокурора Шрейбера,[200] произошли страстные дебаты, причем образовалось большинство за кассацию, а часть сенаторов, во главе с ничтожнейшим Н. С. Арсеньевым, когда-то грозившим в заседании московского окружного суда «высечь» четырнадцатилетнюю свидетельницу, требовало даже предания меня суду.[201] Когда выяснилось большинство, Ковалевский перестал отбирать голоса и на вопрос Арцимовича: «а ваше мнение, Михаил Евграфович?» — ответил, что оно уже не имеет значения, так как образовалось большинство, и стал затем уговаривать Арцимовича присоединиться к большинству, чтобы не делать разногласий. «Вы забываете, — сказал ему почтенный старик, — что у меня есть дети...»

Заседание ознаменовалось еще и тем, что защитник Засулич, Александров, не был допущен к представлению объяснений на том основании, что не предъявил формальной доверен-

ности, явленной у нотариуса, со стороны оправданной,[202] которую полиция искала по всему городу, чтобы по совершенно противозаконному распоряжению вновь посадить под стражу. Вечером в тот же день, в заседании юридического общества, присутствующие были свидетелями того, как к профессору Таганцеву, бывшему днем в сенате и взволнованно рассказывавшему о происходившем, подошел Кессель и, протягивая руку, развязно спросил его: «Что поделываете, Николай Степанович?» — «Да вот, — сказал на всю залу Таганцев, не принимая руки, — был сегодня в сенате, слушал хамское решение по хамскому протесту». Целая пропасть, повидимому, разделяла тогда этих двух людей... В какую едва уловимую линию обратилась она, когда через 20 лет тот же Таганцев не постыдился приложить свою руку к решению по делу Котельниковых, поддерживая словесные «покивания головой» Платонова по моему адресу с постоянными ссылками на дело Засулич...

Кассация решения по делу Засулич* имела два ближайших последствия. Во-первых, министр юстиции предложил соединенному присутствию 1-го и кассационных департаментов рассмотреть неправильные действия суда, и соединенное присутствие с услужливой готовностью сделало мне и составу суда замечание в дисциплинарном порядке,** даже не потребовав от нас, вопреки закону и обычаю, объяснения; и, во-вторых, Андреевский и Жуковский, отказавшиеся обвинять Засулич, были подвергнуты взысканию:

* См. Приложение IX.
** См. Приложение X.

первый причислен к министерству, а второй переведен товарищем прокурора в Пензу. Жуковский тотчас же вышел в отставку, а Андреевский, уехавший больным в Киев, впал в совершенное отчаяние, не зная как быть без средств с женою и двумя детьми и не надеясь на адвокатский заработок.[203] К счастью для него, я был знаком с председателем международного банка Лясским, и он, по моей просьбе, с необыкновенной предупредительностью, немедленно взял к себе Андреевского в юрисконсульты банка на весьма хорошее содержание. Таким образом полузнакомый мне поляк, не говоривший даже по-русски и которому я ничем не мог быть полезен, участливо отнесся к просьбе за товарища со стороны опального судьи, в то время как многие люди, обязанные последнему серьезным образом, совершали своего рода состязания «на предательство и злобность».

Так лишилось судебное ведомство двух талантливых деятелей, могших служить его украшением. Оба они быстро достигли обеспечения и широких гонораров. Но растлевающее влияние узкопонятой профессии на слабую русскую натуру, лишенную чувства личной солидарности с общественными интересами, сказалось на них. Жуковский, впрочем, сам остался в душе обвинителем, смотрел на свою защиту в громких делах, иногда не безопасную для его клиента, как на рекламу, и однажды на вопрос мой о том, как идут дела, цинически ответил: «Да плохо! Зарабатываю двадцать тысяч, но этого мало. Я ведь смотрю на адвокатуру так... — и он вытянул при этом руку с крючковатыми пальцами: — цап! и ушел. А это мне не удается».

Андреевский, ставший очень симпатичным поэтом и тонким литературным критиком, занял бесспорно одно из виднейших по талантливости мест в адвокатуре, но и в нем развилась неразборчивость в делах, приведшая его к защите помещика Белозора, жестокого истязателя своих рабочих руками подкупленной полиции, и московского купца Елагина, сажавшего бедную девочку, взятую им в товарки малолетней дочери и завезенную в По, обнаженными половыми частями на несколько часов на обширные горчичники и ставившего на колени, с которых путем таких же горчичников была предварительно содрана кожица...

Среди таких распоряжений графа Палена, дававших чувствовать его предсмертные, в качестве министра юстиции, содрогания, бывали и комические эпизоды. Так, ничтоже сумняшеся добродушный и оригинальный старейший член суда Сербинович, отличавшийся рядом своеобразных выходок на суде, сунулся к нему просить ежегодного пособия, необходимого бедняку, бегавшему по урокам, чтобы восполнить скудное судейское содержание. На вопрос графа Палена: «как мог суд допустить такой приговор, какой вынесли присяжные по делу Засулич», Сербинович — человек не от мира сего — думая сказать Палену приятное, выпалил, что «мы хотели решить дело либерально». Это слово подействовало на графа Палена как красный платок на быка на испанской арене. Он вышел из себя и прогнал несчастного Сербиновича ни с чем. Когда затем у него по какому-то личному остзейскому вопросу был мой покойный сослуживец, благородный рыцарь, Оттон

фон Ден, тоже бывший в составе суда в злополучном заседании (во время которого у него родился первенец-сын), Пален разразился градом упреков против меня и на спокойные указания со стороны своего собеседника, что приговор произнесли присяжные, ответил: «Ну что ж! Если бы Кони был на высоте своего положения, он бы должен был уничтожить этот приговор». — «То есть, как же это?» — спросил Ден. «Ах, боже мой! — воскликнул Пален, — ведь он видел, что́ в нем написано! Взял бы вместо песочницы чернильницу, да и залил весь приговор!» Ден не нашелся на это ничего ответить, но от Палена поехал ко мне и рассказал все это.

Конец министерства Палена наступил вскоре. Государственный совет согласился с его проектом об ограничении компетенции присяжных,[204] но отверг проект о подчинении адвокатуры, причем ему пришлось выслушать не мало неприятных вещей.[205] Тогда в нем проснулось чувство собственного достоинства, временно заглушенное желанием удержать портфель, и он совершил то, что для тогдашнего русского министра было равносильно подвигу: подал в отставку.[206] Вслед за этим был назначен прощальный прием суда у уходящего министра. Когда мы собрались пред его кабинетом, разнеслась весть о мерах, принятых против Жуковского и Андреевского. Многие возмутились, и граф Гейден,[207] Ден и барон Бистром не хотели оставаться и собрались демонстративно уехать. Мне стоило большого труда убедить их остаться отдать последний долг сошедшему со сцены, с редким у нас достоинством, министру.

Прощание было холодное. Пален сказал несколько слов с указанием на смутное время, и мы расстались.

Я встретился с ним близко, через 16 лет, на похоронах Александра III, при которых мне, в качестве сенатора, пришлось быть ассистентом при императорской короне, а ему нести скипетр. Жизнь изменила нас обоих. Я встречал, после разлуки с Паленом, такую массу ничтожных и своекорыстных людей, чуждых даже внешним приемам порядочности, что стал более ценить хорошие стороны его природы, уцелевшие, несмотря ни на что, под тлетворным влиянием придворной и бюрократической обстановки. А он, пожив в деревне, получил возможность яснее увидеть то лакированное варварство, которое все более и более завладевало кормилом правления, совершенно беспринципное и не думающее о завтрашнем дне. За последнее десятилетие граф Пален явился в Государственном совете представителем хороших традиций царствования Александра II и защищал многие из лучших сторон судебных уставов со своеобразным и внушавшим к себе уважение красноречием, хотя — увы! — по большей части бесплодным. Можно даже сказать, что он стал самою симпатичною фигурою в Государственном совете и живым укором своим преемникам по своему чувству долга перед родной юстицией. Я давно простил ему те скорби и огорчения, которые он причинил, и ныне (в 1904 г.) с искренним уважением приветствую в нем ту эволюцию, по поводу которой его противники в Государственном совете говорят: le comte Pâlen a tourné au sucré. «Мы

оба с вами многому научились», — сказал он мне при одном из свиданий после долголетнего перерыва. «Но ничего не позабыли, граф», — сказал я ему, продолжая известную фразу о Бурбонах.*

Дело Засулич вызвало яростные нападки на меня и на суд со стороны Каткова,[208] продолжавшиеся почти до самой его смерти. Ему вторила значительная часть провинциальной печати, преимущественно южной. В начале 80-х годов он дошел, как я уже упоминал, до того, что обвинял меня в подборе присяжных и внушении им оправдательного приговора. Под первым впечатлением я хотел преследовать его за клевету в печати, и так как в то время еще «il y avait des juges à Berlin», то, вероятно, последовал бы обвинительный приговор, и, во

* Через много лет мы встретились с графом Паленом в Государственном совете; он был его старейшим членом, я — его младшим. Между нами установились вежливые, официальные отношения. Годы шли, он занемог и перестал ездить в Государственный совет. Когда вышла моя книга «На жизненном пути», немцы из Государственного совета стали мне говорить: «Анатолий Федорович, граф Пален с большим интересом читает вашу книгу и очень жалеет, что не может повидать вас, побеседовать с вами». Мне это приходилось слышать не раз, — то от одного, то от другого, — наконец, я решился. Мы оба уже старики (ему тогда было 83 года), большая часть жизни прошла, то, что нас разъединяло, давно позади, и я к нему поехал. Он очень мне обрадовался, рассказал много интересного о том, что тогда происходило за кулисами, а потом вдруг посмотрел на меня и сказал: «Вы меня простили?» — «Да что вы, граф, я вас не понимаю, в чем я могу вас простить?» — «Нет, вы отлично меня понимаете: я столько причинил вам неприятностей, даже горя, я отравил столько лет вашей жизни... но про-

всяком случае, московскому трибуну пришлось бы прогуляться по всем инстанциям. Но я припомнил годы своего студенчества и впечатление статей Каткова в 1863 г., пробудивших русское национальное самосознание, оградивших единство России и впервые создавших у нас достойное серьезного публициста положение... В виду этих несомненных заслуг у меня не поднялась рука или, вернее, перо для частной жалобы на Каткова, и я очень доволен, что умел стать выше личного самолюбия, отдав в глубине души справедливость ожесточенному врагу в том, что было хорошего в его деятельности. Но эти статьи действовали, однако, на общественное мнение и в связи с молвою о недовольстве государя и о том, что я только лишь терпим на службе, создавали в обществе враждебную для меня обстановку. Печатать что-либо в защиту

стите меня, старика, я не понимал вас тогда, я многого тогда не понимал; теперь я понял, я теперь другой человек, но поздно». — «Какая может быть речь о прощении в общественной жизни, граф, — я вас ни в чем по отношению к себе не виню; напротив, за то, что вы сделали со мною, я вам даже благодарен». — «Благодарны? за что?» — «А вот за что: если после процесса Засулич я не оказался бы в опале и не был бы повергнут различным притеснениям и преследованиям, я бы продолжал взбираться по перархической лестнице и наверное, как мне это многие предсказывали, в один день очутился бы на министерском кресле. И передо мною оказалась бы альтернатива — или же с первых шагов сломать себе шею и быть сданным в архив, или же, что еще хуже, пойти на компромисс, на сделку со своею совестью: сперва уступить в одном деле, намереваясь уже зато в другом настоять на своем, но мало-по-малу покатиться по этой наклонной плоскости, пока совершенно не потерять своего лица. А так вышло гораздо лучше: у меня оказалось гораздо больше сво-

меня и суда было запрещено. Иностранная печать говорила о деле, по обыкновению ничего не понимая и валя все в одну кучу, называемую «революцией в России», а русская свободная печать в брошюре Драгоманова [209] «За что старика обидели» [210] нападала на меня за обязательные по закону вопросы, предложенные Засулич, называя их придирчивостью к подсудимой и ставя меня на одну доску с Желеховским, иронически восклицала: «и эти люди будут требовать в свое время конституции!?»

Мне грустно думать, что Драгомановым в настоящем случае владело мелочное чувство обиды, явившейся последствием несчастного и совершенно случайного недоразумения, связанного с процессом игуменьи Митрофании. [211] Когда я возбудил в Петербурге, в качестве прокурора, дело о подлоге векселей купца Беляева влия-

бодного времени, я написал свою книгу «Судебные речи», за которую два университета присудили мне степень доктора прав honoris causa; я написал еще целый ряд книг; я был криминалистом, а благодаря новому назначению познакомился с гражданским судопроизводством, — я своею судьбою доволен и не жалею о тех неприятностях, которые пришлось мне одно время испытать». — «Итак, вы простите меня, — vous ne m'en voulez pas?» — «Mais du tout». Я пожал ему руку. «Ну как я рад, как я рад, у меня камнем на сердце лежало сознание, что я был несправедлив по отношению к вам и причинил вам столько незаслуженных огорчений... Заходите ко мне, я лишился ног, уже не могу выезжать, а мы с вами — старые трабанты, у нас есть о чем поговорить!» Я ему обещал бывать у него. Старческой тяжелой походкой он проводил меня до дверей, мы простились, он крепко пожал мне руку. А через несколько дней он умер.

(Записано Э. Ф. Кени в вечер 15 мая 1927 г. после рассказа А. Ф. Кони).

тельною игуменьей Серпуховского монастыря, ездившей по Петербургу с красным придворным лакеем, останавливавшейся во дворцах и награждавшей орденом св. Владимира угодных ей «благотворителей», то почти все, и даже министр юстиции граф Пален, считали это крайнею смелостью, долженствующей вызвать влиятельные ходатайства и властное давление. Я приготовился к посильному отпору и вытребовал Митрофанию из Москвы. Она прибыла в сопровождении двух послушниц и своего друга, игуменьи Страстного монастыря Валерии, и категорически отказалась от домашнего ареста в Новодевичьем монастыре, умоляя содержать ее, где угодно, только не во владениях чужой настоятельницы. Поэтому она была оставлена под домашним арестом там же, где и остановилась, т. е. в гостинице «Москва», на углу Невского и Владимирской. Я щадил в ней, по возможности, щекотливые струны души и устроил так, что допрос ее следователем в моем присутствии производился в ее помещении, без удручающего ее вызова в суд, причем арест осуществлялся незаметным для посторонних образом, так что с внешней стороны казалось, что Митрофания пользуется полной свободой и лишь по собственному желанию не выходит из дому. Когда настали жаркие дни ранней весны, мы отпустили ее на богомолье в Тихвин, и эта поездка благотворно подействовала на ее здоровье и настроение. Преступление ее было очевидно, несомненно и заурядно. Но личность Митрофании была совсем незаурядна. Это была женщина обширного ума, с государственной широтой воззрений и со смелым

полетом мысли, с удивительной энергией и настойчивостью и с уменьем влиять на окружающих, приобретая между ними горячих и преданных друзей. Самые ее разнообразные имущественные преступления, выразившиеся в подлогах векселей и духовного завещания, не имели лично корыстного характера, а явились результатом страстного желания поддержать и укрепить созданную ею трудовую общину на месте тунеядной и праздной обители. Мастерские, ремесленные и художественные, разведение шелковичных червей, школа и больница для приходящих — были в это время отрадным нововведением в сомнительный аскетизм «христовых невест» из московского купечества и мещанства. Но все было заведено на слишком широкую ногу и требовало огромных средств. Личная энергия Митрофании и щедро раздаваемые награды, чему содействовала ее близость к императрице и к великой княгине Александре Петровне, вызвали приток пожертвований, начавший затем быстро ослабевать. С упадком средств должны были рушиться дорогие ей учреждения, а с ними и ее роль необычной и занимающей особое положение настоятельницы. С этим не могла помириться ее гордая и творческая душа и... пошла на преступление. Ей пришлось выпить горькую чашу. Началось с того, что у нее совершенно не оказалось заступников, которых ожидали все и в том числе я. Никто не двинул для нее пальцем; никто не замолвил за нее слова, не позаботился узнать об условиях и обстановке, в которых она содержится. От нее все отреклись, кроме игуменьи Валерии, и те, кто снабжал ее дворцовым

приютом и красною ливреею, бессердечно вычеркнули ее из своей памяти, даже не пожелав узнать, доказано ли то, в чем она только подозревается. Это усугубило мое внимательное отношение к ней, но это же повлияло, совершенно в обратную сторону, на обращение с нею московской прокуратуры и суда. Оказалось, что задолго до возбуждения мною дела в Петербурге в Москве уже были в руках прокурора окружного суда данные для преследования ее за более тяжкое преступление — подлог завещания Солодовникова. Но, «страха ради иудейска», данные эти хранились под сукном и ожили лишь по получении известия, что следствие идет в Петербурге беспрепятственно. Лишь тогда московская прокуратура вступила в свои права и отобрала у нас следствие для приобщения к своему. Митрофанию перевезли в Москву, содержали при полиции или, как она выразилась на суде, «в кордегардии под надзором мушкетеров». Ни сану, ни полу, ни возрасту не было оказано уважения, и началась, прикрытая лишь формами законности, та судебная травля, которая по делам, привлекавшим общественные страсти на сторону обвинения, всегда представлялась для меня одним из самых возмутительных явлений нашей юстиции. На суде выдающиеся московские защитники отказались ей помочь. Знаменитый Плевако в страстных выражениях громил в ее лице монашество, восклицая: «Выше, выше стройте ваши стены, чтобы скрыть от человеческих взоров ваши деяния». [212] А московский председатель Дейер терзал ее коварными вопросами и старался, хотя и тщетно, заставить про-

говориться измученную многодневным заседанием, жестоким любопытством публики и женскою болезнью подсудимую. С чувством большого нравственного удовлетворения прочел я в 1902 г. посмертные записки Митрофании в «Русской старине», в которых она тепло вспоминает о моем человечном к ней отношении и наивно отмечает, что молилась в Тихвине, между прочим, и за раба божия Анатолия.[213] Эти записки, вместе с письмами Маргариты Жюжан[214] и письмами супругов Непениных[215] из Сибири, не умаляя размеров свято исполненного долга судьи и прокурора, дают отраду моей совести как человека, доставляя мне возможность, хотя в этом отношении, спокойно смотреть на графу судимости в моем нравственном формуляре.

Если у игуменьи Митрофании при разбирательстве ее дела в суде не нашлось серьезных защитников, то в добровольцах при следствии, думавших пристегнуть свое безвестное имя к громкому процессу, недостатка не было. Однажды мне пришлось быть свидетелем оригинальной сцены: следователь Русинов, окончив дополнительный допрос Митрофании, собирался уходить от нее, когда ей заявили, что присяжный поверенный, фамилии которого я до того не слышал, желает с нею объясниться. Так как посторонние не допускались к ней иначе, как в присутствии прокурорского надзора, то она просила нас остаться и дать ей возможность переговорить с этим господином. Вошел юркий человек «с беспокойной ласковостью взгляда», и, к великому удивлению Митрофании, подошел к ней под благословение. «Что

вы, мой батюшка?! — воскликнула она, — я ведь не архиерей! Что вам угодно?» — «Я желал бы говорить с вами наедине!» — смущенно ответил вошедший. «Я вас не знаю, — отвечала она, — какие же между нами секреты? Потрудитесь говорить прямо». — «Меня послали к вам ваши друзья, они принимают в вас большое участие и жаждут вашего оправдания судом, а потому упросили меня предложить вам свои услуги по защите, которую я надеюсь провести с полным успехом». — «Надеетесь? — сказала Митрофания ироническим тоном. — Да ведь вы моего дела не знаете, батюшка!» — «Помилуйте, я уверен, что вы совершенно невинны, что здесь судебная ошибка». — «А как же вы думаете меня защищать и что скажете суду?» — «Ну, это уж дело мое», — снисходительно улыбаясь, ответил адвокат. «Дело-то ваше, — сказала Митрофания, — но оно немножко интересно и для меня. Я ведь буду судиться, а не кто другой?» — «Ах, боже мой! — заметил адвокат, переходя из слащавого в высокомерный тон, — ну, разберу улики и доказательства и их опровергну». — «Да, вот видите ли, батюшка, ведь, уж если меня предадут суду, если господь это попустит, так значит улики будут веские; их, пожалуй, и опровергнуть будет не легко; дело мое важное; вероятно, сам прокурор пойдет обвинять. А вы, чай, слышали, что здешний прокурор, как говорят, человек сильной речи и противник опасный». — «М-м-да!» — снисходительно ответил адвокат, очевидно, не зная меня в лицо. «Нет, мой батюшка, — сказала Митрофания, выпрямляясь, и некрасивое лицо ее приняло строгое и вместе с тем восторженное

выражение. — Не опровергать прокурора, а понять меня надо, вникнуть в мою душу, в мои стремления и цели, усвоить себе мои чувства и вознести меня на высоту, которой я заслуживаю, вместо преследования...» По лицу ее пробежала судорога, и большие голубые глаза на выкате наполнились слезами, но она тотчас овладела собой и вдруг, переменив тон, сказала с явною насмешкой: «Так вы это, батюшка, сумеете ли? Да и позвольте вас спросить, кто эти мои друзья, которые вас прислали?» — «М-м-м, они желают остаться неизвестными», — ответил смущенный адвокат. «Вот и видно, что друзья! Даже не хотят дать мне радость узнать, что теперь при моем несчастии есть еще люди, которые не стыдятся явно выразить мне свое участие! Нет уже, батюшка, благодарю и вас, и их. Я уж как-нибудь обойдусь без этой помощи!» — И она поклонилась ему смиренным поклоном инокини. Вскоре после этого ко мне в прокурорский кабинет пришел лохматый господин добродушного вида, назвавшийся кандидатом на судебные должности при прокуроре одного из больших провинциальных судов, и стал жаловаться на следователя Русинова, что тот не хочет отпустить на поруки игуменью Митрофанию без моего о том предложения. «Я дам с удовольствием такое предложение, — сказал я, — но ведь есть гражданский иск. Есть ли у ваших доверителей средства, обеспечивающие поручителя на такую сумму?» — «Как, обеспечение? — изумленно воскликнул пришедший, — для чего?!», и из последующего разговора выяснилось, что он не знает, что поручительство по судебным уставам прини-

мается лишь с денежным обеспечением, причем он с наивной назойливостью стал мне объяснять, что я ошибаюсь и смешиваю с поручительством залог. Шутливо погрозив ему написать его-прокурору, какой у него невежественный кандидат, я посоветовал ему почитать Устав уголовного судопроизводства и не мешать мне заниматься неосновательными жалобами на следователя. Через некоторое время он снова пришел ко мне, опять с какою-то нелепой просьбою, и опять стал незнание судебных уставов валить с больной головы на здоровую и очень мне прискучил. Когда следствие стало приближаться к концу, Митрофания, после предъявления ей различных документов и актов, внезапно сказала, что просит моего совета, к какому защитнику ей обратиться. Я ответил ей откровенно, что обвинение против нее ставится очень прочно и что я буду поддерживать его энергически, почему советую ей обратиться к какому-нибудь сильному и известному адвокату. Я назвал ей Спасовича, Герарда и Потехина, останавливаясь преимущественно на последнем, так как в деле был гражданский оттенок, а характер простой и исполненной здравого смысла, без всякого ложного пафоса, речи последнего казался мне наиболее подходящим для защиты. «А что вы скажете о... — Митрофания назвала фамилию являвшегося ко мне кандидата, — если его пригласить?» — «Помилуйте, — сказал я, — да ведь это человек, ничего не знающий, неопытный и бестактный. Это значило бы итти на верную гибель. Уж лучше взять защитника по назначению суда». — «Вот видите ли, батюшка, — сказала Митрофа-

ния, — я сама знаю, что он таков, но его покойная мать была моей подругой по институту, и он готовится быть адвокатом. Участие в таком деле, как мое, во всяком случае, сделает его имя известным, а известность для адвоката, ох, как нужна! Если же господу угодно, чтобы я потерпела от суда, так ведь тут никто не поможет. Пускай же мое несчастье хоть кому-нибудь послужит на пользу».

Дело Митрофании давно было кончено в Москве, а я уже управлял департаментом министерства юстиции, когда в начале 1877 г., в разгар занятий, когда я шел к министру с материалами для всеподданнейшего доклада, курьер сказал, что меня хочет видеть г-н Драгоманов. Полагая, что это — бывший protégé Митрофании, и зная, что в моем ведении нет дел, которые его бы касались, я приказал сказать, что очень занят и в настоящую минуту его принять не могу, а прошу притти в приемные часы. К несчастью, это был другой Драгоманов, желавший познакомиться со мною перед своей эмиграцией из России. Узнав об этом через несколько дней от Боровиковского, я просил его немедленно написать Драгоманову, с которым он был знаком, и разъяснить ему печальное недоразумение. Но невольная обида прочно засела в омраченном сердце даровитого публициста и вылилась каплею яда в упомянутой выше брошюре.

Во всей этой заведомой и неведомой неправде были и комические проявления. Так, мне рассказывали, что в Неаполе, на сцене одного из маленьких популярных театров шла драма, названия которой я не помню, взятая из про-

цесса Засулич, обильно приправленного романтическими подробностями. В последнем действии было представлено здание суда и волнующаяся толпа, ожидающая решения присяжных. На балкон этого здания выходил я — «il primo presidente della corte» — в красной мантии и седых локонах и, объявив, что Засулич невинна, благосклонно раскланивался на крики толпы: «eviva!..»

Настроение иных представителей так называемых культурных слоев по отношению ко мне сказывалось во множестве случаев, из которых приведу лишь некоторые. Так, мне пришлось быть летом в том же году на похоронах сенатора Барановского и увидеть там графиню Ностиц, с которой я встречался у Гернгросс и у Трепова по поводу различных вопросов тюремного комитета. Когда я вошел в церковь, она не ответила на мой поклон и, грозно сверкнув злыми черными глазами, стала что-то оживленно говорить г-же Гернгросс, указывая глазами и движениями головы на меня. «Представьте себе, — сказала мне в тот же вечер г-жа Гернгросс (мы оба жили в Петергофе и часто виделись), — что графиня Ностиц в церкви, указывая на вас и волнуясь от гнева, говорила мне: «Скажите ему, чтобы он вышел из церкви! Как он смеет входить в храм после того, как оправдал Засулич и обвинил бедного Трепова?»

В это же лето, желая переменить квартиру и поселиться, по совету вдовы писателя Погосского, в том же доме Владимирской церкви, я просил ее справиться об условиях у старшего отца протоиерея, заведывавшего домом.

«Извините, ваше превосходительство, — сказал ей добрый служитель алтаря, — очень бы хотел исполнить вашу просьбу и иметь жильца по вашей рекомендации, но господину Кони квартиры в нашем доме мы отдать не можем. Человеку, оправдавшему Засулич, нет места под кровом церковного дома».

Вспоминается мне и еще один эпизод с генерал-губернатором Западной Сибири Казнаковым — человеком очень симпатичным, который предлагал мне за два года перед тем место тобольского губернатора и постоянно обращался ко мне за различными советами юридического и законодательного свойства. В последний раз, во время приезда в Петербург, он просил меня за неделю до процесса дать ему заключение по вопросу, касавшемуся судоустройства во вверенном ему крае. Я написал ему заключение вкратце и повез ему лично, чтобы дополнить необходимыми словесными объяснениями. Не застав его дома и узнав, что он пошел гулять на набережную Невы, я, торопясь уехать в Харьков, поехал на набережную, где и увидел его спокойно гуляющим. Он поблагодарил меня за заключение, но, видимо, был несколько сконфужен моим намерением пройтись с ним вместе и по дороге дать свои пояснения. Он слушал меня довольно рассеянно, и вдруг его лицо изобразило ужас, а глаза застыли с выражением муки на каком-то предмете впереди нас. Я посмотрел по направлению его взгляда и увидел, что навстречу нам, в десяти шагах, шел государь в белой конно-гвардейской фуражке. «Хорошо-с! Да-с! Благодарю-с!» — довольно растерянно стал говорить мне, видимо желая от меня

отделаться, Казнаков, испытавший, очевидно, смертельный страх, что государь увидит, *с кем* он идет и разговаривает. Но в данном случае я был жесток и заставил его выпить чашу до дна, т. е. до встречи с государем. Чувствуя, вероятно, всю неловкость своего положения, Казнаков на другой день приехал ко мне, но я его не принял, приказав сказать, что уезжаю в Харьков и мне некогда. Таких, как он, оказалось много. Те, которые, по образному выражению Палена, были мне «padem do nog» до дела Засулич, первые перестали меня узнавать при встречах и первые же через семь-восемь лет, когда, уцелев, я взошел на кафедру обер-прокурора, стали со мною почтительно раскланиваться. Но... тут уж я перестал их узнавать. В числе их был и Косоговский, приходивший выразить мне радость по поводу приговора по делу Засулич, покаравшего «непристойную» деятельность Трепова.

Нужно ли говорить, что отношение министерства юстиции ко мне сделалось холодно-враждебным, отражаясь и на суде. Последнее очень тягостно отзывалось на моей деятельности, так как создало против меня партию ничтожных, но тем не менее зловредных людей, которые шипели на то, что благодаря мне никто не получает наград и что председатель суда не имеет в этом смысле никакого авторитета в министерстве. Действительно, министерство три года под ряд не уважало моих представлений о наградах и пособиях, стараясь при всяком удобном случае дать мне понять мою негодность. Одним словом, сбылось все то, что я и предсказывал в разговоре с графом Паленом.

Набоков был в министерстве человек новый, а Фриш при редких встречах со мною принимал величаво-обиженный вид, хотя сам в своих заключениях в сенате как товарищ обер-прокурора и затем обер-прокурор толковал 576 ст. Уст. угол. суд. именно так, как она была понимаема мною. Трудно и тягостно перечислять все случаи, в которых министерство юстиции старалось мне показать свою враждебность, начиная с мелочей и кончая назначением в комиссии, в которых присутствие живого юриста звучало какою-то насмешкою над ним, в роде комиссии об установлении правил о разборе старых архивных дел. Иногда эта враждебность принимала характер дерзкого нарушения моих прав, не оставшегося, впрочем, без отпора. Так, например, в 1879 г., когда Мирский [216] совершил покушение на шефа жандармов Дрентельна, [217] дело о нем решено было слушать в окружном суде, по удобству соседства с домом предварительного заключения, где он содержался. Мне не только не было сообщено об этом ничего официально, но даже в один прекрасный день председатель военного суда, генерал Лейхт, зайдя мимоходом в мой кабинет и вздыхая о трудности предстоящей ему задачи, любезно предложил мне билет для входа в заседание, которое должно состояться через три дня в зале 1-го отделения окружного суда, где он уже распорядился сделать некоторые перестановки. Распрощавшись с ним с наружным спокойствием, я потребовал смотрителя здания, который объяснил, что заседания с присяжными, происходившие в зале 1-го отделения, прокурор судебной палаты Плеве [218] (он же и инспектор

здания) приказал перевести через два дня в залу одного из департаментов палаты. Это наглое вторжение в ту сферу, где я один был хозяином, заставило меня немедленно написать письмо Плеве о том, что, считая распоряжение министерства и его не подлежащими никакому исполнению без предварительного испрошения моего на то согласия, я прикажу запереть в день заседания по делу Мирского все двери в залу 1-го отделения и напечатаю в газетах объявление, что, вследствие самовольного захвата помещения окружного суда, сессия присяжных прерывается впредь до восстановления законного порядка. Письмо подействовало. Плеве, знавший, что я способен исполнить то, чем угрожаю, и опасаясь публичной огласки, явился с извинениями и с просьбою дать мое согласие на слушание дела в окружном суде, когда ко мне поступят просьбы министра юстиции и временного генерал-губернатора Гурко,[219] что и было сделано вечером в тот же день. С тех пор министерство юстиции было со мною осторожнее. Но проникнутым, совершенно мною неожиданным, характером оказалось отношение ко мне Ивана Яковлевича Голубева, заменившего Манасеина в должности директора департамента в самый разгар гонений на меня. Дней через десять после процесса Засулич этот обер-прокурор гражданского департамента, прославленный кружком правоведов цивилист, в сущности не только духом, но и видом «хладный скопец» и узкий законник, встретивши меня у Летнего сада и, очевидно, поддаваясь настроению лучшей части общества, спросил меня, правда ли, что от меня требуют выхода в отставку, и на мой утвер-

дительный ответ, с несвойственным ему одушевлением и крепко пожимая мне руку, сказал: «Держитесь! Держитесь! Не уступайте! Отстойте начала несменяемости и докажите, что оно существует!» — «Постараюсь», — ответил я, чувствуя новое одобрительное пожатие руки. Когда вводилась судебная реформа в царстве Польском, от разных расходов в распоряжении министерства осталась сумма в 2000 рублей. Я просил Палена отдать ее на учреждение особого отдела библиотеки министерства, крайне обветшавшей и наполненной полусгнившими и негодными по содержанию книгами, и, по получении его согласия приобрел для нее, через посредство Пассовера, бывшего в сношениях с лейпцигскими книжными антикварями, несколько дорогих изданий по весьма сходной цене. Таковы были сочинения Faustin Hélie[220] и Dictionnaire de Jurisprudence universelle Dalloz'a,[221] составлявший большую редкость и находившийся в Петербурге лишь в библиотеке II Отделения. Вся новая библиотека была помещена в особый шкаф красного дерева, ключ от которого хранился в статистическом отделении. Я с любовью составил каталог этой библиотеки, которою, к сожалению, никто не пользовался, и испросил разрешение Палена продолжать ею пользоваться, как делом своих рук. Некоторые томы Dalloz'a, полученные мною на дом, были мне чрезвычайно полезны для справок по моим докладам в юридическом обществе о суде присяжных, о председательском заключительном слове и о закрытии дверей заседаний. И вот, когда столь сочувствовавший мне Голубев сделался директором департамента

й стал дышать атмосферой чиновничьей ненависти ко мне, он прислал редактора Решетникова требовать от меня возвращения книг. Узнав от Решетникова, что они никому не нужны, я поручил ему объяснить директору, что прошу его оставить их у меня еще на некоторое время, так как одна из моих работ еще не была окончена. Но на другой день Решетников написал мне, что г-н директор по докладе моей просьбы приказал повторить свое требование. Полагая, что тут какое-нибудь недоразумение, я написал Голубеву письмо, в котором, рассказав историю возникновения и составления библиотеки, просил его не ограничивать без надобности моего пользования ею для ученых трудов, выражая готовность по первому требованию возвращать каждую из взятых мною книг. Ответом на это явилось письмо на официальном бланке директора, в котором Голубев отказывал мне в моей просьбе, ссылаясь на то, что библиотека принадлежит к департаменту министерства юстиции и не может быть предоставлена в пользование лицам, для департамента посторонним. Так поступил со мною почтенный деятель, умышленно забывший, что несколько лет под ряд этот «*посторонний человек*» исправлял в том же департаменте одинаковые с ним обязанности.

Не было недостатка и в *дружеских* советах. В январе 1879 г. ко мне пришел Михаил Евграфович Ковалевский и начал издалека речь о том, в каком трудном положении находится Набоков, которому государь нет-нет, да и напомнит о деле Засулич. «Он думает, — сказал Ковалевский, — что положение это значительно облег-

чилось бы, если бы вы вышли в отставку». — «Набоков поручил вам это мне сказать?» — «Нет, но я думаю, что и в самом деле... вы отстояли свою самостоятельность и показали свою независимость, чего же вам больше ждать? А ваш выход в отставку поставил бы крест на все дело». — «Я слушаю вас с душевною болью, — сказал я. — Я испытал ряд оскорблений и неприятностей за истекший год, но, признаюсь вам, то, что вы мне говорите, горше всего, и я менее всего ожидал, что с таким советом и предложением обратится ко мне — одинокому, всеми покинутому судье — первый по своему положению судья в государстве, знающий притом, что я не могу признавать себя виновным и что я избран козлом отпущения. Нет! Вы можете передать министру, что я оставлю свой пост лишь тогда, когда сам найду это нужным». Мы расстались...

Через полтора года тот же Ковалевский, сделавшийся правою рукою графа Лорис-Меликова, ехал на знаменитую ревизию Казанской губернии и Оренбургского края, играя первую скрипку в среде сенаторов Шамшина, Мордвинова и Половцева, [222] которым тоже были поручены сенаторские ревизии. Все они набирали сотрудников, и Шамшин обратился ко мне с вопросом, не поехал ли бы я с ним? Я был измучен нравственно и физически, и новая живая работа в новой обстановке мне улыбалась чрезвычайно. Я не только выразил свое согласие, но даже просил Шамшина это устроить непременно. Вскоре, однако, сконфуженный Шамшин заявил мне, что моя командировка состояться не может, так как Ковалевский

находит, что меня в виду взгляда на меня правительства взять на ревизию нельзя, и что иначе он и сам мне предложил бы ехать. Затем, при случайной встрече со мной, он выразил мне сожаление, что не может предложить мне принять участие в общей работе по тому, будто бы, предлогу, что *несменяемому* судье неудобно быть в подчинении сенатору. Слово «несменяемый» в виду предшествовавшего звучало в его устах непроизвольной иронией. Через год еще, вернувшись с ревизии, он оставил у меня записку, которою убедительно просил навестить себя. Я нашел его среди груды бумаг в раздражительном унынии. «Вот, — сказал он мне, показывая на бумаги, — материалов набрали кучу, а никто кроме Красовского из них ничего сделать не умеет. Надо представлять отчет государю, а я не знаю, как быть. Ради бога, голубчик, возьмите на себя их разработку. Вы это сделаете, как никто, и я заранее согласен со всеми вашими выводами». И в голосе его звучала мольба встревоженной в своем обычном спокойствии лени, которою он отличался на ряду со своими выдающимися способностями. Но «голубчик» холодно встретил эту мольбу и сказал, что признает неудобным, чтобы несменяемый судья работал для ревизующего сенатора... Через три года еще мне пришлось притти проститься с этим когда-то горячо любимым человеком, легшим в гроб после кратковременных ужасных страданий, вызванных какою-то таинственною причиной. Мы грустно переглянулись с Кавелиным, когда увидели, какие люди в качестве новых друзей подходили с лицемерным смирением поклониться его праху.

Между ними, к сожалению, одним из первых прощаться подходил, с аффектированною скорбью на бледном, хищного типа, лице, генерал-лейтенант Селиверстов,[223] исправлявший должность шефа жандармов, — человек бездушный и шпион по призванию. В качестве богатого человека он задавал в «здании у Цепного моста» роскошные фестивалы, на которых не гнушался бывать и Ковалевский, очевидно, задаваясь ложною идеей о какой-то «правительственной солидарности». Меня познакомил с Селиверстовым в 1873 г. в Ост-Энде старик Стахович.[224] Тогда это был отставной пензенский губернатор, уволенный от должности за попустительство циркулярному предписанию исправников по волостям о поднесении ему при объезде губернии серебряных блюд с хлебом-солью. Я держался с ним холодно, но двукратный визит его вынудил меня исполнить неприятный в этом случае долг вежливости. Подойдя к дверям его номера в гостинице, я услышал трехъэтажные русские ругательства, произносимые захлебывающимся от злобы голосом, и на мой стук предстал сам Селиверстов с искаженным гневом лицом. Уловив мой вопросительный и удивленный взгляд, он сказал мне приблизительно следующее: «Вы застаете меня в ужасном негодовании. Представьте себе: у меня был по корпусу товарищ, однокашник. Наши дороги разошлись. Он служил в глубокой армии, а я дошел до губернатора. Болезнь страстно любимой им жены и необходимость ее лечить за границей заставила его запутаться в денежных делах и допустить разные погрешности по должности полкового казначея. Пришлось выйти

в отставку, а жена все-таки умерла. Он стал чрезвычайно бедствовать и обратился ко мне за помощью, но я, хотя и очень богат, но не любил помогать впустую. Поэтому, помня, что он был в молодости веселого нрава и хорошо рассказывал, я взял его в роде домашнего секретаря, и, действительно, он меня не раз развлекал и разгонял мое дурное расположение духа вследствие болезни печени. В нынешнем году я взял его с собой за границу. Он укладывал мои вещи и исполнял разные поручения, но в Кельне с ним произошла странная перемена: он сделался задумчив, рассеян, стал все перепутывать и, когда я начинал с ним шутливую беседу, стал отвечать мрачно и односложно. Мне это надоело, и я ему заметил, что не за тем взял его за границу. Что же вы думаете?! Он вдруг весь побагровел и говорит: «Здесь, в этих местах умерла моя жена, которая была мне дороже жизни и чести, а ты хочешь (мы ведь были на ты!), чтоб я был твоим шутом. Я тебе не лакей и не шут! Не хочу я с тобой дальше ехать! Ни за что не хочу!» И расплакался, как старая баба. Этакая дрянь! Это после всего-то, что я для него сделал. «Я на тебя истратил деньги, вез тебя сюда, — сказал я ему, — ну, а на обратный путь одному денег не дам». — «И не надо! — отвечает мерзавец, — пешком уйду, а не останусь!» И, представьте, ушел. Я, было, хотел обратиться даже за содействием к консулу: все же ведь между нами было соглашение, хоть и словесное, и он обманным образом ввел меня в расход, да не хотел срамить русского имени. Вот здесь пришлось жить одному. Теперь хочу уезжать в Париж, и надо

самому укладываться, потому что из-за этого скота я даже не взял камердинера. Это такая тоска — укладываться. Всю поясницу разломило! Вот я и бешусь и ругаюсь. Нет, какова скотина! А еще товарищ по корпусу!..»

Этот поучительный монолог заставил меня прекратить с ним знакомство навсегда, и известие о последовавшей насильственной смерти в 80-х годах в Париже этого «благодетельного товарища» оставило меня довольно равнодушным. По слухам, он добровольно принял на себя обязанности главы политического сыска по отношению к проживавшим в Париже русским эмигрантам, которые, однако, не дали ему возможности пожать лавры в этом своеобразном спорте.

Дело Засулич имело для меня чувствительный отголосок и в сфере, далекой от судебной. С 1876 г. я читал в Училище правоведения лекции теории и практики уголовного судопроизводства. Курс был разработан с любовью и вниманием и принимался моими слушателями, из которых некоторые теперь уже сенаторы, с видимым интересом. На экзамены являлся старик, принц П. Г. Ольденбургский, а иногда он заходил и на лекции. Дело Засулич не повлияло на его отношение ко мне, но в 1881 г. добрый старик скончался и его место заступил его сын Александр Петрович, в котором добрые намерения перекрещивались с бешеными порывами, и попытки принести пользу — с безжалостными проявлениями грубейшего насилия. Еще при жизни его отца мне рассказывали, что старик заочно ворчал на меня, ссылаясь на слова осуждения, вырвавшиеся против

меня у Бисмарка, и на какие-то наветы графа Палена по отношению к моей преподавательской деятельности, едва ли терпимой после дела Засулич. Но Бисмарка легко мог не понять доверчивый и недалекий принц, а в наветы Палена мне до боли не хотелось верить, и я считал намеки в этом отношении Победоносцева[225] результатом их взаимной личной ненависти. Но молодой принц повел дело иначе и пожелал проявить себя с высоко консервативной стороны. Когда, в октябре 1882 г., я уехал на ревизию новгородского суда, он явился в старший класс, где я преподавал, и по какому-то поводу сказал правоведам речь, в которой выразил надежду, что они будут истинными слугами престола и отечества и не будут следовать примеру председателя по делу Засулич. Вернувшись и узнав об этом, я написал инспектору классов профессору Дорну, что желаю с ним объясниться. Дорн пришел сконфуженный и запуганный, как всегда, и, признавая, что принц, действительно, сказал такую речь, объяснил мне, что принц не скрывает своего желания, чтобы я оставил Училище, так как он признает совершенно неудобным, чтобы такой красный, как я, преподавал молодежи. Все это было сказано со всевозможными оговорками, с просьбою не говорить никому о нашей беседе, потому что иначе принц выгонит его вон «und was soll ich dann machen?! — прибавил он, — Holz hauen?» Бедняк, никак не могший представить диссертацию на доктора и потому лишь исправлявший должность экстраординарного профессора права в университете, очень дорожил своим местом инспектора классов в Училище правоведения и

трепетал перед принцем, который имел жестокость терзать его пугливое воображение и довел его до сумасшествия, кончившегося самоповешением в психиатрической больнице в Риге. После беседы с Дорном я сообщил директору училища Алопеусу, что, имея достоверные сведения о выходке принца, я желаю знать, разделяет ли совет Училища, пригласивший меня преподавателем, взгляд принца? Алопеус засуетился, завздыхал и стал просить меня не обращать на это внимания. Но я настаивал на своем требовании разъяснения, и тогда Алопеус, приехав ко мне, заявил, что принц приглашает меня к себе для личных объяснений. «Надеюсь, что все объяснится и уладится». — «Передайте принцу, — сказал я ему, — что моя нога не переступит его порога и что никакие объяснения ни к чему не поведут. Я рассматриваю его слова как совершенно неприличный способ отделаться от меня, и если он желает, действительно, чтобы я остался в Училище, то он должен приехать на мою лекцию и выразить мне при всех сожаление о своих словах и о том, что они меня могли оскорбить. Передайте ему также, что об обязанностях судьи призван преподавать я, а не он, и что двух противоречивых преподавателей по одному предмету быть не может. Если вам не угодно будет это передать, то я напишу это принцу сам». — «Нет, нет, ради бога, — залепетал Алопеус. — Я завтра же доложу его высочеству». И, действительно, на следующий день он заехал ко мне сказать, что принц готов мне дать самые удовлетворительные объяснения и успокоить меня, но от слов своих отказаться не может. Я этого, впро-

чем, и ожидал, и для меня было ясно, что, во всяком случае, дальше оставаться в Училище невозможно, так как я не мог допустить, чтобы какой-нибудь августейший гольштинский капрал заставлял меня руководиться в моей судейской деятельности соображениями об охранении моего спокойствия и достоинства как педагога. Я вручил Алопеусу лаконическое письмо о том, что не считаю возможным продолжать чтение лекций, и, по его усиленной просьбе, указал на свое место Случевского, которому пришлось не мало пережить тяжелого от принца Ольденбургского. Мои объяснения с Алопеусом и причина моего ухода огласились и произвели своеобразное действие на некоторых из почтенных членов совета Училища. Профессор Мартес,[226] которому мне пришлось отдавать в это время визит, не только не нашел возможным выразить мне какое-либо сочувствие, но в разговоре со мною всячески егозил, чтобы как-нибудь обойти возможность упоминания о моем уходе из Училища, чтобы не быть вынужденным выразить свое мнение. Еще лучше поступил Таганцев, который после дела Засулич, на выпускном обеде правоведов, предложил им тост за меня, как за «доблестного представителя принципа», и потребовал, чтобы я выпил с ним *брудершафт*, дав мне при этом авансом иудино лобзание, а также прислав мне свой учебник с надписью «многострадальному А. Ф. Кони». Он прямо стал избегать меня и при встречах лицом к лицу спешил словесно уйти в сторону, чтобы только не коснуться вопроса о моем уходе. Да и остальные мои товарищи оказались не лучше! Я ни от кого из них не видел ни

малейшего знака сочувствия. Они как будто не понимали, что грубое психическое насилие, совершенное по отношению ко мне, грозило и им. Волна холопской приниженности и восторгов, начавшая разливаться по смерти Александра II, успела их захлеснуть. Впоследствии, в сенате, Таганцев начал говорить о принце с восторгом, называя его заочно не иначе, как «его высочество». В это время впрочем, он был уже в полном разгаре эволюции в сторону беззастенчивого отречения от всего, чему он служил и что проповедывал до 1881 г. Один несчастливец Дорн сохранил в душе ощущение стыда и, когда я был впоследствии назначен обер-прокурором, прибежал меня поздравить, с радостью пожимая мне руки и нервно повторяя в качестве «романиста»: «per aspera ad astra, per aspera ad astra!»

Такими эпизодами было богато почти все время моего пребывания председателем суда, причем, конечно, мне не раз приходилось чувствовать на себе трудность своего положения среди множества сослуживцев и подчиненных, сознававших, что я не могу им быть полезен в служебном отношении и что поэтому со мною можно иногда и не особенно стесняться. Правда, что в каждом из таких случаев последним приходилось убедиться, что звание председателя столичного суда имеет силу само по себе, даже и при опале свыше. Тем не менее теперь, через четверть века, я вспоминаю о времени, проведенном мною в суде, с теплым чувством. Общий нравственный строй суда был прекрасный.

Нередко утомленный разными крупными и мелкими неприятностями вне суда, я с любовью

входил в свой официальный кабинет и смотрел на длинный зеленый стол общих собраний, чувствуя, что тут, в этой коллегии, живет и бескорыстный труд, и самостоятельное исполнение своего долга, и возвышенное понимание звания судьи. За небольшими исключениями, состав суда еще оставался верен традициям первых лет судебной реформы, а общение с такими людьми, как, например, граф Гейден, укрепляло и ободряло нравственно. Работать приходилось очень много, административная и финансовая ответственность была сложная и тяжкая, но сознание, что я — кормчий судебного корабля, с достоинством несущего свой флаг, с экипажем, верным заветам судебных уставов, облегчало всю эту трудность. Живое дело кипело вокруг, и я сам служил ему всеми силами души, председательствуя по всем важнейшим уголовным делам и стараясь выработать правильную систему руководящих напутствий присяжным. Дела Гулак-Артемовской,[227] Жюжан, Восточного займа, Юханцева[228] и других проходят предо мною вереницею дней, полных напряженного труда и святого сознания долга, оставляя в душе благодарное воспоминание.

Последнее из дел связано было с поворотом в отношениях ко мне нового министра Набокова. Назначенный на место Палена и попавший в атмосферу, полную мстительной неприязни ко мне, он первое время, повидимому, смотрел на меня, как на рокового человека, в руках которого находятся концы электрической проволоки, которые стоит сомкнуть у Литейного моста, чтобы министр юстиции в генерал-прокурорском доме взлетел на воздух. При

первом же служебном объяснении со мною у себя в кабинете он заговорил о деле Засулич, высказав, что, когда прочел мое резюме, то сказал себе: «Ну, председатель суда разжевал и положил в рот присяжным оправдание Засулич». — «Вы не читали моего резюме», — сказал я ему холодно. «Нет-с, читал!» — «А я утверждаю, что не читали, — сказал я, — ибо говорить то, что вы говорите, может только человек, который вместо чтения слушает односторонние отзывы. Никто, не исключая и графа Палена, не решался до сих пор обвинить меня в том, что я изменил роли судьи для роли адвоката». — «Да, — прервал меня Набоков, — но граф Пален думает, что вы могли это сделать ради искания популярности». — «Граф Пален никогда не решился бы сказать это мне, так как он знал, что я могу не позволить делать такие на свой счет предположения или повторять их с чьих-либо слов!» Набоков, очевидно, совершенно не ожидал подобного ответа, пробормотал какое-то бессвязное извинение, и мы расстались. Все остальные, неизбежные наши встречи отличались большою взаимною холодностью и формальным тоном с обеих сторон.

Мне пришлось вести дело *Юхонцева* о растрате двух с половиною миллионов в Обществе взаимного поземельного кредита в крайне тяжелой обстановке. Мой отец медленно и мучительно умирал от гнойного плеврита, редко приходя в себя и почти постоянно бредя. Смерти можно было ожидать со дня на день, но отсрочить слушанье дела было невозможно, потому что оно совпало с созывом экстренного собрания заемщиков, которому должны были быть

доложены все открывшиеся на суде беспорядки в ведении дел общества, для уяснения себе которых в суд была откомандирована от общего собрания особая комиссия. О передаче этого сложного дела кому-нибудь из товарищей председателя, по разным причинам, не могло быть и речи. Дело длилось несколько дней. В перерывы заседания и на ночь я приезжал к умирающему отцу и обдумывал свое заключительное слово под его постоянный бред и мирное похрапывание сестры милосердия. Это слово должно было иметь большое и, быть может, решающее значение в деле, так как подсудимый и защита очень искусно извратили уголовную перспективу дела, разрабатывая тезис «не клади плохо, вора в грех не вводи», причем самый вор оказывался таковым лишь потому, что давал пиры второстепенным великим князьям и получал от страстно любимой жены отказы в желаемом физическом удовлетворении. Ко времени произнесения заключительного слова в суд приехал Набоков. По дороге в зал заседания я был остановлен судебным приставом, который подал мне записку, экстренно присланную из квартиры отца. В ней стояло: «Федор Алексеевич кончается. Сестра милосердия Скорлыгина». Для меня не могло быть колебаний. Дело, шедшее несколько дней, потребовавшее напряжения сил присяжных, суда и всех участников, подходило к концу. Отсрочка заключительного слова была нравственно невозможна. Но я остановился на минуту, чтобы овладеть собою, и, вероятно, изменился в лице, потому что Набоков с вежливой тревогой спросил меня, что со мною. Я молча подал ему записку и

открыл заседание. Когда я кончил двухчасовое заключение, поставив в нем все на свое место, и отпустил присяжных совещаться, Набоков был неузнаваем. Он крепко сжал мою руку и сказал мне, что, слышав в свое время резюме лучших председателей за границей, он не предполагал, что можно дойти до такого совершенства, которое, по его мнению, я проявил, несмотря на тяжкие мысли, которые должны были меня осаждать, и что он считает своим долгом высказать мне свою радость, что имел случай лично меня узнать. И, действительно, с этих пор понемногу лед между нами растаял, хотя и были случаи довольно неприятных разговоров.

Вспоминаю один, довольно характерный. В Харькове жило семейство моих старых друзей Хариных. Второй сын А. Г. Хариной — Николай, студент второго курса, взял по просьбе товарища, которому угрожал обыск, на сохранение запрещенные брошюры и прокламации. Но обыск был произведен и у него; он был заключен в тюрьму, и о нем начато дело в порядке политических дознаний. И хотя по личным его свойствам, его участие в антиправительственном движении было совершенно поверхностное и напускное, он провел в тюрьме полгода и, по заключению графа Лорис-Меликова, был выслан в Вятку под надзор полиции. Я знал, как была убита всем этим его мать и до чего она боялась за нравственную судьбу своего юного никогда не жившего одиноко сына в провинциальной глуши. Зная, что в харьковском обществе произошел обычный у нас отлив симпатий к ней, я утешал ее, как мог, и написал о ее сыне председателю вятского суда Ренненкампфу

и товарищу председателя Лескову, прося их принять участие в Николае Харине, не дать ему впасть в отчаяние или погрязнуть в тоске одиночества среди провинциальной тины. Оба они исполнили мою просьбу и с широким гостеприимством и теплым вниманием ввели молодого человека в свои семьи. В это время я получил приглашение от Набокова, который встретил меня с озабоченным и суровым видом, который вовсе не шел к его добрым глазам на довольно комическом лице. «Я должен иметь с вами, — сказал он мне, — неприятное объяснение. Вы знаете Николая Харина? Что вы писали о нем чинам судебного ведомства в Вятке?» Поняв, в чем дело, я сказал: «Да ведь вы вероятно читали эти письма или вам подробно передано их содержание теми, кто полюбопытствовал с ними познакомиться?» — «Ну, да! — сказал он, — я содержание писем знаю! Но скажите, разве это возможно?! Председатель петербургского окружного суда является заступником за важного политического преступника и противодействует видам правительства?! Еще будь он сослан по распоряжению графа Тотлебена[229] (в Одессе), который делает чорт знает что, я бы это понял. Но ведь это — граф Лорис-Меликов!?!» (А граф Лорис-Меликов был уже в это время диктатором в Петербурге). — «Мне кажется, что моя переписка, раз она не содержит в себе признаков какого-либо с моей стороны преступления, не имеет отношения к моей службе», — сказал я. «Нет-с, имеет! — перебил меня многозначительно Набоков, — ибо государь император изволил выразить по этому случаю крайнее против вас неудовольствие». —

«Николай Харин принадлежит к семейству моих старых друзей и, конечно, не важный преступник, ибо граф Лорис-Меликов, имевший право и возможность его повесить, ограничился высылкой его в губернский город, и я сомневаюсь, чтобы в виды правительства входило поставление увлекшихся молодых людей в такое положение, в котором они могут спиться с кругу от тоски и отчаяния. А если бы это входило в их виды, то, не скрою от вас, я бы всегда и всюду старался противодействовать такому результату. Дружеские отношения налагают известные обязанности, и, прося Ренненкампфа и Лескова не дать погибнуть молодому человеку, я исполнял их, как буду и впредь делать в подобных случаях. Я глубоко чту и сердечно люблю государя за все, что он сделал для России, и за многие сладкие минуты, пережитые моим поколением, и мне крайне тяжело думать, что я дал повод к его неудовольствию, но справедливым это неудовольствие признать не могу. Скажу больше, — прибавил я, смеясь, — вот государь недоволен мною за мои письма, а я так недоволен им за то, что он читает чужие письма». Набоков не мог удержать улыбки, напускная серьезность сошла с его лица, и, сказав мне: «а все-таки надо быть осторожнее» — он перешел к разговору о делах суда.

Харин пробыл в Вятке год, затем перешел с разрешения Лорис-Меликова в Дерптский университет, где и окончил курс и был оставлен при университете по кафедре минералогии. Но его увлекли личные хозяйственные дела, и вскоре, несмотря на все усилия, самый проницательный наблюдатель не открыл бы в нем никаких сле-

дов опасного для государства человека, а, пожалуй, усмотрел бы, быть может, и нечто обратное. Интересно то, что через несколько лет Набоков, вспомнив о нем и узнав от меня о его дальнейшей карьере, сказал мне с трогательною наивностью: «Ну, вот видите, как хорошо мы с вами сделали, что его тогда поберегли».

Натянутым нервам, как и натянутой струне, есть предел, и через четыре года после моего назначения председателем окружного суда я принял предложение Набокова занять место председателя гражданского департамента петербургской судебной палаты. Я нуждался в душевном отдыхе и перемене рода занятий. Роль гражданского судьи подействовала на меня успокоительно. Я снова узрел альпийские вершины римского права, вспомнил лекции незабвенного Никиты Крылова[230] и горячо принялся за работу, отдавая ей в первое время по четырнадцати часов в день. Через полгода я вполне почувствовал себя «в седле» и со спокойною уверенностью стал приступать к решению таких больших и сложных дел, как дело «Главного общества железных дорог» со своими учредителями о процентном вознаграждении из чистого дохода, дело «Общества петербургских водопроводов с Думою» и т. п.

Но годы шли... Однообразие практики начинало меня утомлять; добрые старики, с которыми я сидел, добросовестно застывшие в рутине и болезненно самолюбивые, действовали на меня нередко удручающим образом, а в груди оживало и билось в стенки своего гроба заживо похороненное живое слово. Потянулись серые дни однообразной деятельности, грозящей при-

нять ремесленный характер. При таком моем настроении в конце 1884 г. ко мне зашел мой сотоварищ по университету и старый сослуживец по Москве, блиставший остроумием и разнородными знаниями, присяжный поверенный А. Я. Пассовер и стал меня уговаривать выйти в адвокатуру, указывая на то, что министерство, отняв у меня живое слово и поставив меня в «стойло», обрекло мои способности на преждевременное увядание. Указывая на то, что я достаточно своим примером и личностью послужил принципу несменяемости, он утверждал, что дальнейшее пребывание на службе, где меня не ценят и стараются всеми мерами затереть, является дон-кихотством и сознательным лишением судебного дела моих живых и действительных услуг по разработке процессуальных и правовых вопросов. Не желая возражать по существу против деятельности адвоката в том виде, как она выработалась у нас, я, чтобы отделаться от Пассовера, сказал ему, что выход в адвокатуру без какого-либо готового большого дела представляется рискованным, и уперся на том, несмотря на его возражения. Через неделю Пассовер явился снова, как демон-искуситель, и предложил мне прямо защиту вместе с ним купца Вальяно, обвинявшегося в подкупе чиновников для подлога отвесного листка таганрогской таможни, к которому казною был предъявлен иск в полтора миллиона рублей золотом, объясняя при этом, что дело совершенно чистое и строго юридическое, так как Государственный совет уже решил, что лиходатели не могут считаться участниками подлога, совершаемого лихоимцами, а сами по себе

за лиходательство не отвечают. При этом на мое заявление о том, что должность несменяемого судьи дает мне, хотя и скромное, но верное ежегодное обеспечение в пять тысяч, он сказал мне, что то же предложит мне и Вальяно. «Но ведь это единовременно, а тут я обеспечен ежегодно», — сказал я, продолжая избегать указывать адвокату на несимпатичные мне стороны адвокатуры как служения частному интересу. Пассовер сделал удивленные глаза, потом засмеялся и сказал мне с расстановкой: «В день подписания условия о принятии на себя защиты я уполномочен вручить вам чек на *сто тысяч*. Это и есть ваши пять тысяч ежегодно!» — «Оставим этот разговор», — сказал я, мысленно обращаясь к нему со словами: «Отойди от меня, сатана». Но он ответил, что не принимает моего отказа и зайдет через неделю снова. Эта неделя прошла у меня не без внутренней борьбы. Мысль снова получить в свое распоряжение тоскующее и вопиющее по простору слово, получить обеспеченное положение и «наплевать» на правительство, так недобросовестно и упорно меня угнетавшее, заставив его, быть может, не раз пожалеть об утрате когда-то служивших ему дарований, — была очень соблазнительна, но старая привычка служить государству и любовь к судебному ведомству взяли верх, и соблазны вскоре улетучились. Я сказал себе словами поэта: «Блажен, кто свой челнок привяжет к корме большого корабля». «Большой корабль» был суд, которому я отдал свои лучшие силы и годы, и мне было поздно отвязывать свой челнок. Когда Пассовер пришел вновь и стал настаивать на истинных причинах моего отказа, я

вынужден был объяснить, что для защиты по несложному делу, где нет необходимости разбирать и опровергать улики, вполне достаточно одного защитника, и мой «дар слова» не может даже найти себе применения. «Я понимаю, что для Вальяно, имеющего огромные торговые связи в Англии, важно получить возможность сказать, что обвинение против него было настолько неосновательно и даже возмутительно, что председатель столичного апелляционного суда решился сложить с себя это высокое звание, чтобы пойти его защищать. Таким образом, нужны не мои умение и знание, а мое имя. Но им я не торгую!..» И мы расстались. А через год мне, уже в должности обер-прокурора, пришлось давать кассационное заключение по этому же самому делу и настаивать на утверждении обвинительного приговора о том же самом Вальяно.

Дело Засулич, конечно, было большим козырем в руках официальных и литературных реакционеров, и его стали пристегивать почти к каждому политическому убийству или покушению на него. Как только совершалось подобное печальное событие, Катков и его подражатели начинали говорить о приговоре по делу Засулич, как о пагубном примере, подстрекающем политических убийц и внушающем им идею об их безнаказанности. При этом, конечно, перед читателями и слушателями умалчивалось о том, что при суде коронном, который был призван ведать дела против порядка управления, никакой мысли о безнаказанности быть не могло и что сравнивать покушение на жизнь грубого истязателя, при отправлении должности,

с посягательством на жизнь главы государства по меньшей мере натянуто. Процесс Засулич содержал в себе одно драгоценное для политика указание, указание на глубокое общественное недовольство правительством и равнодушие к его судьбам. Но именно на эту-то сторону — то близоруко, то умышленно — не обращалось никакого внимания. Нечего и говорить, что мое имя при этом повторялось постоянно со всевозможными комбинациями «Carthaginem esse del endam!» Особенною недобросовестностью в этом отношении отличался Катков, доходивший до того, что обвинял меня, между прочим, в предупредительной любезности к преступникам за то, что я в силу закона и основного принципа уголовного процесса о молчании подсудимого объяснял последнему, что он имеет право не отвечать на предлагаемые ему вопросы о виновности и что это не может быть поставлено ему в вину... «Как будто господину Кони неизвестно, — восклицал с пафосом Катков, — что никто из русских подданных не имеет права отговариваться незнанием закона и что поэтому напоминание подсудимому о таком его праве есть неуместная либеральная выходка».

До какой недобросовестности доходило отношение ко мне, доказывается эпизодом, связанным с делом Лансберга.[231] Пред заседанием по делу этого изящного гвардейского сапера, танцовавшего на светских балах с разными принцессами, принятого в лучших домах Петербурга и зарезавшего ростовщика Власова и его кухарку для похищения своих векселей, защитник его Войцеховский умолял суд вызвать туркестанского генерал-губернатора К. П. Кауфмана[232]

в качестве свидетеля о личности подсудимого. Я обусловил удовлетворение его ходатайства по 576 статье Уст. угол. суд. согласием Кауфмана явиться лично в суд, а не требовать нелепой церемонии допроса себя на дому. Кауфман выразил согласие и лишь просил точно определить час, когда ему надлежит явиться в суд, так как в этот день он должен был обедать у государя в Царском Селе. В день заседания с утра все помещение суда и даже двор были до такой степени заполнены любопытной публикой, запрудившей все проходы, что пришлось потребовать усиленный наряд полиции для того, чтобы восстановить свободное движение в проходах. Места за судьями тоже были переполнены. Почти в самый момент выхода суда ко мне в кабинет ворвался, несмотря на протесты курьера и сторожей, пожилой полковник и стал требовать пропуска его в места за судьями в качестве друга генерала Кауфмана. Указав ему на отсутствие свободных мест, я обратил его внимание на то, что ведь по чину своему, согласно наказу суда, он не имеет права претендовать на места, назначенные для высших сановников. Но он продолжал запальчиво настаивать, мешая мне итти в заседание. Чтобы отделаться от него и не утрачивать необходимого спокойствия, я поручил судебному приставу провести его в места стенографов и там устроить.

«Очень хорошо-с! — сказал он мне, иронически раскланиваясь, — благодарю вас, я не забуду вашей любезности...» — и злобная усмешка кривила его бледное лицо. Это был знаменитый полковник Богданович,[233] староста Исаакиевского собора и издатель елейно-холопских брошюр,

которыми впоследствии, вымогая себе субсидии от правительства, он усердно и широко отравлял самосознание русского народа.

Кауфман был встречен в назначенное им время товарищем председателя Цухановым и проведен в мой кабинет. Получив известие о его прибытии и оберегая суд от всякого, хотя бы и неосновательного, повода к нареканиям на него, я сделал перерыв в показании допрашиваемого свидетеля и пригласил Кауфмана в залу заседаний. Он держал себя скромно и с достоинством, почтительно отвечая на вопросы суда, и, очевидно, не *хотел*, *хотя* и мог бы, говорить дурно о подсудимом. Между нами произошел обязательный для председателя диалог, причем я, предлагая неизбежные вопросы, всячески старался не оскорбить самолюбия старого и заслуженного воина, привыкшего на дальней восточной окраине к особенному почету. — «Вы — туркестанский генерал-губернатор, генерал-адъютант Константин Петрович фон-Кауфман?» — «Да». — «Какого вы вероисповедания? Если лютеранского, то я должен привести вас к присяге сам, за отсутствием пастора». — «Я — православный». — «Высокое положение, вами занимаемое, избавляет меня от необходимости предупреждать вас о святости присяги. Знаете ли вы подсудимого и что можете показать по настоящему делу?» По окончании допроса я предложил Кауфману сесть в места за судьями, но он отказался, ссылаясь на необходимость ехать по делам. На другой день я нашел у себя его карточку и, застав его на следующий день дома, выслушал от него выражение признательности за любезное к нему отношение и за то внимание, каким он был

окружен в суде. При этом он просил меня высказать ему свое мнение по разным вопросам, связанным с введением нового суда в Туркестанском крае. Уехав вслед затем за границу, я получил уже в Шварцвальде номер «Московских ведомостей»,[234] где была громовая статья Каткова о том, как г-н Кони дерзким обращением с заслуженным слугою престола и отечества доказывает, что у него две чаши весов и что достаточно быть генерал-адъютантом русского императора, чтобы не испытать на себе той утонченной вежливости, на которую так расточителен председатель окружного суда по отношению к преступникам по политическим мотивам. При этом была сделана ссылка на корреспонденцию из Петербурга, помещенную в том же номере, а в ней неизвестный корреспондент, пылая негодованием, передавал допрос Кауфмана в следующем виде: «Свидетель Кауфман, кто вы такой?» — «Генерал-адъютант, туркестанский генерал-губернатор». Председатель, откинувшись на спинку кресел: «А... а... какого вы вероисповедания (язвительно), конечно, лютеранского? Были ли вы под судом и следствием?» — «Нет». — «Помните, что вы примете присягу и, если вздумаете говорить неправду, то можете подвергнуться лишению прав и ссылке в Сибирь! Ну-с, что скажете?»[235] Оказалось, что автором корреспонденции, написанной в духе и во вкусе Каткова, был г-н Богданович. Так отплатил он мне за свое удобное место среди стенографов.

Излишне говорить, как действовала вся эта многолетняя травля на мое душевное спокойствие при необходимости притом постоянно соблюдать внешнее равновесие и невозмутимость

духа при бесконечных и самых разнообразных сношениях со множеством людей, на которые обречен председатель столичного окружного суда. Каждое политическое преступление вновь растравляло мои внутренние раны и влекло за собой новое оживление намеков, инсинуаций и клевет, новое торжество невежественного злорадства и новое проявление трусости со стороны тех, кто знал, однако, в чем правда по делу Засулич.

Тем не менее, я видел постепенное нарастание справедливости в оценке моей деятельности со стороны Набокова. В половине февраля 1881 г. он пригласил меня к себе и заявил, что рад предложить мне участие в качестве члена комиссии по составлению нового уголовного уложения. Я принял с благодарностью это предложение, как открывавшее мне поле чрезвычайно интересной и важной законодательной работы, в которую я мог внести в виду моей долгой практики свою несомненную долю пользы. Он объявил с видимым удовольствием старику Арцимовичу, что мое участие в комиссии — вопрос решенный.

Но настало зловещее 1 марта 1881 г.,[236] и в опубликованном через две недели высочайшем указе о членах комиссии моего имени не было. Я оказался замененным бесцветным чиновником Розиным и как утешение получил приглашение состоять в комиссии... по разбору старых сенатских дел. Но... все к лучшему в лучшем из миров, как говорит мудрый руководитель Кандида, и в настоящее время я доволен, что мне не пришлось быть участником скудной по содержанию работы, которая заменила ясный и образный язык старого уложения пустотелым

канцелярским кирпичом, построив из него здание, не могущее удовлетворить ни правовому народному чувству, ни тем идеалам, к которым должен стремиться законодатель как нравственный учитель народа. Две главных области русского уголовного закона, возмущающие чувства справедливости и веротерпимости, остались неприкосновенными. Свобода совести русского человека попрежнему опутана кандалами, и попрежнему смертная казнь раскинула свое окровавленное крыло над всеми, даже и некровавыми, попытками негодующей души добиться лучшей участи для своей несчастной родины... И все это изложено непонятным для народа, вялым и вязким языком, как будто взятым напрокат у бездарного переводчика с немецкого. И все это сопровождается лицемерными объяснениями в роде тех, в которых господа Фриш, Таганцев и Фойницкий, [237] объяснив на десяти страницах безнравственность, нецелесообразность и непоправимость смертной казни за политические преступления, внезапно заключают о необходимости оставить ее в нашем кодексе, предоставив мудрости Государственного совета разделить их взгляды и исключить ее из уложения, вместо того чтобы прямодушно отказаться от ее омерзительного влияния и предоставить сомнительной мудрости и холопскому бесстыдству Государственного совета ее ввести. Правда, что при таком «поступке» с их стороны им, вероятно, не пришлось бы получить по рассмотрении проекта в Государственном совете свои «сребренники» в размере пятидесяти тысяч Фришу, тридцати тысяч Таганцеву и пятнадцати тысяч каждому из остальных членов. И в этом отношении дело

Засулич по неисповедимой благости господней оказало мне добрую услугу. И вообще, заключая через 26 лет мои воспоминания об этом деле и его последствиях лично для меня, я без малейшего чувства горечи и с благодарностью судьбе оглядываю прошлое...

Не будь этого дела, я, вероятно, уже давно занял бы выдающийся министерский пост. Все складывалось в этом смысле и направлении, и граф Пален совершенно серьезно предсказывал мне, что я буду сидеть в его кабинете как один из ближайших его преемников. Но должность министра, быть может, заставила бы меня подчинять голос сердца коварному и лживому голосу так называемого raison d'État и, сознавая в глубине совести справедливое недовольство общества, выросшего из пеленок своекорыстного самовластия, на практике принимать участие в обсуждении и применении мер, направленных к подавлению законных потребностей этого общества. Это не могло бы, конечно, продолжаться долго, и возмущенная совесть заставила бы меня «сломать себе шею» не менее прочно, чем по делу Засулич, унеся в душе неизгладимые раны, воспоминания о которых заставляли бы краснеть...

Я не был способен на то «отречение Петра», которому предались после 1881 г. многие люди, казавшиеся порядочными, с цинизмом растоптавшие ногами ради звезд, чинов и власти все то, чему они еще так недавно проповедывали «поклонение, как святыне».

Я не умел бы стать способным «чиновником» и, вероятно, в то же время был бы вынужден исказить в себе черты общественного деятеля

на правовом поприще. Гонения по делу Засулич дали мне возможность познать немногих истинных друзей и среди пустыни человеческой низости и предательства испытать минуты сладкого отдыха в редких, но дорогих оазисах сочувствия и понимания.

Я не дал овладеть собою унынию и не утратил веры в лучшие свойства человеческой природы. То, что совершилось после 1881 г., указывает, что и польза, которую, быть может, я мог бы принести на широком государственном поприще, была бы хрупкою и непродолжительною. Там, где дело целого царствования, возродившего Россию, можно было бы обратить при сочувствии и содействии большинства вспять, там полезная деятельность одного человека, не согласованная с общими и властными вожделениями, легко могла бы быть вырвана с корнем.

Судьба послала мне остаться верным слугою тех начал, на службу которым я вступил с университетской скамьи, а дружеское уважение таких людей, как Кавелин и Градовский,[238] Арцимович и Чичерин,[239] граф Милютин и граф Л. Н. Толстой,[240] с избытком искупило мне растлевающее расположение «августейших особ» и «предательский привет» *палаты и воинства их.*

Лишив меня влиятельного и выдающегося служебного положения, судьба сохранила во мне человека и дала возможность в виду недалекой могилы спокойно и не краснея оглядываться на свое прошлое...

Да будет благословенно имя господне!

15 августа 1904 г.
Сестрорецкий курорт

ПРИЛОЖЕНИЯ

11 марта 78

Прокурору Судебной Палаты

Председателю Окружного Суда.

Честь имею просить Ваше Превосходительство выдать мне для передачи моим родственникам, то число билетов, на случай моего вызова в Суд, на которое я имею право.

Дворянка Вера Засулич.

ЗАЯВЛЕНИЕ В. ЗАСУЛИЧ
председателю окружного суда
Из архива А. Ф. Кони

Представляя при сем составленный по приказанию вашего сиятельства проект отношения к шефу жандармов по делу о московско-киевской преступной пропаганде, считаю, вместе с тем, долгом своим вновь представить вашему сиятельству, что распространение проектированной в отношении сего дела меры на политические дознания, *ныне уже приведенные к окончанию*, представляется во многих отношениях неудобным.

Нет сомнения, что продолжительность производства по подобным делам следствий отзывается весьма вредно и на перипетии дела и на личности привлеченных. Поэтому нельзя не желать принятия мер, которые бы ускорили это производство. Это скорей всего может быть достигнуто уничтожением одного из фазисов предварительного производства сих дел — дознания или следствия и сосредоточением в одном из них всех условий предварительного производства.

Самый лучший путь был бы — возвращение к чистому следствию, указанному в ст. 1030—1061 Уст. угол. суд. Но это, повидимому, невозможно по многим соображениям, хотя и временного и местного, но, тем не менее, могущественного характера. Поэтому остается сохранить *дознание*. Но это, в действительности, должно быть *следствие* только под именем *дознания* и притом производимое чинами жандармского корпуса под наблюдением

прокурорского надзора. Оно должно представлять: для правосудия — все гарантии действительного следствия, для обвиняемых — все законные средства защиты, для прокуратуры — все способы восстановления правильного состава преступления.

Современное политическое дознание весьма далеко от удовлетворения этим требованиям. При нем, в большинстве, если не во всех случаях, люди привлекаются к следствию не как *обвиняемые*, а как *свидетели*, — вследствие чего им не предъявляется сущности обвинения, не дозволяется присутствовать при допросе других свидетелей, не дается на окончательный просмотр «дознательное» производство и т. п.; вследствие этого они лишаются права и даже возможности жаловаться на действия исследователей, а самая мера пресечения принимает (в большинстве, напр., дел по Петербургу) название *«приглашения впредь до разъяснения дела»*. Сложные и большие из подобных дознаний составляются из ряда мелких, местных дознаний, которые группируются около главного дознания, как около ядра. Они производятся на местах, в губерниях, — полуграмотными и невежественными адъютантами губернских жандармских начальников, под наблюдением и руководством товарищей прокурора, которых жизнь еще не научила быть умеренными в пользовании своей властью и спокойными в приемах и проявлении своего усердия. Последнее дознание, произведенное генерал-лейтенантом Слезкиным и действительным статским советником Жихаревым, весьма наглядно подтверждает существование этих недостатков в производстве дознаний. Было привлечено 983 человека — будут преданы суду около 150, да около 50 подвергнуты административному взысканию. Остальные 783, — из коих около 100 вменено в наказание содержание под стражею, — оставлены, в силу настойчивого требования справедливости и необходи-

мости, — без преследования, составив весьма восприимчивую и обширную почву для всякого рода неудовольствий и нареканий. Возможно ли было бы пустить такое дознание на суд без проверки его следствием, даже в интересах (как и оказалось) постановки более усиленных обвинений? Можно ли ждать, при таком необработанном, сыром материале, правильного и правосудного решения со стороны суда, коего обязанности не *заподозривать* и *исследовать*, а *разбирать* исследованное и *приговаривать*?

Где же, в чем же гарантии, что и другие сложные дознания, произведенные доселе, не страдают теми же недостатками, не обладают теми же свойствами?

Поэтому, прежде чем придавать такой экстренный и непредуготовленный исход сим дознаниям, необходимо, в крайнем случае, изменение законов 19 мая и 7 июня в том смысле, что статья 29 первого из них, предоставляющая министру юстиции, по соглашению с шефом жандармов, решать о судебном или административном направлении дела, должна быть дополнена: 1) указанием на то, что министру юстиции, как генерал-прокурору, применительно к роли прокурора по 545 ст. Уст. угол. суд., при направлении *судебном*, принадлежит право определять в каждом данном случае, необходимо ли следствие или можно ограничиться направлением дознания прямо, по его полноте и всесторонности, к составлению обвинительного акта, и 2) подробным указанием на то, что по формам и приемам дознание это должно быть точным осколком с предварительного следствия и представлять собою соблюдение всех его гарантий. Только к произведенным таким образом дознаниям можно будет, по моему мнению, относиться с доверием, а не ожидать от них на суде неожиданных и прискорбных разоблачений.

Обращаясь в частности, к условиям, в которые будет поставлено предполагаемое ныне производство по оконченным дознаниям на основании 545 ст. без следствия, надо заметить:

1) Что по силе той же 545 ст. Уст. угол. суд. суд. всегда имеет право, — во избежание ошибки и для разъяснения дела, — не принять акта прокурора и *потребовать производства следствия*. Где ручательство, что сенат, в виду своей нравственной и судейской ответственности за справедливость приговоров, не потребует, по сложным делам, такого следствия?

2) Что 545 ст., разрешающая обходиться без следствия, всегда и безусловно предусматривает *разрешение дела в двух инстанциях*. Где же вторая инстанция по государственным преступлениям? Да и возможна ли она?

3) 545 ст. необходимо предполагает новое, изустное исследование на суде и проверку акта прокурора. Поэтому никакие предварительные, имевшиеся в виду у прокурора, данные на суде оглашаемы быть не могут. Следовательно не могут читаться и акты дознания, а в особенности показания свидетелей (687 ст. Уст. угол. суд., решение уголовного кассационного департамента сената 1868 г., № 954, по делу Хотева). Притом свидетелей по политическим делам бывает всегда очень мало (по нечаевскому делу на 60 обвиняемых было 19 свидетелей, из которых 11 — по общему преступлению, убийству), а все обвинение, в виду характеристических свойств пропаганды, строится обыкновенно на показаниях обвиняемых. Но на них, черпая их из дознания, ссылаться на суде воспрещено законом. Если даже и обратить часть маловажных обвиняемых в свидетелей, то и они будут иметь полную возможность говорить совершенно противоположное тому, что они говорили на дознании, так как прочесть их первое показание и уличить их (627 ст. Уст. угол.

суд.) нельзя, потому что это не акты следствия. Наконец, подсудимые имеют право молчать на суде. В каком же положении окажется суд, в котором обвиняемые упорно молчат, свидетели говорят бесцветные и лишенные значения вещи, — и который *не имеет права* основываться на актах и протоколах дознания? Не станет же он строить свое решение на одном акте прокурора, — суд не механизм для применения наказания, а сознательный организм, которому необходим живой и наглядный материал.

4) При дознании не существует обряда предъявления обвиняемому следственного производства, с предложением *дополнить по его указаниям дело* (476—477, ст. Уст. угол. суд.). Поэтому политическое дознание для каждого привлеченного ограничивается его *личным допросом*. Но на суде обвиняемые, без сомнения, будут заявлять, что их оправдания и объяснения не были внесены в протокол допроса и что по их указаниям не было сделано исследования (напр. alibi и т. п.). При суде *по следствию* такие указания, в виду 476—477 ст. Уст. угол. суд., являются не имеющими смысла ответами. Но при суде по дознанию? Где проверка правильности или неправильности заявления подсудимого? Допрос жандармского офицера, действовавшего при дознании, невозможен, — допрос товарища прокурора запрещен законом (ст. 709 Уст. угол. суд.).

5) На основании 575 ст. Уст. угол. суд., при предварительных к суду распоряжениях, подсудимым предоставляется просить о вызове новых свидетелей, но суд *обсуждает* основательность таких просьб. Как будет он обсуждать эту основательность, когда обвиняемому не было известно из дела ничего, кроме его собственного показания? Ему останется вызвать всех, на кого укажут обвиняемые. Сколько тут затруднений, проволочек, поводов к отсрочке! Какой материал для жалоб

на стеснение защиты, на придирчивость суда; сколько поводов колебать в глазах общества доверие к беспристрастию суда!

Я умалчиваю о ряде других могущих встретиться затруднений. Более опытные юристы-практики, без сомнения, немедленно их укажут.

Я горячо желаю скорейшего рассмотрения этих дел, — я не могу думать без душевной боли о том ненормальном положении, в котором находятся по этим делам и судебная власть и обвиняемые, но мне кажется, что предполагаемая мера не может быть принята ex abrupto, без предварительных объяснений с представителем особого присутствия сената и с ближайшими прокурорами палат, а также без соответственного изменения законов 19 мая и 7 июня.

Я позволил себе высказать эти соображения, не обольщая себя надеждою, что они могут повлиять на принятое вашим сиятельством решение, но мне казалось, что я не исполнил бы своей задачи, если бы, будучи ближайшим исполнителем ваших распоряжений, не указывал на связанные с ними затруднения, насколько они доступны моему разумению и моей совести.

И. д. директора А. Кони

1876. Июля 3/4.

В. нужное
Конфиденциально

Его превосходительству
господину Управляющему министерством юстиции

Пр. немедленно снестись с и. д. Главн. нач. III Отд.
10 окт.

Прокурора Одесской судебной палаты

Представление

Дела о покушении на убийство Гориновича и об убийстве Тавлеева не могут не обращать на себя особого внимания как по тяжести совершенных преступлений, так и потому, что они указывают на существование в России таких социальных элементов, которые не ограничиваются преследованием, путем тайных ассоциаций, известных социальных и политических идеалов в отдаленном будущем, но которые уже в настоящее время в стремлении к достижению своих целей не останавливаются перед такими средствами, как убийство.

Ознакомившись во всей подробности с теми мерами, которые были предприняты во время моего отсутствия к обнаружению виновников покушения на убийство Гориновича, и следя постепенно за ходом дознаний

как по этому делу, так и по делу об убийстве Тавлеева, я пришел к убеждению, что местные органы прокурорского надзора, жандармского управления и общей полиции делали и делают все возможное для успешного расследования этих дел. По первому из них я заметил, впрочем, некоторые упущения, как, напр., несвоевременный арест обвиняемого Краева, которые могли в известной степени повредить успеху дознания, но следует вообще признать, что дела эти ведутся со всею возможною энергией и вниманием, причем не оставляются без тщательного расследования малейшие указания на обстоятельства, могущие привести к обнаружению виновных.

Тем не менее результаты этого расследования до сего времени крайне ничтожны и выражаются в сущности в следующих данных: по делу Гориновича известны некоторые из участников убийства, но они скрылись и не разысканы; по делу Тавлеева доказана до очевидности политическая цель убийства, привлечены в качестве обвиняемых два лица, которые имели известное основание мстить Тавлееву, но никаких положительных и доказательных данных к обвинению кого-либо в совершении убийства не обнаружено.

Затем, по обоим этим дознаниям, участвующие в производстве их лица, теряясь в подробностях расследования, не имеют к розысканию и обнаружению виновных руководящей нити и ожидают успеха только от какого-либо благоприятного случая, а не от собственной инициативы.

Между тем, я думаю, что правосудие в высокой степени заинтересовано в благоприятном исходе этих двух дознаний. Побуждать к этому должно не только желание обнаружить и наказать непосредственных виновников крайне тяжелого преступления, хотя и в смысле единичных преступлений, по крайней мере дело о покушении на убийство Гориновича выходит

из ряда обыкновенных по той жестокости, которою покушение это сопровождалось; этот несчастный, облитый серной кислотой, лишился зрения, носа, ушей и губ и, повидимому, не умрет, а обречен на страдальческое существование. Но важность этих дел обусловливается главнейшим образом тем соображением, что эти два последовательных убийства с политическою целью указывают на существование такого сообщества или, по крайней мере, кружка, члены которого, не ограничиваясь простою пропагандою социально-революционных учений, способны прибегать в своей деятельности к столь решительным и жестоким средствам. Дознания по делу Гориновича и Тавлеева обставлены здесь всеми доступными по местным средствам условиями для правильного их производства. Постоянное наблюдение за производством их возложено на товарищей прокурора Добржинского и Сергеева в Одессе и на товарища прокурора Штейна — в Елисаветграде; каждый из них был прежде отличным судебным следователем, а потому они вносят в производство этих дел известную опытность в расследовании преступлений. Чины жандармских управлений одесского и елисаветградского относятся к этим делам с полной энергией. Общая полиция оказывает также в пределах возможного свое посильное содействие при розысках. Мы видим, однако, что результаты самой напряженной деятельности этих местных органов власти обнаруживают бессилие их к успешному расследованию этих, выходящих из ряда обыкновенных, дел.

Причиною тому, главным образом, ограниченность находящихся в их распоряжении розыскных средств, а по делу о покушении на убийство Гориновича, кроме того, и отсутствие единства в направлении отдельных действий по дознанию, производящемуся в Одессе, Елисаветграде и Киеве. В отношении этой последней

местности не существует даже единства общего наблюдения и направления в лице прокурора судебной палаты, тогда как именно в Киеве задумано убийство Гориновича.

Принимая таким образом в соображение, что при настоящем положении дел о покушении на убийство Гориновича и об убийстве Тавлеева нельзя ожидать обнаружения виновных при обыкновенных и обыденных средствах расследования и что важность этих дел такова что трудно примириться с перспективой их прекращения прежде, чем будут употреблены все возможные средства для розыскания виновных и доказательств их виновности, я имею честь представить на благоусмотрение вашего превосходительства следующие меры, которые могли бы, по мнению моему, обеспечить успешное производство этих дел.

1. Производство дознания по делу о покушении на убийство Гориновича должно бы быть передано одному из наиболее способных и опытных чинов корпуса жандармов с освобождением его от всяких других занятий, причем местные чины жандармских управлений исполняли бы только его отдельные требования.

2. Главное наблюдение прокурора одесской судебной палаты за производством этого дознания должно быть распространено и за пределы одесского судебного округа.

3. Непосредственное наблюдение за производством этого дела должно быть возложено на особое лицо прокурорского надзора, освобожденное от других занятий до окончания дознания.

4. Производство дознания по делу об убийстве Тавлеева, которое совершено и обнаружено в Одессе, должно продолжаться при одесском жандармском управлении с откомандированием в распоряжение начальника оного особого офицера изведанной опытности в производстве дознаний по государственным преступлениям.

5. В распоряжение прокурора одесской судебной палаты и лиц, производящих дознание, следует командировать, по крайней мере, четырех надежных сыщиков, которые должны удовлетворять следующим условиям: один из них должен быть способен сблизиться с мастеровыми одесских фабрик, преимущественно мастерских общества одесской железной дороги, к среде которых принадлежал Тавлеев и между которыми обнаружено сообщество с революционными целями; другой должен быть из людей с известным образованием, для возможности сближения с руководителями сообщества из среды интеллигентной; третий должен быть еврей, могущий завязать отношения близкого знакомства с родными и родственниками одного из убийц Гориновича — Дейча[241] и чрез них стараться узнать о месте, где скрывается Дейч, и, наконец, четвертый также из людей с известным образованием для употребления на розыски в Киеве и Елисаветграде.

6. В распоряжение прокурора одесской судебной палаты должна быть ассигнована известная сумма денег на розыски и путевые расходы сыщиков. Кроме того, сыщикам должно быть обещано более или менее значительное вознаграждение за обнаружение виновных.

Принятие этих экстраординарных мер при расследовании означенных дел представляется, по мнению моему, единственным средством для обеспечения их благоприятного исхода и вызывается, независимо от того, необходимостью исполнить высочайшую волю, так как государь император на докладе шефа жандармов об убийстве Тавлеева выразил в собственноручной резолюции желание свое, чтобы убийцы Тавлеева были обнаружены.

Прокурор одесской судебной палаты
Евреинов

№ 374
4 октября 1876 г.

Секретно

В департамент министерства юстиции
М. Ю.

Прокурор
Одесской
судебной палаты
Ноября 8 дня 1876 г
№ 356
Одесса

Вследствие отношения от 26 октября сего года за № 17780, имею честь уведомить департамент, что с 27 сентября по делу об убийстве мещанина Тавлеева не собрано в сущности никаких новых данных, но с целью обнаружения виновных ныне производятся усиленные розыски секретным путем.

После представления моего по делам Тавлеева и Горяновича от 4 октября за № 314 начальник одесского жандармского управления уведомил меня, что генерал-адъютант Мезенцов, на представление его о командировании надежных сыщиков из Петербурга, поставил его в известность, что мера эта признается неудобоисполнимою, но что денежные средства для розысков будут отпущены в необходимом размере. Вследствие этого я тогда же собрал к себе товарища

прокурора Добржинского, наблюдающего за производством дознания об убийстве Тавлеева, начальника одесского жандармского управления, одесского полицеймейстера и участкового пристава, заведывавшего розысками общей полиции по делу Тавлеева. На этом совещании я обратил самое серьезное внимание собранных лиц на необходимость придать розыскам по делу об убийстве Тавлеева всю возможную энергию и указал на то, что, при возможности располагать достаточными денежными средствами, и в Одессе должно быть возможно найти надежных сыщиков. Тут же были подробно обсуждаемы и все те средства, которые по ходу дела могли бы содействовать обнаружению убийц Тавлеева.

Последствием этого было приискание в г. Одессе двух лиц, которые представляются, повидимому, весьма надежными для секретных сыскных действий. Один из них, мещанин Незабитовский, являющийся свидетелем по делу о распространении в г. Одессе социалистской пропаганды в среде рабочих; этот сыщик должен быть употреблен на розыски вне Одессы, где он слишком известен в среде рабочих и политических агитаторов, чтобы исполнять обязанности сыщика с пользою и не подвергая себя существенной опасности; человек этот может быть особенно полезен для розысков в Киеве и других местностях по делу Гориновича. Специально для розысков по делу Тавлеева приглашен рабочий из дворян Шверберг, который поселится на квартире жены Шокина, одного из обвиняемых по делу Тавлеева, поступит рабочим в мастерские одесской железной дороги и обедать будет в одном трактире, где собираются, по имеющимся сведениям, преимущественно люди, поставившие себе целью сближение с рабочими. Этим двум сыщикам назначено содержание по 50 руб. в месяц и обещано вознаграждение в 500 руб. за обнаружение убийц Тавлеева и Гориновича. Кроме того, для розы-

сков в Елисаветграде имеется в виду еврей Хаим Черкасский.

Вместе с тем учреждено бдительное наблюдение в трактирах, где собираются после работ и в праздничные дни мастеровые одесских фабрик. Этим путем получено было в последнее время сведение, что некто Ямпольский неисправно выплачивает нескольким лицам, в том числе одному беглому каторжнику, обещанное за тавлеевское дело вознаграждение. Получаемые таким образом сведения в настоящее время проверяются негласными розысками.

Прокурор судебной палаты Евреинов
И. д. Секретаря (подпись)

ЗАПИСКА Э. В. ФРИША

(1875 г.)

Преступная революционная пропаганда в последнее время все более и более раскидывает свои силы по всей России, втягивая все большее число лиц и отвлекая многих, в особенности молодых людей, на ложный путь якобы просветителей народа. Глубокий вред, приносимый народу революционною пропагандою, вообще не подлежит сомнению, но особенно прискорбно, что столько молодых сил, могущих приносить при правильном направлении значительную пользу, сами обрекают себя на такое дело, которое ведет их к конечной гибели. Возможное сохранение для России этих молодых сил и излечение их от их заблуждений составляло бы задачу в высшей степени благотворную, тем более, что достижение в этом отношении известных результатов несомненно повлияло бы и на уменьшение вообще числа последователей революционной пропаганды.

Пропаганда действует, как это ныне обнаружено, в определенном направлении, подчиняясь программе, выработанной ее руководителями. Программа эта указывает не столько на существование революционного движения, направленного единственно противу существующего законного правительства, сколько на суще-

ствование стремления к социальному перевороту, к ниспровержению всякого правительства в какой бы то ни было форме, к уничтожению не только сословной розни, но всякого экономического неравенства между людьми, а для сего — к истреблению насильственным путем всех высших классов общества, всех имущих — неимущими, всех образованных — необразованною массою, которая затем и должна создать новый строй социальной жизни человечества, единственно на началах равномерного между всеми распределения материального физического труда, образовывая вместо всяких государств так называемые рабочие секции, сами собою управляемые.

Сколько ни невозможна к осуществлению подобная программа, идущая прямо вразрез со всем историческим ходом последовательного движения человечества к развитию, тем не менее одни уже попытки к введению в жизнь народов этих новых будто бы начал в высшей степени вредно отзываются в государственной и общественной жизни. Начала эти, основанные на полнейшем безверии, в корне отвергающие всякие идеалы, к которым доныне стремились все народы, отвергающие необходимость науки, образования, искусства, не могут не иметь при распространении их, в особенности между людьми, не получившими хорошего, основанного на твердых религиозных началах, воспитания, — весьма пагубное влияние.

Нет сомнения, что при определении того, что следует считать преступлением, направленным противу существующего правительства, а тем более противу государственной идеи вообще, — должно поступать чрезвычайно осторожно, не увлекаясь преследованием теорий, хотя бы и несогласных с существующим строем государственной и общественной жизни. Теории нелепые всегда созидались и рушились сами собою, но совер-

шенно иное дело, когда для осуществления этих теоретических воззрений проповедуют необходимость приступа к насильственным действиям для сокрушения созданного веками государственного строя.

Между тем это именно имеет место в данном случае: руководители социальной пропаганды прежде всего стремятся к насильственному разрушению всего существующего; первоначальная цель их — установление полнейшей анархии, а для достижения этой цели — всякие средства хороши, лишь бы они вели к каким бы то ни было беспорядкам. Рабочим проповедуют, что их эксплоатируют капиталисты, что рабочих часов слишком много, что заработная плата слишком низка, что необходимо соединяться для насильственных стачек против хозяев; крестьянам внушают, что распределение поземельной собственности неравномерно и несправедливо, что, собственно говоря, земля вся им принадлежит и что поэтому явно неправильно требовать с них выкупных платежей за собственную их землю, что они обложены слишком тягостными податями и повинностями, тогда как другие классы, более имущие, ничего не платят, что поэтому следует восстать и отнять землю у тех, у кого ее много, насильственно; учащейся молодежи говорят, что незачем учиться, незачем приобретать известного рода познания, так как им не придется применять их на практике; весь общественный строй гнилой и надо его сломать и уничтожить, а там, на развалинах его, не им уже, а другим придется создать новое общество физического труда; что поэтому им надо лишь, бросив учение, итти в народ и подготовить его к поголовному восстанию.

Все эти возбуждения рассчитаны на то, что недовольство, возникающее таким образом в том или другом классе общества, — поведет к беспорядкам, что правительство с своей стороны не может же допустить

нарушение порядка, установленного законом, что оно примет меры к прекращению беспорядков, что это вызовет противодействие масс, которое, в свою очередь, потребует насильственного подавления, при котором иногда кровавое столкновение неизбежно.

Люди с холодным рассудком, добивающиеся своею пропагандою подобных результатов, конечно, должны быть признаваемы злейшими врагами государства и того общества, того народа, в защиту которого от несправедливости и притеснений они будто бы действуют. Тяжкая уголовная кара, совершенное извержение их из того общества, которое они хотят довести до бедствий анархии, должно быть возмездием за их преступную деятельность. Лишение всех прав состояния, каторга и безвозвратная ссылка на поселение в Сибирь не могут быть отменены для тех преступников, которые вполне сознательно ведут народ к таким насилиям, к таким беспорядкам, за которые затем все участники должны быть подвергнуты тяжким карам. Не все, конечно, из числа этих руководителей действуют с какими-нибудь корыстными или себялюбивыми целями — стать во главе движения, добиться власти: есть между ними и убежденные в правоте своего дела; всякое учение, какою бы нелепостью ни отличалось, может иметь своих фанатиков, но если распространение его, а тем паче попытки к осуществлению его на практике представляют явную опасность для государства и общества, то распространители и проводящие его в жизнь должны подвергнуться строжайшей каре уголовного закона, так как тяжесть государственных преступлений именно главнейшим образом должна соразмеряться со степенью опасности известного деяния для целости и самого существования государства.

Но из этого именно вытекает другое заключение, к которому приводит обозрение сведений, обнаружен-

ных при исследовании действий революционных пропагандистов в России. В числе лиц, употребляемых пропагандистами для скорейшего распространения в среде народа своих вредных учений и даже для возбуждения разного рода беспорядков, нередко встречаются молодые люди, которые, при ином направлении честным исполнением своих обязанностей в той среде, в которой они поставлены, могли бы нередко принести не малую пользу тому же народу, который они губят своим развращающим влиянием. Молодые люди, увлекаемые пропагандистами на ложный путь непризванных благодетелей народа, несомненно, большей частью принадлежат к среде недоучившейся молодежи, не получившей притом воспитания, основанного на твердых началах религии и семьи. Таких-то молодых людей не трудно убедить в том, что настало время не учиться, а действовать, итти в народ для вовлечения его в разные беспорядки. Этот путь не только несравненно легче, он для незрелого ума имеет и много привлекательного. Нет надобности трудиться над окончанием научного образования в том или другом учебном заведении, — можно прямо приняться за тот или другой физический труд, наравне с простыми рабочими, а трудность сего последнего не всегда этими молодыми людьми оценивается, так что многие его и не выдерживают, — но что до этого их руководителям: пусть гибнут молодые силы, предназначенные судьбою для более соответственного им умственного труда в борьбе с непосильным физическим лишь бы чрез них, хотя бы отчасти, достигалась цель посеять в народе ядовитые растения безверия и анархии. Привлекательность же для сбитого с толку юноши — вдруг сделаться возвестителем народу новой эры экономического равенства и благоденствия, преобразователем всего существующего порядка, сокрушителем отжившего будто бы обществен-

ного строя – едва ли требует доказательств. Вместо того, чтобы мирно и честно трудиться на пользу ближнего на том поприще, на которое поставлен он в общем строе общественной жизни, — ему сразу предстоит возможность явиться в роли представителя народных нужд, облегчителя его страданий, а может быть даже надеть на себя венец мученика за права бедствующего народа.

Вот таких-то юношей, хотя действиями своими и вполне заслуживших определенные в уголовном законе наказания, следовало бы, повидимому, попытаться обратить на путь долга и законности.

Нет, конечно, сомнения в том, что принудить изменить убеждения, хотя бы и ложные, не только трудно, но даже и невозможно, но это относится к таким лицам, у которых эти ложные убеждения сложились путем собственного извращенного мышления — или чрез изучение тех вредных сочинений, в которых подобные учения развиваются, или вследствие долговременного общения с единомышленниками, но нельзя того же сказать относительно молодых людей, вследствие своей умственной и нравственной незрелости вовлеченных в число пропагандистов и часто не отдающих себе даже ясного отчета в конечных результатах своих преступных действий. В отношении таких молодых людей, могущих еще быть обращенными на истинный путь гражданского долга, следовало бы, прежде чем окончательно подвергнуть их полной каре, предписываемой ныне действующим уголовным законом, испытать все средства, коими располагает правительство для их исправления.

То же относится и к молодым женщинам и девицам, ныне нередко вовлекаемым в подобные же преступления; относительно их в исключительных только случаях может быть речь об установившихся убеждениях; большей частью они поддаются влечению минуты и весьма

часто действуют под влиянием слепого чувства привязанности к тому или другому из пропагандистов. Правда, что на исправление лиц женского пола от вредных заблуждений еще менее можно рассчитывать с достоверностью, чем у лиц мужского пола. Женщины более склонны к крайностям, легче фанатизируются и затем уже с упрямою настойчивостью держатся внушенного им вредного направления, вопреки всем справедливым убеждениям; кроме того, для нравственного возрождения требуется значительная сила воли, которая недостает женщинам; даже если бы удалось разубедить подобную женщину в непогрешимости тех стремлений, которые указаны пропагандистами, то и тогда предстоит возможность предвидеть возвращение ее на тот же ложный путь, лишь только она останется без руководителя. Женщин, увлекшихся социально-анархическими теориями, тем более трудно обратить на истинный путь, что все эти теории основаны на отрицании всех религиозных верований, а для женщины, постоянно увлекаемой своими чувствами и редко прислушивающейся голоса рассудка, еще более, чем для мужчины необходимо стоять на твердой почве религии.

Но все это едва ли должно служить достаточным основанием для того, чтобы отказаться от мысли о возможности достижения нравственного перерождения подобных увлекшихся молодых людей того и другого пола посредством правильно организованного труда, и под нравственным влиянием лиц благомыслящих, вполне преданных делу перевоспитания этих молодых людей. Весь успех, конечно, будет зависеть от тех, так сказать воспитательных, приемов, которые будут усвоены лицами, поставленными во главе этого дела, и вверить его можно только таким лицам, которые с полным самоотвержением всю свою энергию, все силы своей души посвятят этому делу; только вполне опытный, высоко стоящий по своему обра-

зованию педагог, при помощи лица духовного, проникнутого истинным духом христианского смирения и кротости, — мог бы приобрести то нравственное влияние на молодых людей, заблудившихся с истинного пути, при помощи коего они могли бы надеяться сделать из них полезных граждан своего отечества.

Достижение этой цели чрезвычайно важно и в видах государственных уже потому, что Россия, в особенности при настоящем переходном своем положении, нуждается во всех своих молодых силах, и крайне прискорбно, когда приходится терять их вследствие того, что они сами бросаются в пропасть, стремясь к достижению каких-то фантастических пересозданий общества, которое чрез эти брожения только может быть остановлено в спокойном и равномерном своем развитии.

Проектирование каких-либо коренных и постоянных изменений в уголовных законах, предусматривающих преступления государственные, и в наказаниях, коими эти преступления обложены, — в настоящее время едва ли представлялось бы своевременным, как ввиду того, что вновь проектированная лестница наказаний для всех преступлений находится в рассмотрении Государственного совета, так и потому, что, по воле государя императора, должно быть приступлено в непродолжительном времени к общему пересмотру Уложения о наказаниях. Но вопрос о необходимости принятия целесообразных мер для противодействия дальнейшему развитию революционной пропаганды настолько настоятельно требует немедленного разрешения, что откладывать принятие этих мер на более или менее неопределенное время решительно невозможно. Здесь не может быть речи о тех общих мерах, которые могли бы быть направлены к лишению пропагандистов в значительной степени почвы для насаждения их вредных учений; здесь может быть речь только о мерах карательных и вместе с тем исправитель-

ных в отношении увлекшейся молодежи, причем не должно забывать, что исключительные болезненные явления требуют и исключительных средств врачевания.

В этих видах казалось бы полезным, не изменяя действующих законоположений о государственных преступлениях, установить лишь известное временное положение для тех преступников, которые судом признаны будут вовлеченными в преступление и подающими надежду на исправление. На первое время следовало бы распространить эту меру лишь на тех лиц, которые, согласно действующему уголовному закону, подлежат осуждению к наказаниям уголовным, т. е. к ссылке в каторжные работы или на поселение в Сибирь. Применение этой меры, без сомнения, может быть предоставлено особому присутствию Правительствующего сената, в котором ныне сосредоточиваются все важнейшие дела о государственных преступлениях, в полном убеждении, что сенат, как и всегда, вполне беспристрастно обсудит вопрос о том, достойны ли и кто именно из подсудимых такой особой заботливости правительства. Особое присутствие в этих случаях, вместо ссылки в каторжные работы и на поселение с лишением всех прав состояния, присуждало бы виновных к лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных, прав и преимуществ и к отдаче в особо устроенные для политических арестантов исправительные тюрьмы. Осужденные, но признанные достойными облегчения их участи, вместо обращения их в каторжную работу или на поселение, помещались бы в особо приспособленные для этой цели исправительные заведения одно для лиц мужского пола, другое для лиц женского пола.

Исправительные заведения эти следовало бы устроить в двух ближайших к С. Петербургу губернских городах, где окажется возможным приспособить к тому существующие здания арестантских отделений гражданского ведомства, например, в Пскове или Твери.

На первое время содержания должна быть принята система безусловного разъединения с правильно организованным трудом в самих отдельных камерах, причем, однако, особое внимание должно быть обращено на нравственное развитие заключенных. Для этого, в случае одобрительного их поведения, не только могут, но и должны быть дозволены им умственные занятия, чтение полезных, серьезных сочинений, под ближайшим наблюдением начальника тюрьмы и его помощников, постоянное общение с которыми не может не иметь полезного влияния в смысле излечения заключенных от их вредных заблуждений. Только в том случае, когда начальник тюрьмы признает это возможным, заключенным могло бы быть дозволено впоследствии видеться с другими осужденными и даже могли бы быть допущены общие работы и занятия. Но допустив такое право начальника тюрьмы, едва ли можно предрешить, по истечении какого срока и при каких условиях такое общение арестантов между собою может быть допущено, — все это должно зависеть от ближайшего усмотрения начальника тюрьмы, который в этом случае может, а в других важных случаях должен совещаться со своими ближайшими помощниками, из которых образуется тюремный совет, в который сверх того назначается прокурор и один из товарищей председателя окружного суда, а равно и губернский жандармский штаб-офицер. Постановления этого совета для начальника тюрьмы в случаях, определенных законом, должны быть обязательны.

Начальник такой тюрьмы, как облеченный особым доверием высшего правительства, не должен в отношении управления тюрьмою быть подчинен местному губернатору, сносясь непосредственно с подлежащим министерством или Главным тюремным управлением.

Дисциплинарная власть начальника тюрьмы над заключенными, в виду того, что они лишь взамен каторжных

работ и поселения содержатся в исправительном заведении, должна быть соображена с тою степенью власти, которая по вновь разработанному и находящемуся в обсуждении Государственного совета проекту положения о местах заключении гражданского ведомства предоставляется начальникам каторжных тюрем, причем, конечно, по самому свойству проектируемых исправительных заведений, едва ли предстоит надобность в наложении оков на заключенных.

Таким образом дисциплинарные взыскания в этих исправительных заведениях сводились бы к следующему: 1) заключение в светлый или темный карцер, с ограничением пищи или без оного, в первый — на срок не более двух месяцев, а в темный — не долее 14 дней. На половину сего срока начальник тюрьмы может приговаривать собственною властью, а наказания свыше того определяются не иначе как по постановлениям тюремного совета, состоявшимся по большинству голосов. Последнее правило следовало бы распространить и на другой род дисциплинарных взысканий, а именно на 2) наказание розгами для арестантов мужского пола не свыше 100 ударов, которое также, в особенности в виду исправительного характера этих тюрем, должно быть определяемо лишь в исключительных случаях и не иначе как по постановлению совета.

Общий срок содержания в этих исправительных тюрьмах должен быть для подлежащих осуждению к ссылке в каторжные работы тот же, который определен в приговоре для каторжных работ, для осужденных же на поселение срок этот не должен превышать четырех лет, так как низший срок каторжных работ именно определяется в 4 года. Но начальнику тюрьмы должно быть предоставлено, с согласия тюремного совета, ходатайствовать перед министерством о высылке заключенных и до истечения этих сроков в отдаленные места Сибири

на водворение, если все меры, принятые к исправлению, окажутся безуспешными. С другой же стороны, в случае действительного исправления заключенных, тюремному совету, по предложению начальника тюрьмы, следовало бы предоставить право условного освобождения заключенных и до истечения определенных приговором сроков, с оставлением их лишь под полицейским надзором. Введение сей последней меры служило бы могучим рычагом в руках образованного тюремного начальства для возбуждения в молодых людях стремления к исправлению. Приучая заключенных к постоянной трудовой жизни, при которой нет места нелепым мечтаниям, и влияя на их нравственное и умственное развитие посредством правильных воспитательных приемов, тюремное начальство в то же время, для вернейшего достижения цели, должно располагать и исключительным способом поощрения тех, которые действительно исправятся; конечно, с тем условием, чтобы, в случае неодобрительного поведения по освобождении, они могли бы быть немедленно обращены в тюрьму и даже подвергнуты высылке на водворение в Сибирь, как указано выше. Напротив того, безукоризненное поведение условно освобожденных должно иметь последствием предоставление их участи высочайшему милосердию.

Установление такого временного порядка осуждения молодых людей, оказывающихся виновными в государственных преступлениях, но вовлеченных в эти противуправительственные стремления по тщеславию или по незрелости своего образа мыслей, могло бы принести существенную пользу. Не только многие из осужденных уже молодых людей могли бы быть обращены на истинный путь гражданского долга, но и на других, стремящихся к славе, политических мучеников подобное обращение с осужденными имело бы отрезвляющее влияние, указывая им, что заботы правительства именно обращены на

влечение их от заблуждений и на соделание их достойными гражданами своего отечества.

Для достижения указанной цели надлежало бы предоставить министру юстиции по соглашению с министром внутренних дел разработать и представить на высочайшее утверждение, чрез Государственный совет, временное законоположение на следующих основаниях;

1. Те из виновных в государственных преступлениях, за которые положены в законе лишение всех прав состояния с ссылкою в каторжные работы или на поселение, кои особым присутствием Правительствующего сената для суждения дел о государственных преступлениях признаны будут вовлеченными в сии преступления вследствие незрелости своего умственного и нравственного развития и притом подающими некоторые надежды на исправление, приговариваются к лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных, прав и преимуществ с отдачею в особо устроенные для политических арестантов исправительные тюрьмы, с последствиями, указанными в нижеследующих статьях. При этом в приговоре должны быть указаны в подробности род, степень и мера того наказания, коему виновные подлежали бы по действующему уголовному закону, с тем, что сроки содержания в исправительной тюрьме соразмеряются с определенным в приговоре сроком каторжных работ, а для подлежащих ссылке на поселение определяются в приговоре не свыше четырех лет.

2. Исправительные тюрьмы для политических арестантов устраиваются в двух ближайших к С.-Петербургу губернских городах, одна для лиц женского, другая мужского пола, по системе безусловного разъединения на первое время как днем, так и ночью, с обязательными правильно организованными, по возможности разнообразными, работами в отдельных камерах, и непременным введением умственных занятий для наилучшего образо-

вания заключенных, и с разрешением общения арестантов между собою во время работ и других занятий лишь с крайнею осмотрительностью и после продолжительного испытания.

3. Начальник тюрьмы и его помощники назначаются по соглашению министров внутренних дел и юстиции, из лиц, получивших высшее образование и по возможности имевших педагогическую практику. Священником при тюрьме, для духовного назидания заключенных, может быть только лицо, окончившее курс в духовной академии. Сверх того, по избранию самого начальника тюрьмы, назначаются врач, эконом и необходимое число старших и младших стражников.

4. Начальник тюрьмы управляет оною совершенно самостоятельно, состоя в непосредственном подчинении министра внутренних дел или главного тюремного управления, но для разрешения важнейших вопросов, касающихся участи заключенных, при тюрьме образуется особый совет, состоящий под председательством начальника тюрьмы из прокурора и одного из товарищей председателя окружного суда, губернского жандармского штаб-офицера, тюремного священника и помощников начальника тюрьмы.

5. Дисциплинарным порядком заключенные могут быть подвергнуты заключению в светлом или темном карцере: в первом — на срок не свыше 2 месяцев, а в темном — не свыше 14 дней. На время не свыше половины сего срока содержание в карцере может быть определяемо единоличною властью начальника тюрьмы. Заключение в карцер на высшие сроки, а равным образом наказание розгами не свыше 30 ударов может быть определяемо не иначе, как по постановлению тюремного совета, состоявшемуся по большинству голосов.

6. Допущение общения между арестантами при общих работах или других занятиях предоставляется усмотре-

нию начальника тюрьмы, который, однако, в сомнительных случаях, предлагает вопрос о том на обсуждение совета, подчиняясь затем уже постановлению совета.

7. Разрешение условного досрочного освобождения тех из заключенных, кои своим поведением заслужат подобное поощрение, с оставлением их лишь под секретным полицейским надзором, предоставляется тюремному совету, по предложению о том начальника тюрьмы. Распоряжение же об обратном заключении условно освобожденных в тюрьму, в случае неодобрительности их поведения, может быть сделано, в случаях, не терпящих отлагательства, единоличною властью начальника тюрьмы, с подробным изложением совету в ближайшем его заседании послуживших к тому оснований.

8. Высылка на водворение в отдаленные места Сибири тех из политических арестантов, относительно коих мера сия будет признана необходимою тюремным советом по неодобрительности их поведения, разрешается по взаимному соглашению министров внутренних дел и юстиции и шефа жандармов.

9. На основании постановлений тюремного совета совершенное освобождение от наказания условно освобожденных может быть испрошено не иначе, как путем всемилостивейшего помилования.

Его сиятельству,
Господину министру юстиции

Прокурора с.-петербургской
судебной палаты

Представление

Товарищ прокурора с.-петербургского окружного суда Платонов, исполняющий прокурорские обязанности по дому предварительного заключения, доносит прокурору суда, а последний мне, что 13 сего июля доставлено было из дома заключения много просьб от содержащихся там политических арестантов, из коих каждый требовал немедленного прибытия товарища прокурора к нему в камеру для принятия жалобы или заявления по поводу происшедших в тот день беспорядков в доме заключения; по прибытии же товарища прокурора надзиратели доложили, что почти все политические арестанты заявили желание видеть его в тот же день. Исполнить таковую просьбу заключенных в один день не было возможности, а потому он начал обход одиночных камер и выслушивание жалоб по очереди и окончил эту работу только 18 сего июля. Все заключенные жаловались, что, вследствие шума, поднятого большею частию из них по поводу известного уже вашему сиятельству распоряжения с.-петербургского градоначальника о наказании лишен-

ного всех прав состояния, бывшего студента Боголюбова, розгами, тюремное начальство распорядилось посадить в карцер столько из политических арестантов, сколько позволяло количество существующих в тюрьме карцеров. Мера эта, по словам жалобщиков, приводилась в исполнение при помощи двадцати или тридцати полицейских служителей, причем брали в карцер не только действительно участвовавших в шуме, но и таких, которые, по разным обстоятельствам, вовсе не могли в нем участвовать. Так, например, в карцер отправлен был дворянин Волховской, который не мог участвовать в беспорядке, потому что, вследствие глухоты, он не мог знать причины беспорядка, да если бы и узнал ее, то не мог предпринять ничего противного правилам тюремной дисциплины по крайне болезненному в то время состоянию. При уводе в карцер, заявляли далее заключенные, многие из политических арестантов были избиты надзирателями и полицейскими служителями, причем побои наносились не только с ведома помощников управляющего, распоряжавшихся размещением арестантов в карцеры, но даже по их приказанию. Наконец, некоторые из арестантов были заключены, и на продолжительное время, в такие карцеры и при таких условиях, в которых невозможно было оставаться без явной и серьезной опасности для здоровья.

В самый день этих арестов товарищ прокурора Платонов, не посетив еще дворянина Волховского, заявил управляющему домом, что подсудимый этот посажен в карцер, по всей вероятности, вследствие ошибки, что, по нравственным и физическим особенностям Волховского, он едва ли мог принять не только заметное, но и вообще какое-нибудь участие в происшедшем беспорядке. Но управляющий, повидимому, не придал значения этому заявлению, и только вечером, после доклада дежурного надзирателя Данилова о том, что Волховской поса-

жен по ошибке, что он никакого участия в беспорядке не принимал, обвиняемый возвращен в свою камеру.

Столь же неосновательно подвергнут был заключению в карцер и подсудимый Фишер. [212] По объяснению этого обвиняемого, участие его в беспорядке заключалось лишь в том, что — с целью успокоить товарищей — он закричал через окно: «требуйте прокурора»; в этот самый момент отворили его камеру и затем увели в карцер. Удостоверившись посредством осмотра камеры, в которой содержался Фишер, что жалоба его основательна, что никаких поломок и вообще следов участия жильца этой камеры к манифестации в ней нет, товарищ прокурора Платонов предложил управляющему освободить Фишера из карцера, но управляющий на это не согласился, объяснив, что Фишер разбил стекло уже в карцере. Этот поступок Фишера действительно имел место, но Фишер решился на него, по его объяснению, не вследствие буйства и дерзости, а единственно потому, что иначе в карцере не было возможности дышать, по совершенному отсутствию в нем вентиляции. Товарищ прокурора навестил Фишера в карцере уже в то время, когда окно там было разбито, но и тогда воздух в карцере был так заражен, что он не мог остаться в нем и двух минут и вынужден был вывести Фишера в коридор, чтобы дослушать его заявление. Фишер оставался в камере до вечера 16 июля.

14 июля, вечером, вследствие письменной просьбы Волховского, товарищ прокурора Платонов вызвал его в тюремную школу, где он объяснил, что никакого участия в беспорядке не принимал, что вследствие глухоты он не мог себе уяснить причины шума и поэтому позвонил в камере, чтобы узнать от надзирателя, что случилось. Между тем, в камеру ворвались несколько полицейских служителей и, по приказанию помощника управляющего Кудасова, начали тащить его в карцер; Волховской сказал Кудасову, что отправится, куда приказывают, добро-

вольно, но его не слушали, повалили на пол и затем нотацили, нанося ему весьма значительные побои кулаками по голове. Насильственные действия полицейских служителей над Волховским видел, по его словам, между прочим, тюремный врач, которого Волховской будто бы просил «обратить внимание, как обращаются с больными». Товарищ прокурора не признал удобным проверить рассказ Волховского расспросом врача, но полагает, что Волховской заявил правду, так как помощник управляющего Кудасов, хотя и отвергает то обстоятельство, будто побои наносились Волховскому в его присутствии, заявляет, тем не менее, что слышал из камеры крик Волховского, что его бьют; дворянин же Синегуб [243] заявил, что Кудасов, придя к нему в камеру, между прочим, высказал, что боится потерять должность за то, что допустил бить Волховского.

В тот же вечер товарищ прокурора, вследствие заявлений нескольких арестантов о том, что накануне страшно избит Голоушев (сын действительного статского советника, обвиняемый в государственном преступлении), пригласил этого последнего из карцера в школу, где лично удостоверился, что заключенному этому действительно нанесены были весьма значительные побои. Он имел на лбу опухоль почти в куриное яйцо величиною с небольшою раною в центре, а правый рукав сорочки был у него весь окровавлен. По словам Голоушева, ему набросили на голову какой-то мешок, чтобы не было слышно его крика, и затем чем-то мягким били по голове и по спине до того, что он потерял сознание. На третий день после свидания с Голоушевым присяжный поверенный Боровиковский заявил товарищу прокурора Платонову, что он, в качестве защитника Голоушева, навестил последнего 15 сего июля и видел на нем те же следы побоев, которые сейчас мною названы. Голоушев сознается, что участвовал в беспорядке 13 июля и выбил форточку

в дверях своей камеры, но заявляет при этом, что он не сопротивлялся распоряжениям тюремного начальства относительно заключения его в карцер и избит без всякого основания. Факт нанесения побоев Голоушеву, кроме вышеизложенного, подтверждается еще заявлением почетного гражданина Тулинова, не принадлежащего к числу политических арестантов. Тулинов, пригласив товарища прокурора в свою камеру, заявил, что 13 июля он слышал (из своей камеры), как кого-то из заключенных в одной с ним камере тащили по коридору, причем наносили ему частые и сильные удары. Расположение же камер указывает, что мимо Тулинова тащили именно Голоушева. Отправкою Голоушева в карцер распоряжался помощник управляющего Кудасов.

Кроме Волховского и Голоушева, побои нанесены еще Петропавловскому, Ковалеву [244] и Дическуло. [245] Но относительно последнего, кроме его собственного заявления, никаких доказательств не имеется. Нанесение побоев — и притом побоев тяжких — Ковалеву подтвердит, по словам потерпевшего, тюремный врач, который осматривал Ковалева и объявил ему, что может выдать формальное свидетельство о побоях. Петропавловский же, прямо заявляя, что его били надзиратели по приказанию помощника управляющего Куриленко, ссылается, как на свидетелей, на всех арестантов, содержащихся в 3-м отделении общих камер, которые будто бы обратились даже к Куриленке с просьбою прекратить истязания Петропавловского, так как этот последний шел в карцер, не сопротивляясь.

Наконец, уже 17 июля несколько лиц из обвиняемых в государственных преступлениях заявили товарищу прокурора, что дворянин Дическуло с 13 числа содержится в таком карцере, который устроен для содержания самых буйных арестантов и то лишь на несколько часов; что тюремное начальство, по приказанию управляющего, разными искусственными приспособлениями превратило

этот карцер в настоящее орудие пытки для Дическуло; что тюремный врач заявил уже управляющему о невозможности держать там Дическуло без явной опасности для здоровья и даже для жизни последнего, но что управляющий ничего знать не хочет и продолжает относительно Дическуло ту же меру, которая привела князя Цицианова [246] (соседа Дическуло по карцеру) прямо из карцера в больницу еще накануне, т. е. 16 июля. Вследствие этого заявления товарищ прокурора Платонов предложил дежурному помощнику управляющего Куриленко проводить его к Дическуло и нашел следующее:

Дическуло помещался в особом карцере, недавно устроенном под воротами, рядом с паровым котлом, в котором нагревается вода для прачечной. Обвиняемый был в одном арестантском, в высшей степени грязном белье, без сапогов и без пояса, и был в столь сильном нервном возбуждении, что товарищ прокурора едва мог несколько успокоить его и заставить говорить факты без восклицаний. В начале же он только отрывочно кричал: «Г. прокурор!.. Посмотрите! Ведь это самая варварская пытка!.. Возможно ли это в христианском государстве» и т. д., и действительно, помещение, в котором содержался Дическуло, представлялось в высшей степени антигигиеническим. В течение каких-нибудь 5—7 минут, что товарищ прокурора осматривал этот карцер и соседний с ним, ему самому два раза делалось дурно. Температура в одном из них, где содержался сначала Цицианов, а потом Бобков, была приблизительно около 35°, света — никакого, смрад и сырость так велики, что товарищ прокурора с трудом мог себе представить возможность дышать в них даже и несколько часов; на полу — нечистоты от испражнений и другие продукты разложения, в которых завелись даже черви; «параш» в течение суток совсем не было, а потом поставлены, но открытые, и за все время содержания там заключенных ни разу не очищались. То обстоятель-

ство, что Дическуло оставался здесь живым в течение четырех полных суток, объясняется, по мнению товарища прокурора, единственно тем, что, обладая достаточною физическою силою, он выбил форточку в дверях карцера и через нее дышал в коридорчик, составляющий темное преддверие к этим карцерам. По словам Дическуло и соседа его Цициянова, температура, которую товарищ прокурора застал в этих карцерах, — ничто в сравнении с тою, какая была в первые дни, когда карцеры будто бы искусственно нагревались. При этом заключенным давали только хлеб без соли, и вода не ставилась, а изредка приносилась в кружках, из которых надзиратели позволяли заключенным только «отпивать». По словам сопровождавшего товарища прокурора помощника управляющего Куриленки, все это делалось по приказанию и. д. управляющего маиора Федора Николаевича Курнеева.

Осмотрев карцер, товарищ прокурора тотчас же послал г. Куриленко к маиору Курнееву с предложением освободить Дическуло немедленно, что и было исполнено. Содержавшийся же рядом и в совершенно одинаковых условиях Цициянов, как уже сказано, освобожден еще накануне и переведен прямо в больницу, так как у него сделалось лихорадочное состояние и от нечистоты образовался какой-то налет на деснах.

В заключение товарищ прокурора Платонов объясняет, во-первых, что сделанные ему и приведенные выше заявления заключенных, по его глубокому убеждению, совершенно верны, — по крайней мере в общем, и могут быть подкреплены доказательствами, если надлежащее исследование по сему предмету будет произведено судебною властью; во-вторых, что в тех крайних мерах, на которые жалуются заключенные, не было, по его мнению, никакой надобности, так как паника, происшедшая в тюрьме 13 июля, была сочтена тюремным начальством за бунт совершенно ошибочно, и для прекращения ее требо-

вались не новые меры строгости, а лишь своевременное и искреннее объяснение заключенным события, вызвавшего эту панику,—что им и сделано, хотя, к сожалению, довольно поздно; и, в-третьих, что это последнее обстоятельство объясняется совершенно ненормальным отношением в эти дни к прокурорской власти со стороны тюремной администрации, которая почему-то совершенно игнорировала прокурора, не давала ему ни о чем знать и даже, как ваше сиятельство изволите усмотреть из прилагаемого при сем прошения Медведева, заключенных утверждали в мысли, что прокурорская власть в тюрьме почти не при чем. Изложенный в прошении Медведева[247] факт подтверждали товарищу прокурора и соседи Медведева по больничной камере, из коих сын статского советника студент Траубенберг заявил уже этот факт в особом прошении на имя вашего сиятельства, представленном мною от 20 июля за № 6885.

Вышеизложенные факты, в достоверности которых я не имею сомнения, указывают, что начальство дома предварительного заключения относительно содержащихся в нем арестантов дозволило себе такие действия, которые не разрешены законом и не могли бы быть терпимыми не только в столичной тюрьме, устроенной для подследственных арестантов, но и ни в какой провинциальной тюрьме, содержащей лиц уже осужденных, именно: применение дисциплинарного взыскания, заключения в карцер, ко многим арестантам, огулом, без предварительного разъяснения вины каждого, вследствие чего подверглись наказанию лица ни в чем не виновные, нанесение нижними чинами по приказанию старших лиц значительных побоев заключенным и, наконец, долговременное содержание арестантов в карцерах, которое, вследствие особенностей устройства последних, становится не наказанием, но истязанием. Эти прискорбные факты злоупотребления власти, ничем не вызванные и по существу

не необходимые, должны повлечь ответственность виновных в них, для предотвращения возможности повторения их на будущее время, тем более, что упоминания о них неизбежно будут встречаться на предстоящем судебном заседании по делу о преступной пропаганде в империи, и безнаказанность их может вредно отозваться на влиянии имеющего состояться по этому делу судебного приговора. Кроме того, произведенные администрациею дома заключения насилия вызвали крайне сильное возбуждение в политических арестантах, значительная часть которых, вследствие долговременного предварительного заключения, нравственно сильно расстроена, так что отсутствие уверенности в невозможности повторения подобных насилий легко может вызвать дальнейшие беспорядки. Свидетельством настоящего настроения этих арестантов служат подаваемые ими прошения, в которых, между прочим, многие ходатайствуют о переводе их в крепость. Равным образом необходимо воспрещение заключения виновных в проступках арестантов в описанные выше карцеры, превышающее несколько часов, и устранение тех мер, которые начальство дома заключения принимало для усиления тягости этого наказания, как-то: увеличения топки паровых котлов для возвышения температуры карцеров, недостаток воды для питья, оставление в карцерах по дням нечистот и т. п.

Все вышеизложенное имею честь представить вашему сиятельству, на основании ст. 18 инструкции по управлению с.-петербургским домом предварительного заключения, так как не вижу возможности ожидать каких-либо полезных последствий от прямого обращения моего к непосредственному начальству дома заключения, т. е. к комитету для высшего им руководства и к с.-петербургскому градоначальнику; к первому потому, что я уже неоднократно сносился с ним о принятии мер к прекращению существующих в доме заключения беспорядков,

и сношения мои не только не имели никаких результатов, но даже оставались без всякого ответа; к последнему же потому, что все указанные действия администрации дома заключения, между прочим, попытки устраниться от законного подчинения прокурорскому надзору, произошли вслед за распоряжениями, сделанными генерал-адъютантом Треповым 13 сего июля в доме заключения, и потому, хотя, конечно, не соответствовали характеру этих распоряжений, тем не менее для успешного преследования нуждаются в содействии более высшей власти.

Прокурор судебной палаты Фукс

№ 7046
Июля 29, д. 1877 г.

СТАТЬЯ Б. Н. ЧИЧЕРИНА О ДЕЛЕ ЗАСУЛИЧ[248]

Оправдание Веры Засулич вызвало в обществе самые противоположные толки. Одни, притом даже люди высокопоставленные, принадлежащие к высшим слоям общества и администрации, радуются приговору, видя в нем торжество правды; другие, напротив, скорбят о подобном исходе, усматривая в нем потачку политическому убийству и торжество потайного, революционерного правительства над законным. Это различие суждений показывает, что дело имеет две стороны. К оправданию влечет человеческое чувство жалости к подсудимой, к ее несчастной молодости, к ее бескорыстному самоотвержению, чувство, к которому присоединяется негодование против полицейского произвола; за осуждение же говорят потребность общественной защиты и то незатемненное нравственное сознание, которое в коварном убийстве всегда видит нарушение не только права, но и нравственных начал. Присяжные увлеклись первою стороною; государственные люди, естественно, должны дать перевес последней. Приговор 31 марта несомненно составляет один из самых прискорбных фактов нашей общественной жизни, факт, который нельзя оставить без внимания.

Причин подобного явления следует искать не в обстоятельствах второстепенного свойства, в слабой речи проку-

рора, в недостаточной настойчивости председателя, как думают некоторые. Если речь прокурора была слаба, то председателем, с точки зрения обыкновенного суда, дело было ведено совершенно правильно. Председатель находился в печальном положении тех порядочных людей, которые, стоя между произволом и самоуправством, обречены на бессилие, потому что нигде не обретают опоры. Но если бы прокурор был во сто раз сильнее, а председатель настойчивее в своем обращении к присяжным, то дело все-таки едва ли могло решиться иначе. Коренная ошибка заключалась в предоставлении чисто политического дела присяжным, которые всегда склонны увлекаться более естественными чувствами, нежели соображениями общественной пользы, а в настоящем случае, своим обвинительным приговором, казалось, оправдали бы тот самый произвол, против которого возмущается общество. Самодержавное правительство не могло отдать действия своего представителя на суд присяжным. Подобную ошибку исправить легко ясными определениями закона. Но дело не в ней, а в том, что́ обнаружилось ею. Настоящий процесс раскрыл более существенное зло, заключающееся в нашем общественном строе, именно, то коренное, несовместимое противоречие, которое лежит между преобразованиями нынешнего царствования и системою произвола, внесенною в полицейскую деятельность после прискорбного события 4 апреля 1866 г. Самое поразительное впечатление на суде произвело то место в речи защитника, в котором он, превознося закон, отменивший телесное наказание, и монарха, издавшего этот закон, указывал на сохранившиеся еще в настоящее время остатки прежнего порядка. И самый суд представлял тоже вопиющее противоречие: с одной стороны — действия, возможные только при полном бесправии; с другой стороны — обличение этих самых действий пред лицом общества, пред высшими сановниками государства. В этом

противоречии заключается главный источник тех печальных явлений, которые поражали нас в последнее время.

Полицейская система, водворившаяся в 1866 г., была вызвана революционерным своеволием, распространившимся в русском обществе. Желание противодействовать этим стремлениям было вполне законное; но способ исполнения, вместо того, чтобы уменьшить зло, еще более его усилил. Если своеволие вызывает произвол, то произвол, в свою очередь, вызывает своеволие. Это две крайности, которые почти всегда следуют друг за другом. Победить их может только высшее начало законного порядка. Эта мысль и была положена в основание преобразований нынешнего царствования. Но русское общество не успело еще свыкнуться с новым жизненным строем, как оно было совершенно сбито с толку возрождением полицейской деятельности в прежней ее форме. Преобразования остались, но рядом с ними установилась система, не имевшая с ними ничего общего, система полицейских преследований, произвольных арестов, административных ссылок. Мудрено ли, что общество пришло в недоумение, что все мысли перепутались, что в самой политике правительства обнаружилась неисцелимая двойственность? Результаты этого противоречия у нас на глазах: они проявились в усилении пропаганды, в скандальных политических процессах, наконец, в деле Засулич. Общество, к которому в лице присяжных взывало правительство, не могло дать ему поддержки, ибо оно в своей совести осуждало систему, вызвавшую преступление, и боялось закрепить ее своим приговором.

Необходимо выйти из этого положения. Правительство, которое хочет внушить к себе уважение и давать направление обществу, может иметь только одну политику, а не две. Но из двух противоположных путей, которые открываются перед ним, один, путь чистого произвола, в настоящее время немыслим. Для этого нужно бы было

уничтожить все совершившиеся преобразования, отнять у России дарованные ей права, права, с которыми она сжилась, которыми она дорожит, за которые она бесконечно благодарна державному создателю нового порядка.

Немыслимо и усиление мер строгости. Это значило бы увеличивать противоречие, а не уменьшить его. В настоящую минуту, в особенности, когда от России требуется столько жертв, когда она показала уже столько самоотвержения, такая политика была бы в высшей степени неблагоразумна. Россия не может быть наказана за приговор петербургских присяжных. Остается, следовательно, только другой путь, именно: честное и откровенное вступление на почву законного порядка.

Но, решаясь на такой шаг, необходимо дать себе ясный отчет, что значит вступить на почву законного порядка. Это дело вовсе не легкое. Если бы вся задача ограничивалась исполнением предписанных законом форм, то, без сомнения, для этого не требовалось бы ни особой мудрости, ни особенного умения. Но правительство, стоящее во главе общества и призванное им руководить, не может ограничиться мертвым формализмом. Оно должно поддержать силу власти, иметь нравственный авторитет. Оно должно итти твердым шагом среди бесчисленных задержек, созданных им самим установленным порядком вещей. Нет ничего легче, как действовать путем произвола. Тут все просто и препятствий нет никаких. Но когда приходится иметь дело с самостоятельными силами, считаться с разнообразными интересами, улаживать постоянно возникающие столкновения, и при этом сохранить всю свою твердость и все свое обаяние, то задача становится гораздо сложнее. Первобытная простота произвола может довольствоваться и первобытными средствами; совершеннейший способ действий требует и усовершенствованных орудий. В настоящее время они тем необходимее, что пра-

вительству приходится бороться с опасным и глубоко вкоренившимся общественным злом.

Нельзя скрывать от себя, что революционная пропаганда в России не уменьшается, а увеличивается. Умы русской молодежи заражены самыми противообщественными стремлениями. Причины этому отчасти внешние, отчасти внутренние. Внешние заключаются в распространении социалистических учений в низших классах, особенно в Германии. При скудном образовании русского общества, эти учения отражаются в нем чисто с отрицательной стороны: проповедуется всеобщее разрушение, в надежде, что потом что-нибудь само собою создастся. За границею образовался комитет русских эмигрантов, который, повидимому, руководит всем этим движением. Уничтожить это зло правительство не в силах, но можно и должно всеми средствами ему противодействовать, устраняя по возможности те внутренние причины, которые приготовляют ему почву.

Эти причины заключаются главным образом в том, что молодежь, всегда склонная к мечтательности и увлечениям, нигде не находит опоры и руководства, ни в семье, ни в школе, ни в литературе, ни в обществе. Русская семья в настоящее время потеряла всякие предания. Не только новые преобразования, которые изменили весь строй русской земли, но и совершившийся в жизни умственный перелом безвозвратно унесли все прошлое. Те понятия, верования, стремления, которыми жили наши отцы, кажутся теперь какими-то уродливыми остатками ископаемого царства. А нового ничего не приобретено. При низкой степени умственного развития русское общество пришло только к полному умственному хаосу. Предания исчезли, а крепкие убеждения, которые даются образованием, не успели выработаться. И вот мы видим, что старые поколения поступают в учение к новым, видим в них провозвестников будущего. Не дети считают отцов,

а отцы признают детей своими руководителями. Юноша в России является не подчиненным членом общества, а самостоятельным деятелем, новым центром общественной жизни. С своей стороны школа, которая могла бы исправить этот жизненный недостаток, все более и более теряет авторитет над молодыми умами. В прежнее время она привлекала к себе лучшие умственные силы страны. Теперь эти силы обращаются к другим поприщам или вытесняются рутиною. Так, школьный порядок, который существовал до 1848 г., разрушался более и более, и теперь, наконец, разрушение достигло крайних пределов. Думали восстановить порядок дисциплинарными мерами и классическою реформою. Но бездушная дисциплина вызывает только большую оппозицию, а нелепое зубрение латинской и греческой грамматик, под руководством плохих учителей, не в состоянии внушить молодым умам ничего, кроме отвращения к тому классическому образованию, которое они должны себе усвоить. В школе, сверху донизу, господствует рутина и пошлость. Всякий нравственный авторитет исчез; всякое живое общение между преподавателем и учащимся прекратилось. А там, где оно еще существует, преподаватель не может внушить ученикам ничего, кроме осуждения того, что делается сверху. Естественно, что такое состояние просвещения отражается и на литературе. И тут серьезная мысль становится редкостью. Чтение газет заменило чтение книг. Легкомысленная оппозиция составляет преобладающее явление, а те немногочисленные органы, которые держатся иного направления, преследуют своекорыстные цели и не имеют ни малейшего влияния на молодые умы. Наконец, и общество, стоя между либеральными преобразованиями и вновь водворившимся произволом, потерявшее прежнюю устойчивость и не успевшее приобрести новой, распадающееся внутри себя и не имеющее опоры в правительстве, не в состоянии ввести подрастающие поко-

ления в ту жизненную колею, которая полагает предел всяким мечтаниям и дает человеку определенные жизненные цели. В настоящее время даже зрелые люди выбиты из своей дороги и не находят себе настоящего поприща. Мудрено ли, что юноши, среди этого всеобщего умственного и нравственного шатания, теряют всякое внутреннее равновесие и всецело отдают себя той революционной шайке, которая одна знает, чего хочет, и с фанатическою самоуверенностью направляет их к своим разрушительным целям?

Противодействовать этому глубокому, постоянно возрастающему злу составляет прямую обязанность как правительства, так и общества. Но противодействовать можно не принятием каких-либо новых мер. Мера — не что иное как клочок бумаги, который и остается бумагою. Дело не в мерах, а в людях, не в предписании, а в исполнении. Конечно, гораздо легче написать программу занятий латинского языка, нежели образовать хороших учителей, могущих иметь влияние на юношество; но первое ни к чему не ведет без последнего. Существенная задача правительства состоит в приискании образованных орудий для тех умственных и нравственных целей, которые неотразимо перед ним возникают, для упрочения своего нравственного авторитета, для восстановления своего влияния на общество. Чтобы сохранить свою силу, действуя на законной почве, надобно уметь держаться разумной середины между возмущающим произволом и предательским слабодушием. Не преданность и покорность в состоянии дать органу власти эту способность, а ясная мысль и твердая воля, которые одни делают человека человеком. Что в настоящее время орудия правительства в значительном большинстве стоят ниже посредственности, это, повидимому, признается всеми. Последний политический процесс явным образом обнаружил их несостоятельность. Дело первостепенной важности,

требовавшее особенной осмотрительности, было вверено таким лицам, которые сумели во всех углах России возбудить негодование: везде пошли толки об обвиняемых, налагающих на себя руку, о свидетелях, которые по целым месяцам сидят в остроге, об административных ссылках лиц, ни в чем неповинных. В судебных прениях раскрылась только малая часть того, что творилось, ибо многие сотни людей, задержанных и нередко погубленных, не попали на скамью подсудимых.

При таких условиях может ли правительство сохранить подобающее ему влияние? Общество настолько уважает правительство, насколько оно может уважать те лица, которые являются его органами. Если же оно в законодателе видит не мыслящего человека, а чистого формалиста, в администраторе тупого чиновника или лихоимца, в представителе суда не защитника, а притеснителя, в людях, которым вверено руководство народного образования, не просвещенных деятелей, а покрывателей всякой пошлости и всякой грязи, то какое оно может иметь доверие к власти и какое может оно оказать ей содействие? Благие намерения государя не подлежат ни малейшему сомнению; они яркими чертами написаны на каждой странице настоящего царствования. Но исполнение так далеко отстоит от намерений, что сердце русского человека не может не быть поражено глубокою скорбью при том зрелище, которое представляет ныне наше отечество. Все расшаталось, нигде нет ни ясной мысли, ни твердой точки опоры. Умы опошлились, характеры исчезли, уровень образования понизился. И вот мы дожили, наконец, до того небывалого зрелища, что законное правительство, в борьбе с противообщественными элементами, с подпольною властью, действующею путем убийств, встречает публичное осуждение со стороны официальных представителей общества. Оставаться в таком положении нет возможности. Надобно искать исхода, и его

могут найти только совокупные усилия правительства и общества.

Не новых преобразований мы просим, а людей, людей, ради бога людей!

5 апреля
1878 г.

В Уголовный кассационный департамент Правительствующего сената

Товарища прокурора петербургского окружного суда Кессель

Кассационный протест

В с.-петербургском окружном суде, по 1-му отделению, с участием присяжных заседателей рассматривалось 31 марта 1878 г. дело о дочери капитана Вере Ивановой Засулич, преданной суду по обвинению в предумышленном покушении на убийство с.-петербургского градоначальника, генерал-адъютанта Трепова, т. е. в преступлении, предусмотренном 9 и 1454 ст. Улож. На основании отрицательного ответа присяжных заседателей на поставленный им судом вопрос о виновности Засулич, последняя признана судом оправданной.

Такое решение присяжных заседателей, а равно и основанный на этом решении приговор суда надлежит признать неправильными и подлежащими отмене со всеми их последствиями, в виду того, что судом при производстве дела о Засулич совершены были следующие нарушения существенных форм судопроизводства:

1) По вручении Засулич 16 марта 1878 г. утвержденного с.-петербургскою судебною палатою обвинительного акта, коим Засулич была предана суду по обвинению в вышеозначенном преступлении, защитник Засулич, — присяжный поверенный Александров, 21 и 22 числа того же марта, между прочим, ходатайствовал перед судом о вызове в судебное заседание по сему делу не спрошенных на предварительном следствии дворян Голоушева, Щиголева, Куприянова, Волховского, Петропавловского, Федоровича и дочери священника Кувшинской для допроса их в качестве свидетелей об обстоятельствах, вызвавших и сопровождавших произведенное по распоряжению генерал-адъютанта Трепова наказание содержавшегося в доме предварительного заключения арестанта Боголюбова. При этом присяжный поверенный пояснил, что все указанные лица были очевидцами вышеозначенных обстоятельств наказания Боголюбова, что рассказы об этом наказании сделались потом известны Засулич и, как видно из ее объяснений, внесенных в обвинительный акт, повлияли на ее решимость совершить то деяние, за которое она была предана суду.

С.-петербургский окружный суд по 1-му отделению, в распорядительном заседании 23 марта, в просьбе защитника Засулич о вызове указанных свидетелей отказал, и отказ этот мотивировал тем, «что свидетели эти имеют показывать по обстоятельствам, не составляющим, по мнению суда, предмета настоящего дела, и что, по мнению суда, свидетели эти не могут разъяснить своими показаниями мотивы преступления, так как подсудимая не указывает, чтобы от кого-либо из них она слышала о причинах и поводах наказания Боголюбова розгами, и затем показания их не могут содержать в себе каких-либо достоверных данных для

суждения о существе тех рассказов, которые повлияли, по заявлению защитника, на ее решимость». Несмотря на такое определение, председатель суда, видимо, убежденный в праве своем вызвать каких бы то ни было лиц в качестве свидетелей на счет обвиняемой по 576 ст. Уст. угол. суд., разрешил защитнику Засулич по новому его ходатайству от 24 марта пригласить в судебное заседание по делу Засулич тех же вышепоименованных лиц по добровольному с ними соглашению, а двух из них (Волховского и Куприянова) распорядился вызвать на счет Засулич, несмотря даже на то, что в ходатайстве от 24 марта защитник Засулич, не указывая никаких новых обстоятельств, выяснение которых он признавал бы необходимым, сослался только на 576 ст. Уст. угол. суд., другими словами, повторил, что он желает допрашивать этих лиц о тех же фактах, с целью выяснения которых он предъявил свое первое, не уваженное судом, ходатайство 21 и 22 марта. Согласно такому распоряжению председателя суда, во время судебного следствия по делу З а с у л и ч были допрошены приглашенные защитником Петропавловский, Голоушев, Щиголев и Чарушина (она же Кувшинская) в качестве свидетелей тех фактов, о выяснении которых через допрос этих лиц ходатайствовал 21 и 22 марта защитник Засулич.

Допрос этих лиц надлежит признать явным нарушением 575 и 576 ст. Уст. угол. суд. Указанные статьи устанавливают два различные порядка вызова и приглашения неопрошенных на предварительном следствии свидетелей, которые не помещены в списке, приложенном к обвинительному акту, но о допросе которых просит участвующее в деле лицо. Применение того или другого порядка зависит (как это видно из текста 575 ст. и сопоставления этой статьи с 576-й) от большей или меньшей основательности причин, пред-

ставляемых стороною в подкрепление своей просьбы, и большей или меньшей важности обстоятельств, подлежащих разъяснению через допрос этих свидетелей. Но, во всяком случае, из точного смысла этих статей устава явствует, что тем или другим определенным в них порядком могут быть вызваны в суд в качестве свидетелей только такие лица, для вызова которых указаны участвующим в деле какие-либо причины, представляющие хотя некоторую долю основательности, и только такие лица, показания которых могут разъяснить какие-либо обстоятельства, хотя сколько-нибудь относящиеся к делу. Но если суд признает, что участвующий в деле просит о вызове или о дозволении пригласить в суд в качестве свидетелей таких не спрошенных на предварительном следствии лиц, для оправдания вызова или приглашения которых представлены участвующим в деле причины, не заключающие в себе решительно никаких оснований; если суд признает, что допрос этих лиц вовсе не может повести к разъяснению тех обстоятельств, которые хотя сколько-нибудь относятся к делу, то в таком случае лиц этих суд вовсе не может вызывать и предоставлять приглашать в судебное заседание и допрашивать в качестве свидетелей. Как в 575, так и в 576 ст. Уст. угол. суд. трактуется о вызове или приглашении в суд не спрошенных на предварительном следствии «свидетелей», «свидетелем» же может быть считаемо только такое лицо, относительно которого предполагается, что оно имеет что-либо показать по делу; если же суд признает, что такое лицо ничего по данному делу показать не имеет, то, следовательно, данное лицо не есть свидетель по данному делу, и допрос такого лица является допросом его не по данному делу, а по какому-то другому, неизвестному ни суду, ни сторонам, участвующим в данном деле. Применяя выше-

изложенные соображения к делу Засулич и принимая во внимание, что защитник последней ходатайствовал о вызове в судебное заседание таких лиц, допросом которых в качестве свидетелей могли быть, по мнению защитника, выяснены мотивы преступления, в коем обвинялась Засулич; что окружный суд, отвергнув это ходатайство, признал, что допросом этих лиц не только не может быть выяснен мотив преступления, но что, кроме того, лица эти имеют показывать по обстоятельствам, не составляющим предмета настоящего дела; что после того как состоялось такое определение суда, те же самые лица были тем не менее приглашены в судебное заседание по делу Засулич и допрошены в качестве свидетелей без представления защитником Засулич каких-либо новых причин к допросу, а равно и без указания каких-либо новых обстоятельств, подлежащих разъяснению через допрос этих лиц, выставленных защитником Засулич для засвидетельствования об обстоятельствах, вызвавших и сопровождавших наказание арестанта Боголюбова по распоряжению генерал-адъютанта Трепова, — следствие по обвинению Засулич в покушении на убийство генерал-адъютанта Трепова обратилось в следствие о таких действиях генерал-адъютанта Трепова, которые, как признал суд, не составляли предмета дела и не могли выяснить мотивов деяния, в коем обвинялась Засулич; что такое направление следствия могло произвести на присяжных заседателей неблагоприятное впечатление относительно действия потерпевшего, надлежит заключить, что окружный суд, допустив по делу Засулич, при указанных обстоятельствах, допрос Петропавловского, Голоущева Щиголева, Чарушиной (она же Кувшинская), нарушил 575 и 576 ст. Уст. угол. суд., разъясненные решением угол. касс. департ. сената 1869 г., № 852, согласно

которому не могут быть допрашиваемы такие лица, допрос которых может «запутать в интересах обвиняемого судебное следствие».

2) Вышеизложенное нарушение форм судопроизводства, само по себе безусловно существенное, еще более усилено было способом допроса вышеозначенных Петропавловского, Голоушева, Щиголева и Чарушиной (она же Кувшинская), которым, как видно из замечаний моих на протокол судебного заседания по настоящему делу, не было предложено рассказать все, что им известно по обвинению Засулич в покушении на убийство генерал-адъютанта Трепова, но прямо было предложено рассказать, что они знают об обстоятельствах наказания Боголюбова.

Указанный способ допроса составляет столь очевидное нарушение 718 ст. Уст. угол. суд., что я не вижу необходимости утруждать Правительствующий сенат изложением доводов о незаконности этого способа допросов.

В данном случае упомянутое нарушение является еще более существенным, так как этим была нарушена и 611 ст. Уст. угол. суд., разъясненная решением Угол. касс. департ. сената 1869 г., № 298, по которой председатель обязан устранять при производстве следствия все не относящееся к делу, причем следует заметить, что, применив указанный способ допроса лиц, приглашенных в суд защитником в качестве свидетелей, председатель вступил в пререкание с вышеозначенным определением суда от 24 марта.

4) Во время судебного следствия окружный суд отказал мне в просьбе о прочтении имеющейся при деле копии с предписания градоначальника о наказании Боголюбова. Хотя окружный суд и мотивировал свой отказ тем соображением, что удовлетворение моего ходатайства составляло бы нарушение 687 ст. Уст.

угол. суд., но при этом суд не принял во внимание, что если бы даже прочтение означенной копии и составляло нарушение 687 ст. Уст. (которая, впрочем, как я докажу ниже, вовсе не была бы нарушена прочтением этой копии), — то суд обязан был бы исполнить мою просьбу по точному смыслу 630 ст. Уст. угол. суд., согласно которой как обвинитель, так и защитник пользуются на суде одинаковыми правами.

Действительно из протокола судебного заседания по делу Засулич видно, что до предъявления мною вышеозначенной просьбы суд, распорядившись, по просьбе защитника и вопреки моему возражению, прочитать статью неизвестного автора о наказании Боголюбова, помещенную в № 502 газеты «Новое время» за 1877 г., нарушил уже 687 ст. Уст. угол. суд. в интересах защиты Засулич.

Хотя окружный суд и признал, что означенный номер газеты «Новое время» приобщен к делу в качестве вещественного доказательства, но такое определение суда противоречит 371 ст. Уст. угол. суд., разъясненной решениями угол. касс. департ. сената 1871 г. за № 1045 и 1873 г., № 221, согласно которым письменные документы тогда только могут быть считаемы вещественными доказательствами, когда они, в качестве таковых, внесены в протокол судебного следователя. Между тем об означенном номере газеты «Новое время», присланном редакцией этой газеты судебному следователю по его требованию, упоминается только в одном, составленном по 476 и 478 ст. Уст. угол. суд., протоколе о заключении следствия, причем из протокола этого вовсе не видно, чтобы означенный номер газеты «Новое время» был приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (л. д. 68-й и 192-й). Нельзя при этом не обратить внимания, что окружный суд, признав означенный номер газеты

«Новое время» вещественным доказательством, сам последующими своими действиями опровергнул таковое определение, ибо прочитал только одну из статей, помещенных в этом номере, а между тем из протокола заседания видно, что суд признал вещественным доказательством не какую-либо определенную часть этого номера, а весь номер; далее суд не осмотрел этого номера сам и не предъявил его ни сторонам, ни присяжным заседателям, вопреки 697 ст. Уст. угол. суд., которая, как видно из протокола судебного заседания, была, однако, соблюдена судом относительно другого документа, действительно составлявшего вещественное по делу доказательство, а именно прошения от имени Козловой.

Впрочем и не может подлежать сомнению, что экземпляр того или другого номера газеты, журнала или отдельной статьи, и не носящей на себе каких-либо индивидуальных, свойственных только этому экземпляру признаков, не может быть признаваем вещественным доказательством, за исключением тех случаев, в которых каждый таковой экземпляр составляет corpus delicti sui generis, так, например, каждый экземпляр сочинения противузаконного содержания или напечатанного без надлежащего разрешения составляет вещественное доказательство нарушения цензурных правил, клеветы и т. п. Во всех остальных случаях печатный или письменный экземпляр какого-либо документа тогда только может быть признан вещественным доказательством, когда он обладает характерными, одному только этому экземпляру свойственными признаками, связующими его с данным делом, по которому этот печатный или письменный экземпляр является вещественным доказательством. Не каждый топор из многих совершенно одинаковых топоров, находящихся в лавке торговца

этими инструментами, может быть признан вещественным доказательством по делу об убийстве, совершенном в этой лавке одним из этих топоров, а только тот топор, на котором имеются следы крови или иные какие-либо индивидуальные признаки, указывающие на то, что преступление было совершено именно этим топором. Таким же образом, за исключением случая, когда письменный или печатный экземпляр документа представляет собою corpus delicti, во всех остальных случаях письменный или печатный экземпляр документа может быть признаваем вещественным доказательством только тогда, если по внешним или по внутренним своим признакам он представляется не тождественным с другими подобными экземплярами, а единственным в своем роде. Иное толкование разрушило бы различие между «письменным» или «печатным документом» и «вещественным доказательством», и самое выражение «вещественное доказательство» приобрело бы совершенно превратное значение.

Становясь на эту единственно правильную точку зрения, надлежит заключить, что окружный суд, признав приобщенный к делу экземпляр № 502 газеты «Новое время» за 1877 г. вещественным по делу доказательством, нарушил 371 ст. Уст. угол. суд., что поэтому прочтение одной из статей, помещенных в означенном номере газеты «Новое время», не может быть считаемо установленным в 697 ст. Уст. угол. суд. обозрением вещественного доказательства и что таким образом означенное прочтение статьи составляет не что иное как чтение документа и притом такое чтение, которое состоялось вопреки возражению обвинителя и с нарушением 687 Уст. угол. суд.

Действительно, хотя подсудимая в объяснениях своих, внесенных в обвинительный акт, ссылалась на прочтенные ею статьи газет, но из этого не следует,

чтобы прочтенная, по распоряжению суда, во время судебного следствия вышеупомянутая газетная статья о наказании Боголюбова подходила под чтение тех документов, которые разрешаются 629 ст., ибо, по точному смыслу этой статьи, разъясненной многими решениями уголовного кассационного департамента сената и, между прочим, решением 1868 г., № 191 и 1869 г., № 617, подсудимый может требовать прочтения на основании этой статьи только тех из приобщенных к делу документов, которые удовлетворяют требованиям 687 ст. Уст. угол. суд. Засим не может подлежать никакому сомнению, что такой письменный документ, как газетная, неизвестно кем написанная, статья, не принадлежит к числу тех документов или актов, которые могут быть прочитаны на суде по 687 ст. Уст. угол. суд. и которые сенат в некоторых решениях своих приравнивает к поименованным в 687 ст. протоколам об осмотрах, освидетельствованиях, обысках [и выемках, чтение коих обязательно для суда по требованию стороны. Из вышеизложенного следует заключить, что, распорядившись прочтением в судебном заседании по делу Засулич упомянутой газетной статьи о наказании Боголюбова, окружный суд нарушил 687 ст. Уст. угол. суд., что нарушение это совершено в интересах защиты подсудимой, по требованию которой статья была прочитана, несмотря на возражение обвинителя, и что посему, на основании 630 ст. Уст. угол. суд., разъясненной решениями угол. касс. департ. сената 1870 г., № 533, 1871 г., № 247, 1873 г., № 513, в видах соблюдения установленной этой статьею равноправности сторон суд обязан был удовлетворить мое требование о прочтении копии с приказа градоначальника о наказании Боголюбова, даже и в том случае, если бы таковым прочтением нарушилась 687 ст. Уст. угол.

Между тем, требование мое о прочтении копии с упомянутого приказа градоначальника не только не выходило из пределов прав, предоставленных мне 687 ст. Уст. угол. суд, но и вполне было основано на этой статье устава.

Из протокола судебного заседания не видно, почему окружный суд полагал, что ходатайство мое не согласно с 687 ст. Уст. угол. суд., так как в протоколе сказано только, что суд, отказывая в исполнении моей просьбы, руководствовался решением по делу Зимина, а в примечании к протоколу суд заявил, что «решение угол. касс. департ. по делу Зимина цитировано председателем по ошибке вместо кассационных решений по делам Княжнина и Михина (1869 г., №№ 617 и 952)». Из решений 1869 г. за № 617 видно, что сенат признал правильным отказ суда в прочтении приобщенных к делу писем частных лиц, постановления об аресте подсудимых, показания их у судебного следователя и справки из тюрем. Что же касается решения по делу Михина, то надо полагать, что цитата на это решение сделана также «по ошибке», ибо под № 952 в официальном сборнике уголовных кассационных решений помещено решение по делу не Михина, а Трофимова, из этого же последнего видно, что сенат признал правильным отказ суда в прочтении: a) отзывов, данных полицией подсудимым и его братом по гражданскому делу, b) в прошении истца и полицейского акта о несостоятельности подсудимого и c) предписания управы благочиния надворному суду об основаниях, по коим управа признала необходимым дело, производившееся в гражданском суде, обратить к уголовному производству. Из этого должно заключить, что копию с приказа градоначальника о наказании Боголюбова суд считал или справкой из тюрьмы, или, быть может, бумагой, подобной приведенному предписанию управы благочи-

ния. В первом случае окружный суд приравнял со справкою тюрьмы предписание градоначальника на имя управляющего домом предварительного заключения, ибо предписание это составлено не смотрителем тюрьмы, а градоначальником, которого нельзя считать тюремным чиновником только потому, что на нем, как на губернаторе города Петербурга, лежит высший надзор и наблюдение за тюрьмами, находящимися в Петербурге. Приравнять к справке из тюрьмы предписание градоначальника только потому, что верность с подлинником имеющейся при деле копии с этого предписания засвидетельствована управляющим домом предварительного заключения, нельзя потому, что копия эта засвидетельствована управляющим не в качестве тюремного чиновника, а в качестве должностного лица, в руках которого находится подлинное предписание и который поэтому только один и может засвидетельствовать верность копии с означенного предписания; при этом совершенно безразлично, кем бы ни была засвидетельствована таковая копия, лишь бы только засвидетельствование это было произведено должностным лицом, имеющим на это право. В этом отношении надлежит еще иметь в виду, что означенная копия доставлена управляющим по требованию судебного следователя, приобщившего эту копию к делу; по статьям же 270 и 368 Уст. угол. суд. все должностные лица обязаны исполнять законные требования судебного следователя и выдавать к следствию находящиеся у них письменные доказательства. Кроме того, суд, определением от 24 марта, признал, что в виду его «нет оснований сомневаться в соответствии копии с предписания градоначальника за № 6641 от 13 июля 1877 г. с подлинным предписанием и что к возникновению таковых сомнений суд не видит законных поводов». Одинаковым образом нельзя приравни-

вать означенного предписания и к предписанию управы благочиния, в коем излагаются основания к изменению гражданского хода дела в уголовный, ибо такое предписание управы заключает в себе не установленные судебным порядком данные, доказывающие виновность подсудимого, тогда как в предписании градоначальника о наказании Боголюбова таковых данных о Засулич не заключается, ибо в нем излагаются только мотивы распоряжения градоначальника о наказании Боголюбова и сущность этого распоряжения.

Из этого видно, что то решение Угол. касс. департ. сената, на которое окружный суд сослался, отказывая в моей просьбе, а равно и то решение, на которое, быть может, суд желал сослаться, не относятся к настоящему делу. Между тем, мотивировав свой отказ не относящимися к данному делу решениями, суд в то же время не принял во внимание других решений Угол. касс. департ. сената, по которым следовало исполнить мою просьбу. Так, суд не принял во внимание, что просьбу о прочтении предписания градоначальника о наказании Боголюбова я предъявил после дачи Петропавловским показания о наказании Боголюбова и после прочтения, по просьбе защитника, неизвестно кем составленной газетной статьи о том же предмете, и что по силе решения 1874 г., № 302, сторонам не может быть отказано в прочтении документов, коими опровергаются свидетельские показания. Далее суд не принял во внимание, что, по силе решений 1872 г., № 257 и 1873 г., № 606, по требованию стороны должны быть прочитаны такие официальные бумаги должностных мест и лиц, в которых излагаются справки и сведения, не могущие сделаться известными суду иным путем, как только прочтением таковых бумаг. Между тем, изложенные в вышеозначенном предписании градоначальника мотивы

наказания Боголюбова ни в коем случае не могли сделаться известными суду иначе как прочтением этого предписания, так как, во-первых, мотивы этого распоряжения могли быть вполне известны только лицу, сделавшему данное распоряжение, т. е. генерал-адъютанту Трепову, который по болезни не мог быть допрошен на суде, и так как, во-вторых, даже свидетельское показание самого генерал-адъютанта Трепова могло бы не выяснить суду этих мотивов, ибо градоначальник мог бы сослаться по этому предмету на данное им предписание, так как, в-третьих, генерал-адъютант Трепов, спрошенный по делу Засулич в качестве свидетеля, мог бы показывать только об известных ему фактах, не входя, однако, в объяснения этих фактов, как это видно из 718 и 722 ст. ст. Уст. угол. суд., разъясненной решением Угол. касс. департ. сената 1869 г., № 575.

На основании всего вышеизложенного надлежит заключить, что окружный суд, отказав в просьбе моей о прочтении вышеозначенного предписания градоначальника, нарушил 687 ст. Уст. угол. суд. Что же касается того обстоятельства, что председатель суда, после объявления об отказе суда в исполнении моей просьбы, напомнил присяжным заседателям сущность внесенного в обвинительный акт вышеозначенного предписания, а также, что касается ответа моего на предложенный мне вслед за тем председателем вопрос, считаю ли я себя удовлетворенным таким объяснением, то по этим обстоятельствам признаю необходимым изложить следующее: по поводу возникшего между мною и судом разноречия, изложенного в протоколе судебного заседания и I пункте моих на него замечаний относительно тех выражений, в которых я ответил на вопрос председателя, я заранее подчиняюсь объяснению суда в том случае, если суд подтвердит, что ответ

мой был дан в тех выражениях, в которых он изложен в протоколе, так как я не могу не признать, что память лиц, составляющих коллегию, обязанную по закону быть посредником между сторонами, легче и с большею точностью могут восстановить выражения, в коих мое заявление было сделано. Но в то же время я должен заявить, что ответ мой даже и в тех выражениях, которые изложены в протоколе, не мог иметь никакого иного смысла, кроме того, что я считаю себя удовлетворенным постольку, поскольку я мог быть удовлетворен после отказа суда исполнить мою просьбу, так как отказ этот являлся уже в это время состоявшимся фактом. Иного смысла ответ мой иметь не мог по той же причине, по которой не мог иметь иного смысла и вопрос, предложенный мне председателем суда, так как очевидно председатель суда не мог спрашивать меня с целью узнать у меня, признаю ли я себя все-таки неудовлетворенным отказом суда в исполнении моей просьбы о прочтении всего предписания градоначальника о наказании Боголюбова, а не об изложении сущности этого предписания. Я утверждаю, что вопрос председателя не мог иметь иного смысла, потому что не представлялось никаких сомнений относительно неизбежности отрицательного ответа моего в том случае, если бы председатель прямо спросил меня, признаю ли я себя удовлетворенным отказом суда в исполнении моей просьбы, точно так же, как не представлялось никакой возможности предположить, чтобы суд при каком бы то ни было моем ответе и при отсутствии каких-либо вновь обнаруженных судебным следствием фактов, мог бы отменить свое определение об отказе в исполнении моей просьбы и просьбу эту удовлетворить. И действительно, из буквального смысла как вопроса председателя, так и моего ответа на этот вопрос явствует, что председатель

спросил меня, признаю ли я себя удовлетворенным по предмету его объяснения, а я ответил, что признаю себя удовлетворенным по этому предмету, причем, ни в том, ни в другом вовсе и не упоминается о возбуждении вновь вопроса о прочтении предписания градоначальника, так как вопрос этот уже ранее был решен окончательно и не мог быть вновь поднят на суде. При этом следует заметить, что напоминание присяжным заседателям того, что внесено в обвинительный акт, вовсе не есть какое-либо действие, смягчающее отказ суда в удовлетворении моего ходатайства, ибо обвинительный акт был уже прочитан присяжным заседателям, не было оснований предполагать, что они позабыли его содержание, и кроме того судебное следствие состоит не в напоминании той или другой части обвинительного акта, а в проверке последнего.

В виду этих соображений, следует признать, что ответ мой ни малейшим образом не изменил характера вышедоказанного нарушения 687 ст. Уст. угол. суд. произведенного отказом суда в исполнении моей просьбы.

Сопоставляя теперь все вышеизложенные нарушения форм судопроизводства, совершенные окружным судом при судебном рассмотрении дела по обвинению Засулич в покушении на убийство генерал-адъютанта Трепова, оказывается, что, во время производства судебного следствия о действиях Засулич суд допустил вопреки 575, 576, 611 и 718 ст. ст. Уст. угол. суд. производство следствия и о действиях генерал-адъютанта Трепова, каковое следствие примешало к делу такие обстоятельства, которые, по мнению самого суда, вовсе не касались предмета дела и не могли объяснить мотивов деяния, в коем Засулич обвинялась, и которые могли произвести на присяжных заседателей неблагоприятное впечатление относительно действий по-

терпевшего, за сим, во-вторых, окружный суд, вопреки 871, 629 и 687 ст. Уст. угол. суд., прочел, с нарушением 697 ст. Уст. угол. суд. неизвестно кем написанную газетную статью о действиях того же потерпевшего, составляющую не что иное, как изложение слуха, неизвестно от кого исходящего, причем, допуская чтение этой статьи, вопреки моему возражению, суд не обратил внимания, что даже свидетелям, дающим на суде показания лично и под присягою, закон воспрещает примешивать к делу посторонние обстоятельства и неизвестно от кого исходящие слухи, каковое действие суда могло, в интересах защиты, еще более усилить в присяжных заседателях вышеозначенное неблагоприятное впечатление относительно действий потерпевшего и, наконец, в-третьих, суд, допустив такие нарушения существенных норм судопроизводства в пользу защиты, при первой же моей попытке парализовать это неблагоприятное впечатление чрез прочтение присяжным заседателям имевшегося в деле доказательства, опровергавшего содержание упомянутой газетной статьи, и показания лиц, опрошенных в качестве свидетелей защиты, воспретил мне, вопреки 687 ст. Уст. угол. суд., воспользоваться этим доказательством и тем, вопреки 630 ст. Уст. угол. суд., окончательно нарушил, в пользу защиты обвиняемой, коренное правило судопроизводства о равноправности сторон на суде. Еще должно заметить, что производство такого судебного следствия не могло не повести к тому, что защитник всю свою речь построил на показаниях лиц, неправильно допрошенных в качестве свидетелей.

Кроме того, судом совершены были по делу о Засулич следующие нарушения: присяжным заседателям, вошедшим в состав присутствия суда по делу о Засулич, не была объяснена их ответственность в случае несоблюдения установленных правил; точно так же им

не был объяснен порядок их совещаний, а как в том так и в другом случае сделано было одно только напоминание об ответственности и о соблюдении установленного порядка совещаний, но без изложения содержания 676, 2-й половины 677, 806 — 810, 813 и 815 ст. Уст. угол. суд. Такое нарушение 671 и 804 ст. Уст. угол суд., разъясненных решениями уголовного кассационного департамента сената 1868 г., № 49, и 1874 г., № 901, нельзя признать маловажным, так как оно было произведено по отношению к таким присяжным заседателям, которые до заседания по делу о Засулич принимали участие в разрешении только незначительных дел о кражах, грабежах и нарушениях паспортного устава. В данном случае подробное и тщательное соблюдение всех установленных обрядов судопроизводства представлялось необходимым тем более, что дело, подлежавшее на этот раз рассмотрению суда, далеко выходило из ряда обыкновенных как по роду преступления, так и по обстановке, при которой оно было совершено, а равно и по выдающемуся положению лица, против которого оно было направлено; все эти вместе взятые обстоятельства, известные, конечно, суду и до открытия по этому делу судебного заседания, не могли в глазах суда придать делу характера той чрезвычайной важности, при наличности которой самое точное соблюдение решительно всех установленных правил составляет предмет первой и настоятельной необходимости, как в интересах правильного разрешения дела, так и в видах поддержания авторитетности предписанных законом форм, устанавливаемых, конечно, не для того чтобы они могли быть не соблюдаемы. При этом нельзя еще не заметить, что соблюдение этих правил не представляло никаких затруднений по причине несложности дела, все заседание по которому продолжалось всего восемь часов, включая сюда и время, потрачен-

ное на перерывы. И, наконец, соблюдение установленных форм было безусловно необходимо еще и потому, что во время судебного заседания произошел такой эпизод, одно возникновение которого, даже и помимо вышеизложенных обстоятельств, должно было бы побудить суд к соблюдению всех установленных правил. Из протокола заседания видно, что речь защитника была прервана выражениями одобрения со стороны публики. Такое вмешательство публики в судебное разбирательство дела обязывало суд не только прекратить упомянутый беспорядок, но и пригласить присяжных заседателей не обращать ни малейшего внимания на происшедшее, как на такое обстоятельство, которое не должно иметь никакого влияния на разрешение дела. Между тем приглашения этого сделано не было.

На основании вышеизложенного, в виду несоблюдения судом при рассмотрении дела о Засулич 371, 575, 576, 630, 671, 675, 687, 718 и 804 ст. Уст. угол. суд., имею честь просить уголовный кассационный департамент Правительствующего сената, на основании 2 п. 912 ст. Уст. угол. суд., решение присяжных заседателей о дочери капитана Вере Засулич и основанный на этом решении приговор с.-петербургского окружного суда — отменить со всеми их последствиями, и дело о Засулич передать для рассмотрения не в с.-петербургский, а в другой окружный суд, по усмотрению сената, так как, в виду изложенного в протоколе судебного заседания и в моих замечаниях на этот протокол вмешательства присутствовавшей в заседании публики в судебное рассмотрение этого дела, каковое вмешательство проявилось в двукратном перерыве заседания выражениями одобрения сначала речи защитника подсудимой, а затем оправдательному приговору присяжных заседателей,— имеются полные основания

заключить, что общественное мнение Петербурга, не относящееся к обстоятельствам дела Засулич с должным спокойствием и бесстрастием, легко может, при новом рассмотрении дела, подавляющим образом повлиять на присяжных заседателей, в том случае если они будут принадлежать к составу петербургского общества

Товарищ прокурора с.-петербургского
окружного суда К. Кесселъ

24 апреля 1878 г., № 471.

В Правительствующий сенат, по уголовному кассационному департаменту
С.-петербургского окружного суда

Рапорт

Представляя при сем, на основании 5 ст. Учр. суд. установлений, дело по обвинению дочери капитана Веры Засулич в покушении на убийство с.-петербургского градоначальника, генерал-адъютанта Трепова, вместе с принесенным по сему делу товарищем прокурора с.-петербургского окружного суда Кесселем кассационным протестом, окружный суд считает долгом представить при сем, со своей стороны, объяснение по некоторым частям сего протеста.

В п. I протеста товарищ прокурора указывает на нарушение судом смысла 575 и 576 ст. Уст. угол. суд. допущением к допросу свидетелей, указанных защитою.

На основании 575 ст. Уст. угол. суд., председатель предлагает домогательства участвующих в деле лиц о вызове новых свидетелей, не допрошенных при предварительном следствии, на разрешение суда, который принимает в соображение основательность представленных к тому причин и важность обстоятельств, подлежащих разъяснению.

В виду прошений защитника Засулич, присяжного поверенного Александрова, от 21 и 22 марта, окружным судом были выполнены указания ст. 575 Уст. угол. суд.

и об отказе в вызове свидетелей и в некоторых других ходатайствах защитника было составлено, согласно решениям уголовного кассационного департамента сената по делу Немова (1873 г. 22 июня) и по делу Маслянникова (1868 г., № 294), мотивированное определение 23 марта. В определении этом окружный суд, имея в виду лишь данные предварительного следствия и отсутствие сведений о тех путях, через посредство коих рассказы просимых свидетелей могли дойти до подсудимой и повлиять на ее решимость, не признал необходимым вызов свидетелей, указанных защитником, о чем ему и было объявлено 23 же марта.

24 марта защитник от имени Засулич ходатайствовал о предоставлении ему пригласить просимых свидетелей, по добровольному с ними соглашению, в судебное заседание и о вызове, на счет Засулич, свидетелей, содержащихся в Петропавловской крепости.

Ходатайство это вполне подходило под указание 576 ст. Уст. угол. суд., в силу коей, при отрицательном разрешении просьбы подсудимого о вызове новых свидетелей, ему должно быть предоставлено, в случае его о том заявления, пригласить этих свидетелей в суд по добровольному с ними соглашению. Закон признает право подсудимого на вызов таких свидетелей на его счет настолько непреложным, что даже обязывает делать немедленное распоряжение о вызове их в суд на счет просителя. Правительствующий сенат, в целом ряде решений (по делам Жбана и Захарова 68/342, Сакулина 69/137, Щелканцова 70/457, Долженкова и Попова 70/475) разъяснил, что постановление суда об отказе в вызове новых свидетелей должно быть объявлено подсудимому, с предоставлением ему права пригласить их в судебное заседание или просить о вызове их на его счет. Отсутствие такого объявления подсудимому составляя, по мнению Правительствующего сената, су-

щественное нарушение 576 ст. Уст. угол. суд., лишает подсудимого средств защиты. Поэтому ходатайство присяжного поверенного Александрова от 24 марта подлежало удовлетворению и притом относительно свидетелей, содержащихся в Петропавловской крепости, тем способом, который представлялся наиболее целесообразным, т. е. посылкою им повесток от суда.

Признавая себя, в виду вышеприведенного, обязанным допустить явку свидетелей защиты в судебное заседание, окружный суд не считал себя вправе устранить их от допроса, так как Правительствующим сенатом в решении по делу Линстрома (1869 г., № 384) признано, что суд не в праве отказывать в допросе приглашенного подсудимым, на основании 576 ст. Уст. угол. суд., свидетеля, а в решении по делу Попова и др. (1870 г., № 475) объяснено, что отказ в выслушании свидетелей, представленных подсудимыми, может считаться правильным в том лишь случае, когда будет удостоверено, что, со времени объявления им об отказе в вызове свидетелей судом, ими пропущен указанный срок для заявления о вызове свидетелей на их счет, т. е. что в случае непропущения этого срока свидетель не может быть устранен от допроса.

Вместе с тем окружный суд принял во внимание, что оставление без допроса четырех свидетелей, представленных защитою, не могло бы не произвести на присяжных заседателей самого невыгодного в смысле доверия к суду и к основательности обвинения впечатления. Присяжным заседателям было известно из обвинительного акта и из объяснений подсудимой и сделалось бы известным из заявлений защитника, который неминуемо домогался бы пред судом допроса этих свидетелей, — о чем они могли дать свои показания. Запрещение давать показания могло явиться в глазах присяжных следствием стремления скрыть от них, вопреки

612 ст. Уст. угол. суд., обстоятельства, в которых подсудимая, по ее заявлениям на суде, видела средства если не к оправданию, то к объяснению ее преступного деяния. Сверх того, судебное следствие в значительной степени лишило силы соображения, имевшиеся в виду суда при постановлении определения 23 марта. Двое из представленных защитою свидетелей заявили при первых вопросах, к ним обращенных, что, содержась в доме предварительного заключения, они говорили о происшествии 13 июля тем, кто с ними имел свидания, а подсудимая Засулич, объясняя мотивы своего преступления, заявила, что решимость произвести выстрел в генерал-адъютанта Трепова явилась у нее, когда она услышала в Петербурге рассказы людей, слышавших от очевидцев о том, что происходило 13 июля в доме предварительного заключения. Таким образом показания этих свидетелей, представляя собою разъяснение мотива преступления, не могли, без ущерба для всестороннего разъяснения дела, быть устранены, и такое устранение их стояло бы в резком противоречии с лежащими на председателе по 612 ст. Уст. угол. суд. обязанностями. Поэтому суд единогласно признал возможным допустить допрос выставленных защитою свидетелей относительно мотива преступления подсудимой, — будучи далек от мысли, что допрос этот, касавшийся одной лишь фактической обстановки происшествия 13 июля, мог быть приравниваем к «запутыванию судебного следствия в интересах обвиняемой»...

Во II п. протеста указывается на нарушение 718 ст. Уст. угол. суд. предложением свидетелям защиты прямо рассказывать о наказании Боголюбова. Указание это опирается на замечания товарища прокурора на протокол судебного заседания. Замечания эти, в чем они касаются нарушения 718 ст. Уст. угол. суд., не

могут быть подтверждены судом. Допрос каждого свидетеля начинался вопросом—известно ли ему что-либо по обстоятельствам покушения на жизнь генерал-адъютанта Трепова, и по получении отрицательного ответа определялись отношения свидетелей к подсудимой, а затем уже предлагалось сторонам приступить к допросу по обстоятельствам, которые они считали нужным выяснить.

III п. протеста разъяснен выше, и суд считает долгом удостоверить, что он не может видеть в допросе свидетелей защиты «пререкания председателя с определением 24 марта», которое относилось лишь до отказа в вызове судом этих свидетелей, и, по единогласному мнению суда, отнюдь не могло стеснять суд в производстве судебного следствия в том или другом объеме, так как, в противном случае, живое течение судебного следствия, вырабатываемое перекрестным допросом и заявлениями сторон, задерживалось бы и односторонним образом стеснялось решениями, состоявшимися в распорядительном заседании на основании письменных данных предварительного следствия.

IV п. протеста указывает: а) на отказ в прочтении копии с предписания градоначальника о наказании Боголюбова и б) на неправильное прочтение известия газеты «Новое время» о происшествии 13 июля.

Отказывая в прочтении копии с предписания градоначальника, окружный суд принял во внимание, что копия эта представлена судебному следователю управляющим домом предварительного заключения и им же заверена в своей верности с подлинником. По форме своей она представляла официальную бумагу, предписание одного должностного лица другому, сообщаемое последним в копии; по содержанию своему она касалась таких обстоятельств, которые могли быть предметом допроса лица, писавшего ее

подлинник. Лицо это—генерал-адъютант Трепов — было допрошено на предварительном следствии и было вызываемо на суд, причем слушание дела, несмотря на неявку генерал-адъютанта Трепова, было допущено с согласия лица прокурорского надзора, которое своевременно не заявило, что признает это слушание возможным лишь при условии замены личного показания генерал-адъютанта Трепова прочтением копии с его предписания.

Правительствующим сенатом, в решениях по делам Глумова (1872 г., № 257), Хотева (1868 г., № 954), Румянцева (1868 г., № 191) и др., разъяснено, что закон вообще не разрешает прочтения по 687 ст. Уст. угол. суд. таких письменных актов, которые содержат в себе удостоверение обстоятельств, могущих сделаться известными суду чрез допрос свидетелей. Справка из дел какого-либо правительственного учреждения или отношение официального лица могут быть, по смыслу тех же решений, прочитаны лишь в случае, если они содержат в себе изложение таких обстоятельств, о которых писавшее лицо не может быть допрошено в качестве свидетеля.

Вместе с тем из соображения решений Правительствующего сената по делам Лихина (1870 г., № 533), Трофимова (1869 г., № 952), Самарина (1868 г., № 606) и Княжнина (1869 г., № 617) оказывается, что целый ряд бумаг и письменных актов, аналогичных с копиею предписания градоначальника, не считается подходящим под указания 687 ст. Уст. угол. суд. Рапорты, отношения и предписания полицейских властей и мест, официальные бумаги должностных лиц и справки, выдаваемые из тюремных учреждений, по смыслу вышеприведенных решений не могут быть прочитаны на основании 687 ст. Копия же, о прочтении которой ходатайствовал товарищ прокурора, была выдана из конторы дома предваритель-

ного заключения, удостоверена управляющим этим домом и снята с предписания начальника с.-петербургской полиции подчиненному ему лицу. По мнению суда, близкое тождество таковой копии с вышеупомянутыми документами обязывало его придержаться того взгляда, в силу коего подобные документы, — особливо в том случае, когда содержание их может быть установлено спросом писавшего в качестве свидетеля, — не подходят под указания 687 ст.

Поэтому суд отказал в прочтении просимого документа, но вместе с тем председателем было освежено в памяти присяжных то место обвинительного акта, в котором говорится о предписании градоначальника.

Товарищ прокурора признал себя этим удовлетворенным. В протесте указывается на то, что это признание было сделано условно и относилось лишь до заявления председателя присяжным, так как только к этому заявлению мог считать товарищ прокурора относящимся вопрос председателя. Но суд понимал и понимает этот вопрос иначе. Вопрос председателя касался требования товарища прокурора во всей его целости, причем последний, без сомнения, мог просить суд принять другие меры к разъяснению содержания предписания градоначальника. Он мог просить разрешения ссылаться на этот документ, несмотря на его непрочтение, в своей речи (решение угол. кассац. деп. по делу Гейдукова, 1871 г., № 202), мог требовать передопроса свидетеля Курнеева, которому было адресовано предписание градоначальника и который перед тем, с категорическою ясностью, не допускающею сомнений, объяснил, за что именно и сколькими ударами был наказан Боголюбов, согласно предписанию, им полученному. Поэтому суд полагает, что заявление товарища прокурора о том, что он удовлетворен, исключало

необходимость дальнейшего разъяснения вопроса и возможность, в будущем, жалобы на стеснение прав обвинения «в интересах защиты Засулич»...

Прочтение отрывка из газеты «Новое время», в качестве вещественного доказательства, было допущено судом по тем соображениям, что при предварительном следствии (л. д. 192) № 502 газеты «Новое время» и № 161 газеты «Голос» были предъявляемы следователем обвиняемой Засулич, и она была спрошена о том, в этих ли номерах содержится та статья, которая была прочитана Верою Засулич в Пензенской губернии и повлияла, по ее показанию (л. д. 40), на образование у нее мысли, вызвавшей впоследствии ее преступление; что газеты эти были приобщены к делу и что о чтении их обвиняемою упоминается в обвинительном акте. Суд принял во внимание, что для оценки внутренней стороны преступления Засулич и для определения момента зарождения у нее преступного умысла, статья газеты «Новое время» имеет существенное значение. Указание на статьи газет, нашедшее себе место в обвинительном акте, куда вошло далеко не все показание обвиняемой, придавало им, в виду вышеизложенного, значение улики или, во всяком случае, вещественного предмета, разъясняющего дело. При этом приобщение их к делу следователем или включение в самое производство — являлось безразличным, в виду решения уголовного кассационного департамента по делу Свиридова (1869 г., № 51).

Обращаясь, наконец, к указаниям товарища прокурора на то, что председателем были нарушены ст. 676 и 804 Уст. угол. суд. и что присяжные заседатели не были приглашены не обращать внимания на раздавшиеся во время речи защитника рукоплескания, окружный суд считает обязанностью объяснить, что, согласно с 641 ст. Уст. угол. суд., председателем были подробно

и всесторонне объяснены присяжным заседателям их права и обязанности, их нравственная и юридическая ответственность, — не было лишь указано на размер денежного взыскания, которому подвергаются присяжные, нарушившие свои обязанности. Перед вручением вопросного листа старшине присяжных заседателей председатель сказал подробное заключительное слово, в котором, вновь упомянув о лежащей на присяжных ответственности, напомнил им о порядке их совещаний, каковой не мог не быть им уже известен, так как они решали уже девять дел, состояли из лиц, принадлежащих к развитому классу общества, и должны были совещаться в комнате, на стенах которой крупными печатными буквами изображено содержание статей 801—816 Уст. угол. суд. и принесенная ими присяга (решение угол. кассац. деп. по делу Арсеньева 1871 г., № 1425, по делу Рыбакова и др. 1868 г., № 426, по делу Бильбасова 1868 г., № 49, по делу Княжнина 1869 г., № 617).

Что касается, наконец, до приглашения присяжных не обращать внимания на рукоплескания, то суд считал бы неуместным и несогласным с достоинством лежащих на присяжных заседателях обязанностей приглашать их немедленно после всякого нарушения порядка в зале заседания не обращать на это никакого внимания, т. е. приглашать их не поддаваться давлению внешних, мимолетных явлений и не забывать святости принятой ими присяги. Такое приглашение было бы уместно лишь в случае проявления кем-либо из присяжных своего сочувствия или беспокойства по поводу происшедшего беспорядка. Притом, в начале заседания, при обращении к присяжным по 671 ст. Уст. угол. суд., председатель указал им на необходимость не поддаваться в предстоящем деле каким-либо мимолетным впечатлениям и не обращать никакого внимания на обстановку, их окружающую, памятуя, что для них

кроме суда, свидетелей и сторон, никого в зале заседания не должно существовать.

Председатель с.-петербургского
окружного суда (А. Кони)
Член суда (В. Сербинович)
Член суда (Ден)

Секретарь (подпись)

№ 2408
1878 года мая 5 дня.

Указ его императорского величества самодержца всероссийского из Правительствующего сената

Новгородскому и с.-петербургскому окружным судам

По указу его императорского величества, Правительствующий сенат слушал: кассационный протест товарища прокурора с.-петербургского окружного суда на приговор того же суда по обвинению дочери капитана Веры Засулич в покушении на убийство с.-петербургского градоначальника.

По выслушании заключения товарища обер-прокурора, Правительствующий сенат принял на вид, что определением с.-петербургской судебной палаты, состоявшимся 11 марта 1878 г., дочь капитана Вера Засулич была предана суду с.-петербургского окружного суда, с участием присяжных заседателей, по обвинению в покушении, с заранее обдуманным намерением, на жизнь с.-петербургского градоначальника генерал-адъютанта Трепова. Последовавшим по сему делу решением присяжных заседателей Засулич была признана невиновною, вследствие чего суд, приговором, состоявшимся 31 того же марта, признал ее оправданною по суду. В протесте на этот приговор обвинительная власть приводит семь кассационных поводов, лишающих, по ее мнению, приговор и решение присяжных заседателей силы судебного решения.

Первый кассационный повод заключается в нарушении судом ст. 575 и 576 Уст. угол. суд. предоставлением

защитнику Засулич пригласить некоторых свидетелей, в вызове которых ему было отказано, и приглашением других посылкою им повесток от суда. В этом отношении из дела и производства суда видно, что побудительною причиною совершения преступления Засулич выставила потребность в мщении генерал-адъютанту Трепову за наказание розгами содержащегося в доме предварительного заключения арестанта Боголюбова, очевидцею какового происшествия Засулич не была, но узнала о нем сначала из газет, а затем из рассказов разных лиц, которых впрочем Засулич не поименовала. В этом виде объяснения Засулич были занесены в составленный о ней обвинительный акт. По вручении Засулич копии с этого акта, избранный ею защитник, присяжный поверенный Александров, не пропуская срока, установленного ст. 557 Уст. угол. суд., обратился в суд с двумя заявлениями, в которых ходатайствовал о вызове семи свидетелей, не спрошенных при предварительном следствии, для проверки, через спрос этих свидетелей-очевидцев, обстоятельств, вызвавших и сопровождавших наказание Боголюбова розгами. Суд, находя, что свидетели эти имеют показывать об обстоятельствах, не составляющих предмета настоящего дела, а равно, что мотив преступления показаниями этих свидетелей не может быть разъяснен, потому что подсудимая не указывает, чтобы она от кого-либо из них слышала о причинах и поводах наказания Боголюбова розгами, и что затем показания их не могут содержать в себе каких-либо достоверных данных для суждения о существе тех рассказов, которые повлияли на решимость Засулич, — по определению, состоявшемуся 23 марта, в ходатайстве Александрова отказал. Тогда последний, 24 того же марта, подал в суд заявление о том, что Засулич принимает вызов семи свидетелей на свой счет, почему просил распо-

ряжения о вызове двух из них, как содержащихся под стражей, и о предоставлении ему пригласить остальных, по предварительному с ними соглашению. Заявление это не было заслушано судом, но на нем имеется никем не подписанная помета: «вызвать». О содержании этого заявления и последовавшего по оному распоряжения прокурор суда уведомлен не был. При открытии 31 марта судебного заседания оказалось, что из семи свидетелей, указанных в заявлениях присяжного поверенного Александрова, не явилось двое, содержащихся под стражею, по вызову их повестками, посланными им от суда за подписью секретаря и его помощника, и один, по приглашению защиты; но суд, признавая показания неявившихся свидетелей несущественными, счел возможным приступить к рассмотрению дела. Затем, во время судебного следствия, четыре приглашенные защитой свидетеля были допрошены судом, причем одному из них, по удостоверению суда, были предлагаемы вопросы прокурором.

На основании ст. 575 Уст. угол. суд., домогательство участвующих в деле лиц о вызове новых свидетелей разрешается судом, который при этом принимает в соображение основательность представляемых к тому причин и важность обстоятельств, подлежащих разъяснению. Ограничение прав подсудимого на вызов свидетелей, не спрошенных при предварительном следствии, вызвано очевидно необходимостью предупредить по возможности вызов в суд таких лиц, которые под предлогом разъяснения вовсе неизвестных им, может быть, обстоятельств дела, будут напротив иметь единственною целью затянуть и запутать судебное следствие в интересах обвиняемого, который, в своем стремлении оправдаться всеми зависящими от него способами, не только не разбирает существенных обстоятельств дела от несущественных, но нередко

употребляет все средства, чтобы затруднить правосудие (объяснит. зап. к ст. 287 Уст. угол. суд. и касс. решение сената 1869 г., № 852). Таким образом, право сторон на вызов новых свидетелей поставлено в зависимость не только от признания судом основательности представленных к тому причин и важности обстоятельств, подлежащих разъяснению через спрос их, что соответствует признанию показаний свидетелей существенными или несущественными, но еще более от признания судом, что обстоятельства, подлежащие разъяснению через спрос свидетелей, имеют отношение к рассматриваемому делу, что равносильно устранению вызова таких лиц, которые, под предлогом разъяснения обстоятельств дела, будут иметь единственною целью затянуть и запутать судебное следствие и тем воспрепятствовать правильному отправлению правосудия. В этих законных пределах и было постановлено судом 23 марта определение, которым признано, что свидетели, о вызове которых ходатайствовал присяжный поверенный Александров, имеют показывать об обстоятельствах, не составляющих предмета дела, а равно, что показания этих свидетелей не могут разъяснить мотива преступления. Определение судов о том, имеют ли значение для дела те или другие показания свидетелей, за силою учр. Правит. сената, прилож. к ст. 3, прим. п. 12 по прод. 1876 г., проверке в кассационном порядке не подлежат. Но в данном случае, определением суда, 23 марта состоявшимся, разрешался вопрос не о значении для дела показания того или другого свидетеля, но о том, что свидетели, о вызове которых ходатайствовал присяжный поверенный Александров, имеют показывать об обстоятельствах, не составляющих предмета дела, что показания их не могут разъяснить мотива преступления, и что таким образом они являются не свидетелями, а совершенно

посторонними для дела лицами. Очевидно, что устранение судом целого ряда свидетелей, могущих, по мнению защитника подсудимой Засулич, свидетельствовать о таких обстоятельствах, которые могли служить если не к совершенному оправданию, то к смягчению ее вины, должно служить достаточным основанием к рассмотрению в кассационном порядке правильности такого определения суда. Впрочем, такое положение было уже высказано в решении сената 1874 г. за № 733 по делу купца Петрова. Не подлежит сомнению, что обстоятельства, уничтожающие или смягчающие вину подсудимого по уложению о наказаниях, или по уставу о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, подлежат расследованию чрез вызов, по просьбе подсудимого, новых свидетелей. Но могут встретиться и такие обстоятельства, которые, не уничтожая и не смягчая вины подсудимого по закону, тем не менее могут быть приняты присяжными заседателями, постановляющими приговор по совести, во внимание при разрешении вопросов о вине или невиновности подсудимого, или даровании виновному подсудимому снисхождения. Без сомнения, в этом последнем случае могут подлежать расследованию лишь такие обстоятельства, которые непосредственно влияли на волю человека. В показаниях, сущность которых занесена в обвинительный акт, Засулич доказывала, что на решимость ее совершить преступление повлияли рассказы о том, что Боголюбов был наказан розгами по распоряжению генерал-адъютанта Трепова. Если бы она или защитник ее просили о расследовании тех обстоятельств, которые непосредственно повлияли на решимость ее совершить преступление, т. е. просили бы о проверке чрез спрос лиц, ими указанных, подробностей переданного этими лицами Засулич рассказа о наказании Боголюбова розгами, то

несомненно, что вызов этих лиц был бы для суда обязателен, разумеется, под условием признания показаний этих лиц существенными. Но присяжный поверенный Александров просил суд о вызове поименованных в его заявлении лиц не для проверки подробностей рассказов, переданных об этом событии Засулич совсем другими лицами, а для проверки обстоятельств, вызвавших и сопровождавших наказание Боголюбова, тогда как, по вышеприведенным объяснениям Засулич, на решимость ее повлияли не обстоятельства, вызвавшие и сопровождавшие наказание Боголюбова розгами, очевидицею которых она не была, а рассказы об этом событии, и притом рассказы, переданные ей не теми лицами, вызова которых защитник ее домогался. Отказав, следовательно, присяжному поверенному Александрову в вызове свидетелей, имевших показывать об обстоятельствах, не составляющих предмета дела и не могущих своими показаниями разъяснить мотив преступления, суд поступил вполне согласно с требованиями ст. 575 Уст. угол. суд.

Открывало ли постановленное судом в этих пределах определение защитнику Засулич право просить о вызове или приглашении на счет подсудимой свидетелей, в вызове которых судом ему было отказано? На основании ст. 576 Уст. угол. суд., если участвующее в деле лицо, в течение недели от объявления ему об отказе в вызове указанных им свидетелей, заявит, что оно принимает вызов их на свой счет, то делается немедленно распоряжение о вызове сих свидетелей на счет просителя, или предоставляется ему пригласить их в суд от себя, по добровольному с ними соглашению. Если допустить, что постановление суда, 23 марта состоявшееся, не лишало присяжного поверенного Александрова предоставленного ему ст. 576 Уст. угол. суд.

права пригласить на счет подсудимой свидетелей, в вызове которых ему было отказано на том основании, что свидетели эти имеют показывать об обстоятельствах, не составляющих предмета дела, а равно, что показания их не могут разъяснить мотива преступления, то тогда трудно объяснить существование в принятой в Уст. угол. суд. редакции 575 ст., вызванной необходимостью предупредить по возможности вызов в суд под видом свидетелей, таких лиц, которые, не способствуя разъяснению обстоятельств дела, им неизвестных, замедляли бы и запутывали бы судебное следствие во вред правосудию.

Цель означенного постановления закона не достигалась бы, если-бы она находилась в зависимости единственно от соблюдения подсудимым установленного 576 ст. семидневного срока на приглашение в суд таких лиц, показания которых признаны судом не только несущественными, но и к делу вовсе не относящимися. При допущении такого порядка вызова и допроса свидетелей не предстояло бы существенной необходимости в изменении редакции 518 и 519 ст. проекта Уст. угол. суд., соответствующих 575, 576 и 577 ст. Уст. угол. суд., предоставлением поименованных в этих законах распоряжений не власти председателя, как это сначала предполагалось, а суду, потому что при таком порядке, от кого бы отказ в вызове новых свидетелей ни исходил, таковой, по отсутствию в нем существенного значения, был бы одинаково ничтожен.

Признавать безусловное право защиты приглашать свидетелей, в вызове которых судом было отказано на том основании, что показания их к делу совсем не относятся, значило бы, если не упразднить по отношению к таким свидетелям 611 ст. Уст. угол. суд., обязывающую председателя суда устранять во время судебного следствия все, что не имеет прямого отношения

к делу, то, по крайней мере, сделать для председателя суда исполнение возложенной на него этим законом обязанности почти неосуществимым. Действительно, для применения 611 ст. Уст. угол. суд. к свидетелям, показания которых признаны уже судом вовсе к делу не относящимися, необходимо выслушать хотя часть показания такого свидетеля. Выслушанною же частью показания подобного свидетеля может оказаться именно то, что свидетель, стремящийся запутать судебное следствие, признает наиболее полезным объяснить, а части такого, не имеющего к делу никакого отношения, показания было бы иногда достаточно для того, чтобы произвести ложное на присяжных заседателей впечатление относительно таких обстоятельств, которые, быв уже признаны судом к предмету дела совершенно не относящимися, должны быть устранены из судебного следствия в полном объеме. С другой стороны, строгое применение председателем суда к таким свидетелям ст. 611 Уст. угол. суд., состоящее в устранении объяснений свидетеля с первых произнесенных им слов, может также произвести впечатление на присяжных заседателей, весьма чутких ко всему тому, что имеет хотя некоторую тень стеснения прав подсудимого на суде и повлиять, в смысле, для правосудия невыгодном, на исход дела. Нельзя при этом оставить без внимания и того обстоятельства, что свидетели, прежде изложения ими своих показаний, за отсутствием законных поводов к отводу, приводятся, согласно ст. 711 Уст. угол. суд., к присяге. Было бы крайне неуместно злоупотреблять обрядом, освященным церковными правилами, для того единственно, чтобы свидетелю, с первых же слов его показания, объявить, что таковое к делу не относится, тогда как это обстоятельство уже заранее было удостоверено состоявшимся в распорядительном заседании определением суда.

Доходившие до Правительствующего сената случаи применения ст. 575 и 576 Уст. угол. суд. ни разу не возбуждали вопроса, вполне подобного настоящему. Подходящий случай, в котором Правительствующему сенату представилось, хотя косвенно, высказаться по вопросу о зависимости 576 ст. Уст. угол. суд. от 575 ст. того же устава, последовал по делу Иванова и Томилина (касс. реш. 1869 г., № 204). В приведенном решении Правительствующий сенат, признавая совершенно правильною жалобу Томилина на нерассмотрение судом прошения о вызове новых свидетелей, как поданного в установленный срок, но поступившего лишь несвоевременно в суд после постановления по делу приговора, нашел, что нарушение это не может быть признано существенным, потому что, на основании ст. 575 Уст. угол. суд., лицо, просящее о вызове новых свидетелей, обязано указать причины, по которым оно считает необходимым вызов этих свидетелей, и те обстоятельства, которые могут быть разъяснены допросом их, каковых условий в поданном Томилиным прошении не заключалось. Если бы при разрешении сего дела Правительствующий сенат признавал, что приглашение на счет подсудимого свидетелей, в вызове которых ему судом отказано, составляет безусловное, не находящееся в зависимости от постановленного по 575 ст. определения суда, право, то логическим выводом такого признания должно было бы быть признание вместе с тем допущенного судом нарушения существенным, потому что нерассмотрением судом прошения Томилина о вызове новых свидетелей, хотя бы и не соответствующего требованиям ст. 575 Уст. угол. суд., было бы нарушено существенное право Томилина пригласить, в случае отказа суда в вызове указанных им свидетелей, означенных свидетелей на свой счет по 576 ст. Уст. угол. суд.

Высказанное приводит к заключению, что указанные в заявлениях присяжного поверенного Александрова свидетели, — за состоявшимся в суде, согласно 575 ст. Уст. угол. суд., 23 марта определением, которым в вызове этих свидетелей было отказано потому, что они имеют показывать об обстоятельствах, не составляющих предмета дела, а равно, что показания их не могут разъяснить мотива преступления, — не могли быть вызваны или приглашены, в силу 576 ст. того же устава, в судебное заседание на счет Засулич.

Независимо от сего, появление этих свидетелей в судебном заседании 31 марта последовало при обстановке, не соответствующей требованиям ст. 576 Уст. угол. суд. На основании приведенного закона, если участвующее в деле лицо, которому в вызове указанных им свидетелей отказано, заявит, что оно принимает вызов этих свидетелей на свой счет, то делается немедленно распоряжение о вызове таких свидетелей на счет просителя или предоставляется ему пригласить их в суд от себя по добровольному с ними соглашению. Из соображения этого закона с мотивами, послужившими основанием к изменению редакции ст. 518 и 519 проекта Уст. угол. суд., несомненно явствует, что удовлетворение ходатайства подсудимого о вызове на его счет таких свидетелей, в вызове которых ему было отказано, должно последовать по постановлению суда, который при этом должен обсудить и выбрать один из двух способов, указанных в 576 ст. для приглашения в суд указанных в заявлении по сему предмету лиц. Между тем в данном случае по заявлению присяжного поверенного Александрова о вызове на счет Засулич свидетелей, в вызове которых просителю было отказано по определению суда, 23 марта состоявшемуся, не было постановлено судом надлежащего определения. Если бы нарушение судом 576 ст. Уст. угол. суд. выразилось только

в порядке вызова указанных присяжным поверенным Александровым свидетелей и предоставлении ему права пригласить некоторых свидетелей по добровольному с ними соглашению, то очевидно, что это нарушение само по себе не могло бы устранить приглашенных защитой лиц от свидетельства, если бы показания этих лиц были признаны судом только несущественными. Но показания приглашенных защитой в судебное заседание 31 марта лиц были уже признаны судом, по определению, состоявшемуся 23 марта, вовсе к делу не относящимися. Следовательно, допущение судом в судебном заседании 31 марта к допросу в качестве свидетелей таких лиц, которые появились вне порядка, установленного ст. 576 Уст. угол. суд. для вызова или приглашения свидетелей, имело последствием существенное нарушение того же устава ст. 575, состоявшее в том, что суд допросом приглашенных им свидетелей расследовал обстоятельства, не составлявшие предмета дела о покушении на жизнь генерал-адъютанта Трепова и не разъяснявшие мотива преступления, совершенного Засулич. Непредставление товарищем прокурора в судебном заседании 31 марта возражений против допроса в качестве свидетелей означенных лиц не лишает допущенного судом нарушения значения существенного нарушения ст. 575 и 576 Уст. угол. суд. Если причины неявки некоторых из свидетелей, которым были посланы повестки, были судом рассмотрены, а остальные приглашенные присяжным поверенным Александровым лица были вместе с свидетелями, вызванными судом, удалены в особые помещения, то естественно, что товарищ прокурора имел основание полагать, что судом признаются действительными последовавшие распоряжения о вызове одних из этих свидетелей и о предоставлении защите пригласить других по добровольному с ними соглашению. Такое положе-

ние дела открывало товарищу прокурора возможность обжаловать, по постановлении приговора по делу, в кассационном порядке распоряжение суда, не согласное с определением того же суда, 23 марта состоявшимся, но не давало ему, товарищу прокурора, права возражать в самом судебном заседании против означенного распоряжения суда.

Второй кассационный повод, приводимый в протесте товарища прокурора, заключается в том, что порядок допроса приглашенных присяжным поверенным Александровым свидетелей не соответствовал требованиям ст. 718 Уст. угол. суд., потому что свидетелям этим не предлагалось будто бы председателем суда рассказать то, что им известно по делу о покушении на жизнь генерал-адъютанта Трепова, но предлагалось взамен того рассказать о том, что им известно об обстоятельствах, вызвавших и сопровождавших наказание Боголюбова розгами. Протест товарища прокурора в этом отношении не заслуживает уважения, так как указания протеста на нарушение ст. 718 Уст. угол. суд. опровергаются как протоколом судебного по делу заседания, соответствующим, в порядке составления оного, требованиям ст. 835 Уст. угол. суд., так и в особенности заключением суда, состоявшимся, согласно 844 ст. того же устава, по сделанным на протоколе товарищем прокурора замечаниям. Заключением этим суд положительно удостоверяет, что свидетелям были предлагаемы обычные, требуемые ст. 718 Уст. угол. суд., вопросы.

В связи с допущенным судом нарушением ст. 575 и 576 Уст. угол. суд., товарищ прокурора приводит в своем протоколе третьим кассационным поводом нарушение председателем суда ст. 611 Уст. угол. суд., выразившееся в том, что председатель суда, при допросе приглашенных присяжным поверенным Александровым лиц, не устранил из их показаний всего того, что

имело предметом расследование обстоятельств, вызвавших и сопровождавших наказание Боголюбова розгами. Выше была достаточно выяснена зависимость председателя суда, при применении ст. 611 Уст. угол. суд., от допущения судом к допросу в качестве свидетелей приглашенных присяжным поверенным Александровым лиц, показания которых относились к обстоятельствам, не составлявшим предмета дела о покушении на жизнь генерал-адъютанта Трепова, а равно не могущих разъяснить мотива преступления, совершенного Засулич.

В виду такой тесной зависимости действий в этом отношении председателя суда от распоряжения суда о допущении этих лиц к допросу, нарушение 611 ст. Уст. угол. суд. не может быть рассматриваемо, как самостоятельное нарушение, могущее, при доказанности даже оного, иметь последствием кассацию состоявшегося по делу приговора. Вследствие чего протест товарища прокурора и в этом отношении не подлежит удовлетворению.

Не заслуживает также уважения и четвертый приводимый в протоколе товарища прокурора кассационный повод, состоящий в том, что присяжным заседателям не были объяснены председателем суда их права, обязанности и ответственность в случае неисполнения ими своих обязанностей в объеме, требуемом ст. 671—677 Уст. угол. суд. Протоколом судебного заседания и заключением на сделанное по сему предмету товарищем прокурора замечание удостоверено, что председатель суда исполнил в этом отношении в точности требования приведенных узаконений, за исключением лишь того, что не предупредил присяжных заседателей о размере взыскания, которому они могут подвергнуться в случае неисполнения ими возложенных на них по закону обязанностей. Но независимо от удостоверения суда, с которым согласился и товарищ прокурора, о том, что участвовавшие в разрешении дела Засулич присяжные

заседатели принимали до того участие в судебных заседаниях по другим делам, товарищ прокурора не сделал своевременно никаких по этому предмету заявлений, и ни в протоколе судебного по делу заседания, ни в кассационном протесте не приводится решительно никаких доказательств тому, чтобы присяжные заседатели, вследствие неполного объяснения им председателем суда их ответственности, не пользовались своими правами и не поняли надлежащим образом своих обязанностей (касс. решение сената 1868 г., № 234, 1870 г., № 901). Кроме того, одно неразъяснение присяжным заседателям ответственности, которой они подвергаются за нарушение их обязанностей, согласно кассационному решению сената 1871 г., № 1425, не может быть признаваемо существенным нарушением ст. 671—677 Уст. угол. суд.

Пятым кассационным поводом приводится нарушение 697 ст. Уст. угол. суд., состоявшее в прочтении в судебном заседании 31 марта 502 номера газеты «Новое время», в качестве вещественного по делу доказательства. В этом отношении обстоятельства дела обнаруживают, что вследствие ссылки Засулич на то, что она узнала о наказании Боголюбова первоначально из газет, судебный следователь отношением от 27 января 1878 г. за № 252 вытребовал из редакции газеты 502 номер этой газеты, содержащей известие об этом происшествии. Этот номер газеты, быв приобщен к делу, предъявлялся Засулич, которая признала в нем один из номеров газет, из которых она почерпнула первые сведения об этом событии. О том, что Засулич узнала об этом происшествии из газет, упоминается в обвинительном по сему делу акте. В судебном заседании 31 марта извлечение из 502 номера газеты «Новое время», содержащее в себе известие о наказании Боголюбова розгами, было, по требованию защиты, с разрешения суда, про-

чтено в качестве вещественного по делу доказательства, несмотря на возражение товарища прокурора, доказывавшего, что газетные известия не принадлежат к числу документов, могущих быть читанными на суде.

На основании ст. 371 Уст. угол. суд., разъясненной кассационным решением сената 1875 г., № 399, под вещественными доказательствами закон понимает собственно предметы, на которые было направлено действие подсудимого, или которые служили орудием для совершения преступления, или, наконец, которые сохранили на себе следы преступления и вообще могут служить средством к обнаружению преступления и к улике преступника. Приобщенный к делу 502 номер газеты «Новое время» не составлял ни предмета, на который было направлено преступление, совершенное Засулич, ни предмета, который послужил бы Засулич орудием для совершения преступления, ни, наконец, такого предмета, который оставил бы на себе следы преступления. Этот номер газеты не мог равным образом служить средством к обнаружению и улике преступника, потому что преступление, совершенное Засулич, было раскрыто совсем иными средствами. Следовательно, приобщенный к делу 502 номер газеты «Новое время» ни в каком отношении не составлял вещественного по делу доказательства, а потому не мог быть прочтен в качестве такового ни в полном его объеме, ни в извлечении. Но если вытребованный судебным следователем 502 номер газеты «Новое время» не мог быть прочтен, в силу 697 ст. Уст. угол. суд., то из сего не следует еще, чтобы прочтение этого номера газеты на суде составляло существенное нарушение вышеприведенного узаконения.

На основании ст. 629 Уст. угол. суд. участвующим в деле лицам не возбраняется прочтение находящихся у них документов, когда они относятся к предмету их показаний. Разъясняющие 629 ст. кассационные решения

сената 1871 г. № 470, 1874 г., №№ 174, 626, 1875 г., № 399 распространяют право сторон на прочтение в судебном заседании всех тех письменных актов, которые в обвинительном акте указаны в числе оснований к обвинению и приобщены к делу, как письменные доказательства, потому что на такого рода доказательствах весьма часто исключительно основаны обвинение или защита подсудимого. В силу этих соображений 502 номер газеты «Новое время», вытребованный судебным следователем, по ссылке на него Засулич, должен быть признан приобщенным к делу письменным доказательством. Обстоятельство это, а равно ссылка в обвинительном акте на то, что Засулич почерпнула первое известие о наказании Боголюбова из газет, приводит к заключению, что 502 номер газеты «Новое время» мог быть прочтен в судебном заседании. Если же этот номер газеты подлежал прочтению в качестве письменного, а не вещественного доказательства, то непредъявление оного присяжным заседателям представляется вполне согласным с требованиями ст. 697 Уст. угол. суд. Вследствие чего пятый кассационный повод товарища прокурора не заслуживает уважения.

Усматривая в отказе суда в его ходатайстве о прочтении копии с предписания генерал-адъютанта Трепова управляющему домом предварительного заключения от 13 июля 1877 г. за № 6641 существенное нарушение ст. 687 и 630 Уст. угол. суд., товарищ прокурора выставляет это нарушение шестым кассационным поводом. Копия с помянутого предписания, содержащего в себе распоряжение о наказании Боголюбова розгами, как главного виновника произведенных арестантами в доме предварительного заключения 13 июля 1877 г. беспорядков, удостоверенная в верности с подлинным управляющим означенным домом полковником Федоровым, была вытребована судебным следо-

вателем для приобщения к делу о покушении на жизнь генерал-адъютанта Трепова. В кратком извлечении содержание этого предписания было занесено в обвинительный по делу сему акт. Вследствие ходатайства присяжного поверенного Александрова о вытребовании подлинного предписания генерал-адъютанта Трепова, суд, в заседаниях — распорядительном 23 марта и судебном 31 марта — нашел, что нет оснований сомневаться в соответствии имеющейся при деле копии с предписания с подлинным, а потому отказал в ходатайстве защиты по сему предмету. В судебном заседании 31 марта требование товарища прокурора о прочтении копии с этого предписания не было удовлетворено судом на том основании, что ни подлинное предписание, ни копия с него, удостоверенная официальным лицом, не могут подлежать прочтению, по точному смыслу 687 ст. Уст. угол. суд. Вслед за отказом в прочтении копии с предписания председатель суда, ссылаясь на 613 и 614 ст. Уст. угол. суд., заявил присяжным заседателям, что сущность предписания, о котором идет речь, внесена в обвинительный акт, прочтенный пред ними, и, напомнив им относящееся сюда место обвинительного акта, спросил товарища прокурора, считает ли он себя удовлетворенным таким объяснением, на что, как сказано в протоколе судебного заседания и удостоверено заключением суда, состоявшимся по замечаниям товарища прокурора на протокол, товарищ прокурора заявил, что считает себя удовлетворенным.

На основании ст. 687 Уст. угол. суд., протоколы об осмотрах, освидетельствованиях, обысках и выемках читаются в судебном заседании по требованию сторон. При применении означенного закона, Правительствующий сенат в решениях своих проводил постоянно то положение, что прочтению на судебном следствии подлежат такие документы, которые подходят под исчислен-

ные в 687 ст. Уст. угол. суд. Подходящими же под исчисленные в помянутой статье документами Правительствующий сенат постоянно признавал такие документы, которые, не быв даны взамен свидетельских показаний, были представлены сторонам или вытребованы к делу судебным следователем в качестве письменных доказательств, служили основанием обвинения или защиты подсудимого или были в качестве таковых занесены в обвинительный акт и притом содержали в себе разъяснение таких обстоятельств, которые не могли сделаться известными суду путем свидетельских показаний (касс. решения сената 1868 г., № 954, 1872 г., № 257, 1873 г., № 606, 1874 г., №№ 474, 585, 1875 г., № 399. Предписание генерал-адъютанта Трепова от 13 июля 1877 г. за № 6641, о прочтении которого ходатайствовал товарищ прокурора, очевидно, не могло быть дано взамен показаний потерпевшего лица, потому что предписание это было дано за шесть месяцев до события, составляющего предмет настоящего дела.

Предписание это было вытребовано судебным следователем к делу в качестве письменного доказательства. Оно послужило в извлечении одним из оснований обвинительного акта. Наконец содержание предписания не могло сделаться известным суду путем показания в качестве свидетеля генерал-адъютанта Трепова, потому что, за неявкою последнего в судебное заседание 31 марта, суд признал возможным рассмотреть дело в отсутствии этого свидетеля, а отказ товарищу прокурора в прочтении этого предписания суд не мотивировал соображением, что содержание предписания, в прочтении которого было отказано, могло сделаться известным суду из показаний генерал-адъютанта Трепова, данных при предварительном следствии и на суде, за отсутствием его, прочтенных. Суд при этом не сказал и того, чтобы содержание этого предписа-

ния смогло ему сделаться известным из показаний других, спрошенных на предварительном следствии свидетелей. В силу изложенного, нельзя не признать что отказ суда в прочтении копии с предписания генерал-адъютанта Трепова составляет нарушение ст. 687 Уст. угол. суд. Но, принимая во внимание, что содержание сего предписания, в том виде, в каком оно изложено в обвинительном акте, было сообщено председателем суда присяжным заседателям и что товарищ прокурора, как удостоверяет протокол судебного заседания и состоявшееся по замечаниям на этот протокол заключение суда, остался объяснениями председателя суда удовлетворенным, следует притти к заключению, что нарушение это не может быть почитаемо существенным нарушением прав товарища прокурора, как стороны в деле (ст. 630 Уст. угол. суд.). Вследствие чего нарушение это не может служить основанием к отмене по этому поводу приговора суда.

Обращаясь, наконец, к седьмому и последнему кассационному поводу, приводимому в протесте товарища прокурора основанием к отмене приговора суда, состоящему в том, что председатель в заключительном слове, вопреки ст. 804 Уст. угол. суд., не объяснил присяжным заседателям в подробности порядка их совещаний, изложенного в 805 и последующих статьях Уст. угол. суд., то хотя в этом отношении протест товарища прокурора подтверждается протоколом судебного заседания, соответствующим в порядке составления оного требованиям ст. 835 Уст. угол. суд., но принимая во внимание, что, по удостоверению суда, присяжные заседатели, принимавшие участие в разрешении дела Засулич, участвовали до того в судебных заседаниях по другим делам, нарушение это, в виду кассационного решения сената 1869 г., № 617, также не может быть признано существенным.

По всем изложенным соображениям, признавая, что из приводимых в протесте кассационных поводов нарушение судом 575 и 576 ст. Уст. угол. суд. должно быть признано существенным, — Правительствующий сенат, руководствуясь того же устава ст. 912, п. 2, о п р е д е л я е т: за нарушением ст. 575 и 576 Уст. угол. суд. приговор с.-петербургского окружного суда и решение присяжных заседателей по настоящему делу отменить, а дело передать, для нового рассмотрения, в новгородский окружный суд, о чем послать указы окружным судам: новгородскому с препровождением дела и с.-петербургскому к сведению. [249]

Указ его императорского величества самодержца всероссийского из Правительствующего сената

С.-петербургскому окружному суду

По указу его императорского величества, Правительствующий сенат в распорядительном заседании слушал предложение исп. обяз. обер-прокурора Общего собрания кассационных департаментов Правительствующего сената от 30 ноября 1878 г. за № 7168, коим, во исполнение ордера г. министра юстиции, предлагает о рассмотрении неправильных действий с.-петербургского окружного суда по делу Веры Засулич.

Выслушав это предложение и доложенные при этом: 1) рапорт с.-петербургского окружного суда от 5 мая 1878 г. за № 2408, с объяснением причин, по коим судом были допущены те действия, на которые в кассационном протесте товарища прокурора указывалось как на нарушение ст. 575 и 576 Уст. угол. суд., и 2) определение уголовного кассационного департамента Правительствующего сената 20 мая 1878 г., состоявшееся по делу дочери капитана Веры Засулич, Правительствующий сенат усматривает, что, при рассмотрении в уголовном кассационном департаменте Правительствующего сената протеста товарища прокурора с.-петербургского окружного суда на состоявшийся 31 марта 1878 г. приговор того же суда по делу о дочери капитана Вере Засулич, обвинявшейся в поку-

шении на убийство с.-петербургского градоначальника, генерал-адъютанта Трепова, выяснилось, между прочим, что, по вручении Засулич копии с обвинительного акта, защитник ее обратился в суд с двумя заявлениями, в которых ходатайствовал о вызове семи свидетелей, не спрошенных при предварительном следствии, для проверки, через спрос этих свидетелей-очевидцев, обстоятельств, вызвавших и сопровождавших наказание лишенного по суду всех прав состояния арестанта Боголюбова. Окружный суд, находя, что свидетели эти имеют показывать об обстоятельствах, не составляющих предмета, подлежащего разбирательству дела по упомянутому выше обвинению Засулич, а равно, что мотив ее преступления показаниями этих свидетелей не может быть разъяснен, потому что подсудимая не указывает, чтобы она от кого-либо из них слышала о причинах и поводах наказания Боголюбова, — по определению, состоявшемуся 23 марта 1878 г., в ходатайстве защитника отказал. Тогда последний, 24 того же марта, подал в суд заявление о том, что Засулич принимает вызов семи свидетелей на свой счет, почему просил распоряжения о вызове двух из них, как содержащихся под стражей, и о предоставлении ему пригласить остальных, по предварительному с ними соглашению. Заявление это не было заслушано судом, но на нем имеется, никем не подписанная, помета: «вызвать». О содержании сего заявления и о последовавшем по оному распоряжении прокурор суда уведомлен не был. Затем, в судебное заседание 31 марта из числа означенных семи свидетелей не были доставлены двое, содержавшиеся под стражей, которым были посланы от суда повестки (за подписью секретаря и его помощника), и не явился один, приглашенный обвиняемою остальные же четыре свидетеля явились и были судом допрошены.

Обсуждая обстоятельства этого дела, уголовный кассационный департамент Правительствующего сената нашел: 1) что, за состоявшимся в суде 23 марта определением об отказе, согласно 575 ст. Уст. угол. суд., в вызове выставленных в заявлении защитника Засулич семи свидетелей, потому что они имеют показать об обстоятельствах, не составляющих предмета дела, а равно, что показания их не могут разъяснить мотива преступления, свидетели эти, являясь совершенно посторонними для дела лицами, не могли уже быть вызваны или приглашены, в силу 576 ст. того же устава, в судебное заседание; 2) что появление этих свидетелей в судебном заседании 31 марта последовало при обстановке, не соответствующей требованиям ст. 576 Уст. угол. суд., без постановления судом по сему предмету надлежащего определения, и 3) что допущение их судом к допросу в судебном заседании 31 марта имело последствием существенное нарушение ст. 575 Уст. угол. суд., состоявшее в том, что суд допросом этих приглашенных свидетелей расследовал обстоятельства, не составлявшие предмета дела о покушении на жизнь генерал-адъютанта Трепова и не разъяснившие мотивы совершенного Верою Засулич преступления. В виду этих существенных нарушений закона, уголовный кассационный департамент Правительствующего сената отменил приговор суда и решение присяжных заседателей.

Приступая к обсуждению означенных неправильных действий суда, соединенное присутствие 1-го и кассационных департаментов Правительствующего сената находит, что между разнообразными, существенными нарушениями закона форм и обрядов судопроизводства, которые могут служит кассационному суду поводом к отмене приговора суда и решения присяжных далеко имеют неодинаковую степень важности в отно-

шении ответственности судебных деятелей, нарушения эти допустивших. Есть многие существенные нарушения форм и обрядов судопроизводства, которые влекут за собою отмену приговора, но тем не менее не могут быть поставлены в особую вину лицам, допустившим оные, потому что касаются только одной внешней стороны отправления правосудия; другие же, напротив того, касаются самой сущности, смысла и цели, для которой отправляется правосудие, так что допущением их извращается вся сущность процесса. Нарушения последнего рода и были сделаны с.-петербургским окружным судом по делу Засулич. К судебному по этому делу заседанию были допущены судом, как видно из его объяснительного рапорта, такие свидетели, показания которых не только были признаны тем же судом не относящимися к делу, но и на приглашение коих в судебное заседание, по ст. 576 Уст. угол. суд., вовсе не было сделано распоряжения, и таким образом свидетели эти явились при обстановке, не только не соответствующей требованиям закона, но даже прямо им противоречащей. Мало того: неправильно допущенные в заседание суда и явившиеся при неправильной обстановке свидетели были допрошены, причем посредством допроса их расследованы были обстоятельства, не соответствовавшие вовсе предмету дела и не разъяснившие мотива преступления, а явившиеся по отношению к делу, по которому Засулич была привлечена к ответственности, совершенно посторонними. Эти нарушения, допущенные составом суда, присутствовавшим в заседании 31 марта, не могут не остановить внимания соединенного присутствия Правительствующего сената, как инстанции надзора, обязанной следить за должным направлением действий судебных деятелей, так как надзор этот является особенно важным в тех случаях, когда хотя от неумышленных, но

тем не менее неправильных действий суда произошли важные уклонения от пути, указанного законом для достижения правосудия. Оправдательный или обвинительный приговор, которым разрешается уголовный процесс, может последовать только при соблюдении судом установленных законом форм и являться последним звеном целого ряда последовательных распоряжений суда, как приготовительных, предшествующих судебному по делу заседанию, так и являющихся в самом судебном заседании. Состав присутствия судебного заседания очевидно не может быть ответственным за предварительные распоряжения суда и председателя до открытия заседания, если они последовали в другом составе присутствия, но, несомненно, является ответственным за распоряжения в самом судебном заседании. Предшествующие по делу распоряжения должны быть вполне известны этому составу присутствия, и он обязан сообразовать с оным и свою деятельность. Так и в настоящем случае присутствие суда 31 марта не могло не знать, что в определении своем 23 марта суд отказал в вызове для допроса свидетелей, указанных защитою, и затем не имел уже права допускать свидетелей этих к допросу. Если же практика суда до последовавшего по делу Засулич разъяснения Правительствующего сената и допускала вызов подобных свидетелей на суд, то все же появление их в судебном заседании ни в каком случае не могло состояться вне законом установленного порядка; а между тем, как сказано выше, никакого распоряжения о допущении их по ст. 576 Уст. угол. суд. к допросу в судебном заседании со стороны суда сделано не было. Если суд, как сказано в его объяснительном рапорте, признал возможным допустить допрос выставленных защитою свидетелей относительно мотива преступления подсудимой, то это не давало еще суду права ни допускать

появления свидетелей на суд, без предварительного о том распоряжения, ни допрашивать их о тех обстоятельствах, которые мотива преступления не разъясняли и вообще не касались существа дела. В сем последнем отношении усматривается, что при слушании дела не было обращено надлежащего внимания на то, что заявление защитника Засулич, поданное в суд 24 марта, осталось без надлежащего распоряжения, помета на нем, неизвестно кем и когда сделанная: «вызвать», не была достаточна, если даже признать, что заявление это, по установленным в суде правилам, не должно было быть заслушано судом: слово «вызвать» относилось до тех двух свидетелей, которые содержались под стражею, и ни в каком случае не относилось до остальных пяти. Очевидно, что в отношении к сим последним могло быть только предоставлено право подсудимой пригласить их по добровольному с ними соглашению, о чем и должны были быть уведомлены подсудимая или ее защитник и прокурор; эти распоряжения отсутствовали и не были выполнены. Такое отступление от установленного порядка приобретает особенное значение в виду того, какие именно были те свидетели, на порядок вызова коих не было обращено надлежащего внимания: побудительною причиною совершенного преступления Засулич выставляла потребность в мщении генерал-адъютанту Трепову за наказание розгами содержавшегося в доме предварительного заключения арестанта Боголюбова. Защитник подсудимой просил суд о вызове свидетелей, не спрошенных на предварительном следствии, для проверки через спрос их обстоятельств, вызвавших и сопровождавших наказание Боголюбова. Суд устранил этих свидетелей потому, как сказано в определении его 23 марта, что подсудимая не указала, чтобы она от кого-либо из них слышала о причинах и поводах наказания Боголю-

бова, и что затем показания их не могут содержать в себе каких-либо достоверных данных для суждения о существе тех рассказов, которые влияли на решимость Засулич. Между тем во время судебного следствия не было принято никаких мер к ограждению правосудия и к удержанию защиты в тех пределах, которые ей законом предначертаны, и к преграждению внешнего на присяжных заседателей влияния расследованием таких обстоятельств, которые были по настоящему делу посторонними, не составляли предмета дела и не разъясняли мотива преступления, совершенного Засулич.

В виду вышеизложенного, соединенное присутствие 1-го и кассационных департаментов Правительствующего сената, руководствуясь 15 п. прил. к ст. 3 (прим.), т. I, ч. 2 учр. Правит. сената, по продолжению 1876 г., о п р е д е л я е т: с.-петербургскому окружному суду, в составе его присутствия в заседании 31 марта 1878 г., по делу Веры Засулич, сделать за означенные упущения его замечание, о чем суду и дать знать указом. Декабря 29 дня 1878 г.

Министерство юстиции
Департамент
Отделение законодательное

Апреля 6-го дня 1878 г.

№ 6882

С.-Петербург

Об изменении подсудности и порядка производства дел о преступлениях, предусмотренных 263—271, 285 и 395 ст. Улож. о наказ., изд. 1866 г., а также дел о некоторых других, наиболее тяжких преступлениях против должностных лиц

Изложение дела. Обстоятельства, сопровождавшие расследование дел о государственных преступлениях, возникавших за последнее время в различных местностях империи, обнаруживают самым убедительным образом, что деятели противообщественной пропаганды в преследовании своих преступных целей не останавливаются ни перед какими средствами, сколько бы возмутительны и безнравственны они ни были. В этом отношении нельзя, прежде всего, не обратить внимания на массу подметных писем, содержащих в себе угрозы смертью различным представителям правительственной власти за меры, принимаемые к пресечению означенной пропаганды, а также на случаи, где угрозы эти были осуществлены путем самых гнусных преступлений, направленных против некоторых должностных лиц, каковы, напр., покушение на жизнь с.-петербургского градона-

чальника генерал-адъютанта Трепова и покушение на убийство товарища киевского губернского прокурора Котляревского, совершенное при обстановке, не оставляющей ни малейшего сомнения в том, что виновниками его были деятели социальной революции.

Затем следует ряд возмутительных преступлений против лиц, содействовавших правительству в раскрытии следов противозаконной деятельности злоумышленников, таковы: убийство Тавлеева и зверская расправа с Гориновичем, облитым серною кислотою, в Одессе, и убийство Никонова в Ростове-на-Дону. Особенность некоторых из этих преступлений, обращающая на себя самое серьезное внимание, заключается в том, что непосредственно за моментом их совершения в разных, отдаленных один от другого, городах южной России (в Одессе, Киеве, Кременчуге, Ростове на-Дону) прибиты были на площадях печатные объявления, открыто признававшие факт убийства во имя социально-революционных идей и возводящие таковые злодеяния на степень догмата означенных учений. Но еще важнейшими представляются те случаи, в коих преступная решимость злоумышленников выразилась в наиболее опасной и дерзкой форме — в форме открытого, вооруженного сопротивления распоряжениям правительственных органов. В ряду случаев этого рода следует указать на событие 6 декабря 1876 г., происшедшее в С.-Петербурге, на Казанской площади, где, после чтения возмутительного воззвания к народу и выставления эмблем социальной революции, толпа пропагандистов избила полицейских чинов, предлагавших ей разойтись. Как известно, порядок был восстановлен, а зачинщики демонстрации заарестованы полициею лишь благодаря содействию окружавшей публики. Другой случай открытого насилия против представителей власти произошел 31 января сего года в Одессе, во время производства обыска в квартире дворянок Витте и Межаровой,

причем злоумышленниками были изранены офицер и несколько нижних чинов жандармского корпуса, и заарестование виновных последовало только с прибытием воинской команды. Наконец едва ли даже представляется необходимым входить в подробности сопровождавшейся насилием против чинов полиции и жандармов уличной демонстрации 31 минувшего марта, происшедшей после судебного заседания по делу Веры Засулич, — впечатление этого прискорбного события еще слишком свежо в памяти всех; достаточно упомянуть лишь, что одним из соучастников в демонстрации, неоднократно привлекавшимся уже в качестве обвиняемого к делам о государственных преступлениях, было произведено несколько выстрелов в толпу, причем ранена одна женщина и пробита каска у жандарма.

Всматриваясь в причины подобных возмутительных явлений, нельзя не притти к тому заключению, что существует круг злоумышленников, стремящихся навести страх как на все общество, так и в особенности на должностных лиц, поставленных правительством для защиты общественного спокойствия и порядка, и тем самым устранить противодействие, встречаемое означенными злоумышленниками на пути к осуществлению их преступных целей.

Один перечень приведенных преступлений и не прекращающаяся последовательность их повторения сами по себе уже указывают на недостаточную, повидимому, репрессивность тех мер, которыми располагает правительство в борьбе с злоумышленниками этого рода.

Согласно существующему порядку, дела о преступлениях, предусмотренных ст. 263 — 271, 285 и 395 Улож. о наказ., изд. 1866 г., рассматриваются по общим правилам Устава уголовного судопроизводства. Но порядок этот был рассчитан на такое положение вещей, при котором невозможно было ожидать наблюдаемых ныне порази-

тельных признаков преступлений, обнаруживающих столь усиленное проявление злой воли. Притом такой необычный характер преступной деятельности злоумышленников выражается не в одном каком-либо или нескольких отдельных преступлениях этого рода, а в целом ряде их, почти непрерывно следующих одно за другим.

Очевидно, что это чрезмерное, так сказать, эпидемическое развитие зла требует безотлагательного принятия таких мер, с установлением коих строгая по закону наказуемость случаев насилия и сопротивления органам правительства была бы безусловно обеспечена и не зависела бы от случайных причин. Эта цель, казалось бы, с полным успехом может быть достигнута путем временного изменения нынешней подсудности означенных преступлений, а именно посредством передачи дел о сем в ведение судебных палат, без участия присяжных заседателей, но с присоединением к присутствию палаты сословных представителей. Что касается самого порядка производства сих дел, то в этом отношении представляется всего правильнее применить к ним порядок, установленный для суждения в особых присутствиях палат дел о государственных преступлениях, влекущих за собою ограничение или лишение прав состояния.

Закон

Уст. угол. суд., т. XV, ч. 2, Свод зак., изд. 1876 г., ст. 201

Заключение министра юстиции

Руководствуясь вышеизложенными соображениями, министр юстиции полагал бы необходимым в виде временной меры:

I. Дела о преступлениях, предусмотренных ст. 263—271 и 285 Улож. о наказ., изд. 1866 г., а равно и дела об убийстве или покушении на убийство должностных лиц

(ст. 1453—1455, 1459 и 1464 Улож.), или же о нанесении таковым лицам ран или увечий (ст. 1477—1484 и 1486—1490 Улож.), хотя бы и не в присутственном месте, но однакож при исполнении ими обязанностей службы, или же вследствие, либо по поводу исполнения ими сих обязанностей, подчинить, в отношении предания суду подсудности и порядка производства сих дел на суде а дела о преступлении, предусмотренном в ст. 395 Улож. о наказ., лишь в отношении подсудности и порядка производства суда,— правилам, установленным для дел, производящихся в судебных палатах с участием сословных представителей.

II. Порядок этот применить ко всем делам о вышеозначенных преступлениях, по коим еще не последовало предание суду обвиняемых.

О сем статс-секретарь граф Пален имеет честь представить на благоусмотрение Государственного совета. 250

Подписал: министр юстиции
статс-секретарь граф Пален

Скрепил: директор Манасеин

Министерство юстиции
Департамент
Отделение законодательное

Апрель 6-го дня 1878 г.

№ 6881

С.-Петербург

Об изменении некоторых статей закона 7 июня 1872 г., определяющих порядок производства дел о государственных преступлениях

Изложение дела. На основании постановлений Устава уголовного судопроизводства 20 ноября 1864 г. о судопроизводстве по государственным преступлениям (разд. 2, кн. III), эти преступления подлежали ведению или судебных палат, как общих для дел сего рода судилищ, или верховного уголовного суда, учреждаемого в наиболее важных случаях по особому о сем каждый раз высочайшему указу.

Но вскоре по введении судебных уставов в действие, вследствие появления в пределах России противоправительственной социальной пропаганды, разветвления которой обнимали многие части государства, угрожая значительною опасностью распространения среди народа пагубных учений, встретилась необходимость сосредоточить в одном учреждении отдельные, разрозненные по местной подсудности, дела означенного рода и вверить суждение о них Правительствующему сенату, как высшему в судебной иерархии установлению, ведение коего простирается на всю империю.

Согласно сему, в изменение первоначально определенного судебными уставами порядка (ст. 1030—1061 Уст. угол. суд.), воспоследовало, удостоившееся в 7-й день июня 1872 г. высочайшего утверждения, мнение Государственного совета, на основании коего дела о государственных преступлениях, за исключением тех из них, которые не влекут за собою по закону лишения или ограничения прав состояния, изъяты из ведомства судебных палат и предоставлены рассмотрению особого присутствия Правительствующего сената с участием сословных представителей.

Мера не замедлила привести к надлежащим результатам, и полезное действие ее можно признать ныне вполне достигнутым, так как в настоящее время особым присутствием сената уже подвергнуты окончательному обсуждению все главнейшие из возбужденных по упомянутому предмету производств.

Но вместе с тем при рассмотрении сих дел в особом присутствии Правительствующего сената, выяснились такие практические неудобства применения закона 7 июня 1872 г., которые указывают на необходимость принятия законодательных мер к их устранению на будущее время. Так, несомненно, в виду крайней опасности оставления в течение продолжительного времени государственных преступлений без строгого взыскания, задача судебной власти при преследовании упомянутых преступлений должна состоять, главным образом, в быстром раскрытии оных, в месте их совершения, и в возможно скором применении к виновным законной кары. Между тем этим именно целям противоречило бы дальнейшее подчинение сих дел рассмотрению особого присутствия сената как *единственного* на всю империю высшего судебного места, находящегося, притом, на одной из отдаленных от центра России границ ее.

Проистекающие из сего затруднений при доставлении в С.-Петербург большего числа свидетелей и подсудимых, независимо от обременения казны путевыми расходами и издержками на вознаграждение свидетелей за продолжительное время передвижения их и пребывания в С.-Петербурге, влекут за собою столь же нежелательную, сколько и неизбежную медленность в самом рассмотрении сказанных дел. Засим перевозка подсудимых для присутствования в суде, иногда на очень большие расстояния, при всей бдительности присмотра за ними во время пути, увеличивает, однако, для них возможность побега, особенно для наиболее опытных, главных виновных, безнаказанность которых была бы всего вреднее. Наконец, самое сосредоточение в одном из столичных городов всех обвиняемых этой категории, разобщенных до того местом их преступной деятельности, представляется также неудобным и нежелательным.

Кроме приведенных, имеющих существенное значение, внешних неудобств ныне существующего порядка, нельзя отчасти не остановиться и на том соображении, что преимущественное подчинение означенных дел Правительствующему сенату, представляющему собою высшее в империи судилище, как бы возвышает обвиняемых в глазах тех людей, которые имели несчастие подпасть под их нравственное влияние.

Для устранения всех этих неудобств казалось бы в настоящее время возможным и полезным упростить несколько порядок судопроизводства по государственным преступлениям, возложив суждение по ним, как это первоначально и было определено в уставах 20 ноября 1864 г., на местные судебные палаты, в усиленном составе, с участием сословных представителей, не изменяя, затем, главных оснований сего порядка, начертанных высочайше утвержденным 7 июня 1872 г. мнением Государственного совета. Такое упрощение производства дел о сих престу-

плениях не могло бы пока коснуться лишь Варшавского судебного округа, по отсутствию, в составе местных учреждений, должностей, соответствующих указанным в законе сословным представителям в особом присутствии сената. Что же касается прочих судебных округов, то, в случае осуществления изъясненных предположений, казалось бы несомненным, что интересы правосудия и выгоды быстрого рассмотрения, на месте, дел о политических преступлениях будут осуществлены одновременно с важными для казны сбережениями, связанными с изъятием сих дел из ведения Правительствующего сената. Успешность же и правильность действий обвинительной власти представляется в таком случае вполне обеспеченною, в виду того, что поддержание на суде обвинения принадлежало бы тем же лицам: прокурорам судебных палат, — под надзором коих производятся и теперь дознания и предварительные следствия по государственным преступлениям.

Наконец, таковой общий порядок рассмотрения дел об означенных преступлениях не исключает, конечно, возможности отступления от него и передачи каких-либо из возникших производств в особое присутствие сената, когда, по характеру их, в этом будет предстоять надобность, и о таком направлении их последует высочайшее повеление.

Руководствуясь изложенными соображениями и для избежания всякого промедления в производстве сих дел, могущего воспрепятствовать надлежащему их раскрытию и вместе с тем послужить к отягчению участи подсудимых, министр юстиции полагал бы постановить, чтобы впредь в тех местностях, в коих последовало судебное преобразование, за исключением Варшавского судебного округа, дела о вышеуказанных государственных преступлениях поступали на обсуждение судебных палат, но с участием сословных представителей (ст. 1061—1064 Уст. угол. суд., т. XV, ч. 2, изд. 1876 г.) и с тем, чтобы

дела сии вносились на рассмотрение особого присутствия Правительствующего сената или верховного уголовного суда лишь в том случае, когда о сем последует особое высочайшее повеление.

Согласно с сим надлежало бы изменить содержащееся в ст. 1031, т. XV, ч. 2 Уст. угол. суд., изд. 1876 г., общее определение ныне существующего порядка подсудности дел о государственных преступлениях.

В первом из перечисленных в ст. 1031 случаев, т. е. когда упомянутые преступления не влекут за собою по закону наказания, соединенного с лишением или ограничением прав состояния, дела сии, при предполагаемом новом порядке, рассматривались бы местною судебною палатою, как и ныне,— в обыкновенном ее составе и на приговоры ее допускались бы как апелляционные протесты и отзывы, так и частные жалобы и протесты в уголовный кассационный департамент Правительствующего сената. В прочих, затем, случаях, при рассмотрении означенных дел судебными палатами, с участием сословных представителей, должны быть соблюдаемы правила, постановленные в ст. 1030 и следующих, т. XV, ч. 2 Уст. угол. суд., изд. 1876 г., о производстве дел о государственных преступлениях в ведомстве особого присутствия Правительствующего сената, с теми изменениями, которые обусловливаются рассмотрением сих дел в судебных палатах. При этом, в отличие от порядка, установленного ныне для судебных палат и особого присутствия Правительствующего сената по делам о государственных преступлениях, надлежало бы принять правило о том, что на приговоры судебных палат, постановленные при участии сословных представителей, допускаются жалобы и протесты не апелляционные, а кассационные, и притом не только на нарушение закона и неправильное его толкование при определении преступления и рода наказания, но и в двух остальных, указанных в ст. 912 Уст. угол. суд.,

случаях, являющихся поводами к отмене решений, а именно: при нарушении обрядов и форм столь существенных, что без соблюдения их невозможно признать приговор в силе судебного решения, и при нарушении пределов ведомства или власти, законом предоставленной судебному установлению.

Законы

Том XV, ч. 2 Уст. угол. суд., изд. 1876 г., ст. 1031—1073

Заключение министра юстиции

На основании изложенных соображений министр юстиции полагал бы, взамен нижеозначенных статей т. XV, ч. 2, Свод зак. Уст. угол. суд., изд. 1876 г., постановить следующие правила:

1. (Взамен 1031 ст.). «Дела о государственных преступлениях ведаются:

1) судебными палатами, когда преступление не влечет за собою по закону наказания с лишением или ограничением прав состояния;

2) судебными палатами в усиленном составе, с участием сословных представителей, или же, когда о сем последует высочайшее повеление, особым присутствием Правительствующего сената, с участием означенных представителей, — если за преступление определено в законе наказание, сопряженное с лишением или ограничением прав состояния;

3) верховным уголовным судом, когда по случаю обнаруженного в разных краях государства общего заговора против верховной власти, или против установленного законами образа правления и порядка наследия престола, последует высочайший указ о рассмотрении дела в суде».

Примечание. «Упомянутые в п. 2 этой статьи дела по Варшавскому судебному округу выдаются во всех случаях особым присутствием Правительствующего сената».

II. (Взамен 1049 ст.). «Жалобы на действия члена судебной палаты при производстве предварительного следствия по преступлениям, подведомым судебной палате с участием сословных представителей или особому присутствию Правительствующего сената, приносятся судебной палате или особому присутствию сената, по принадлежности, и рассматриваются ими без участия сословных представителей, по выслушании заключения прокурора палаты, или обер-прокурора уголовного кассационного департамента сената или его товарища по принадлежности».

III. (Взамен 1050 ст.). По окончании предварительного следствия, оно препровождается к прокурору судебной палаты, который поступает на следующем основании:

а) когда дело подлежит ведению судебной палаты с участием или без участия сословных представителей, то прокурор составляет по оному обвинительный акт или заключение о прекращении следствия, руководствуясь относительно предания суду 1053 ст., т. XV, ч. 2 Уст. угол. суд., изд. 1876 г., а относительно прекращения следствия — 1054 статьею того же устава;

б) если следствие имеет предметом преступление, подведомое особому присутствию Правительствующего сената, то дело представляется министру юстиции.

IV. (Взамен 1071—1073 ст.). «1) Государственные преступления, подведомые судебной палате, подлежат рассмотрению уголовного ее департамента; но по делам, означенным во 2 п. 1031 ст. (по измененной ныне редакции) Уст. угол. суд., в палате составляется присутствие в усиленном составе из старшего председателя и четырех членов уголовного департамента палаты и сословных представителей, указанных в 1061 ст. того же устава. Член палаты, производивший предварительное следствие, не может быть судьею в исследованном им деле. 2) В случае недостатка членов уголовного департамента

палаты, для составления заседания означенного присутствия, таковое пополняется порядком, установленным в 270 и 271 ст., ч. 1, т. II Свода законов, изд. 1876 г. 3) Относительно назначения, отвода и прав сословных представителей соблюдаются постановления, изложенные в 1062–1064 ст. Уст. угол. суд., причем списки волостных старшин ежегодно сообщаются губернаторами тех губерний, в губернских городах коих учреждены судебные палаты,— министру юстиции, для представления их на высочайшее усмотрение. 4) К производству сих дел в судебной палате как с участием, так и без участия сословных представителей, применяются Правила 1065, 1069 и 1070 ст. Уст. угол. суд. 5) На приговоры судебной палаты допускаются как апелляционные отзывы и протесты, так и частные жалобы и протесты в уголовный кассационный департамент Правительствующего сената. 6) Приговоры судебной палаты, постановленные с участием сословных представителей, могут быть отменяемы лишь в кассационном порядке, как по просьбам подсудимых, так и по протестам прокурора. Сии просьбы и протесты рассматриваются Правительствующим сенатом по уголовному кассационному департаменту. В случае отмены такого приговора, дело обращается, для нового производства, в другую судебную палату.

V. Настоящие правила применяются ко всем делам о государственных преступлениях, по коим не последовало еще предание суду обвиняемых.

О вышеизложенном статс-секретарь граф Пален имеет честь представить на благоусмотрение Государственного совета. [251]

Подписал: министр юстиции
статс-секретарь граф Пален
Скрепил: директор Манасеин

ДЕЛО О ПОКУШЕНИИ НА ЖИЗНЬ С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГРАДОНАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТА ТРЕПОВА 252

Если преднамеренное преступление против жизни вообще, рассматриваемое законодательством, как вид общественного правонарушения, признается самым тяжким и навлекает на виновных в этом преступлении кару по всей строгости закона, то само собою следует, что всякое посягательство на жизнь государственного должностного лица, поставленного во главе охранения общественного порядка и спокойствия, составляет тот предел преступного деяния, далее которого распространение его невозможно. Но если такое преступное деяние является последствием особых условий служебной деятельности этого лица, или особых нередко необходимых мер к поддержанию порядка и значения власти, а тем более последствием политических идей преступника, принадлежности последнего к тайному политическому сообществу и заговора его, то в этом случае посягательство на жизнь должностного лица составляет такое противоправительственное явление, которое должно рассматриваться, как первый шаг к разрушению государственных основ, угрожающее не только жизни одного лица и спокойствию какой-либо части общества, но и безопасности целого государства и государственной власти.

Законодательство в отделе о преступлениях против порядка управления предусматривает только случаи

оскорбления должностных правительственных лиц. По этим преступлениям оно установляет такую строгость наказания, которая достаточно гарантирует спокойное отправление этими лицами служебных обязанностей. Что же касается преступлений против жизни должностных лиц, то в этом отношении, за неимением специального закона, служебное положение является обстоятельством, только увеличивающим важность преступления и меру наказания виновных. Таким образом посягательство на жизнь правительственного лица хотя и не входит в компетенцию закона о преступлениях государственных, тем не менее опыт доказал, что могут встречаться случаи, в которых особые обстоятельства, сопровождающие насилие над должностным лицом, придают этому насилию характер государственной преступности. Только признание за таким деянием особой важности, преимущественного значения пред прочими и выделение его из общей подсудности могут ограждать жизнь правительственного лица на столько, чтобы безнаказанное посягательство на него сделалось невозможным.

Таким выдающимся случаем сомнительной подсудности несомненно представляется и покушение на жизнь с.-петербургского градоначальника. Поэтому понятно, что ни одно явление в сфере общественной жизни и ни одно дело в судебно-уголовной практике не приобретало столь громадного общественного интереса, столь глубокого государственного значения, такой исключительности, как это покушение, и в особенности такой беспримерный факт насилования общественной совести, как оправдание этого преступления. Каждый инстинктивно понимал важность события, политический смысл его и сознавал, что от исхода судебного решения должно зависеть будущее развитие внутренней политической жизни общества и направление правительственной деятельности.

Такое значение этого события определялось даже в самом начале, еще до производства о нем следствия и суда. С одной стороны, высокое служебное положение потерпевшего, его государственные заслуги, европейская известность, даже популярность, наконец, его принципы и неуклонное направление многолетней деятельности в духе строгого ограждения власти и порядка; с другой стороны, знакомство общества с личностью обвиняемой из процесса по Нечаевскому делу — служили ясным указанием на исключительное значение преступного события. Невозможно было сомневаться в том, что в данном случае покушение на жизнь было незаурядным преступным явлением общественной жизни, не замыслом одной обвиняемой, не личным и частным чувством мщения ее за телесное наказание лица, хотя и одного направления с нею, тем не менее совсем постороннего и незнакомого,— а выражением скрытых политических страстей, мщением за идею и агитационным протестом, выразившимся одновременно с этим и в других преступных проявлениях. Словом сказать, покушение это было осуществлением той преступной программы, с которою русскому обществу пришлось впервые ознакомиться из процессов по делам о государственных преступниках Каракозове и Нечаеве. Поэтому несомненно, что оно было делом заговора противузаконного сообщества, возродившегося, созревшего и получившего повсеместное разветвление под влиянием социально-демократических начал, вредных тенденций и личных видов значительной партии крайних прогрессистов, начавших уже давно тайную борьбу с правительственным началом и пропаганду против него, искусно веденную под прикрытием этого сообщества.

В таком виде представлялось это событие не только всем правительственным лицам, не исключая министра юстиции, но и государю императору, при первом извещении о преступлении. Поэтому первоначальное напра-

вление сего дела в порядке закона 19 мая 1871 г., данное ему под таким впечатлением, согласно высочайшему повелению, представлялось совершенно правильным и целесообразным. При должной энергии следственного производства оно неизбежно привело бы к значительным открытиям и, прежде всего, к обнаружению принадлежности обвиняемой к противузаконному сообществу, образовавшемуся вновь из лиц, оправданных по последнему и прежним политическим процессам, деятельность которого стала в особенности выражаться вслед за покушением на жизнь генерала Трепова в фабричных беспорядках и других проявлениях. Между тем как с изменением такого направления и обращением дела к общей подсудности, по уставам 20 ноября 1864 г., с компетенцией суда присяжных, не только ускользала, безвозвратно, возможность к указанным открытиям, но сверх того наносился и смертельный удар всему правительственному началу. В то же время становилось ясным, к чему клонилось дело. Оно не поступило даже к судебному следователю по особо важным делам, которому обыкновенно передаются все дела, более или менее выходящие из ряда обыкновенных, даже такие, как дела о денежных растратах в частных акционерных учреждениях, и у которого в то время уже находилось в производстве следственное дело о беспорядках в доме предварительного заключения, из коего вытекало наказание арестанта Боголюбова, поставленное прецедентом покушения на жизнь градоначальника. Поэтому можно впредь определить, в каком направлении оно будет ведено и какой исход получит.

В перспективе уже просвечивали неполнота следствия и односторонность судебного разбирательства, предвиделось склонение последнего к делу о наказании Боголюбова и полнейшее дискредитирование этим на суде административной власти, а в результате оправдание преступления со всеми его последствиями.

Только близорукий взгляд мог смотреть на дело иначе и не предвидеть, к чему может повести обращение дела к общему порядку судопроизводства. Только при неопытности можно было так наивно-доверчиво отнестись к заявлению обвиняемой, решиться повергать на высочайшее воззрение и проводить во все правительственные сферы мнение, что мотивом преступления служила впечатлительность женщины к наказанию арестанта Боголюбова и мщение за лицо постороннее, даже незнакомое, а затем — ожидать, что такое преступление не будет оправдано. Наконец, только в оправдание неправильного направления дела можно было ссылаться на возможность недовольства и протеста общественного мнения против изъятия этого случая из общей подсудности и уклонения от законности как бы в интересах потерпевшего лица.

Все эти, к сожалению, неосновательные, если только не заведомо-ложные, аргументы, доходили и до всеобщего сведения.

Но действительность осуществилась. Суд совершился, и преступление оказалось оправданным. Только после того, когда обвиняемая и ее защитник осыпались рукоплесканиями публики, а административная власть, в лице потерпевшего, была безнаказанно поругана и подавлена вконец, когда все заговорило о ее бесправии и о торжестве преступления и демократических начал, для правительственных лиц и министра юстиции в особенности наступил момент тяжелого сознания всей важности ошибки, скорее даже преступной интриги второстепенных должностных лиц, несомненно повлиявших на направление дела по уставам 20 ноября 1864 г. На глазах у всех разверзалась бездна страстей, готовая поглотить общество, и начинался ряд предвиденных непоправимых последствий этой ошибки. У здания окружного суда толпа представителей противузаконного сообщества, имевшая, как оказалось впоследствии, даже заряженное оружие,

с уверенностью ожидала оправдания. При неистовых приветствиях возвращения оправданной в лоно этого сообщества, из толпы, по первому предположению ее о намерении полиции воспрепятствовать безумной демонстрации, было произведено несколько выстрелов и совершено таким образом несколько новых кровавых преступлений. Печать, рядом непрерывных, крайне резких статей и сочувственных оправдательному приговору отзывов, поддерживала общее движение и в свою очередь единодушно громила администрацию. Заговорить открыто против оправдания, а тем более предпринять сколько-нибудь решительные меры к подавлению движения в таком хаосе казалось невозможным. Только благодаря энергии цензурных распоряжений министра внутренних дел, не смущавшихся пред воинственным азартом печати, не подававшейся в начале запрещениям, рвение ее удержано, а появившееся вслед за тем объявление министра о превратности распространившихся понятий относительно бесправия полиции в деле поддержания порядка восстановило несколько пред обществом значение полиции и послужило к предупреждению отважных сборищ. Лица же, от которых зависело не домогаться изменения первоначального направления дела и недопустить явившихся последствий, повидимому, терялись в недоумении и бездействовали. В общем результате оказалось, что судебное решение по этому делу положило прочное основание к самосуду частных лиц и к безнаказанному совершению преступлений против должностных лиц, которых после такого исхода дела казалось возможным не только оскроблять безнаказанно, но и лишать жизни.

Такое решение, будучи равносильным надруганию суда над администрацией, очевидно, передавало последнюю и всеобщему поруганию, не замедлившему проявиться в последующих за этим делом случаях на панихиде во Владимирской церкви, в Исаакиевском соборе

и в Александровском парке, в которых полиция подвергалась не только новым оскорблениям, но даже побоям. Изложенный образ действия судебного ведомства, независимо от указанных последствий судебного решения, несомненно создает такую вражду противоположных мнений, которая может послужить в будущем к систематическому раздвоению общества и образованию в нем несуществовавшего еще до ныне духа партий. Он не может быть объяснен ничем другим, как только солидарностью его с противозаконными элементами, и поэтому не может заслуживать иного названия, как предательства закона и измены своему долгу. Только постановкой вопроса на эту почву и возведением его на степень такого значения могут быть сколько-нибудь предупреждены подобные случаи в будущем и предохранена государственность от угрожающей опасности. Само собою следует, что для такого заключения голословных заявлений недостаточно, а нужны факты, способные удостоверить основательность этих обвинений. Поэтому теперь, когда первая буря страстей поутихла и рвение печати поудержано, наступила возможность рассмотреть и фактами подтвердить совокупность всего вышеизложенного. Это является даже настоятельною потребностью, как в виду того, что случаи дерзких посягательств на администрацию, после оправдательного приговора кровавого преступления, несомненно не прекратятся, а будут повторяться чаще, так в особенности в виду влияния приговора на взаимное отношение внутренних элементов общества.

Для этого необходимо, *во-первых*, последовательно и подробно рассмотреть значение преступления, правильность направления дела, повлиявшие на него причины в связи с нравственным направлением обвиняемой, политической ее неблагонадежностью и отношением к делу общества; *во-вторых*, сделать анализ и оценку

действий суда и речей прокурора, защитника и председателя.

Внешняя фактическая сторона дела известна и проста. Явившаяся к градоначальнику под видом просительницы, женщина сделала в него выстрел почти в упор и тут же заявила, что мстит за наказание арестанта Боголюбова. Преступление, кроме важности его, представляется крайне вероломным. Оно совершено в таком месте и при таких обстоятельствах, когда менее всего могло быть ожидаемо и предупреждено, когда должностное лицо и проситель становятся в такие отношения, в которых между ними нет ни посредников, ни преград, и всякий преступный замысел делается всесильным. Такая видимая простота фактов и заявление обвиняемой послужили, как выше сказано, поводом к отмене первоначального направления дела и обращение его к общему порядку судопроизводства, а это последнее было главной причиной неблагоприятного для правосудия исхода дела. Поэтому первым предметом обсуждения является вопрос как о свойстве мщения женщины за лицо ей постороннее, даже незнакомое, так и о том чувстве, которым это мщение было вызвано. Было ли оно выражением общего принципа гуманности, готовой из-за этого принципа на всякое самопожертвование, или оно было, так сказать, специальным только политическим чувством, протестовавшим против насилия над лицом одного направления, одних идей, против того начала, из которого исходило наказание, служившее выражением другого принципа? Такие оттенки могут освещать внутреннюю, невидимую сторону дела, цель и значение преступления, равно определять его подсудность. Так, например, если какое-нибудь лицо, проникнутое чувством общей и притом безграничной гуманности к человечеству, развивая в себе это чувство, доведет его до фанатизма и в инте-

ресах цивилизации, совершенствования нравов, законов и т. п. поставит себе целью ограждение нравственного человеческого достоинства от поругания, то, без сомнения, такое лицо будет мстить при первом представившемся случае за всякое угнетение — безразлично, к какому бы положению угнетенный и оскорбленный ни принадлежал. Оно будет мстить господину за слугу, начальнику за подчиненного, богатому за нищего, всякой власти за частное лицо, словом, всем, кто в силу своего положения получает возможность безнаказанно попирать человеческое достоинство бесправного и притом невинного лица. Но если мщение является за лицо только известного направления, известных идей, то в этом случае оно будет не общим гуманным чувством, а известным принципом тенденций, значением которых будет определяться как свойство мщения, так и положение мстящего лица, его политическая теория, деятельность и среда, к которой оно принадлежит, а совокупностью всего будет определяться и подсудность самого преступления.

Таким образом, рассматривая преступление, как мщение вообще за наказание бесправного лица, нельзя не остановиться прежде всего на том, что чувство, коим оно вызвано, представлено раздутым и впечатлительность подсудимой преувеличенною. В этом отношении резко бросается в глаза, что шестимесячное расстояние, разделявшее наказание Боголюбова от мщения за него, составляет такой промежуток времени, который способен охладить даже самое пылкое воображение, ослабить самую сильную энергию и рассеять самую восприимчивую и продолжительную впечатлительность всякого лица, а тем более женщины в том положении, в котором находилась подсудимая. Если согласиться с этим и признать, что восприимчивость не вполне естественна, то будет несомненно, что преступление имело другие

мотивы, и тогда мщение за Боголюбова становится предлогом, случайно представившимся. В подкрепление этого соображения можно указать на ряд таких явлений и случаев в разных сферах правительственной деятельности и в разных местностях России, к которым подсудимая, быть может, находилась ближе и которые, с вышеуказанной гуманной точки зрения, могли казаться ей точно так же несправедливостью, даже угнетением невинно-страждущих. Между тем ни один из таких случаев не вызвал ее на мщение по принципу. Впрочем, сам защитник значительно облегчил задачу в доказательство тенденциозности преступления, и как он ни старался свести все только к впечатлительности, к восприимчивости, к протесту против нарушения общечеловеческого права, однако, в общем результате преступление обвиняемой свелось всецело к защите прав только политической преступности.

Все это было ясно и до суда. Неосновательность предлога простого мщения и политическое значение преступности обрисовывалось более простыми и менее глубокомысленными обстоятельствами дела. Ложность имени, принятого обвиняемой, фальшивость вида, с которым она прибыла в столицу, сокрытие квартиры и лиц, воскресивших рассказами своими о наказании Боголюбова ее впечатлительность, равно лица, покупавшего револьвер, которые ни за рассказы о наказании, ни за исполнение комиссии по покупке револьвера не могли подвергаться никакой ответственности, если бы они оказались чуждыми и безучастными к преступлению,— все это указывало на известную цель сокрытия, на небезучастность этих лиц и, наконец, на то, что все они составляют такую среду, незаконная деятельность которой и нравственное направление делали ее небезопасной. Обвиняемая, очевидно, понимала, что обнаружение этой среды и принадлежности к ней ее самой

являлось как бы путеводной нитью не только к направлению дела, но и к другим открытиям. Вот точка зрения на дело, которой не поколеблют никакие доводы, никакие речи на суде ни та осторожность суда, с которою он, видимо, обходил все, что могло выдавать и обнаруживать политическое значение преступности.

Изложенные соображения еще более подкрепляются тем направлением обвиняемой с ранней молодости и политической ее неблагонадежностью, которые в ней обнаружились еще задолго до Нечаевского дела и которые уже имелись в виду правительства. В этом отношении защитником хотя и был на нее возлет мученический венец правительственных несправедливостей, жертвою которых она сделалась восемь лет назад, со времени первого арестования ее по Нечаевскому делу, но такой венец мог возлагаться на нее и все противоправительственные обвинения оставаться непреложными истинами только под условием согласия со всем этим обвинителя. Между тем как действительное положение дела, факты и хроника семейства, к которому обвиняемая принадлежала, доказывают противное. Она по матери является потомком одного из последних представителей прежнего дворянства. Дед ее, Александров, был много лет предводителем Гжатского уезда, Смоленской губернии, со смертью которого прекращался род Александровых и не оставалось их имущественного владения. Обвиняемая была младшая из трех сестер, единственный же брат [253], избравший военную карьеру, вследствие вполне противоположного направления с своими сестрами, порвал всякую родственную с ними связь. Старшая сестра Екатерина, вышедшая замуж за студента Никифорова еще в 1865 г., обнаружила нигилистическое направление и обратила на себя внимание правительственных лиц пропагандированием

вредных идей против святости брака. За это она была сослана, по распоряжению администрации, в Архангельскую губернию и получила впоследствии разрешение только на временное возвращение для поправления здоровья. При этом обвиняемая, имевшая в то время, когда производилось дело о сестре, едва 16 лет, успела уже обнаружить в характере скрытность и лукавство, представлявшие ее личностью сомнительной благонадежности. Затем, два года спустя, она уже вполне усвоила то же нигилистическое направление и появилась в г. Серпухове, Московской губернии, в качестве письмоводителя у мировых судей, нося стриженые волосы, кожаный пояс и тому подобные наружные атрибуты отрицания общественных условий. Другая ее сестра, Александра, выйдя замуж за Успенского [254], того самого, который, будучи библиотекарем книжного магазина Черкасова в Москве, активно участвовал с Нечаевым в убийстве студента Иванова и присужден к каторжным работам,—помогала мужу в распространении нечаевских прокламаций и собственноручно надписывала на конвертах адреса, за что и была приговорена одновременно с мужем к ссылке в Сибирь. Обвиняемая и в этом случае оказалась не далеко стоявшею от дела. Она в это время находилась у сестры, подвергнутой домашнему аресту, и была близкой знакомой как самого Нечаева, так и многих других обвиняемых по его делу. После того, живя в Петербурге, где мать имела постоянное жительство, она передала даже записку Нечаева Томиловой, привлеченной также к суду за денежный перевод на имя Нечаева за границу, и притом такую записку, в которой он ложно извещал о побеге своем из крепости. В виду таких обстоятельств, едва ли она могла не знать или, по крайней мере, не догадываться о преступных замыслах Нечаева и его сообщников, тем более, что из последних многие часто собирались

в квартире матери, привлекаемые туда сообществом, конечно, не самой матери, а дочери.

Вот истинные причины и поводы к арестованию ее.

Если же, несмотря на это, она не была даже привлечена к суду в качестве обвиняемой и отделалась продолжительным арестом, а затем была выслана из столицы, то таким счастливым исходом обвиняемая обязана тому же направлению суда, благодаря которому оправдана и в последнем преступлении. Вообще, рассматривая Нечаевское дело, можно только удивляться направлению, в котором оно велось, речам, которые произносились, и сочувственному отношению председателя даже к убийцам Иванова, осуждение которых не подвергалось ни малейшему сомнению. Поэтому, тем менее, можно считать несправедливостью временный арест непривлеченных к делу лиц. В этом случае, конечно, общая картина, изображенная защитой, могла бы измениться, если бы прокурор не наложил на себя печать упорного молчания. После этого может ли казаться странною, несправедливою, а тем более незаконною административная высылка из столицы обвиняемой и полицейский надзор, которому она была подвергнута? При этом как арестование, так и высылка ее были распоряжениями не градоначальника, а III отделения собственной его величества канцелярии; высылка же, сверх того, по соглашению с министром юстиции. Время и случай доказали, что направление ее не изменилось, а укоренилось и принесло даже неожидаемые плоды.

В виду изложенного, едва ли и общественное мнение могло сказать что-либо против направления сего дела в порядке политической подсудности, и едва ли с этой стороны могло быть такое опасение.

Наконец, справедливо ли еще, что общественное мнение было заинтересовано той или другой подсудностью дела и готово было высказать протест против

изъятия его из общей подсудности? На это смело можно отвечать, что нет! Оно было безотчетно возбуждено преступным событием и в особенности отвагой женщины. В нем скрещивались противоположные суждения о значении преступления, личные симпатии и антипатии к лицу потерпевшему, оно, правда, интересовалось и высказывало напряженные предположения об исходе судебного решения, но далее этого общественное мнение не заходило, даже наказанием Боголюбова мало интересовалось. Поэтому собственной инициативы ни в чем не подавало и ни мнений, ни желаний своих о направлении дела не подсказывало правительству. Доказывать противное на основании рукоплесканий, покрывших речь защитника и оправдание подсудимой, равно считать, что такое одобрение исходило от всего интеллигентного общества, — невозможно. Против этого говорит: во-первых, то, что значительную часть публики составляли все наличные члены судебного ведомства, о мнении которых в данном случае не может быть и речи; во-вторых, что остальная публика составляла настолько ничтожное процентное отношение ко всей интеллигенции столицы, а тем более ко всему ее обществу и населению, что мнение ее невозможно признавать отголоском всего общественного мнения; и наконец, более всего говорит то, что публика эта, по преимуществу, состояла из лиц, знакомых судебному ведомству, и потому несомненно служила выражением мнения последнего. Что касается сочувственных оправданию отзывов печати, то они в свою очередь ничего не доказывают. Одно уже художественное описание не только личности, но и костюма подсудимой, едва не доходившее до описания башмаков ее, и при этом описание неверное, указывает, сколь наивно-легкомысленно было отношение печати к столь важному делу. Кроме того, первые сообщения и отзывы печати о преступлении

выражали полное негодование против него, а известия о первоначальном направлении дела не сопровождались ни малейшим протестом ни самой печати, ни общества. Притом же небезызвестно, что печать наша служит выражением собственного мнения, которое во всех важных случаях подчиняется печати, а не руководит ею. А в настоящем случае мнение печати было не более, как повторением речи защитника, которую она цитировала по-своему, и только этой речи, потому что обвинительная речь была столь бесцветна и слаба, что ее как бы вовсе не было. Между тем об исходе дела появились отзывы не одной петербургской прессы, но также московской и иностранной, из коих первая высказала категорический протест против оправдания, а последняя резко осудила присяжных, и на столбцах газеты «Liberté» появились такие эпитеты, которые далеко не говорят в пользу компетентности присяжных. В этом случае отзывы столь либерального органа печати, как газеты «Liberté», и такой свободной страны, как Франция, могут безошибочно служить выражением общественного мнения несравненно более, чем отзывы главных органов петербургской печати, а тем более наивные лепетания второстепенных ее органов. Таким образом не может быть сомнения в том, что общественное мнение в отношении порядка подсудности и направления дела было ровно ни при чем, и что если оправдание преступления было встречено сочувственно, то этим не выражалось общественное мнение интеллигенции столицы, а только ничтожной части ее общества, солидарной с судебным ведомством.

Итак, если ни простое мщение за наказание Боголюбова, ни влияние общественного мнения не составляли основательного повода к изменению первоначального направления дела, то несомненно, что причина этого была другая и коренилась глубже. Она заключа-

лась в давнишнем антагонизме прокурорского надзора к административной власти вообще и к лицу градоначальника в особенности. Антагонизм этот, возникавший из противоположных принципов, поддерживался и развивался непрерывным рядом частных причин и случаев. Такими случаями представлялись: задержание полицией для административной высылки из столицы лиц, оправданных судом, вредное направление которых, по убеждению администрации, требовало не только не оправдания их, но особой строгости судебных органов. Кроме того, случаи арестования администрацией, и притом нередко по требованию городских сословных учреждений, таких порочных лиц, которые предназначались к высылке на поселение по общественным приговорам. Наконец, поводом к антагонизму неоднократно служило принятие градоначальником к разбирательству таких дел гражданского характера по жалобам ростовщиков, дисконтеров, злонамеренных комиссионеров, по которым вследствие ухищрений этих лиц не представлялось возможности противной стороне получать удовлетворение судебным порядком и которых поэтому суд не принимал к рассмотрению, хотя признаки мошенничества в этих делах были несомненны. Во всех указанных случаях прокуроры не только находили незаконными арест и высылку подобных лиц и нередко освобождали их, но как эти распоряжения, так равно и вмешательство в указанные дела гражданского характера, *на которое даже не поступало жалобы*, они признавали за меры и действия, нарушающие права и авторитет судебной функции.

Но все подобные пререкания улаживались, благодаря тому, что не имели под собой такой почвы, на которой особое сближение в деятельности администрации и прокурорского надзора могло сделать более сильные столкновения между ними неизбежными, а враждебные отно-

шения открытыми. Почва эта представилась в общей деятельности по дому предварительного заключения. Еще вначале, когда проектировалось, по инициативе судебного ведомства, устройство этого места заключения, а затем составлялось положение о нем, то, несмотря на участие в этом деле лиц от министерства внутренних дел, преобладающее влияние в нем было на стороне юстиции вследствие того, что это место заключения предназначалось исключительно для подследственных арестантов, находящихся в распоряжении судебного ведомства, и устройство его составляло осуществление разграничения властей судебной и административной.

На этом основании, по положению об этом доме, градоначальник не был введен в состав комитета, образованного для управления домом, в качестве даже равноправного члена, и ему предоставлялось столько же неопределенное, сколько и бесправное участие в надзоре. Когда же оказалось, что практическое применение такого участия главного лица столичной администрации, *при ответственности его* в известной мере, невозможно, и вследствие этого было испрошено высочайшее повеление о пересмотре и изменении положения, в силу которого градоначальник делался равноправным членом комитета, то само собою следует, что, при условиях общего служебного положения, влияние его на управление домом предварительного заключения сделалось преобладающим пред остальными членами, а столкновения более возможными. С этим преобладанием прокуроры не мирились. Сепаративные действия их проявлялись постоянно не только в вмешательстве в действия администрации, но и в отдаче собственных распоряжений, не вытекавших даже из функции прокурорской власти, а между тем служивших поводом к беспорядкам. Такое направление и характер их действий не могли не породить в лицах, содержавшихся в этом месте

заключения, и в особенности в политических арестантах, как более развитых, сознания того, что прокурорский надзор подкапывается под администрацию, держится противоположного направления с нею и проводит во всем принцип чрезмерной, даже незаконной гуманности. Последствием этого было появление вначале различных заявлений и жалоб арестованных на администрацию, *по которым прокуроры даже производили самостоятельные дознания, не сообщая, вопреки законному порядку,* о таких заявлениях предварительно начальству лиц, на которых жалобы приносились. Засим стали возникать отдельные случаи маловажных беспорядков со стороны арестованных, которые постепенно переходили в беспорядки общие и более важные, сделавшиеся известными через III отделение собственной его величества канцелярии и государю императору. Такое положение дела не могло не вызвать необходимости в личном посещении градоначальником дома предварительного заключения, равно не оправдывать отданного им в одно из таких посещений распоряжения о наказании арестанта Боголюбова за такое поведение его, которое послужило к возбуждению всех арестованных, что было так свойственно этому арестанту в виду того демагогического направления, в котором он был изобличен по делу на Казанской площади, и за которое присужден в каторжные работы. Наказание это представлялось вместе с тем и вполне законным, так как оно состоялось после того, когда приговор о Боголюбове вошел в законную силу, и арестант этот, по сообщению товарища обер-прокурора кассационного департамента сената, уже перечислен был за губернским правлением как ссыльно-каторжный и не состоял в распоряжении судебного ведомства. Поэтому наказание его не было *диким произволом административной власти.* Что же касается происхождения Боголюбова, что хотя оно и не могло входить

в соображение, тем не менее распространившееся сведение о принадлежности его к дворянству неверно, так как он был сын дьячка. Наконец, несмотря на то, что министр юстиции, поставленный о наказании Боголюбова своевременно в известность самим градоначальником, одобрил эту меру, прокурор судебной палаты Фукс *резко осудил ее.* Его примеру последовали и подчиненные ему лица прокурорского надзора, которые стали в свою очередь, не стесняясь, гласно и резко осуждать распоряжение градоначальника, открыто высказывая при этом желание, чтобы наказание сделалось предметом гласного суждения о нем, а один из прокуроров, неизвестно кем извещенный о наказании, *даже собирал о нем сведения, не предуведомив об этом градоначальника.* Таким образом, хотя никакой естественной связи между покушением на жизнь градоначальника и наказанием Боголюбова в действительности не существовало, она тем не менее была необходима для того, чтобы поставить наказание это прецедентом кровавого преступления и удовлетворить возбужденное чувство антагонизма.

Очевидно, что слухи о таком антагонизме, распространившиеся по всему городу, не могли не проникнуть и в среду содержавшихся в доме предварительного заключения, не могли также не ободрять арестантов и не поощрять их к беспорядкам. Отсюда, очевидно, мог явиться у этих арестантов повод к предположению даже о солидарности с ними прокуроров и могла явиться уверенность в том, что всякое преступление, мотивированное только наказанием Боголюбова, коль скоро оно сделается предметом судебного разбирательства и в особенности с компетенцией присяжных, не только не будет вызывать строгого обвинения, но может быть и оправдано. Вот истинное происхождение дела и настоящая причина изменения в первоначальном его напра-

влении, в виду которых мщение явилось только измышленным предлогом компективного заговора всего противозаконного сообщества, вновь образовавшегося после оправдания и освобождения многих лиц по последнему политическому делу.

В виду этого не подлежит ни малейшему сомнению, что покушение на жизнь градоначальника явилось прямым последствием изложенных обстоятельств и что на открытое преступление могла решиться только такая женщина, которая прошла уже школу агитаций и политических обвинений, изведавшая на опыте снисходительность суда и направление его органов, наконец, что отвагой ее руководило не частное чувство мщения, а сознание необходимости такой меры для успеха скрытой борьбы агитации с правительственным началом, и что отвага эта внушена сознанием силы демократических начал в судебных органах и уверенностью в легко возможной безнаказанности задуманного преступления.

При таких-то обстоятельствах открывался суд по столь беспримерному в его летописях делу. Понятно, что это был суд не над преступлением, не над обвиняемою в нем, а над администрацией в лице потерпевшего от преступления. Несмотря на то, что факт наказания Боголюбова никем не отвергался и не требовал поэтому подтверждения его свидетелями; что вследствие сего он не был даже предметом предварительного следствия и не входил в изложение дела по обвинительному акту; наконец, что обвиняемая *не назвала ни одного из лиц, передавших ей о наказании*, суд все-таки не отказал защите в вызове таких свидетелей, которые могли дополнить судебное следствие импровизованной картиной этого наказания. Таким образом лица, приглашенные для этой цели, были избраны самой защитой из числа содержавшихся в доме предварительного заклю-

чения во время наказания Боголюбова. При этом выяснилось на суде, что *они были только очевидцами посещения градоначальником этого дома и отчасти приготовлений служителей к наказанию, но не самою наказания, и что все они были под судом по последнему политическому делу, а некоторые и обвинены.* Тем не менее со стороны прокурора об отводе их *не заявлено*, и все они допущены были к показанию о самом наказании *по слуху*. Между тем, по отзыву беспристрастных юристов, суд был обязан отклонить ходатайство защиты о вызове и расспросе каких бы ни было свидетелей наказания Боголюбова, как обстоятельства, не составлявшего предмета судебного заседания и притом не отрицаемого. Тем менее было оснований для суда удовлетворять *ходатайство защиты о вызове неизвестных лиц, не названных даже самой обвиняемой и передававших суду о наказании по слуху*. Поэтому само собою следует, что лица эти допущены на суд только для того, чтобы наказание Боголюбова, упоминавшееся при судебном следствии и без этих лиц, могло быть последними изображено в том виде, в той картине, какие было желательно иметь защитнику для своей защитительной речи. По характеру показаний этих лиц, *они были не свидетели, а рассказчики собственных впечатлений, ревностные пособники защиты, подготовлявшие с особенным усердием картину приготовлений к наказанию Боголюбова для предстоящей художественной ее отделки.* Очевидно, что в этом случае было рассчитано только на эффект, которым предполагалось отуманить присяжных. Такое ухищрение было бы только недостойно, если бы при этом оно не было преступно. Но оно было именно таким потому, что самая картина была преувеличена; в основании лежала интрига и цель протестовать не против наказания, а против лица, по распоряжению которого оно совершилось. После допущения на суде всего этого было бы излишне говорить

о той плохо скрытой личной симпатии председателя, с которою он относился ко всему, что роняло авторитет административной власти и склоняло дело к оправданию преступления. Симпатия эта выражалась в особом участии его к обнаружившемуся одно время волнению подсудимой, в такой же снисходительности к ее защитнику и одному из свидетелей последнего, более других распространявшемуся о личных впечатлениях, произведенных на него наказанием Боголюбова, которых председатель останавливал, видимо, лишь для формы, чтобы впоследствии избежать упрека в этом отношении. Такой образ действий, от начала и до конца заседания, делает его недостойным высокого положения судьи и служит оскорблением достоинств, важности и значения всего суда. В виду этого и замечания, с которыми он обращался к публике по поводу знаков одобрения ее защитнику о том, что судебное заседание не театр, не имеют даже названия.

Переходя засим к прокурору, можно только удивляться смелости, с которою он решился публично умолчать и оставить без протеста все изложенное, а речь защиты — без возражения. Конечно, такое отношение его ко всему делу вполне аналогично со всем предшествовавшим. Поэтому и обвинительная речь его в сущности сводится к двум доводам: во-первых, к тому, что обвиняемая имела умысел не ранить только, а лишить жизни потерпевшее лицо; во-вторых, к тому, что самосуд и способ, избранный для мщения, безусловно преступны, и притом, настолько, что лишают всякого достоинства побуждение и цель, вызвавшие мщение, хотя бы эти побуждения и были нравственны. Такие поучения, совершенно излишние в данном случае, как истины, известные давно всем и каждому, очевидно, служили только прикрытием недомолвок мыслей прокурора, читавшихся между строк. Не только недомолвки эти, но и постановка обви-

нения говорили ясно, что прокурор не осуждает ни побуждения к мщению, ни принцип обвиняемой, и если бы мщение не могло сопровождаться весьма возможным убийством, а способ к мщению был бы избран другой, *главное же, если бы обвинение было необязательно, то он готов бы и отказаться от него.* На этом основании *неверное*, а еще более неполное изложение защитником биографических подробностей жизни обвиняемой, как это доказано сведениями, приведенными выше, а также соображение его о значении политической преступности вообще и, наконец, все, что касалось личности Боголюбова, его судимости и наказания, несмотря на очевидную неверность и неполноту многого и в этом отношении, *прокурором оставлены без всякого возражения.* Да и возможно ли было ожидать каких-либо возражений по такому делу, которое как бы создано антагонизмом прокуроров и о котором они имели сведения из непрямых источников. Поэтому и вся обвинительная речь являлась не более, как логическим последствием целой системы предшествовавших действий, направления и отношений прокуроров к администрации, настолько враждебных, что прокурор, которому были вверены обвинение преступления и защита власти, *даже не попытался перед этим видеть градоначальника и получить от него необходимые сведения о наказании Боголюбова.*

При таких благоприятных условиях приходилось защитнику покрывать все судебное заседание, освещать по-своему насильно вытянутые факты, насильственно созданные картины и завершать впечатление присяжных, к которому они были подготовлены всем происходившим на судебном следствии. Но в этом случае защита не только воспользовалась с большою ловкостью и уменьем тем материалом, который дан был ей судом, но и не удовольствовалась им, а наполняла речь таким собственным материалом, которого на судебном след-

ствии вовсе не было. Только при таких условиях речь его могла вылиться в такую жгучую, вредную и потому непозволительную форму, в какой она вылилась действительно. В этой речи он уверял, что в событии заключалось действие не безусловно преступное, что в расчеты обвиняемой не входило намерение совершить убийство, а была цель возбудить общечеловеческий вопрос о нравственных правах лиц, обвиняемых в политической преступности. Он рисовал биографическую картину ее жизни и изображал ее невинной жертвой тех же обвинений и последующих правительственных несправедливостей в течение многих лет. Излагал взгляды и соображения свои относительно политической преступности вообще и зависимости ее от условий времени, доказывал несовременность телесного наказания, касался последовавшей отмены его и тех изъятий из общего закона, которыми оно еще удерживается в России. При этом он выражал надежду, что из наказания Боголюбова, быть может, возникнет вопрос, который возбудит негодование к телесному наказанию общественного мнения всей цивилизованной Европы и будет способствовать к погребению телесного наказания навсегда. Затем, изобразивши художественно трагическую картину нравственного угнетения Боголюбова, как осужденного за убеждения, а также наказания его, и в особенности приготовлений к этому, защитник все изложенное дополнял всевозможными софизмами и всем, что могло влиять на впечатление, на нервы и душу присяжных. На таких тонких струнах он играл чувствами присяжных и ослеплял их яркими узорами и неверными изображениями, расшитыми на фоне пристрастного судебного следствия. В этом обильном потоке слов фантастические представления о мучениках совести, идей и убеждений сменялись в его речи, как в калейдоскопе, страшными образами тюремных стражей,

жандармов, полицейских чинов и вообще администрации. Он уносил воображение присяжных и заводил совесть их далеко за границы обстоятельств, не только не составлявших предмета этого дела, но и за пределы возможного вообще для публичных речей судебной защиты.

Но чем более вдавался он в область ужасного, тем, конечно, менее оставалось истинного, правдивого в его изображениях. Неверность частностей лишала, конечно, и все общее надлежащего достоинства. Так, например, подробное изложение в своем месте биографии обвиняемой показывает, была ли она невинной жертвой каких-либо правительственных несправедливостей, а тем более со стороны градоначальника. Напротив, она служит указанием на послабление и недостаточную строгость в отношении к ней правительства. Такая же неверность защитительной речи оказывается и в отношении Боголюбова. Действительно, государственная его преступность менее всего может подлежать сомнению в виду того, что он и его сообщники, как известно, были задержаны на Казанской площади не полицией при помощи народа, а, наоборот, народом при помощи полиции, и если бы последней не было, то, может быть, и Боголюбова не существовало. Что касается той части речи, которая относится к наказанию Боголюбова, то в этом отношении еще более очевидно, что целью защиты было изображение не фактов, а измышленных фантастических картин, и отзыв газеты «Liberté» и др. лучше всего доказывает, как к подобным инсинуациям отнеслось общественное мнение Европы. Наконец, если бы была необходимость доказывать поводы к этому наказанию и виновность Боголюбова в возбуждении политических арестантов к беспорядкам, то было бы достаточно напомнить о фактической его деятельности в качестве демагога на Казанской площади. В этом случае защита имела полный успех потому, что шансы

ее и потерпевшего были далеко не равны, *так как не было никаких официальных разъяснений по делу о наказании Боголюбова, правдивое изложение которого было бы так полезно для восстановления авторитета власти.* Следовательно, ложное изображение защитником таких фактов составляет набор слов, набор эффектов и инсинуаций перед присяжными, что в совокупности составляло искусно разыгранную перед ними драму, а судебное заседание по этому делу обратило в театральное зрелище. В этом отношении даже не стоит много и распространяться, в виду таких примеров, как те же защитники распинаются за оправдание краж, грабежей, поджогов, подлогов, даже кровавых убийств, совершенных из корысти *без всяких нравственных мотивов, и распинаются только из-за денег*, добытых их клиентами путем таких преступных действий. После этого недостает даже мысли и слов для оценки заключительной речи самого председателя. В виду внутреннего отношения его к делу, она, правда, казалась сдержанною и спокойною. Он, видимо, удерживал себя в рамках беспристрастия. Тем не менее общее впечатление, которое она производила, склонялось не к обвинению. Естественно, что характер такой речи мог подсказывать только одно оправдание.

Итак, из всего вышеизложенного видно, что покушение на жизнь с.-петербургского градоначальника совершено лицом, воспитавшим в себе противозаконные тенденции и принадлежавшим несомненно к противоправительственному сообществу. Что касается мщения за Боголюбова, выставленного мотивом преступления, то и в этом отношении также несомненно, что такой *мотив явился случайной причиной, которая в свое время не имела никакого значения.* Значение это явилось уже тогда, когда лица, обвинявшиеся в повсеместной противозаконной пропаганде, были незадолго перед этим оправданы и освобождены; главное же, что инициативное

преступление вытекало из полного убеждения в его безнаказанности, поселенного в среду, из которой оно исходило. При таких условиях направление дела в общем порядке подсудности, очевидно, было неправильно или, по меньшей мере, нецелесообразно. Поэтому, в виду весьма возможного повторения подобных кровавых случаев и в будущем, в особенности же оправдания преступлений, очевидно, должен возникать вопрос о мерах, способных предупредить их. В этом отношении не подлежит ни малейшему сомнению, что если, с одной стороны, никакой закон не в силах предупредить преступление в каждом отдельном случае, то с другой — от правительства вполне зависит направление судебной деятельности к правильной постановке и к беспристрастному разрешению дел, при которых оправдание преступлений, вызванных несвоевременною искусственною аффектациею, было бы невозможно. Такие результаты могут быть достигнуты двумя способами: во-первых, изъятием дел с оттенками известных тенденций из компетенции суда присяжных и, во-вторых, установлением ответственности судов за оправдание преступлений, по которым законом не допускается невменяемости, как за отказ в правосудии. Для этого не потребуется ни ломки закона и учреждений, ни насилования судейской совести.

ПРИМЕЧАНИЯ

ОТ РЕДАКЦИИ

В ряде примечаний о тех или иных лицах даются ссылки на другие книги А. Ф. Кони, для того чтобы облегчить нахождение дополнительного материала, характеризующего отношение Кони к тому или иному лицу. Но само собою разумеется, мы не рассматриваем эти книги как объективный источник осведомления об этих лицах.

[1] Корф Николай Леопольдович, — барон, камергер, с 1878 по 1879 г. управляющий канцелярией министерства юстиции.

[2] Сабуров Андрей Александрович (1837—1916) — товарищ председателя Петербургского окружного суда, товарищ обер-прокурора сената, 1872—1875 гг. — вице-директор департамента министерства юстиции, 1875—1880 гг.—попечитель Дерптского учебного округа, 1880—1889 гг. — министр народного просвещения, с 1881 г.— сенатор, с 1889 г. — член Государственного совета. О нем см.: А. Ф. Кони — На жизненном пути, т. IV, Ревель—Берлин, 1923 г., стр. 397—416.

[3] Пален Константин Иванович (1833—1912) — граф, вице-директор департамента исполнительной полиции, псковский губернатор, статс-секретарь, 1867—1878 гг.— товарищ министра и министр юстиции (ставленник временщика гр. П. А. Шувалова). Из-за дела Веры Засулич вынужден был 30 мая 1878 г. выйти в отставку, при увольнении оставлен членом Государственного совета. Принадлежал к числу наиболее реакционных судебных деятелей. При нем прекращено открытие советов присяжных поверенных, должность судебных следователей сделана «исправляемой», а не «утверждаемой», компетенция суда присяжных ограничена, дознания по государственным преступлениям переданы жандармскому корпусу, а суд по важнейшим противоправительственным преступлениям передан сенату.

[4] Трепов Федор Федорович (1803—1889) — родоначальник полицейско-бюрократической «династии» Треповых. Был командиром жандармского полка в Киеве и варшавским обер-полицеймейстером в годы подготовки восстания 1863 г. При нем имел место расстрел мирной манифестации 25 февраля 1861 г. По требованию городской депутации был уволен, но в разгар

восстания в 1863 г. вновь возвратился в Варшаву и назначен генерал-полицеймейстером. Полицейщина, которую он практиковал, привела к покушению на его жизнь. В 1866 г., вскоре после каракозовского выстрела, назначен петербургским градоначальником. 13 июля 1877 г. распорядился высечь заключенного в ДПЗ Боголюбова за то, будто тот при встрече с ним не поклонился. За это В. И. Засулич 24 января 1878 г. стреляла в Трепова.

После суда над Засулич, превратившегося в суд над Треповым, вынужден был подать в отставку. Нажил огромное состояние, чем заинтересовались даже жандармские власти.

[5] Фукс Эдуард Яковлевич (1834—1909). С 1860 по 1865 г. занимал должности губернского прокурора в Астраханской, Воронежской и Тульской губ., 1866 г.— член Московского окружного суда и прокурор Тульского и Московского окружных судов, 1867 г. — председатель Харьковского окружного суда, 1871 г. — прокурор Одесской судебной палаты, 1873 г. — прокурор Петербургской судебной палаты, 1877 г.—сенатор, 1881 г.—первоприсутствующий особого присутствия сената по делам о государственных преступлениях, председательствовал по делу первомартовцев и подписал смертный приговор Желябову, Перовской, Кибальчичу, Тимофею Михайлову и Рысакову. С 1903 г. — член Государственного совета.

[6] Поскочин К. И. — товарищ прокурора Петербургской судебной палаты, выступал обвинителем по делу о Казанской демонстрации 6 декабря 1876 г.

[7] Фриш Эдуард Васильевич (1835—1907). С 1870 г. — обер-прокурор сената, 1874 г. — сенатор, 1876 –1883 гг. — товарищ министра юстиции, 1883 — 1893 гг. — председатель департамента законов Государственного совета, статс-секретарь и вице-председатель Государственного совета; с 1881 г. — председатель редакционной комиссии по составлению проекта нового уголовного уложения; 1897—1905 гг. — председатель департамента гражданских и духовных дел, 1906—1907 гг.—председатель Государственного совета; открывал I Государственную думу.

[8] Демонстрация эта состоялась на Казанской площади в Петербурге. Организована была «Землей и волей»,

по инициативе ее рабочих кружков. Правительственное сообщение об этой демонстрации было помещено в «Правительственном вестнике» 1876 г., № 76, и перепечатано в книге «Государственные преступления в России в XIX веке», сб. под редакцией Б. Базилевского, т. I. См. также: Г. В. Плеханов, — Сочинения, т. III, М.—П. 1923 г., стр. 148 — 155; М. Р. Попов — Из моего революционного прошлого, «Былое», 1907 г., № 5; В. Богучарский — Активное народничество семидесятых годов, М., 1912 г., стр. 238—241; «Историко-революционный сборник», под ред. В. И. Невского, т. II, Л., 1924 г., стр. 318—321 (листовка о демонстрации); Р. Кантор и И. Волковичер — Г. В. Плеханов и демонстрация на Казанской площади в декабре 1876 года, «Пролетарская революция», 1924 г., кн. IV (XXVII) стр. 254—258; П. А. Моисеенко — «Революционное движение рабочих Петербурга 1875—1886 гг. — «Летопись революции», 1923 г., № 5, стр. 112 — 113; В. Н. Фигнер — «Запечатленный труд», ч. I, 1922 г., стр. 90 — 92; сб. «Первая рабочая демонстрация в России на Казанской площади в Ленинграде», сост. Э. А. Корольчук, М. — Л., 1927 г.

* [9] Слово «народ» Кони должен был взять в кавычки, ибо тут действовали дворники, торговцы, извозчики и т. п. элементы; подлинного народа — рабочих и трудящихся крестьян — здесь не было.

[10] По этому закону («Полн. собр. законов» 1871 г. № 64615), изданному под давлением временщика Шувалова, прокурорскому надзору «для облегчения более успешного обнаружения преступных деяний предоставлено пользоваться содействием чинов корпуса жандармов, участие которых в исследовании государственных преступлений, в виду самого свойства лежащих на них обязанностей, представлялось особенно важным» («Министерство юстиции за сто лет», Исторический очерк, Спб., 1902 г., стр. 127. См. «Политическую записку» Кони, направленную против этого закона и представленную в 1878 г. будущему Александру III: А. Ф. Кони — Из воспоминаний судебного деятеля (закон 19 мая 1871 г.), «Дела и дни», кн. I, 1920 г., стр. 175—188.

* Примечания, отмеченные *, не принадлежат М. Ф. Теодоровичу.

[11] 1 марта 1881 г. в Петербурге на Екатерининском канале, по постановлению Исполнительного комитета партии «Народная воля», были брошены бомбы в Александра II. Одной из бомб царь был смертельно ранен. По этому делу казнены: Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов, Рысаков. Шестая приговоренная к смерти — Геся Гельфман — не была повешена из-за беременности, но умерла через год.

[12] Ковалевский Михаил Евграфович (1830–1884), — судебный деятель; 1862 г. — член редакционной комиссии для составления проектов законоположений о преобразовании судебной части, обер-прокурор уголовного кассационного департамента сената; 1866 г. — обер-прокурор общего собрания 1-го и кассационного департаментов сената; 1870 г. — сенатор; 1876 г. — первоприсутствующий уголовного департамента сената. В 1880—1881 гг. по инициативе Лорис-Меликова ревизовал Казанскую губернию и Оренбургский край. Принимал участие в издании «Кассационных решений сената». О нем см.: А. Ф. Кони — Очерки и воспоминания, Спб., 1906 г., стр. 725—728; Отцы и дети судебной реформы, М., 1914 г., стр. 152—155; «Главные деятели и предшественники судебной реформы», под ред. К. К. Арсеньева, Спб., стр. 41—42.

[13] Боровиковский Александр Львович (1844—1905) — выдающийся юрист, поэт. В 1868 г. вступил в адвокатуру, позже был последовательно: товарищем прокурора Петербургского окружного суда, присяжным поверенным в Петербурге, членом Одесской судебной палаты (одновременно читал лекции по гражданскому праву и процессу в Новороссийском университете), помощником статс-секретаря Государственного совета, обер-прокурором и с 1898 г. — сенатором гражданского кассационного департамента сената. Боровиковский — автор ряда статей по гражданскому праву и процессу, а также капитальных изданий: «Законы гражданские» и «Устав гражданского судопроизводства». О нем см.: А. Ф. Кони — На жизненном пути, т. I, М., 1914 г., стр. 560—568, и Отцы и дети судебной реформы, М., 1914 г., стр. 250—256.

[14] «Жихаревское дело» — под таким названием вошло в историю дело «193», названное так по имени прокурора Саратовской судебной палаты Сергея Степановича Жиха-

рева (1834—1899), руководившего, при помощи начальника Московского жандармского управления ген. Слезкина, дознанием по этому делу. В 1873—1874 гг. масса революционной молодежи двинулась «в народ» с конечной целью вызвать крестьянское восстание. В ответ на это движение правительство произвело колоссальное количество арестов (свыше 2000 чел.). Признанные правительством наиболее важными арестованные преданы были в числе 193-х человек суду особого присутствия Правительствующего сената, учрежденного для осуждения дел о государственных преступлениях. Суд длился два месяца — с ноября 1877 г. по январь 1878 г. Среди осужденных: Войнаральский, Ковалик, Брешковская, Сажин, Мышкин, Чарушин и др.

[15] Эркман Эмиль (1822—1899) и Шатриан Александр (1826—1890)—авторы ряда рассказов и романов полуисторического, полубытового характера и народнического направления.

[16] Евреинов Александр Григорьевич (1808—1885) С 1864 г. — сенатор, находился в составе особого присутствия сената по делу Долгушина и др. (1874 г.), был первоприсутствующим особого присутствия сената по делу Дьякова и др. (1875 г.).

[17] Ст. 595 Уст. угол. суд.: «По делам, решаемым без участия присяжных заседателей, к судебному производству может быть приступлено и без предварительного следствия, если прокурор, по доставленным ему сведениям и доказательствам или по самому свойству дела, признает возможным предложить суду обвинительный акт, и если суд и с своей стороны не усмотрит надобности в предварительном следствии».

[18] Тизенгаузен Николай Оттович (1827—1891). С 1870 г. — сенатор, находился в составе особого присутствия сената по делам: Долгушина и др. (1874 г.), Дьякова и др. (1875 г.), о Казанской демонстрации 6 декабря 1876 г. и «50».

[19] См.: «Правительственный вестник», 1877 г., №№ 15—20, 22, 23, 25, 27, 31; сб. «Государственные преступления в России в XIX веке», под ред. Б. Базилевского, т. II, стр. 1—127 (русск. изд.).

[20] Боголюбов Алексей Степанович (псевдоним рабочего Архипа Степановича Емельянова) род. в 1852 г.

Студент Ветеринарного института, землеволец. По делу о демонстрации 6 декабря 1876 г. на Казанской площади в Петербурге был арестован, предан суду особого присутствия сената и 25 января 1877 г. приговорен к лишению всех прав и к 15 годам каторги, хотя, как известно, Боголюбов в демонстрации не участвовал: см. Г. В. Плеханов — Сочинения, т. III, М. — П., 1923 г., стр. 153: «Боголюбов не принимал в демонстрации ни малейшего участия»; также М. Р. Попов — Из моего революционного прошлого, «Былое», 1907 г., № 5, стр. 288, 297). Во время содержания в ДПЗ в Петербурге подвергся 13 июля 1877 г., по распоряжению петербургского градоначальника Трепова, сечению розгами. Это послужило причиной покушения В. И. Засулич на жизнь Трепова 24 января 1878 г. С конца 1877 г. содержался в Ново-Белгородском централе, где сошел с ума и переведен в психиатрическую больницу в Казань. Год смерти точно неизвестен (после 1885 г.).

[21] Попов Илья Родионович (род. в 1855 г.). С 1873 г.— студент Академии художеств. За участие в демонстрации 6 декабря 1876 г. на Казанской площади в Петербурге был арестован и предан суду особого присутствия сената по обвинению в участии в беспорядках и в явном сопротивлении чинам полиции. 25 января 1877 г. признан виновным и приговорен к лишению всех особенных прав и преимуществ и к ссылке в Сибирь на поселение, которая по ходатайству суда заменена ссылкой на житье в Тобольской губ. В 1877 г. водворен в Туринске, а в конце 1880 г. за попытку к бегству переведен в Тару. В 1883 г. привлекался по обвинению в сообщничестве к побегу из Тары ссыльного Кожина, но дело о нем было прекращено. В мае 1886 г. частично восстановлен в правах, с подчинением в течение 3 лет гласному надзору в с. Самарском. С 1889 г. — там же под негласным надзором.

[22] А. Ф. Кони не обосновывает своей оценки личности Попова и она должна быть признана чисто субъективной.

[23] Плевако Федор Никифорович (1843—1908) — известный русский адвокат и выдающийся судебный оратор, выступал во многих громких процессах. Член III Государственной думы, октябрист. См. Ф. Н. Плевако — Речи, т. I—II, М., 1912. О нем см.: А. Ф. Кони—

На жизненном пути, т. II, Спб., 1913 г., стр. 508—521, и Отцы и дети судебной реформы, М., 1914 г., стр. 259—269.

*[24] Этот процесс продолжался с 21 февраля по 14 марта 1877 г. Судились члены «Всероссийской социально-революционной организации», образовавшейся в начале 1875 г. в Москве и ликвидированной в апреле — августе того же года. Организация вела пропаганду главным образом среди фабричных рабочих, охватив до 20 фабрик. К делу были привлечены: Бардина, Лидия Фигнер, сестры Любатович, Батюшкова, Геся Гельфман, Джабадари, Зданович, рабочие Петр Алексеев, Егоров, Агапов, Николай Васильев и др. См.: «Правительственный вестник», 1877 г., №№ 39—43, 45—58, 60, 62, 64, 66; сб. «Государственные преступления в России в XIX веке», т. II, стр. 128—334 (русск. изд.); Процесс «50», изд. Саблина, М., 1906 г.; И. С. Джабадари — Процесс пятидесяти, «Былое», 1907 г. август—октябрь; М. Ковалевский — Русская революция в судебных процессах и мемуарах, кн. I, М., 1923 г., стр. 105—160; В. Н. Фигнер — Процесс «50», 2 изд., М., 1928 г., и др. литературу, указанную Е. Никитиной в приложении к этой брошюре.

[25] Алексеев Петр Алексеевич (1849 — 1891) — крестьянин Смоленской губ., ткач. В начале 70-х годов играл видную роль как агитатор и пропагандист среди рабочих Москвы и Петербурга. В 1875 г. арестован по делу «50», предан суду особого присутствия сената и приговорен к 10 годам каторги, которую до 1882 г. отбывал в Ново-Белгородской центральной тюрьме, а с 1882 до 1884 г. — на Каре. С 1884 по 1891 г. — на поселении в Якутской области, где убит якутами с целью грабежа.

[26] Это замечание автора не отвечает действительности. Речь П. Алексеева дважды прерывалась председателем словами: «Молчите. Замолчите!» и «Молчать! Молчать!» См.: «Вперед», т. V, 1877 г., стр. 35; Процесс «50», М., 1906 г., стр. 155; И. С. Джабадари — Процесс пятидесяти, «Былое», 1907 г., октябрь, стр. 194; В. Н. Фигнер — Процесс «50», М., 1928 г., стр. 24; В. Богучарский — Активное народничество семидесятых годов, М., 1912 г., стр. 299; Ю. М. Стеклов — Борцы за социализм, ч. 2-я, Л., 1925 г., стр. 18, и др. литературу, указанную в примечании № 24.

*[27] Панин Виктор Никитич (1801 — 1874) — граф. С 1832 г. — товарищ министра юстиции; 1839—1862 гг. — министр юстиции, статс-секретарь, член Государственного совета; ярый крепостник.

*[28] «Колокол» — нелегальный журнал, издававшийся Герценом и Огаревым за границей с 1857 по 1868 г.

[29] Тимашев Александр Егорович (1818—1893) — генерал-лейтенант, генерал-от-кавалерии. С 1856 г. — начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III отделением; с 1868 по 1878 г. — министр внутренних дел (вместо П. А. Валуева), что рассматривалось как победа реакционной партии; его назначением Александр II желал «усилить власть» после либерального Валуева, но, по словам В. П. Мещерского, новый министр отличался тем, что у него был «один изъян — полнейшее незнание России». При нем введено городское положение, но права земства путем циркуляров и разъяснений всячески ограничивались; положение периодической печати стало значительно хуже (введено запрещение розничной продажи, временная приостановка министром и т. п.); решающую роль в делах внутренней политики вновь стало играть III отделение.

[30] Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889) — граф, один из крупнейших реакционных деятелей при Александре II и Александре III, совместно с Победоносцевым и Катковым вдохновлял наиболее реакционную часть дворянства, стремившегося к фактическому восстановлению крепостного права и отмене других реформ 60-х годов. С 1861 г. — сенатор; с 1865 г. — обер-прокурор синода и затем министр народного просвещения. При нем уничтожена профессорская автономия и коренным образом были изменены уставы всех учебных заведений. В гимназиях было введено усиленное преподавание древних языков в ущерб другим предметам. В основу его реформ был положен суровый режим, направленный к воспитанию в молодежи слепой покорности существующему порядку вещей. При нем земство было устранено от руководства земскими школами и обильно насаждались церковно-приходские школы. «Гаситель просвещения», — как называли его современники. С 1882 по 1889 г. — министр внутренних дел и шеф жандармов (и одновременно президент Академии наук);

при нем была ограничена свобода печати, разработано положение о земских начальниках, издан закон о найме с.-х. рабочих, закабалявший их хозяину на срок договора, и закон о семейных разделах крестьян, который прикреплял их к местожительству для обеспечения помещиков дешевой рабочей силой.

[31] Потапов Александр Львович (1818—1886). С 1860 г. — московский обер-полицеймейстер. 1861—1864 гг. — и. д. начальника штаба корпуса жандармов и управляющего III отделением, 1864 г. — помощник по гражданской части виленского генерал-губернатора, ближайший сотрудник Муравьева-вешателя, 1866 г. — наказной атаман войска Донского, 1868—1874 гг. — главный начальник Северо-Западного края и командующий войсками Виленского округа; 1874 — 1876 гг. — шеф жандармов и главный начальник III отделения, 1876 г. — член Государственного совета. Именно ему в Петропавловской крепости Нечаев дал пощечину во время посещения им камеры.

[32] Евреинов Григорий Александрович (род. в 1839 г.) — прокурор Одесской судебной палаты, с 1892 г.—сенатор.

[33] Писарев Николай Сергеевич (1837—1882) — прокурор Московской судебной палаты, 1877 г. — сенатор, находился в составе особого присутствия сената по делу 1 марта 1881 г.

[34] Каннист Павел Александрович (1840—1904) — граф. С 1874 по 1878 г. — управляющий канцелярией министерства юстиции, затем—прокурор Московской судебной палаты, 1880 г. — попечитель Московского учебного округа, 1895 г. — сенатор. В качестве попечителя Московского округа проводил суровую реакционную политику, особенно усердно применяя репрессии к участникам студенческих «беспорядков».

[35] Адамов Владимир Степанович — камергер. 1866—1868 гг. — правитель канцелярии министерства юстиции, 1868 — 1872 гг. — вице-директор и 1872—1877 гг. — директор департамента того же министерства.

[36] Горинович Николай Елисеевич (род. около 1855 г.). Входил в киевский революционный кружок «Киевская коммуна». Осенью 1874 г. был арестован и при допросе дал предательские показания, за что в начале 1875 г. из-под стражи освобожден и подчинен надзору в Киеве. В июне 1876 г. приехал в Елизаветград и вошел в сно-

шения с местными революционными кружками. Заподозренный в провокации, был присужден революционным кружком к смерти. Выполнить приговор взялись Малинка, Дейч и Стефанович. В ночь на 11 июня 1876 г. в Одессе на него было произведено покушение, но Горинович не был убит, а только ранен в голову и облит серной кислотой. Выдал членов революционного кружка и участников покушения. Привлекался по делу «193» и приговорен к ссылке в отдаленные губернии, кроме сибирских. В виду чистосердечного сознания и указания сообщников суд ходатайствовал об освобождении Горинович от наказания, и по высочайшему повелению от 11 мая 1878 г. он от наказания освобожден.

[37] Несмотря на резолюцию на ней: «пр. немедленно снестись с и. д. главн. нач. III отд.». Тем не менее намеченные Евреиновым меры были частично проведены в жизнь (см. приложение III).

[38] Шувалов Петр Андреевич (1827—1889) — граф, генерал-адъютант. Участвовал в обороне Севастополя. В 1857 г. назначен петербургским обер-полицеймейстером, в 1860 г. — директором департамента общих дел министерства внутренних дел и членом комиссии о губернских и земских учреждениях. Будучи ярым противником отмены крепостного права, примкнул к партии реакционной оппозиции. После отставки Ланского и Н. А. Милютина, заняв пост начальника штаба корпуса жандармов и управляющего III отделением, приобрел сильное влияние на внутреннюю политику. Пробыв в течение года прибалтийским генерал-губернатором и командующим войсками Рижского округа, назначен шефом жандармов и начальником III отделения (1866—1874). Это время является временем наибольшего влияния Шувалова, за что и звали его Петром IV, и в то же время периодом сильнейшей реакции. По словам П. А. Кропоткина, Шувалов «правил страхом», совершенно подчинив себе Александра II докладами о развитии революционного движения. Между прочим, закон 19 мая 1871 г. был издан под давлением Шувалова. С начала 70-х годов его влияние стало уменьшаться. В 1874 г. назначен послом в Лондон. Был представителем России на Берлинском конгрессе при пересмотре Сан-Стефанского договора. О нем см.: А. Ф. Кони — Петр IV, «Голос минувшего», 1919 г., № 5—12, стр. 163—170.

* [39] Любопытно отметить, что некоторые из мыслей Жихарева лет через тридцать осуществились в виде пресловутой земельной политики П. А. Столыпина.

[40] Игнатьев Николай Павлович (1832—1908) — генерал-от-инфантерии. Как дипломат, — представитель царистской экспансии. В 1859 г. добился от Китая ратификации Айдунского договора, уступавшего России левый берег Амура и Уссурийский край. В 1864—1877 гг. — посланник в Константинополе. На этом посту вел политику, приведшую к русско-турецкой войне. В 1877 г. получил титул графа. В 1879—1880 гг. — временный нижегородский губернатор, в 1881 г. — министр государственных имуществ и в том же году — министр внутренних дел на место Лорис-Меликова. Выдвигал идею «земского собора» как метод укрепления самодержавия, но эта идея не пришлась ко двору, в виду крайнего усиления реакции. При нем были несколько понижены выкупные платежи, признана необходимость реформы местного самоуправления и для выработки проекта учреждена так называемая «кахановская комиссия». Но на ряду с этим при нем выработаны и изданы положения 14 августа 1881 г. об усиленной и чрезвычайной охране, приостановлен начатый при Лорис-Меликове пересмотр законов о печати, 3 мая 1881 г. изданы временные правила о евреях, положившие начало дальнейшим ограничениям; с ведома и при участии Игнатьева в 1881 г. основана «священная дружина» — тайная организация по борьбе с революционерами. Несмотря на это, Победоносцевым и Катковым был признан недостаточно реакционным и в мае 1882 г. получил отставку и был заменен Д. А. Толстым.

[41] Сольский Дмитрий Мартынович (1833—1910) — государственный секретарь. 1878 г. — государственный контролер, 1889 г. — директор департамента законов Государственного совета, 1893 г. — председатель департамента государственной экономии, 1905 г. — председатель Государственного совета. В 1902 г. возведен в графское достоинство. Друг и ближайший сотрудник Лорис-Меликова. Принимал участие в особом совещании по выработке новых основных законов в 1905 г.

[42] Валуев Петр Александрович (1814—1890) — граф. В 1855 г., в начале царствования Александра II, написал записку «Дума русского», создавшую ему репутацию

либерального помещика. В 1861—1868 гг. — министр внутренних дел. Выработал проект русской конституции (1863 г.), в котором, по его собственному признанию, абсолютизм по существу сохранен в неприкосновенности. В 1872—1877 гг. — министр государственных имуществ. Находясь у власти, усилил надзор за земскими учреждениями, требовал сокращения компетенции суда присяжных и отмены несменяемости судей, высказывался за усиление полиции и публичные казни революционеров. См. П. А. Валуев — Дневник, П. 1919 г.; Проект конституции, «Вестник права», 1905 г., ноябрь.

[43] Подушная подать — вид личного налога. В России введена Петром I. Обложению подвергались все «души» мужского пола, внесенные в «ревизские сказки». От уплаты освобождались дворяне, лица духовного звания, занимавшие штатные места, почетные граждане, ученые, служащие государственных учреждений. Впоследствии подушная подать слагалась с купцов, мещан, безземельных и фабрично-заводских крестьян. С 1 января 1887 г. отменена всюду, за исключением Сибири, а в 1899 г. и в Сибири.

[44] Уваров Сергей Семенович (1786—1856). С 1811 г.— попечитель Петербургского учебного округа, 1818 г. — президент Академии наук, 1833 — 1849 гг. — министр народного просвещения, 1846 г.— граф. Программа его деятельности выражена в первом же циркуляре попечителям округов, в котором говорится, что народное образование в России должно вестись в духе «православия, самодержавия и народности». Сообразно этой программе был пересмотрен и общий устав университетов (1841 г.). Известен также как организатор жестоких цензурных притеснений и гонитель Пушкина.

[45] Ст. 250 Улож. о наказ.: «Когда означенное в предшедшей 249 статье злоумышление (бунт против верховной власти. — *М. Т.*) открыто правительством заблаговременно при самом оного начале, и потому ни покушений вследствие сего умысла, ни смятений и никаких вредных последствий от него не произошло, то виновные, вместо смертной казни, приговариваются: к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу в рудниках на время от 12 до 15 лет, или же в крепостях на время от 10 до 12 лет».

Ст. 251 Улож. о наказ.: «Виновные в составлении и распространении письменных или печатных объявлений, воззваний, или же сочинений или изображений, с целью возбудить к бунту или явному неповиновению власти верховной, приговариваются к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы в крепостях на время от 8 до 10 лет...»

Ст. 252 Улож. о наказ.: «За составление и распространение письменных или печатных сочинений и за произнесение публично речей, в коих, хотя и без прямого и явного возбуждения к восстанию против верховной власти, усиливаются оспорить или подвергать сомнению неприкосновенность прав ее, или же дерзостно порицать установленный государственными законами образ правления или порядок наследия престола, виновные в том подвергаются лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу на заводах на время от 4 до 6 лет...»

[46] Боткин Сергей Петрович (1832—1889) — знаменитый клиницист и общественный деятель. С начала 60-х годов — член медицинского совета министерства внутренних дел и военно медицинского ученого комитета, 1873 г. — почетный лейб-медик и председатель общества врачей в Петербурге, 1886 г. — председатель комиссии по вопросу об оздоровлении России. Выдающийся ученый и автор многих трудов по своей специальности.

[47] Раден Эдитта Федоровна — баронесса, ближайшая сотрудница в. кн. Елены Павловны. О ней см.: А. Ф. Кони — Очерки и воспоминания, Спб., 1906 г., стр. 491—494.

[48] Оболенский Дмитрий Александрович (1822—1881) — князь. Служил в сенате, по судебному и морскому ведомствам; 1870 г. — товарищ министра государственных имуществ, сенатор, статс-секретарь 1872 г. — член Государственного совета. В 1862 г. состоял председателем комиссии о цензуре и новой комиссии по тому же вопросу в 1863 г., которая составила проект Устава о книгопечатании, на основании которого в 1865 г. были изданы так называемые «Временные правила о печати». К концу жизни устроился одновременно председателем Учетно-ссудного банка.

* [49] Милютин Николай Алексеевич (1818—1872)— представитель русской либеральной бюрократии, стремившейся в ряде реформ (крестьянской, городской, земской) примирить интересы крепостнического дворянства с потребностями капиталистического развития страны. В качестве работника в «Царстве польском» использовал в интересах царизма и руссификации края классовый антагонизм польского дворянства и крестьянства.

[50] Черкасский Владимир Александрович (1821—1878) — князь, ближайший сотрудник Н. А. Милютина. О нем см.: А. Ф. Кони — Очерки и воспоминания, Спб., 1906 г., стр. 495—520. На жизненном пути, т. III, Ревель — Берлин, 1922 г., стр. 489—518; также в издании «Главные деятели освобождения крестьян», Спб., 1903 г., стр. 44—49.

[51] Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — известный философ-идеалист, профессор Петербургского университета. О нем см.: А. Ф. Кони — Очерки и воспоминания, Спб., 1906 г., стр. 191—228; На жизненном пути, т. IV, Ревель — Берлин, 1923 г., стр. 94—139.

[52] В. кн. Елена Павловна (1806—1873) принимала большое участие — в духе помещичьего либерализма — в деле «освобождения» крестьян. Служила центром кружка либеральных бюрократов. О ней см.: А. Ф. Кони — Очерки и воспоминания, Спб., 1906 г., стр. 447—490; также в изданиях: «Главные деятели освобождения крестьян», под ред. С. А. Венгерова, Спб., 1903 г., стр. 11—22, и «Великая реформа», т. V, М., 1911 г., стр. 14—34; На жизненном пути, т. IV, Ревель — Берлин, 1923 г., стр., 263—321.

[53] Лопухин Александр Алексеевич — председатель Петербургского окружного суда, 1878 г. — прокурор Петербургской судебной палаты (отец Алексея Александровича Лопухина, 1902—1905 гг. директора департамента полиции, осужденного в апреле 1909 г. особым присутствием сената на 5 лет каторжных работ, замененных ссылкой на поселение, за содействие в деле разоблачения провокатора Азефа).

[54] В виду того что рапорт прокурора Полтавского окружного суда сам по себе не представляет интереса, резолюция же Палена на нем приведена в тексте, рапорт к настоящим воспоминаниям не прилагается.

[55] Грот Константин Карлович (1818—1897) — государственный деятель. С 1863 г. — директор департамента неокладных сборов; способствовал отмене откупов и введению акцизной системы в 1870 г.; 1870 г. — член Государственного совета; 1879 г. — председатель комиссии по тюремной реформе; в начале 80-х годов назначен главноуправляющим IV отделением собственной е. и. в. канцелярии (учреждения имп. Марии). О нем см.: А. Ф. Кони — На жизненном пути, т. II, Спб., 1913 г., стр. 498—507; также в издании «Великая реформа», т. V, М., 1911 г., стр. 223—229.

[56] Урусов Сергей Николаевич (1816—1883) — князь. С 1867 г. — главноуправляющий II отделением собственной е. и. в. канцелярии, временно управляющий министерством юстиции, статс-секретарь и член Государственного совета; 1872—1882 гг. — председатель департамента законов Государственного совета.

[57] Шамшин Иван Иванович (1835—1912). С 1862 по 1875 г. — директор Петербургского тюремного комитета, обер-секретарь сената, председатель Петербургской палаты уголовного суда, товарищ председателя и председатель Петербургского окружного суда, председатель департамента Петербургской судебной палаты, 1875 г. — статс-секретарь, 1879 г. — сенатор, в 1880 г. — член «Верховной распорядительной комиссии» Лорис-Меликова, в 1884—1894 гг. — управляющий межевой частью министерства юстиции, с 1896 г. — член Государственного совета и председатель «Верховного уголовного суда». В 1862—1863 гг. был членом петербургской организации «Земля и воля», но вскоре совершенно отошел от революционной деятельности. О нем см.: А. Ф. Кони — На жизненном пути, т. II, Спб., 1913 г., стр. 371—376, и Отцы и дети судебной реформы, М., 1914 г., стр. 185—1911.

[58] Пассовер Александр Яковлевич (1840—1910) — известный юрист. Был командирован за границу для подготовки к профессуре и, возвратившись, блестяще выдержал экзамен на степень магистра государственного права, но, как еврей, вынужден был отказаться как от научной, так и от судебной деятельности (занимал должность секретаря прокурора Московской судебной палаты и товарища прокурора Владимирского окружного суда) и в 1871 г. вступил в сословие присяжных поверенных в Одессе, а затем в Петербурге.

[59] Платонов Степан Федорович (род. в 1844 г.). С 1874 г. — товарищ прокурора Петербургского окружного суда, заведывавший местами заключения. При нем в 1877 г. произошли известные волнения среди политических заключенных в ДПЗ, и в конце этого года он переведен товарищем прокурора Одесской судебной палаты. С 1879 г. — товарищ обер-прокурора сената, в 1880 г. участвовал в подготовке материалов для реформы местного самоуправления, 1883—1886 гг. — вице-директор 2-го департамента министерства юстиции, в 1887 г. — обер-прокурор межевого департамента сената, 1890—1893 гг. — директор 2-го департамента министерства юстиции, 1893 г. — сенатор, 1902 г. — член Государственного совета.

[60] Кадьян Александр Александрович (1849—1917). В 1873 г. окончил Медико-хирургическую академию и был земским врачом в Самарской губ. Привлекался по делу «193», был арестован, содержался в самарских и московских тюрьмах, с 18 февраля 1875 г. в Петропавловской крепости и с 19 января 1876 г. — в ДПЗ. Был предан суду особого присутствия сената и признан невиновным (защищал его Н. С. Таганцев). В марте 1879 г. арестован в Петербурге за политическую неблагонадежность и в мае того же года административно выслан под надзор полиции в Сибирск, где находился до 1882 г. С 1884 г. — приват-доцент Медико-хирургической академии, а с 1900 г. — профессор Женского медицинского института в Петербурге.

[61] Подробности посещения Треповым ДПЗ, расправы над Боголюбовым и возбуждения по этому поводу заключенных см. в следующих воспоминаниях: С. Синегуб — Воспоминания чайковца, «Былое», 1906 г., стр. 52—54; Д. М. Герценштейн — Тридцать лет тому назад, «Былое», 1907 г., № 6, стр. 243—245; С. Глаголь (С. С. Голоушев, выступавший в судебном заседании по делу Засулич в качестве свидетеля со стороны защиты) — Процесс первой русской террористки, «Голос минувшего», 1918 г., № 7—9, стр. 148—150; Н. С. Таганцев — Пережитое, в. II, Петр., 1919 г., стр. 21—23 (впервые напечатано в «Былом», 1918 г., № 9, стр. 138—139).

[62] Между тем шебековская «Хроника» рассматривала наказание Боголюбова как «простой факт, не представля-

ющий почти никакой важности» («Хроника социалистического движения в России», М. 1906, стр. 13).

[63] Позже, когда суд над Засулич обратился в суд над Треповым, последний, желая оправдать перед общественным мнением свое распоряжение и доказать raison d'être системы, — 11 апреля 1878 г. представил министру внутренних дел Тимашеву секретное письмо с приложением проекта правительственного сообщения, в котором автор его, Трепов, пытался под неправомерные действия градоначальника подвести правовую «базу», доказывая, что действия эти не выходили из рамок строгой законности. Письмо это в тот же день было препровождено Тимашевым шефу жандармов Мезенцову и обсуждалось в Комитете министров, который признал печатание прилагаемого объяснения несвоевременным и, по докладу моему (Мезенцова) о сем государю императору его величество изволил с этим согласиться». («Дело III отделения Собственной е. и. в. канцелярии», 3 эксп., 1878 г., № 68, ч. 1, лл. 192—194, Архив революции, Москва). Документы эти опубликованы в статье: Р. Кантор — К процессу В. Засулич, «Былое», 1923 г., № 21, стр. 92—94, и перепечатаны в книге: М. Коваленский — Русская революция в судебных процессах и мемуарах, в. 2, М., 1923 г., стр. 63—65. Впервые оправдательное объяснение Трепова стало известно из статьи: Geheime Denkschrift, betreffend den Process der Wera Sassulitsch, напечатанной в «Deutsche Rundschau», 1882 г., Bd. XXX, S. 62—86. Те же юридические «доводы», которыми оперировал в своих объяснениях Трепов, приводила для оправдания действий последнего и шебековская «Хроника», говоря, что наказание Боголюбова «не переходило границ самой строгой законности» (стр. 13)

[64] Решение уголовного кассационного департамента сената № 37 от 3 февраля (16 марта) 1877 года. Каких-либо указаний на это решение, которое сводило на-нет всю треповскую «аргументацию», ни в объяснениях Трепова, ни в «Хронике» мы, конечно, не находим.

[65] Голубев Иван Яковлевич (1841—1918) — судебный деятель. С 1866 г. — товарищ прокурора, член и товарищ председателя Петербургского окружного суда, товарищ обер-прокурора и обер-прокурор гражданского кассационного департамента сената, 1880—1881 гг.—директор департамента министерства юстиции; 1881 г. — сенатор,

1882—1894 гг. — участвовал в работах редакционной комиссии по составлению проекта гражданского уложения; с 1895 г. — член и с 1906 г. вице-председатель Государственного совета. Открывал Государственные думы 2, 3 и 4-го созывов. В 1916 г. заподозрен в сочувствии «прогрессивному блоку» и поэтому не был включен в список присутствующих членов Государственного совета на 1917 г. В ответ на это сложил с себя звание члена Государственного совета.

[66] Эссен Отто Васильевич (1827—1876) — судебный деятель, с 1870 г. — сенатор и товарищ министра юстиции.

[67] Бенкендорф Андрей Александрович — камергер. С 1878 по 1883 г. — вице-директор департамента министерства юстиции, член консультации, при министерстве юстиции утвержденной.

[68] Лобанов-Ростовский Алексей Борисович (1824—1896) — князь, дипломат. С 1844 г. служил в министерстве иностранных дел, 1859—1863 гг. — посланник в Константинополе, 1866 г. — орловский губернатор, 1867—1878 гг. — товарищ министра внутренних дел, 1878 г. — посол в Константинополе, 1879 г. — посол в Лондоне, 1882 г. — посол в Вене, 1895 г. — министр иностранных дел и член Государственного совета.

[69] Место смерти Боголюбова указано автором не верно: Боголюбов умер в Казани. Описание последних дней его жизни приведено в брошюре: В. Свитыч — Надгробное слово Александру II, П., 1921 г., стр. 37 — 40 (впервые напечатано в «Вестнике Народной воли», 1885 г., № 3).

[70] Герингросс Е. А. — член существовавшего в то время (под председательством принцессы Е. М. Ольденбургской) «Дамского тюремного комитета» (о ней см.: А. Ф. Кони — На жизненном пути, т. I, М., 1914 г., стр. 192—193).

[71] Этот арестант — Волховской Феликс Вадимович (1846—1914). В 1866 г. привлекался (без последствий) к делу Каракозова. В 1868 г. вместе с «рублевцами» был арестован, но освобожден без последствий. В 1869 г., во время разгрома нечаевцев, случайно арестован и содержался в Петропавловской крепости. Был привлечен по делу «193», провел в предварительном заключении 3 года и предан суду особого присутствия сената,

которым приговорен к лишению всех особенных прав и преимуществ и к ссылке в Тобольскую губ. За оказание помощи Джону Кеннану по исследованию им русской ссылки подвергался преследованиям и высылкам. При помощи Кеннана в 1890 г. бежал за границу и поселился в Лондоне, где работал в английском «Обществе друзей русской свободы» и издавал в 1891 г. на английском языке журнал «Свободная Россия» и выпускал «Летучие листки» по поручению Комитета «Фонда вольной русской прессы», одним из основателей которого он являлся. С образованием «аграрно-социалистической лиги» вошел в ее инициативную группу, а затем в партию с.-р., где и работал до смерти.

[72] Описывая, в каких условиях содержались заключенные в доме предварительного заключения, Д. М. Герценштейн, бывший в то время там врачом, говорит: «для меня это был не фантастический, а реальный уголок ада, который ждет еще своего Алигиери» (Д. М. Герценштейн — Тридцать лет тому назад, «Былое», 1907 г., № 6, стр. 247).

[73] Отношение прокурора Петербургского окружного суда на имя градоначальника от 27 августа за № 71 с просьбою «о зависящих распоряжениях к возбуждению уголовного преследования на основании 345 ст. Улож. о наказ. в отношении управляющего домом предварительного заключения Курнеева, помощников его Курдасова и Куриленко, а равно и тех полицейских служителей, которые дозволили себе наносить побои арестантам», было опубликовано впервые в виде отдельного листка, приложенного к журналу «Вперед», 1878 г., т. V, и впоследствии приведено в книге В. Богучарского — Активное народничество семидесятых годов, М., 1912 г., стр. 313—316.

[74] Драгомиров Михаил Иванович (1830—1905) — генерал, военный писатель. В русско-турецкую войну 1877—1878 гг. командовал русскими войсками, переправившимися через Дунай. Впоследствии — начальник Академии генерального штаба, командующий войсками Киевского округа и киевский генерал губернатор.

[75] Вел. кн. Константин Николаевич (1827—1892) с 1865 по 1881 г. — председатель Государственного совета. О нем см.: А. Ф. Кони — На жизненном пути,

т. II, Спб., 1913 г., стр. 446—472, и «Великая реформа», т. V, М., стр. 34—54.

[76] Желеховский Владислав Антонович - товарищ обер-прокурора сената, выступал обвинителем по делу «193», с 1893 г. — сенатор.

[77] Петерс Карл Карлович (1824—1896). С 1863 г. — сенатор, первоприсутствующий особого присутствия сената по делам: о Казанской демонстрации 6 декабря 1876 г. и «50».

[78] «Правительственный вестник», 1877 г., № 231.

[79] Ст. 620 Уст. угол. суд.: «Судебные заседания по делам о преступлениях и проступках происходят публично. Из сего правила изъемлются дела: 1) о богохулении, оскорблении святых и порицании веры; 2) о преступлениях против прав семейственных; 3) о преступлениях против чести и целомудрия женщин; 4) о развратном поведении, противоестественных пороках и сводничестве».

[80] Во время процесса одним из подсудимых была написана стихотворная пародия на эту речь: см. «Красный архив», 1929 г., т. III (XXXIV), стр. 229—230; впервые издана в 1883 г. в виде гектографированной брошюры под заглавием «Обвинительная речь прокурора Желиховского по делу «193» (1877—1878).

[81] Александров Петр Акимович (1836—1893) — юрист. Служил по министерству юстиции, занимая должности: товарища прокурора Петербургского окружного суда, прокурора Псковского окружного суда, товарища прокурора Петербургской судебной палаты и товарища обер-прокурора уголовного кассационного департамента сената. В 1876 г. вступил в сословие присяжных поверенных округа Петербургской судебной палаты и скоро, как увлекательный оратор и тонкий юрист, занял в петербургской адвокатуре одно из видных мест. Выступал во многих громких процессах по делам о печати: особенно выдвинулся в процессе «193» и в деле Засулич, защита которой доставила ему европейскую известность.

[82] См. «Государственные преступления в России в XIX веке», под ред. Б. Базилевского, т. III; Процесс «193» (обвинительный акт), изд. Саблина, М., 1906 г.; А. Д. Степиевич — Процесс «193», «Северная паль-

мира», 1906 г., № 1—2; С. Ф. Ковалик — Революционное движение 70-х годов и процесс «193», М., 1928 г.

[83] Стихотворение это приведено в книге В. Богучарского — Активное народничество, М., 1912 г., стр. 300.

[84] Путилин Иван Дмитриевич — начальник Петербургской сыскной полиции. О нем см.: А. Ф. Кони — На жизненном пути, т. I, М. 1914, стр. 79—86.

[85] Засулич Вера Ивановна (1851—1919) — известная революционерка. В 1869 г. была арестована в связи с делом Нечаева, провела в заключении 2 года и была административно выслана в Кресты Новгородской губ., а затем в Тверь. Здесь снова подверглась преследованию по обвинению в распространении нелегальных изданий среди учащихся и была выслана в Солигалич, откуда в конце 1873 г. получила перевод в Харьков, но лишена была права выезда до сентября 1875 г. При расколе «Земли и воли», куда она примкнула после ссылки, была одной из учредительниц «Черного передела». 24 января 1878 г. стреляла в петербургского градоначальника Трепова и 31 марта 1878 г. Петербургским окружным судом, под председательством А. Ф. Кони, признана невиновной. В виду предпринятых мер к ее аресту эмигрировала за границу. В 1883 г. принимала участие в создании группы «Освобождение труда» и сотрудничала в изданиях этой группы; была членом редакционной коллегии газеты «Искра» и журнала «Заря». После раскола РСДРП на II съезде Засулич примкнула к меньшевикам. С возникновением ликвидаторства стала его поддерживать, сотрудничая в журнале «Наша заря». Во время империалистической войны заняла оборонческую позицию, в 1917 г. была членом плехановской группы «Единство» и противницей Октябрьской революции. Засулич — автор работ о Вольтере и Руссо, очерков по истории I Интернационала и др.

Описание покушения на Трепова и связанных с ним переживаний Засулич см.: Вера Засулич — Воспоминания (впервые напечатано в «Былом», 1919 г., кн. 14, стр. 99—103); Н. Кулябко-Корецкий — Мои встречи с В. И. Засулич, «Группа Освобождение труда», сб. № 3, 1925 г., стр. 72—74; также Е. Карпов — В. И. Засулич накануне покушения, «Вестник литературы», 1919 г., № 6.

[86] Покушение на Трепова имело, конечно, политический характер. Подготовка к нему велась в двух направлениях. С одной стороны, «охотой» за Треповым были заняты: Фроленко, Осинский, Волошенко и Попко (М. Ф. Фроленко — Записки семидесятника, М., 1927 г., стр. 319—325, впервые напечатано в журнале «Каторга и ссылка», 1924 г., № 3; Дебагорий-Мокриевич Вл. — Воспоминания, Stuttgart, 1903 г., стр. 252); с другой стороны, покушение это подготовлялось В. И. Засулич, хотя она и знала, что «дело находится в периоде слежки». Подготовка покушения велась ею совместно с М. А. Коленкиной-Богородской совершенно самостоятельно, и в их планы никто, повидимому, посвящен не был. Первоначально предполагалось совершить покушение на прокуроров Жихарева и Желеховского, но после истязания Боголюбова Жихарев был заменен Треповым, причем жребий убить последнего пал на Засулич. Покушения должны были быть совершены в один день: Засулич на Трепова и Коленкиной на Желеховского. Последнее не осуществилось, так как Коленкина 24 января 1878 г. не была принята Желеховским. (Е. К. Брешковская — М. А. Коленкина-Богородская. Некролог. «Дни» (Париж) 12 декабря 1926 г.; А. Якимова — Памяти М. А. Коленкиной-Богородской, «Каторга и ссылка», 1927 г., № 2, стр. 180).

[87] Передачу дела Засулич окружному суду с участием присяжных заседателей шебековская «Хроника» объясняла тем, что «процесс этот был как бы попыткой, пробным камнем для того, чтобы удостовериться, не достаточно ли обыкновенных юридических форм для суда над политическими преступниками; старались убедить себя в глубоком доверии к прямоте присяжных, к серьезности адвокатуры, благоразумию общества и осторожности юристов» (стр. 14).

[88] «В городе рады были этому наказанию самодура, грубо и безнаказанно давившего всех» (Д. М. Герценштейн — цит. статья, «Былое», 1907 г., № 6, стр. 250).

* [89] Кордэ Мария-Шарлотта (1769—1793) — жирондистка, умертвила в 1793 г. якобинца Марата. Погибла на гильотине. Сопоставление Веры Засулич с Шарлоттой Кордэ говорит одновременно как о крайне скудном исторически-политическом образовании русского общества, так и о наметившихся позициях либерализма. Вера

Засулич нанесла удар столпу реакции, а Шарлотта Кордэ — вождю революции. Поэтому смешивать их нелепо, но либерализм этой параллелью как бы хотел сказать, что он поднимает свой протест одинаково и против реакции, и против революции за «свободу».

[90] «Покушение на Трепова вызвало у всех беспристрастных и честных людей не только России, но и всего цивилизованного мира изумление, восторг и преклонение пред этой героической девушкой... Зато, наоборот, в реакционном лагере раздались крики бешеного возмущения». (Л. Дейч — В. И. Засулич, «Голос минувшего», 1919 г., № 5—12, стр. 205).

[91] См. брошюры: «13 июля и 24 января» и «Покушение на жизнь Трепова», 1878 г., изд. «Вольной русской типографии» (Петербург); А. А. Кункль. — Выстрел Веры Засулич, М., 1927 г.

[92] 18 февраля 1855 г. — коронация Александра II.

[93] Кони Евгений Федорович (1848—1892) — брат А. Ф. Кони, с начала 1880 г. помещал в «Новом времени», «Будильнике», «Русской мысли», «Книжках недели» и др. остроумные рассказы и стихотворения под псевдонимом «Евгений Юшин», «Юша», «Инок» и др.

[94] Кони Федор Алексеевич (1809—1879) — отец А. Ф. Кони, известный водевилист и редактор-издатель журнала «Пантеон», автор ряда статей по истории театра.

[95] 19 февраля 1861 г. был издан манифест «об освобождении крестьян от крепостной зависимости».

[96] Судебная реформа 24 ноября 1864 г. Сущность ее сводилась к следующему. Суд становился устным гласным. Судебная власть отделена от обвинительной. Основною формою судопроизводства являлся процесс состязательный. Введен институт присяжных заседателей. По сравнению с дореформенными судами новый суд был значительной уступкой потребностям капиталистического развития страны.

[97] 4 апреля 1866 г. Дмитрий Владимирович Каракозов (1840—1866), член основанных Николаем Ишутиным обществ «Организация» и «Ад», по собственному почину, не поддержанный в своем намерении никем из

ишутинцев, стрелял в Петербурге в Александра II, но промахнулся, и 3 сентября 1866 г. был повешен на Смоленском поле.

[98] Здесь, повидимому, описка: Григорий Александрович Строганов, бывший послом в Швеции, Испании и Турции, умер в 1857 г.

[99] Манасеин Николай Авксентьевич (1834—1895). С 1866 г. — товарищ прокурора Московского окружного суда и прокурор Калужского окружного суда, 1868—1876 гг. — товарищ прокурора и прокурор Московской судебной палаты, 1877—1880 гг. — директор департамента министерства юстиции, принимал в 1879 г. непосредственное участие в составлении проектов об изъятии дел о преступлениях против порядка управления из ведения суда присяжных и о подчинении адвокатуры власти министра юстиции; 1885—1894 гг. — министр юстиции, при нем издан закон 7 июля 1889 г. («Полное собрание законов» № 6162), по которому дела против порядка управления вновь передавались судебным палатам; с 1880 г. — сенатор, затем член Государственного совета.

[100] Арсеньев Константин Константинович (1837—1919) — юрист, либеральный публицист. Несколько лет служил в министерстве юстиции, с 1866 по 1874 г. работал в адвокатуре, с 1874 г. — опять по судебному ведомству, в 1882 г. вышел в отставку и занялся литературной работой. С 1882 г. — видный участник, а с 1909 по 1913 г. — редактор «Вестника Европы». В 1906 г. — один из основателей «Партии демократических реформ». Его статьи до революции 1905 г. имели общественное значение как либеральная критика политики самодержавия на страницах легального русского журнала. О нем см: А. Ф. Кони — На жизненном пути, т. II, Спб., 1913 г., стр. 234—260, и Отцы и дети судебной реформы, М., 1914 г., стр. 236—249.

[101] Сан-Стефанский договор — прелиминарный мир 3 марта 1878 г. России с Турцией после поражения последней в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. По этому договору большая часть Балканского полуострова должна была превратиться в «Великодержавную Болгарию», а фактически стать «Задунайской губернией» России. Это вызвало ожесточенное сопротивление

со стороны Австро-Венгрии и Англии, в результате чего Россия, истощенная войной, вынуждена была уступить и отказаться от расширения Болгарии.

[102] То волнение, которое обнаруживал Пален во все время беседы с А. Ф. Кони, и особенно последняя фраза, убеждают в том, что передача дела Засулич суду присяжных заседателей объяснялась в значительной степени тем, что граф Пален, действительно, лично поручился царю, что присяжные вынесут соответствующий приговор» (А. Тун — История революционных движений в России, Л., 1924 г., стр. 151; «Начало», 1878 г., № 4).

[103] Дагессо (1668—1751) — выдающийся французский юрист, в 1700 г. — генеральный прокурор парижского парламента, позже — канцлер Франции. Фраза сказана Людовику XIV.

[104] Скарятин — казанский губернатор, известный крайним самовластием и крутым образом действий.

[105] Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866) — генерал, ярый защитник крепостного права, враг реформ 1861 г. Занимал должность витебского вице-губернатора и могилевского и гродненского губернатора, вел руссификаторскую политику. В 1830 г., во время польской революции, участвовал в подавлении восстания. С 1856 г. — министр государственных имуществ, возглавлял партию крепостников, противившихся освобождению крестьян. В 1863 г., во время польского восстания, назначен генерал-губернатором Северо-Западного края с чрезвычайными полномочиями и в этой должности с крайней жестокостью подавлял революционное движение в крае, за что и вошел в историю под кличкой «Муравьева-вешателя» и «людоеда» (известна его фраза: «Я не из тех Муравьевых», которых вешают, а из тех, которые сами вешают»). Был председателем комиссии по делу Каракозова. Своим палачеством заслужил глубочайшую ненависть, и имя его стало как бы нарицательным. В молодости примыкал к декабристам.

[106] Польское восстание 1863—1864 гг.

[107] Горчаков Александр Михайлович (1798—1883) — князь, известный русский дипломат и государственный деятель. С 1856 г. — министр иностранных дел,

с 1867 г. — государственный канцлер. В последние годы пребывания его на посту министра иностранных дел фактическим руководителем министерства, в виду болезни Горчакова, был Гирс.

[108] Гирс Николай Карлович (1820—1895). С 1875 г.— товарищ министра иностранных дел и сенатор, 1882—1895 гг. — министр иностранных дел. В 1881 г. возобновил «Союз трех императоров» (Австрии, Германии и России), а в 1891—1892 гг. заключил русско-французский союз.

[109] По признанию самого правительства, следствие по этому делу «захватило в свою сеть около 2000 обвиняемых» («Хроника социалистического движения в России», М., 1906 г., стр. 11).

[110] Роман И. С. Тургенева «Новь» появился в № 1 и 2 «Вестника Европы» за 1877 г. и написан на тему революционного «хождения в народ», причем, по словам самого И. С. Тургенева, произведение это было им написано «с плеча» («Первое собрание писем И. С. Тургенева» 1840—1883, Спб., 1884 г., письмо № 247).

Получив от А. П. Философовой портфель с рядом документов, как материал для «Нови», Тургенев 6 августа 1874 г. писал ей: «...все, что я в нем нашел... все может служить материалом... только с сатирической, юмористической точки зрения» («Сборник памяти А. П Философовой», П., 1915 г., стр. 170), а в письме от 18 августа 1874 г. пишет: «...Какой я был бы художник (не говорю уже: человек!), если бы я не понимал, что самоуверенность, преувеличение, известного рода фраза и поза, даже некоторый цинизм — составляют неизбежную молодости принадлежность. Не в том я упрекаю ваших знакомых, а в скудости мысли, в отсутствии познаний, а главное в бедности, в нищенской бедности дарования» (стр. 171).

В «Нови» Тургенев «решил высказать точно, определенно и по возможности убедительно следующий свой взгляд: «хождение в народ» есть не больше, не меньше, как трагикомический фарс; стремление к героической преобразовательной роли есть не что иное, как преступление перед духом и потребностями времени» (К. Чернышев — Лишние люди и женские типы в романах и повестях И. С. Тургенева, Спб.,

1896 г., стр. 203). И он высказал этот взгляд, изобразив революционеров в ряде отрицательных типов.

Тургенев предвидел, как отнесется к «Нови» критика. «Нет никакого сомнения, — писал он Я. П. Полонскому 11 ноября 1876 г., — что если за Отцов и детей меня били палками, за Новь будут лупить бревнами» («Письма» № 242), а в письме к нему же от 30 декабря 1876 г.: «Не сомневаюсь в том, что меня, как говорится, отщелкают на обе корки» («Письма», № 246). И он не ошибся. «Я никогда не подвергался такому единодушному поруганию в журналах», — писал Тургенев И. И. Маслову после появления «Нови» («Письма», № 249). И — прибавим от себя — вполне заслуженно, так как «пропаганда среди крестьян — «хождение в народ» — представлена (Тургеневым.—*М. Т.*) бессмысленным делом», а «народники-бунтари изображены в стиле иронического гротеска и шаржа» (Н. К. Пиксанов. Из введения к книге: «Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников», М., 1930 г., стр. XI), по отзыву же Г. А. Лопатина, Тургенев дал «лубочное изображение наших революционеров» (разрядка наша. — *М. Т.*).

Принятый сочувственно отдельными лицами (в том числе Лавровым и Кропоткиным), роман Тургенева вызвал к себе всеобщее отрицательное отношение, особенно со стороны младшего поколения революционеров. По словам В. Ф. Гинтовт-Дзевалтовского, после появления «Нови» зеленая молодежь набрасывалась на И. С. с пеной у рта» (указ. сборник, стр. 393). Показателем резко-отрицательного отношения к «Нови» со стороны революционной молодежи служит следующий отзыв Лопатина об этом произведении: «Даже такие художники-джентльмены, как И. С. Тургенев... посодействовали своими трудами искажению нашего «мученика правды ради» в глазах нашего общества... у читателя невольно получается самое неверное представление как о внутренних мотивах, толкающих наших революционеров на избранный ими путь, так и о формах их деятельности и о степени состоятельности их упований... Если он (Тургенев.—*М. Т.*) и не натравливает общество на носителей новых идей... то все-таки способствует составлению уродливого представления

о новом историческом моменте и его деятелях». (Сборник «Из-за решетки», Женева, 1877 г., стр. XV—XVIII; разрядка наша. — *М. Т.*).

Приведенные слова Кони верно передают, таким образом, представление о революционерах, которое получалось у читателей «Нови».

Укреплению такого представления в немалой степени способствовал «Вестник Европы», который вслед за помещением на своих страницах романа Тургенева писал: «Так называемая... «история» на Казанской площади подоспела как бы нарочно, чтобы показать всю справедливость (sic! — *М. Т.*) увещаний почтенного автора (Тургенева. — *М. Т.*) о нелепости фантастических попыток некоторых молодых людей увлечь за собой народ для достижения целей, которые не только преступны, но совершенно непонятны народу» («Вестник Европы», 1877 г., № 3, стр. 410; разрядка наша. — *М. Т.*).

[111] «Любушка» — «святочный рассказ» («из ночных дум старой няни») был подписан инициалами «А. Л.» («Вестник Европы», 1878 г., № 3, стр. 201—229). Таким образом «Воспоминания» Кони расшифровывают фамилию автора этого рассказа.

[112] Семирадский Генрих Ипполитович (1843—1902),—известный художник. Речь идет об имевшей громкий успех в России и за границей картине под названием «Светочи Нерона», за которую Семирадский получил звание профессора от Академии художеств и дипломы на звание члена от берлинской, стокгольмской и римской Академий.

[113] Росси Эрнест (1829—1896) — знаменитый итальянский трагик.

[114] Макс Габриель (род. в 1840 г.) — чешский художник.

[115] Ст. 575 Уст. угол. суд.: «Домогательства участвующих в деле лиц о вызове новых свидетелей, не опрошенных при предварительном следствии, председатель предлагает на разрешение суда, который при этом принимает в соображение основательность представляемых к тому причин и важность обстоятельств, подлежащих разъяснению».

[116] Ст. 576 Уст. угол. суд.: «Если участвующее в деле лицо в течение недели от объявления ему об отказе в вызове указанных им свидетелей заявит, что оно принимает вызов их на свой счет, то делается немедленно распоряжение о вызове сих свидетелей на счет просителя, или предоставляется ему пригласить их в суд от себя, по добровольному с ними соглашению».

[117] Андреевский Сергей Аркадьевич (1847—1917)—товарищ прокурора Петербургского окружного суда; за отказ выступить обвинителем по делу Веры Засулич был причислен к министерству юстиции, вышел в отставку и вступил в сословие присяжных поверенных. Поэт и критик. С начала 80-х годов помещал в «Вестнике Европы» стихотворные переводы и оригинальные стихотворения, отмеченные характерным для того времени пессимистическим колоритом. В качестве литературного критика дал ряд портретов и художественных «опытов» о Баратынском, Лермонтове, Некрасове, Тургеневе, Достоевском, Гаршине. См. его «Литературные очерки», Спб., 1902 г., и «Книга о смерти», Л., 1924 г., с предисловием (воспоминаниями о нем) Кони (воспоминания эти см. также: А. Ф. Кони — На жизненном пути, т. V., 1929 г., стр. 178—196).

[118] Жуковский Владимир Иванович, костромской губернский прокурор (до реформы суда), затем товарищ прокурора Петербургского окружного суда. За отказ выступить обвинителем по делу В. И. Засулич переведен товарищем прокурора в Пензу.

[119] Нашумевшее в свое время (1874 г.) дело миллионера Овсянникова, совершившего поджог, с корыстными целями, Кокоревской мельницы. Дело это было доведено до суда исключительно благодаря Кони, который был в то время прокурором Петербургского окружного суда. Об этом деле см.: А. Ф. Кони — На жизненном пути, т. I, М., 1914 г., стр. 17—26.

[120] Спасович, Владимир Данилович (1829—1906)—выдающийся криминалист и литератор. С 1857 по 1861 г.—профессор уголовного права Петербургского университета, откуда ушел вместе с Стасюлевичем, Кавелиным, Пыпиным и др. Автор одного из лучших в свое время учебников уголовного права. В 1866 г. вступил в сословие присяжных поверенных и выступал в громких

процессах, в том числе политических: нечаевцев, Долгушина и др., Дьякова и др., и «50». Умеренный либерал, в польском вопросе — «уголовец», т. е. сторонник примирения поляков с царизмом и аннексии Польши Россией. См. его «Сочинения» в 10 томах, Спб., 1889—1902 (судебные речи — тт. V—VII, речь по делу Овсянникова — т. VI, стр. 1—48). О нем см.: А. Ф. Кони — Очерки и воспоминания, Спб., 1906 г., стр. 771—782, и Отцы и дети судебной реформы, М., 1914 г., стр. 227—235.

[121] Сабуров Н. Н. — прокурор Петербургского окружного суда, впоследствии директор департамента полиции.

[122] См.: А. Ф. Кони—На жизненном пути, т. V, Л., 1929 г., стр. 182—184 (впервые напечатано в издании: С. А. Андреевский — Книга о смерти, Л., 1924 г., стр. 12—13. Подробности переговоров Лопухина с Андреевским, в передаче самого Андреевского, см. в статье Р. Кантор — К процессу В. И Засулич, «Былое», 1923 г, № 21, стр. 83—91 (перепечатано в V томе «На жизненном пути» А. Ф. Кони, примечания стр. 351—352).

[123] Кессель Константин Иванович—товарищ прокурора Петербургского окружного суда, обвинял В. И. Засулич; позже — прокурор Курского окружного суда, Варшавской судебной палаты и затем сенатор.

[124] Тилигульская катастрофа произошла в декабре 1875 г. на 186-й версте от Одессы и имела последствием свыше 100 человеческих жертв.

[125] Гарткевич Карл Измайлович (1840—1904), член комиссии по собиранию материалов для нового уголовного уложения; с 1882 г. — сенатор.

[126] Митрофания—начальница московской «епархиальной владычнепокровской общины сестер милосердия» и игуменья серпуховского «владычнего монастыря». До пострижения носила имя баронессы Прасковьи Григорьевны Розен, была дочерью любимца Николая I, главноначальствующего на Кавказе, барона Г. В. Розена. Обвинялась в подлогах, мошенничествах, присвоении и растрате чужого имущества. Все это творилось под флагом монашеского звания и близости к жене в. кн. Николая Николаевича «старшего». Дело разбиралось

в Московском окружном суде в октябре 1874 г.; и Митрофания была приговорена к лишению прав и к ссылке в Енисейскую губернию, но по «особому высочайшему повелению» Александра II водворена в Ставрополь-Кавказский. См. ее «Записки баронессы П. Г. Розен, в монашестве Митрофании». Сообщил князь А. Дадиан, «Русская старина», 1902 г., №№ 1, 5—8, 11—12.

[127] Настоящий отдел составлен по стенографическим отчетам судебного заседания по делу Засулич, помещенным в газетах «Северный вестник», «С.-Петербургские ведомости» и «Новое время» и дополненным литературными и архивными материалами, ссылки на которые делаются в примечаниях.

От использования имевшихся в нашем распоряжении изданий: «Процесс Веры Засулич» (Суд и после суда), Спб., изд. «Современник», и М. Коваленский — Русская революция в судебных процессах и мемуарах, кн. II, М., 1923 г., пришлось отказаться, так как первая брошюра воспроизводит судебное заседание (и притом крайне небрежно) только по отчетам «Северного вестника», которые сами по себе не безупречны; вторая же книга содержит извлечения из первой брошюры. Описания процесса см.: Г. К. Градовский — Итоги (1862—1907), Киев, 1908 г., стр. 16—19; Н. П. Карабчевский — Около правосудия, Спб., 1902 г., стр. 374—383; С. Глаголь — Процесс первой русской террористки, «Голос минувшего», 1918 г., № 7—9, стр. 150—155; Д. М. Герценштейн — Тридцать лет тому назад, «Былое», 1907 г., № 6, стр. 250—255.

[128] Барандов Александр Алексеевич (1810—1882) — генерал-адъютант, генерал-от-артиллерии, с 1862 г. — товарищ генерал-фельдцейхмейстера и наместник на Кавказе, с 1881 г. — граф и член Государственного совета.

[129] Строганов Александр Григорьевич (1795—1891) — граф, генерал-адъютант, участник наполеоновской и польской кампаний; с 1834 г. — товарищ министра внутренних дел, 1836 г. — генерал-губернатор Черниговской, Полтавской и Харьковской губерний, 1839—1841 гг. — министр внутренних дел, с 1850 г. — член Государственного совета, 1855—1864 гг. — новороссийский и бессарабский генерал-губернатор.

[130] Абаза Александр Аггеевич (1821—1895) — государственный деятель 70—80-х годов. 1871 — 1874 гг. — государственный контролер, с 1874 г. — председатель департамента экономии Государственного совета, с 1880 г. — министр финансов, в 1881 г. вышел в отставку вместе с Лорис-Меликовым, после провала «конституции» последнего, затем снова председатель департамента экономии до 1892 г. Выдвинулся благодаря покровительству в. кн. Елены Павловны, к кружку которой принадлежал по своим взглядам. Пользуясь своим служебным положением и осведомленностью в финансовых делах, вел крупную биржевую игру. В результате одной операции, разорившей банкира Рафаловича (игры на понижение курса русского бумажного рубля, предрешенной финансовым комитетом с целью увеличения барышей помещиков, продававших хлеб за границу и получавших за него золотом), вынужден был подать в отставку. О нем см. интересные воспоминания: С. Ю. Витте — Воспоминания, т. III, Л., 1924 г., стр. 175—196.

[131] Арцимович Виктор Антонович (1820—1893)—один из видных деятелей эпохи 60-х годов. В 40-х годах участвовал в сенаторских ревизиях Сибири, Орловской и Калужской губернии, 1854—1858 гг. — тобольский губернатор, 1858—1862 гг. — калужский губернатор, 1862 г.— сенатор Его деятельность по проведению «крестьянских реформ» вызвала со стороны крепостников недовольство и доносы, что заставило его оставить Калугу. В 1863 г. назначен вице-председателем Государственного совета Царства Польского. В польском вопросе разошелся с Н. А. Милютиным, утверждая, что «управление страны должно считаться с национальностью и политическим настроением населения». С открытием новых судов назначен сенатором уголовного кассационного департамента сената. О нем см.: А. Ф. Кони — За последние годы, Спб., 1896 г., стр. 349—356, Очерки и воспоминания, Спб., 1906 г., стр. 751 — 760, и Отцы и дети судебной реформы, М., 1914 г., стр. 173—180.

[132] Достоевский Федор Михайлович (1821—1881)— знаменитый писатель. В 1849 г. за участие в политическом кружке Петрашевского был приговорен к смертной казни, замененной четырьмя годами каторги. О нем см.: А. Ф. Кони—За последние годы, Спб., 1896 г.,

стр. 385—400; Очерки и воспоминания, Спб., 1906 г., стр. 73—90; На жизненном пути, т. II, Спб., 1913 г., стр. 96—108, и т. V, 1929 г., стр. 23—41, 321—336.

133 Чичерин Борис Николаевич (1828—1904)—ученый и общественный деятель, до 1868 г. — профессор Московского университета по кафедре государственного права. Яркий представитель слоя либеральных помещиков, признававших необходимым превратить поместье в капиталистическое предприятие. С одной стороны — яростный враг социализма и революции, а с другой — сторонник соглашения с исторической монархией при условии, что последняя пойдет на известный minimum политических и гражданских свобод. Будучи учеником Гегеля, использовал вслед за последним философскую систему гегельянства для идеологической борьбы на два фронта: против революции и против реакции.

134 Куприянов Михаил Васильевич (1854—1878)—пропагандист, организатор побега Н. Н. Ткачева. В марте 1874 г. содержался в Петропавловской крепости, а затем в ДПЗ, где был свидетелем расправы над Боголюбовым. Приговорен к лишению всех прав состояния и к каторжным работам на 3 г. 4 м. По распоряжению III отделения вновь заключен 25 января 1878 г. в Петропавловскую крепость, где и умер.

135 В письме от 8 апреля 1878 г. к будущему Александру III Победоносцев упрекал Кесселя в том, что он «прежде всего стал великодушничать, — отказался воспользоваться правом отвода присяжных. А он мог бы отвесть всех тех чиновников, которых оставил защитник, и мог бы оставить всех тех купцов, которых защитник отвел (отвод допускался немотивированный. — *М. Т.*). Тогда и приговор присяжных мог быть совсем иной» («Письма К. П. Победоносцева к Александру III», т. I, М., 1925 г., стр. 120).

136 Настоящий список присяжных заседателей приводится по архивным данным («Дело III отделения Собственной е. и. в. канцелярии», 3 эксп., 1878 г., № 68, ч. I, Московский архив революции, и «Дело департамента полиции исполнительной», 1878 г., № 24, Ленинградское отделение центрального исторического архива) и является точным отражением действительного

состава присутствия присяжных заседателей, в отличие от опубликованных в свое время списков, ни один из которых этому условию не отвечает.

[137] Петропавловский Николай Елпидифорович (1853—1892)—народник-пропагандист. В августе 1874 г. арестован по делу «193» и содержался под стражей в Саратове, Москве, с 26 января 1875 г. в Петропавловской крепости, а с 30 января 1876 г. — в ДПЗ, где был свидетелем расправы над Боголюбовым. По процессу «193» оправдан, но в административном порядке подчинен гласному надзору. В 1878 г. принимал участие в издании подпольного журнала «Начало». В феврале 1879 г. вновь арестован по делу о тайной типографии на Гутуевском острове в Петербурге. В виду психического заболевания, развившегося во время одиночного заключения, 8 декабря 1880 г. освобожден и выслан под гласный надзор полиции в Западную Сибирь на 5 лет. Беллетрист-народник (псевдоним «С. Каронин»).

[138] Голоушев Сергей Сергеевич (1855—1920), пропагандист. В 1874 г. арестован по делу «193» и в течение $3^1/_2$ лет содержался в ДПЗ, где был свидетелем расправы над Боголюбовым; приговорен к 5-дневному тюремному заключению. За участие в демонстрации 31 марта 1878 г. по поводу оправдания Засулич, организации панихиды по Сидорацком и произнесение речи с паперти Владимирского собора в Петербурге выслан в апреле 1878 г. в Архангельскую губ. С 1900 г. — участковый врач в Москве. После 1905 г. по политическим мотивам вышел в отставку. Беллетрист и художественно-литературный критик. Писал под псевдонимом «Сергей Глаголь».

[139] Чарушина (урожд. Кувшинская) Анна Дмитриевна (1851—1909). В 1873 г. вошла в петербургский кружок «чайковцев» и вела пропаганду среди рабочих Петербурга. В 1874 г. арестована, содержалась в Коломенской части и в ДПЗ. Свидетельница расправы над Боголюбовым. 23 января 1878 г. особым присутствием сената по делу «193» признана виновной «во вступлении в противозаконное сообщество со знанием его преступных целей» и приговорена к лишению всех особенных прав и преимуществ и к ссылке на житье в То-

больскую губ. В виду зачета предварительного заключения, из-под стражи освобождена. В 1878 г. вышла замуж за Н. А. Чарушина и последовала за ним в Сибирь, где и жила с мужем на Каре, в Нерчинске и Троицкосавске. По отбытии ссылки жила с мужем в Вятке. С 1905 г. примкнула к партии «народных социалистов», с 1906 г. издавала «Вятскую жизнь». За напечатание «Выборгского воззвания» газета была по суду закрыта, а Чарушина выслана из Вятской губ., но, по окончании высылки, вернулась в Вятку, где и умерла.

140 «Прокурор, — пишет в своих воспоминаниях Герценштейн, — построил свое обвинение-вопросы на судебном следствии и свою речь — на следующем простом и бесспорном силлогизме: нельзя, чтобы каждый обыватель становился судьей и расправлялся по собственному усмотрению со всяким, кого он сочтет в чем-либо виновным. Засулич, не дождавшись окончания следствия и суда по поводу события в ДПЗ, предпочла сама судить и осудить лицо, виновное, по ее мнению, и сама же привела приговор в исполнение. При этом прокурор прибегал к передержке, изображая дело так, как будто над действиями Трепова или, по крайней мере, по поводу истязания Боголюбова ведется следствие и ожидается суд. Соответственно этому, когда, по окончании судебного следствия, председатель спросил: «Не желают ли стороны чем-нибудь дополнить судебное следствие?» — прокурор позволил себе следующую уловку, рассчитывая на ее заключительный эффект. Он заявил желание спросить еще раз майора Курнеева, которому задал следующие вопросы» (цит. статья, «Былое», 1907 г., № 6, стр. 252; ср. описание вторичного допроса Курнеева у Д. М. Герценштейна — цит. статья, стр. 252—253).

141 Это была уловка Кесселя после неблагоприятных для обвинения показаний свидетелей защиты. «Эффект,— описывает этот момент Герценштейн, — получился удивительный. Все бывшие здесь налицо, как один человек, съежились и опустили головы, все стали ниже ростом. Я почувствовал, — да, вероятно, и все другие,— что потолок опустился и, как тяжелый пресс, завинчен и придавил нас. Все чувствовали, что исход про-

цесса ясен и участь Засулич решена. Но мы забыли, что здесь Александров» (цит. статья, стр. 253).

142 Как реагировала публика на этот допрос Курнеева Александровым? — «Не фигурально, а в буквальном смысле один общий вздох облегчения, разом, ритмически вырвался у всех из груди. Все выпрямились и стали прежнего роста, пресс отвинчен и потолок поднят на прежнюю высоту. Процесс был выигран и участь Засулич решена иначе. Мы все это почувствовали. Это был, по-моему, самый решительный момент процесса» (Д. М. Герценштейн — цит. статья, стр. 253).

143 Нечаев Сергей Геннадиевич (1847 — 1882) — вольнослушатель Петербургского университета, участник студенческих волнений 1868—1869 гг.; в марте 1869 г. эмигрировал; в Женеве сошелся с Бакуниным; в октябре того же года организовал в Москве первые кружки революционного общества «Народная расправа»; 21 ноября убил студента Иванова, заподозрев его в измене организации; в декабре бежал за границу и вместе с Бакуниным издавал в 1870 г. «Колокол», «Общину», «Народную расправу» и др. В 1872 г. выдан русскому правительству как простой уголовный преступник (убийство Иванова). 8 января 1873 г. приговорен Московским окружным судом к 20 годам каторги. Заточен в Алексеевский равелин, где и погиб. Соратники Нечаева судились раньше — в июле 1871 г. — в особом присутствии Петербургской судебной палаты. Всех привлекавшихся к дознанию по Нечаевскому делу было свыше трехсот человек. Наиболее видные нечаевцы — Волховской, Дементьева-Ткачева, Енкуватовы, Кузнецов, Прыжов, Ралли, Успенский, Черкезов, Эльсниц и др.

144 Никифоров Лев Павлович (1848—1917) — нечаевец, административно выслан в Тверь, затем Солигалич, Сумы, Холмогоры и т. д. В 1880-х годах — толстовец, затем был с.-р. Переводчик. Женат был на Екатерине Ивановне Засулич, сестре Веры Ивановны. Екатерина Ивановна привлекалась по Нечаевскому делу и выслана была с мужем в Солигалич.

145 «Головка ее, — описывает С. Глаголь Веру Засулич в этот момент речи Александрова, — упала на сложенные на пюпитре руки, и, пряча лицо в ском-

канном платке, старается девушка заглушить и скрыть свои рыдания, но худенькие вздрагивающие плечи ее рыдают. Слышатся всхлипывания и кое-где в зале. Я тоже вытираю набегающие на глаза слезы, оглядываюсь назад на ряды публики и вижу такие же слезы на глазах у многих» (С. Глаголь — Процесс первой русской террористки, «Голос минувшего», 1918 г., № 7—9, стр. 152).

146 «Засулич... и сама не заметила, как перестала рыдать, и, выпрямившись, сидела, впившись глазами в вдохновенное лицо оратора. Сидела, как зачарованная тем, что говорил он о ее мыслях и ее переживаниях» (С. Глаголь — цит. статья, стр. 153).

147 Если речь Кесселя, этого «ничтожного товарища прокурора, имени которого до того времени никто не слыхал» («Дневник Е. А. Перетца, государственного секретаря», М.—Л., 1927 г., стр. 49), была оценена как «посредственная» и даже «плохенькая», то речь Александрова, наоборот, была единодушно признана «блестящей». Описывая речь Александрова, Герценштейн говорит: «Александров был неподражаем. То он извивался, как змея, и вливал свой смертоносный яд в нанесенные им раны, то он вздымался, как орел, и сверху вниз наносил своей жертве неотвратимые удары железным клювом, то он бросал в тиранов и угнетателей огненные молнии и выжигал у них на лбу клейма позора и преступления» (цит. статья, стр. 253) «Я... слышал всех лучших защитников, как-то: Спасовича, Лохвицкого, Герарда, Утина, Турчанинова, Потехина и др., — писал Федоров, — но никто из них не говорил так сильно, убедительно, захватывая душу, как Александров» (М. Федоров — Из воспоминаний по управлению С.-Петербургским домом предварительного заключения, «Русская старина», 1905 г., № 1, стр. 92). «Защита Веры Засулич сделала адвоката Александрова всемирно-известным. Речь его переводилась на иностранные языки, ею отмечен момент «исторический» (Н. П. Карабчевский — Около правосудия, Спб., 1902 г., стр. 103). «Блестящую в полном смысле слова защиту» вынужден, был признать даже государственный секретарь Перетц («Дневник Е. А. Перетца, государственного секретаря» М.—Л., 1927 г., стр. 49).

148 «Беспристрастие» — такова единодушная оценка резюме А. Ф. Кони: см., напр., «Новое время», 1873 г., № 751; «Неделя», 1878 г., № 15; Д. М. Герценштейн — цит. статья, стр. 255; Г. К. Градовский — Итоги, Киев, 1908 г., стр. 18; А. Кауфман — В. И. Засулич, «Вестник литературы», 1919 г., № 5, стр. 11 («редкое беспристрастие»). «Это было воистину образцовое председательское резюме. Ни одного лишнего довода, ни на ту, ни на другую чашку весов, ни на сторону обвинения, ни на сторону защиты. Только всестороннее освещение всех доводов той и другой стороны и юридического веса этих доводов» (С. Глаголь — цит. статья, стр. 153). Обвиняя А. Ф. Кони в «бестактности», выразившейся в том, что он «без всякой необходимости позволил на суде следствие об обращении Трепова с арестантами», Перетц все же вынужден был признать, что в «заключительном своем слове председатель воспроизвел с большим талантом и с чрезвычайной отчетливостью доводы как обвинения, так и защиты», но тут же замечает: «так как обвинением не было приведено почти ничего, а защитой высказано было очень много, то от обстоятельного воспроизведения происходившего и сказанного на суде вышло новое усиление обвинения против Трепова и повод к оправданию Засулич» («Дневник Е. А. Перетца», М.—Л., 1927 г., стр. 49).

149 По поводу этих опасений Лопухина, роль которого в связи с процессом Засулич представляется весьма загадочной, уместно привести отрывок из анонимного «Открытого письма присяжного заседателя», адресованного III отделению: «Мы, присяжные, при всем негодовании к ее (Засулич) злодеянию, вынуждены были оправдать ее 1) из чувства самосохранения и 2) чтобы избавить правительство от скандала несравненно большего, который вследствие слабости полиции непременно последовал бы за обвинительным «приговором» («Дело III отделения собственной е. и. в. канцелярии», 3 эксп., 1878 г., № 68, ч. I, стр. 104, опубликовано в статье А. Кункль — Вокруг дела Веры Засулич, «Каторга и ссылка», кн. 38, М., 1928 г., стр. 62—63).

150 В кулуарах суда оживленно обсуждался вопрос о предстоящем вердикте присяжных. Почти все ожидали, что приговор будет обвинительный. Дело в том,

что «в самом конце своей речи Кони точно подсказал присяжным, что, даже и признав наличие преступления, они все же могут принять во внимание все пережитое подсудимой, понять ее обостренную впечатлительность и в этом найти для нее... снисхождение...» «Невольно возникала мысль, что присяжные окажутся нерешительными людьми, пойдут по этой линии наименьшего сопротивления...» «Общее впечатление было далеко не радостное. Почти все мы были уверены, что присяжные пойдут по пути компромисса и признают Засулич виновною, хотя и с снисхождением» (С. Глаголь — цит. статья, «Голос минувшего», 1918 г., № 7—9, стр. 153—154).

Сама В. И. Засулич «ждала, что ее повесят после комедии суда» («Вера Засулич и народовольцы в воспоминаниях Анри Рошфора», «Голос минувшего», 1920—1921 гг., стр. 86).

Во время перерыва Ф. М. Достоевский, сидевший возле Г. К. Градовского, сказал ему, что «наказание этой девушки неуместно, излишне... Следовало бы выразить, — сказал он: — «Иди, ты свободна, но не делай этого в другой раз»... — «Нет у нас, кажется, такой юридической формулы, — добавил Достоевский, — а чего доброго ее теперь возведут в героини» (Г. К. Градовский — Итоги, Киев, 1908 г., стр. 8—9, 18).

151 Вот как описывает этот момент С. Глаголь: «Кони среди воцарившейся мертвой тишины молча просмотрел первую страницу, медленно перевернул ее, перейдя глазами вторую, и... слышно было, как зал удрученно вздохнул. У меня тоже болезненно сжалось сердце. Неужели наши опасения оправдались и Засулич признана виновною?» (цит. статья, стр. 154).

152 Описания того, что происходило в этот момент в зале суда, см. в цитируемых воспоминаниях Герценштейна (стр. 255), Глаголя (стр. 155), Градовского (стр. 18, 430—436), Федорова (стр. 92).

153 Аплодировал также государственный канцлер князь Горчаков (Н. С. Таганцев — Пережитое, в. II, П. 1919 г., стр. 44) и многие другие «звездоносцы».

154 В. И. Засулич, рассказывая Степняку о том, «что она почувствовала, услышав из уст председателя суда о своем оправдании, сказала, что то была не радость,

а необыкновенное удивление, за которым тотчас же последовало чувство грусти. «Я не могла объяснить себе тогда этого чувства, — прибавила она, — но я поняла его потом. Если бы я была осуждена, то, по силе вещей, не могла бы ничего делать и была бы спокойна, потому что сознание, что я сделала для дела все, что только могла, было бы мне удовлетворением. Но теперь, раз я свободна, нужно снова искать, а найти так трудно» (С. М. Степняк-Кравчинский — Подпольная Россия, Харьков, 1926 г., стр. 101—102).

В. И. рассказывала также Кулябко-Корецкому, что оправдание показалось ей до того «неправдоподобным», что, вернувшись в камеру, она «на всякий случай спрятала в карман стеариновый огарок и карандаш, так как предполагала, что ее переведут в другую, худшую тюрьму» (Н. Кулябко-Корецкий — Мои встречи с В. И. Засулич, «Группа «Освобождение труда», сб. № 3, 1925 г., стр. 76).

155 По словам И. С. Аксакова, на восклицание одного сановника (как теперь оказывается, деспот-Зеновича): «это счастливейший день русского правосудия», — А. Ф. Кони ответил: «Вы ошибаетесь, это самый печальный день его» (И. В. Гессен — Судебная реформа, Спб., 1904 г., стр. 167).

156 А. А. А. — Арцимович Антон Антонович (1832—1910) — судебный деятель, с 1895 г. — сенатор.

157 Подробности освобождения Засулич и дальнейших событий см. в цитированных воспоминаниях: Герценштейна (стр. 255—257), Глаголя (стр. 156—162), Градовского (стр. 19—24), а также: «Правительственный вестник», 1878 г., № 75; «Начало», 1878 г., № 2; «Северный вестник», 1878 г., № 89—90; «Биржевые ведомости», 1878 г., № 92; «К делу В. Засулич»; «Голос минувшего», 1917 г., № 7—8, стр. 168—169; «Красный архив», 1926 г., т. I (XIV), стр. 251—252. О скитаниях Засулич после освобождения, отъезде и жизни за границей: Вера Засулич — Воспоминания, 1931 г., стр. 71—82, впервые напечатано в «Нашей заре», 1914 г. № 2, стр. 53—60 (Д. А. Клеменц — Личные воспоминания).

Был ли Содорацкий убит жандармами, или он, желая отвлечь внимание жандармов от Засулич и дать ей

возможность скрыться, покончил самоубийством, — вопрос этот до сего времени остается невыясненным. Вполне правдоподобна версия о самоубийстве (см. воспоминания Герценштейна, стр. 256—257; за это говорит акт судебно-медицинского вскрытия и заключение по нему — «Дело III отделения», 1878 г., № 68, стр. 60—61; эту же версию разделяла и сама В. И. Засулич: Н. Кулябко-Корецкий — Мои встречи с В. И. Засулич, «Группа «Освобождение труда», сб. № 3, 1925 г., стр. 77).

В тот же день, 31 марта, последовало высочайшее повеление: «дочь отставного капитана девицу Веру Ивановну Засулич взять под стражу и содержать в доме предварительного заключения впредь до особого распоряжения». Сообщая об этом прокурору судебной палаты Лопухину, Пален отношением от 31 марта за № 4843 просил его «сделать распоряжение о немедленном приведении таковой высочайшей воли в исполнение» («Былое», 1906 г., № 11, стр. 278, перепечатано в книге М. Коваленского — Русская революция в судебных процессах и мемуарах, кн. 2, М., 1923 г., стр. 62). Лопухин несомненно знал о готовившемся задержании Засулич и, встретив на лестнице здания суда начальника ДПЗ Федорова, после оправдания Засулич, «в виде совета», сказал ему, чтобы он до получения предписания воздержался бы ее освобождением». В виду, однако, отсутствия письменного об этом распоряжения и поступления предписания суда о немедленном освобождении Засулич, последняя была Федоровым из-под стражи освобождена (М. Федоров — цит. статья, «Русская старина», 1905 г., № 1, стр 90). Около 11 часов вечера к Федорову явился прокурор окружного суда Сабуров с предписанием Лопухина (на основании высочайшего повеления и указанного отношения Палена) о содержании Засулич под стражей впредь до особого распоряжения. Так как в этот момент Засулич была уже на свободе, Лопухин лично сообщил градоначальнику «об исполнении высочайшей воли», в результате чего на следующий день, 1 апреля, было издано секретное прибавление к приказу по градоначальству за № 16, за подписью и. д. градоначальника Козлова, которым предлагалось участковым приставам «принять самые энергичные меры к разысканию и задержанию» Засулич и по «задержании Засулич отправить ее в дом предварительного заключения...»

(«Начало», 1878 г., № 2). Распоряжение это скоро стало известно революционным кругам, и уже 5 апреля, по почте, на имя Козлова было получено письмо со вложением точной копии с секретного прибавления к приказу № 16, отпечатанной в «Вольной русской типографии» («Дело III отделения», 1878 г., № 68, ч. I, л. 75). Хотя это распоряжение было датировано 1 апреля, тем не менее розыски Засулич производились уже в ночь с 31 марта на 1 апреля («Северный вестник», 1878 г., № 91). Вскоре Федоров, за неисполнение «предложения» Лопухина — не выпускать Засулич впредь до его распоряжения — был, по высочайшему повелению, подвергнут семидневному аресту на гауптвахте (М. Федоров — цит. статья, стр. 91—92).

В связи с розысками В. И. Засулич в газете «Северный вестник» появилось письмо В. И. следующего содержания:

«Милостивый государь!

В некоторых газетах заявлено, что я скрываюсь от полиции. Это известие, вероятно, волнует моих родных и знакомых. Мне хотелось бы объяснить, что заставляет меня так поступать, и с этой целью я прошу вас напечатать мое письмо.

Еще в ту минуту, когда жандармы остановили карету, в которой я ехала, с намерением пересадить меня в другую, мне — и, как мне кажется, окружавшей публике — пришло на мысль, что, несмотря на оправдательный приговор, меня хотят арестовать. Публика, с сознательным ли намерением помешать аресту, или просто по инстинктивному нежеланию допустить его, со всех сторон теснилась к карете; жандармы же расталкивали ее и отрывали от дверец кареты державшиеся за них руки. Затем раздались выстрелы, поднялась невыразимая суматоха, и карета, в которой я была, уехала.

При жандармах извозчику кареты громко кричали адрес той знакомой, к которой я намеревалась ехать. В 2 часа ночи, по этому адресу, явился полицейский чиновник, в сопровождении дворника и трех неизвестных лиц; они осмотрели все углы квартиры и внимательно вглядывались в лица всех бывших там женщин. Все это заставляет меня верить доходящим до меня слухам о розысках и о том, что имеется приказ пре-

следовать меня административным порядком. Я готова была беспрекословно подчиниться приговору суда, но не решаюсь снова подвергнуться бесконечным и неопределенным административным преследованиям и вынуждена скрываться, пока не уверюсь, что ошиблась и что мне не угрожает опасность ареста.

С.-Петербург
3 апреля 1878 г. Вера Засулич».

Письмо это было напечатано в № 93, от 5 апреля. В тот же день министр внутренних дел Тимашев представил Александру II доклад, в котором ходатайствовал «в пример строгости» воспретить издание «Северного вестника», находящегося «под влиянием лиц, которые давно уже известны своею неблагонадежностью», за то, что эта газета «наиболее отличалась в последние дни представлением деятельности высшей администрации в ненавистном виде и возбуждением враждебных к ней чувств в обществе и особенно в молодежи» («Красный архив», 1926, т. I (XIV), стр. 250. А на следующий день, по высочайшему повелению, в результате доклада министра внутренних дел «о вредном направлении газеты», издание «Северного вестника» было прекращено («Правительственный вестник», 1878 г., № 78).

Несколько ранее, 2 апреля, по распоряжению министра внутренних дел, «за распространение ложных известий» была воспрещена розничная продажа «Северного вестника» и «Нового времени» (Прибавление к № 74 «Правительственного вестника» от 3 апреля 1878 г.). Таким образом не подлежит сомнению, что 6 апреля газета была запрещена именно за напечатание письма В. И. Засулич.

Архивные материалы содержат указания на то, что жандармские власти пытались получить подлинное письмо В. И. Засулич. 7 апреля, отношением за № 1117, III отделение, вследствие просьбы начальника Петербургского губернского жандармского управления от 6 апреля за № 482, просило Главное управление по делам печати истребовать из редакции «Северного вестника» письмо Засулич, а также и письмо «Ив—я» по поводу столкновения конных жандармов с публикой 31 марта, помещенное в № 90 «Северного вестника». В ответ на это Главное управление по делам печати

отношением от 10 апреля за № 2009 сообщало, что «за воспоследовавшим 6 сего апреля высочайшим повелением о прекращении издания газеты «Северный вестник» прекратились и всякие отношения Главного управления к бывшей редакции этой газеты; почему с его стороны не могут быть предъявлены к бывшим редактору и издателям «Северного вестника» какие-либо требования относительно писем, помещенных в этой газете». Содержание этого ответа было 13 апреля сообщено начальнику жандармского управления, причем ему предоставлялось вызвать редактора газеты Корша (повидимому, В. Ф. Корша, который негласно был фактическим редактором газеты, хотя, быть может, имелся в виду ее издатель — Е. В Корш) и истребовать от него упомянутые письма («Дело III отделения», 1878 г., № 68, ч. 1, лл. 124, 126—128). Был ли вызываем Корш и какова была дальнейшая судьба подлинного письма Засулич, — установить, на основании имевшихся в нашем распоряжении архивных материалов, не представилось возможным

Архивные материалы содержат указания на то, что административные власти предполагали расправиться и с присяжными заседателями («Дело департамента полиции исполнительной» 1878, № 24, Ленингр. отдел. Центр историч. архива); но были ли эти предположения осуществлены и в какой именно форме, выяснить не представилось возможным.

[158] Де-Мюссе Альфред (1810 — 1857) — французский поэт, романтик.

[159] О такой безграмотности Трепова писал и Дебагорий-Мокриевич («Воспоминания», стр. 252).

[160] Из воспоминаний Федорова выясняется, что Засулич была выпущена не на Захарьевскую, а на Шпалерную улицу по вине Федорова: «...явившийся местный участковый пристав передал мне просьбу председателя суда К[они] о том, чтобы Засулич была выпущена не на Шпалерную, а на Захарьевскую улицу, во избежание могущей быть демонстрации собравшейся толпы. Предположения этого я исполнить не мог и не желал: не мог — за неимением выхода на Захарьевскую улицу; не желал, во-первых, потому, что это было бы против установленного порядка, а во-вторых,

освобождая Засулич секретным путем, невозможно было бы убедить волнующуюся толпу в ее освобождении, и, без сомнения, произошел бы крупный скандал, который, опять-таки мог быть приписан моей вине. В виду этих соображений, Засулич была освобождена обыкновенным порядком, через ворота на Шпалерную улицу, в восьмом часу вечера» (цит. статья, стр. 91).

161 «Оправдание Засулич было торжественным осуждением всей системы произвола, которая заставила эту девушку поднять на палача свою мстительную руку. Печать и общество единодушно приветствовали приговор присяжных» (С. М. Степняк-Кравчинский — Подпольная Россия, Харьков, 1926 г., стр. 35).

«31 марта .. великий индивидуальный акт благородного гнева нашел свою высшую санкцию в общественной совести». «В истории развития общественного сознания 24 января и 31 марта являются лишь прологом той великой исторической драмы, которая называется судом народа над правительством. В истории же развития нашего революционного движения делу Засулич суждено было стать решительным поворотом этого движения» (О. В. Аптекман — Общество «Земля и воля» 70-х годов, П., 1924 г., стр. 326).

«Дело это произвело глубокое впечатление по всей Европе. Я был в Париже, когда получилось известие об оправдательном приговоре. Мне пришлось в этот день зайти по делам в несколько редакций. Всюду редакторы дышали энтузиазмом и писали энергичные передовые статьи, прославлявшие девушку» (П. Кропоткин — Записки революционера, П.—М., 1920 г., стр. 326).

162 «В летописях русского суда не было еще дела в такой степени важного и выразительного, имеющего такое огромное значение и производящего такое сильное впечатление, как дело г-жи Засулич. В присяжных оно вызвало оправдательный приговор, при полной несомненности преступного факта; в публике, находившейся в зале суда, — взрыв сочувствия и небывалую овацию этому приговору; в печати — целый ряд единодушных статей, написанных в такой резкой форме и таким горячим языком, которые совсем несвойственны нашим газетам». «Дело это настолько ослепляет своею яркостью, что его трудно рассмотреть

с первого взгляда; оно так колоссально, что для полной оценки его нужно отойти на некоторое расстояние. Но когда мы отойдем от него, когда привыкнем к его ярости, — мы оценим его именно так, как оно должно быть оценено, и сделаем из него именно те выводы, какие должны быть сделаны» («Неделя», 1878 г., № 15).

Даже «С.-Петербургские ведомости» в № 90, от 3 апреля 1878 г., писали следующее: «Дело это будет иметь своего рода влияние на общественное настроение вообще, на направление умов, на последующее развитие администрации и на отношения ее к обществу и отдельным его членам... В самый день покушения на жизнь градоначальника, в передовой статье нашей, написанной по поводу этого покушения, мы сказали: «грубый произвол и насилие, в каких бы видах они ни проявлялись, всегда возмущают душу и невыносимо тяготят всех и каждого». Поднявший меч — от меча и погибнет. Кто нарушает закон — тот и других ставит вне закона. Это особенно верно в отношении лиц, имеющих власть, и это-то и послужило, главным образом, к оправданию Засулич».

Говоря о получении в Москве 2 апреля петербургских газет, «Московские ведомости» писали: «прибыл в Москву весь сумасшедший дом петербургской печати» (1878 г., № 85).

163 «Голос», 2 апреля 1878 г., № 92. Часть фельетона, которая непосредственно относится к процессу, перепечатана в книге: Г. К. Градовский — Итоги, Киев, 1908 г., стр. 430—436.

164 Градовский Григорий Константинович (род. 1842 г.) — сотрудник ряда либеральных органов печати: «Голоса», «Молвы», «Порядка» и в позднейшие годы — «Новостей». Особенно были популярны в «Голосе» его воскресные фельетоны под псевдонимом «Гаммы».

165 «Из петербургских газет, — писал 30 декабря 1878 г. Победоносцев будущему Александру III, — ни одна не внушает уважения, но самая презренная из них и вредная — «Голос»... «Голос» разразился дикою пляскою восторга по случаю оправдания Засулич» («Письма К. П. Победоносцева к Александру III», т. I, М., 1925 г., стр. 256).

166 «Оправдательный приговор вызвал еще более сильный восторг, чем самый выстрел, у одних и, наоборот, безграничное негодование среди всех, пресмыкавшихся перед властями» (Л. Дейч — В. И. Засулич, «Голос минувшего», 1919 г., № 5—12, стр. 205).

Как ретроспективная характеристика времени, любопытна оценка Трепова, как предполагавшегося начальника верховной полиции, сделанная в благонамереннейшей газете «Минута», через 4 года после дела Засулич, редактором Баталиным, б. сотрудником Трепова. На вопрос, которым озаглавлена статья, — «Нужен ли Ф. Ф. Трепов?» — автор статьи отвечает: «Нет, он не нужен. Он вовсе не нужен для деятельности, к которой его призывают...» потому что он «положительно неспособен управлять какими бы то ни было государственными делами». Приводя ряд соображений служебного и личного характера, автор, между прочим, вспоминает расправу над Боголюбовым и говорит: «В интересах правды надо согласиться, что поступок Трепова с осужденным к тяжкому наказанию преступником не мог не быть осужден (разрядка наша. — *М. Т.*) единодушным общественным мнением людей, не лишенных сердца» («Минута», 1882 г., № 141)

167 «Торжественное оправдание Веры Засулич происходило как будто в каком-то ужасном кошмарическом сне... Никто не мог понять, как могло состояться в зале суда самодержавной империи такое страшное глумление над государственными высшими слугами и столь наглое торжество крамолы; но в то же время в каком-то летаргическом оцепенении все молчали, и никто не смел громко протестовать... Так, промеж себя, некоторые русские люди говорили, что если бы, в ответ на такое прямое революционное проявление правосудия, государь своею властью кассировал решение суда, и весь состав суда подверг изгнанию со службы, и проявил бы эту строгость немедленно и всенародно, — то весьма вероятно развитие крамолы было бы сразу приостановлено». «Печальный и роковой эпизод оправдания Веры Засулич слишком, увы, красноречиво выразил характер и настроение тогдашнего общества. Без преувеличения могу сказать, что нас, страшно возмущенных этим ужасным актом нарушения правосудия, было в то время в Петербурге

весьма немного; мы составляли значительное меньшинство, причем надо сказать, что в высшей сановной иерархии, до сената и Государственного совета включительно, оправдательный приговор, почтивший Веру Засулич, был принят одними с громким восторгом, другими с тихим одобрением, но почти все[ми] сочувственно, и я помню, как лица, которые потом, при Александре III, говорили об этом оправдании с громким негодованием, совсем забывая, что в 1878 г. они самым малодушным образом приобщились к тем сановникам, которые, услыхав об оправдании Засулич, в семьях своих и в клубах дерзали кричать «ура» и поднимать бокалы за торжество правосудия» (В. П. Мещерский — Мои воспоминания, ч. II, Спб., 1898 г., стр. 404—405, 410).

168 Катков Михаил Никифорович (1818—1887)—реакционный публицист. В студенческие годы был близок с Белинским, Герценом и Бакуниным, сотрудничал в «Московском наблюдателе» и в «Отечественных записках»; с 1851 г.—редактор «Московских ведомостей», а с 1856 г.—и «Русского вестника». Вначале—либерал, но с 1863 г., в связи с польским восстанием, постепенно стал менять взгляды и, в конце концов, превратился в ярого реакционера-крепостника, защитника самодержавия и дворянства, противника всякого, даже умеренно-либерального, прогресса.

169 Ольденбургский Петр Георгиевич (1812—1881)—принц, генерал-от-инфантерии. С 1841 г.—главноуправляющий IV отделением собственной е. и. в. канцелярии (ведомства императрицы Марии), сенатор и председатель департамента гражданских и духовных дел Государственного совета. По его инициативе открыто Училище правоведения, попечителем которого он состоял.

170 Таганцев Николай Степанович (1843—1923)—крупный теоретик уголовного права, автор ряда работ, в том числе капитального труда «Русское уголовное право», в двух томах, представитель так называемой «классической» школы уголовного права; профессор Петербургского университета и Училища правоведения; с 1887 г.—сенатор, с 1906 г.—член Государственного совета по назначению. В начале своей деятельности выступал в либеральном духе (был противником смертной казни, выступал защитником на процессе «193»), но позже отказался

от либерализма и вступил на путь реакции: участвовал в составлении проекта нового Уголовного уложения, содержавшего статьи против политических преступлений с применением по ним каторги и смертной казни; выступал в сенате по ряду дел и вопросов в чисто реакционном духе; участвовал в совещании под председательством Николая II по рассмотрению положения о Государственной думе и высказывался против всеобщего избирательного права.

[171] Стоянов ский Николай Иванович (1820—1900)— видный деятель судебных реформ шестидесятых годов. Принимал участие в подготовке судебной, а также и крестьянской реформы. С 1862 г.— товарищ министра юстиции (у Замятнина) и фактический руководитель министерства. В 1867 г., под влиянием крепостнической реакции, оставил пост товарища министра и назначен сенатором уголовного кассационного департамента, а с 1872 г.— его первоприсутствующим; с 1875 г. — член Государственного совета и в 1884—1897 гг.,— председатель департамента духовных и гражданских дел. О нем см.: А. Ф. Кони — Очерки и воспоминания, Спб., 1906 г., стр. 645—680, и Отцы и дети судебной реформы, М., 1914 г., стр. 91—118.

[172] Людовик XVI (1754—1793), — король Франции, был предан суду конвента по обвинению в заговоре против свободы нации и безопасности государства. Суд продолжался с 11 по 20 января 1793 г. Король был присужден большинством 383 голосов против 310 к смерти. 21 января гильотинирован.

[173] Карл I Стюарт (1600 — 1649) — король Англии, был предан суду 150 комиссаров, избранных Долгим Парламентом; суд признал короля виновным в измене отечеству, подстрекательству к бунтам, в тирании и т. д. и приговорил его к смерти. 30 января 1649 г. ему отсекли голову в Вайтгалле.

[174] Максимилиан (1832—1867) — брат Франца-Иосифа, императора австрийского,—поэт-романтик. В то время как собрание нотаблей в столице Мексики избрало его в 1863 г. императором Мексики — большинство страны осталось республиканским. В 1867 г. он был взят в плен республиканскими войсками и расстрелян в том же году, 19 июня, по приговору военного суда.

175 Ср. воспоминания Н. С. Таганцева — Пережитое, вып. II, П., 1919 г., стр. 42—45. На замечание принца Ольденбургского: «Но ведь был какой-то базар, проходимцы... там аплодировали, это бог знает, что такое», Кони заметил: «Ваше высочество, там были люди, которые бывают в вашем дворце, люди очень высокопоставленные». Принц: «Да, вы это знаете?» (он, очевидно, не представлял себе, что Кони председательствовал на суде). Кони: «Я, ваше высочество, был председателем на этом суде. Я могу сказать, что присяжные очень внимательно относились к делу. Слышно, что они даже молились перед тем, как вынесли приговор». Принц: «Да, они молились? Это удивительно... Я ведь убежден, что присяжные не годятся, но что же делать—высочайшая воля» (стр. 44—45).

176 Мордвинов Семен Александрович (1825—1900). С 1861 по 1863 г. состоял членом псковской временной комиссии по крестьянским делам, 1870 — председатель Одесской судебной палаты, 1872 — старший председатель Саратовской судебной палаты, 1876 — старший председатель Петербургской судебной палаты и сенатор (в 1880 г.— член совета по тюремным делам). Был одним из четырех сенаторов, ревизовавших по инициативе Лорис-Меликова разные губернии с целью выяснить народные нужды, на его долю пришлись Тамбовская и Воронежская губернии; с 1895 г.— член Государственного со-

177 Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825—1888)—граф. В 1880 г., под влиянием усилившегося революционного движения, был назначен главным начальником «Верховной распорядительной комиссии», с подчинением ему III отделения и корпуса жандармов, а затем—министром внутренних дел. Став правой рукой Александра II, открыл эпоху так называемой «диктатуры сердца». Народовольцы характеризовали его политику как политику «лисьего хвоста и волчьей пасти». Автор проекта пресловутой «конституции Лорис-Меликова», который рассматривался в «общей комиссии» из представителей земств и городов 8 марта 1881 г., причем горячим противником «конституции» выступил Победоносцев, к которому присоединился и Александр III. Убедившись в невозможности осуществления своих взглядов, 7 мая 1881 г. сложил с себя должность министра внутренних дел и последние годы жизни провел за границей. О нем

см.: А. Ф. Кони — На жизненном пути, т. III, Ревель—Берлин, стр. 3—40.

178 Каханов Михаил Семенович (1833—1900)—член верховной распорядительной комиссии при Лорис-Меликове и председатель особой комиссии, образованной в 1881 г. с целью объединения реформ Александра II и названной по имени председателя «Кахановской». Комиссия эта намечала установление «живой связи между администрацией и общественным управлением» и преобразования в этом духе местного управления и самоуправления, а также судебных, контрольных и даже военных и духовных учреждений. В ноябре 1884 г. открылись усиленные занятия комиссии, наметившей, на основании сенаторских ревизий и мнений «сведущих людей», необходимые реформы в духе крайне умеренного бюрократического либерализма. Однако в результате новых веяний диаметрально противоположного характера и такая благонамереннейшая комиссия в мае 1885 г. была закрыта, и «разработка реформ», порученная министерству внутренних дел, разрешилась положением о земских начальниках, уничтожением института мировых судей и преобразованием местного самоуправления — земского и городского — в смысле усиления над ними административного контроля, а в земстве, кроме того, и дворянского [illegible]

179 Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885)—известный научный и общественный деятель, публицист. С 1844 по 1848 г. профессор московского, а с 1857 г.—петербургского университета, который должен был оставить в 1861 г. вместе с Пыпиным, Спасовичем и др. Как историк, представитель так называемой «историко-юридической» школы, рассматривал русский исторический процесс как мирную эволюцию от «родового» быта к государственному. Как философ, психолог и юрист — сторонник идеализма. Как публицист и общественный деятель — выразитель интересов либеральных помещиков, сторонник крестьянского общинного землевладения.

180 Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912) — граф, видный деятель эпохи 60-х годов. Был близок к кружку в. кн. Елены Павловны. В 1861—1872 гг.— военный министр. При нем была реорганизована сложившаяся при крепостническом строе русская армия и введена всеобщая

воинская повинность. Автор трудов по военной истории и географии. Умеренно-либеральный бюрократ. О нем см.: А. Ф. Кони — На жизненном пути, т. II, Спб., 1913 г., стр. 261—283. Ему Кони посвятил свои «Очерки и воспоминания».

181 «Московские ведомости», 1878 г., № 87, также № 88 и 89.

182 Уже 2 апреля, т. е. на второй день после оправдания Засулич, Пален адресовал в комитет министров записку, в которой предлагал издать, в виде временной меры, следующие постановления:

I. Если против лиц, обвиняемых в государственных преступлениях, возникает сверх того обвинение в том, что они, для достижения тех или других, соединенных с сими преступлениями целей или для избежания законного преследования, совершили или пытались совершить какое-либо из преступлений, предусмотренных в главах I и III разд. X Улож. о наказ. (как-то: смертоубийство, отравление, нанесение ран и увечия, поджог и т. п.), то дела о всех, принимавших какое-либо участие в сих преступлениях, передаются подлежащему военному прокурору для направления их по правилам, установленным для местностей, объявленных на военном положении.

II. В том же порядке направляются дела по обвинениям в явном восстании против властей, правительством установленных (ст. 263—269 Улож. о наказ. угол. и испр., изд. 1886 г.).

III. Если в совершении означенных в пп. 1 и 2 преступлений с лицами мужского пола участвовали и лица женского пола, то в отношении к сим последним военные суды для определения свойства преступлений, а также рода, степени и меры наказаний, обязаны руководствоваться постановлениями Уложения о наказаниях уголовных и исправительных.

IV. Лица женского пола, обвиняемые в тех же преступлениях, без участия с лицами мужского пола, судятся в судах гражданского ведомства, без участия присяжных заседателей.

Эта записка была Паленом предварительно представлена Александру II, который написал на ней: «Мысль эту я одобряю. Записку эту прочесть завтра в Совете министров» («Дело 1-го департамента министерства юстиции», 1878 г., № 95, лл. 2—6, Ленинградское отделение

Центрального исторического архива). На следующий день, 3 апреля, записка эта обсуждалась в Совете министров, под личным председательством государя, причем «законопроект, вызвав общее сочувствие к благонамеренности графа, тем не менее был признан пока преждевременным», а Палену даны были инструкции внести в Государственный совет законопроект о передаче указанных дел судебным палатам («Начало», 1878 г., № 4).

«Своевременной» эта мера была признана через четыре месяца,—после убийства Кравчинским[183], 4 августа 1878 г. шефа жандармов Мезенцова[184]. Именным высочайшим указом сенату 9 августа 1878 г., дела о вооруженном сопротивлении властям, нападении на чинов войска и полиции и на всех вообще должностных лиц при исполнении ими обязанностей службы, или же вследствие исполнения этих обязанностей, если преступления эти сопровождались убийством или покушением на убийство, нанесением ран, увечий, тяжких побоев или поджогом,—были переданы военному суду, и виновные лица подлежали наказанию по 279 ст. воинск. уст. о наказ., изд. 1875 г., т. е. лишению всех прав состояния и смертной казни («Полн. собр. законов» 18[illegible] г., № 58778). См. правительственное сообщение по поводу этого закона, с «призывом на помощь сил всех сословий русского народа» с целью «вырвать с корнем зло» в «Правительственном вестнике», 1878 г., № 186.

[183] Кравчинский Сергей Михайлович (1851—1895)—пропагандист, член кружка чайковцев. В 1874 г. выехал за границу, в 1875 г. участвовал в герцеговинском восстании и в 1877 г.—в восстании беневентинском. В 1878 г. состоял членом редакции и сотрудником журнала «Община». В том же году вернулся в Россию и был принят в центральную группу «Земля и воля». 4 августа 1878 г. убил шефа жандармов Мезенцова, после чего скрылся и в ноябре 1878 г. уехал за границу. В 1887—1888 г. участвовал в эмигрантской группе «Самоуправление». Один из создателей «Фонда вольной русской прессы». Автор рада беллетристических произведений (псевдонимы: «С. Степняк», «С. Штейн», «С. Горский» и др.).

[184] Мезенцов Николай Владимирович (1827—1878)—генерал-адъютант, с 1861 г.— флигель-адъютант государя, с 1864 г.— и. д. начальника штаба корпуса жандармов и управляющий III отделением, 1874 г.—товарищ шефа

жандармов и главного начальника III отделения, в 1876—1878 гг. — шеф жандармов и начальник III отделения. Жестокий враг революционеров, вдохновитель процесса «193».

185 Эта беседа Кони с Паленом частично приведена, со слов А. Ф., в брошюре М. С. Короленко — А. Ф. Кони (странички воспоминаний), Л., 1929 г., стр. 16—18.

186 Делянов Иван Давыдович (1818—1897) (с 1858 г.— попечитель Петербургского учебного округа, 1865 — сенатор, 1866 г.— товарищ министра народного просвещения (Толстого), 1874 г. — член Государственного совета, 1882—1897 гг.— министр народного просвещения; в 1888 г., по случаю 50-летия служебной деятельности, получил графский титул. Один из наиболее реакционных министров народного просвещения. При нем выработан реакционный университетский устав 1884 г. Для ограничения приема в гимназии и прогимназии инородцев и евреев были установлены процентные нормы. В 1887 г. просил «соизволения» Александра III на допущение в гимназии лишь детей некоторых сословий, не ниже купцов 2-й гильдии. И хотя Александр III признал эту меру несвоевременной и неудобной, тем не менее особым циркуляром Делянов закрыл двери гимназий для детей непривилегированных сословий, благодаря чему гимназии «освободились от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, мелких лавочников и тому подобных людей, детей коих, за исключением разве одаренных необыкновенными способностями, вовсе не следует выводить из среды, к коей они принадлежат». При нем низшая школа была в значительной степени изъята из ведения министерства народного просвещения и передана в ведение синода.

187 Георгиевский Александр Иванович (1830—1911) — профессор всеобщей истории и статистики в одесском Ришельевском лицее, в 1866—1881 гг.— редактор «Журнала министерства народного просвещения», председатель ученого совета и член совета министра народного просвещения, с 1901 г.— сенатор. Ярый поборник и ревностный насадитель классицизма в средней школе, один из авторов университетского устава 1884 г.; ярый реакционер, сотрудник «Московских ведомостей» Каткова.

188 Вышнеградский Иван Алексеевич (1831—1895) — профессор практической механики Михайловской

артиллерийской академии и директор Технологического института. С 1884 г.— член совета министра народного просвещения, принимал участие в комиссии по разработке нового университетского устава, содействовал насаждению в России технического образования. С 1886 по 1892 г. — министр финансов. Защищал интересы крупного промышленного капитала. Сыграл видную роль в деле подготовки денежной реформы 1897 г., проводя политику накопления золотого металлического фонда. При нем проведено повышение всех налогов и введены новые — на керосин и спички. Ярый выразитель интересов промышленной и финансовой буржуазии. Известен алчным самообогащением. О нем см.: С. Ю. Витте — Воспоминания, т. III, Л., 1924, стр. 94—302.

189 Стронин Александр Иванович (1827—1889) юрисконсульт министерства путей сообщения, позже член совета министра путей сообщения. Автор ряда работ по социологии. Стронина Кони аттестует, как «глубокого мыслителя» (стр. 229). Это — недопустимое преувеличение.

Стронин был бардом капиталистического развития России, причем находил, что «реформ» Александровского царствования за глаза достаточно для обеспечения успеха этого развития. Он, подобно славянофилам, находил, что русский народ «государствовать не хочет»; он писал: «Обратите ваш взор на число вырастающих у нас сельских и городских банков, на количество возникающих потребительных обществ, на все наши акционерные, страховые и кредитные общества, компании и товарищества и, наконец, в особенности на эту, внезапно укрывшую нашу почву, сеть железных дорог, на рельсы, протянувшиеся на десятки тысяч верст, тогда как еще десять лет назад их не было и одной тысячи, — и вы увидите, что общество живет, но только живет экономической, а не политической жизнью».

Но не в этом была особенность Стронина: таких, как он, бардов внедрявшегося в экономику России капитализма в среде экономической науки того времени, было сколько угодно.

Стронин своеобразен и интересен тем, что свою безудержную апологетику капитализма и просвещенного абсолютизма он обосновывал выводами и тезисами органической теории общества. Он доходил до

гомерических курьезов в применении к обществознанию естественно-исторических теорем.

«Всякое возможное общество, — писал он, например, — идя снизу вверх, непременно сужается, так что оканчивается, наконец, вершиною, состоящею из одной индивидуальности. Другими словами, строение общества есть чисто пирамидальное. Связь движения и пирамидальности коренится еще глубже, чем в природе человека: она коренится в природе животных и даже во всей мертвой, неорганической природе. В этой последней, например, для удобнейшего рассечения пробегаемой среды по закону механики требуется, чтобы тело было обращено в сторону движения наименьшей своей поверхностью. Без широкого и неподвижного основания внизу нет, по законам физики, устойчивости предмета».

Воображаем, как обрадовано было в свое время III отделение, когда узнало, что в своей защите монархической власти на Руси оно имеет таких союзников, как геометрия, механика, физика. Чувствуем, что не один из жандармских генералов ругал себя жестоко за то, что во дни молодости ссорился с этими вполне монархическими [illegible]

Но Стронин не ограничивался этим: он привлекал для совершенно пустой игры в пустые аналогии одну науку за другой. Сопоставляя психологию с химией, он находил, что отношение кислорода к азоту в атмосферном воздухе и соотношение «крайне горючего альтруизма» и «несгораемого эгоизма» в душе человека выражаются одинаково числами 21 : 79! Причем сопоставление кислорода с горючим альтруизмом было особенно курьезным потому, что кислород не горит, а только поддерживает горение.

Или еще: Стронин указывал, что небесные тела принимают форму шара; так, — заключал он, — и в политической жизни: государства стремятся... к округлению границ!

Вот как на деле выглядит этот «глубокий мыслитель», если не питать к нему особых симпатий из-за его апологетического настроения по отношению к капитализму!

[190] Набоков Дмитрий Николаевич (1827—1904) — был директором гражданского и начальником законодательного отделения министерства юстиции; с 1864 г. — сенатор, 1867—1876 гг. — главноуправляющий Собственной

е. и. в. канцелярией, 1876 г.— член Государственного совета, 1878—1885 гг. — министр юстиции. Управлял министерством в период борьбы реакционеров против института присяжных заседателей и с трудом отстоял его, добившись издания закона 11 мая 1882 г. («Полное собрание законов», № 861), по которому, в изменение изданного при Палене закона от 9 мая 1878 г. («Полное собрание законов», № 58488), часть дел против порядка управления передавалась обратно окружным судам с участием присяжных заседателей. Однако в других областях судоустройства пошел на уступки реакции. О нем см.: А. Ф. Кони — Очерки и воспоминания. Спб., 1906 г., стр. 729—750, и Отцы и дети судебной реформы. М. 1914 г., стр. 156—172.

191 Позже, когда соединенное присутствие 1-го и кассационных департаментов сената в заседании 14 декабря 1878 г. определило сделать окружному суду в составе присутствия 31 марта 1878 г. замечание — «Земля и воля» в № 4 за 1879 г. писала: «По инициативе М. Ю. Набокова, председатель суда по делу Засулич, Кони, и члены суда по тому же процессу, Дени, Сербинович, получили строгий выговор, без выслушивания даже каких бы то ни было объяснений с их стороны. Кони этим еще не отделался, у него отняли добавочное жалование (1500 р.) и место преподавателя в Училище правоведения, где он читал судопроизводство» («Революционная журналистика семидесятых годов», под ред. Б. Базилевского, русское издание, стр. 234). Последнее указание не верно: Кони сам отказался от дальнейшего преподавания в Училище правоведения.

192 Случевский Владимир Константинович (1844—1926), известный юрист. Занимал должности товарища прокурора Воронежского и Петербургского окружных судов, товарища председателя Петербургского суда, товарища обер-прокурора и с 1897 г. — обер-прокурора уголовного кассационного департамента сената, с 1903 г.— сенатор, состоял членом комиссии по составлению проекта нового уголовного уложения. С 1883 г. — профессор уголовного процесса в Училище правоведения, с 1893 г. — и в Военно-юридической академии. В 1916 г. Петроградским университетом ему присуждено звание доктора прав honoris causa. С 1919 г.— профессор социологии Московской военно-педагогической академии и член ком-

миссии по пересмотру военно-морских законов, с 1920 г.— консультант Наркомюста. Автор «Учебника русского уголовного процесса» (в 2-х томах) и других работ. Один из учредителей петербургского юридического общества.

193 Представление министра юстиции по этому вопросу от 21 апреля 1878 г., за № 7517, опубликовано И. В. Гессеном в издании «История русской адвокатуры», т. I, М., 1914 г., стр. 238—242.

Кроме упомянутых автором двух законопроектов, необходимо отметить еще третий: «Об изменении некоторых статей закона 7 июня 1872 г., определяющих порядок производства дел о государственных преступлениях» (приложение XII).

194 Об этом деле см. А. Ф. Кони — На жизненном пути, т. I., Спб., 1912 г., стр. 19—20.

195 Дейер Петр Антонович (род. 1832 г.) — председатель московского окружного суда, обер-прокурор сената, председательствовал по делам Нечаева и Митрофании, а также по делу 1 марта 1887 г., по которому подписал 15 смертных приговоров, из коих 5 приведено в исполнение. Известен инквизиторскими приемами допроса подсудимых и председательскими резюме, лишенными и тени объективности и беспристрастия.

196 О деле Нечаева см. § «Правительственный вестник», 1873 г., № 10; «Государственные преступления в России в XIX веке», сб. под ред. Б. Базилевского, т. I, стр. 229—252); (резюме Дейера, стр. 249—251); М. Коваленский — Русская революция в судебных процессах и мемуарах, кн. I, М., 1923 г., стр. 77—102; также воспоминания: В. Н. Фигнер — Запечатленный труд, ч. I, М., 1921 г., стр. 190—200; Л. Успенская — Воспоминания шестидесятницы, «Былое», 1922 г., № 18, стр. 28—45; В. И. Засулич — Нечаевское дело, «Группа «Освобождение труда», сб. № 2, М.—Л., 1924 г., стр. 22—72.

197 Это место «Воспоминаний» вызывает недоумение. Среди обвиняемых по делу 1 марта 1887 г. никакой Гефтман не было. Если даже предположить, что здесь имеет место описка и что вместо «Гефтман» надо читать «Гельфман», то и в таком случае недоумение не исчезает, так как Гельфман Геся Мировна была

предана суду особого присутствия сената по делу 1 марта 1881 г., и первоприсутствующим в заседании по этому делу был не Дейер, а Фукс.

[198] Платонов Валериан Платонович (1809—1893) — статс-секретарь, с 1859 г. — сенатор, 1864 г. — министр, статс-секретарь Царства Польского, 1866 г. — член Государственного совета.

[199] Мещерский Владимир Петрович (1839—1914) — князь, один из самых ярых защитников крепостнической реакции. С 1872 г. — издатель крайне правой газеты «Гражданин». Основатель черносотенных журналов «Добро» и «Дружеские речи», субсидировавшихся правительством. Был близок к Александру III и одно время к Николаю II, пользовался огромными связями в придворных кругах и оказывал влияние на назначение министров. В моральном отношении грязнейшая личность. См. В. П. Мещерский — Мои воспоминания, ч. I—III, Спб., 1897—1912 гг.

[200] См.: «Новое время», 1878 г., № 801—802; «Московские ведомости», 1878 г., № 130.

[201] Архивные данные исправляют неточность этой части воспоминаний А. Ф. Кони, вместе с тем существенно дополняя их. «Получено сведение, — гласит секретное агентурное донесение от 18 ноября 1878 г. за № 1157, — что докладывавший сенатор Ковалевский (здесь явная ошибка: М. Е. Ковалевский председательствовал, а докладчиком был Дейер. — *М. Т.*) первоначально домогался утверждения приговора присяжных и решения суда. Причем мотивы его словесного доклада в общих чертах сводились к указанию, что означенные приговор и решение вызывались неправильностью и несовершенством действий администрации. По поводу сего, из числа сенаторов, составивших присутствие сената, Дейер заявил энергический протест, назвав доклад сенатора Ковалевского не только пристрастным, но и противозаконным, и высказал при этом мнение о необходимости не только кассации решения суда, но и предания суду председателя Кони за поведение его при ведении судебного заседания, к каковому мнению присоединились также сенаторы Орлов и Арсеньев. Так как последний в бытность товарищем председателя московского окружного суда подвергался сам дисципли-

нарному взысканию за угрозу наказать розгами подсудимую (?) по одному делу, то этим обстоятельством сенатор Ковалевский воспользовался и в свою очередь заявил о некомпетентности мнения Арсеньева. Между тем, за таковым протестом, сенатор Ковалевский лишился права голоса в дальнейшем обсуждении дела Засулич, и таким образом присутствию сената угрожала невозможность разрешить рассматриваемое им дело. Вследствие сего сенатор Пятницкий, во избежание, с одной стороны, предстоявшего затруднения, с другой же — скандала для сенаторов Ковалевского и Арсеньева, уговорил последнего отклониться от заявленного мнения и протеста. После чего заявили особое мнение только сенаторы Дейер и Орлов, но последний пропустил срок на подачу отдельного мнения, и таковое подписано одним сенатором Дейером, в котором он высказал отчасти вышеуказанное мнение его на доклад сенатора Ковалевского» («Дело III отделения», 1878 г., № 68, ч. I, лл. 212—213, опубликовано в статье А. Кункль — «Каторга и ссылка», кн. 38, М., 1928 г, стр. 64). К «особому мнению» Дейера, в котором он доказывал, что судом в заседании 31 марта были допущены существенные нарушения узаконений, присоединились сенаторы: Извольский, Полиер, Жихарев и Писарев («Дело уголовного кассационного департамента Правительствующего сената», по 2-му столу, 1878 г., № 1897, лл. 44—49, архив А. Ф. Кони). Сенатор же В. А. Арцимович подал особое мнение, в котором, не разделяя мнения большинства сенаторов, считает, «что приглашение С.-Петербургским окружным судом по ходатайству защитника подсудимой Засулич указанных последним трех свидетелей и затем допрос этих свидетелей на судебном следствии не могут быть признаны существенным нарушением судопроизводственных правил и служить достаточным основанием к отмене решения присяжных заседателей и приговора суда по делу о подсудимой Засулич (лл. 42—43).

[202] В поданном от имени В. И. Засулич присяжным поверенным Александровым, во время заседания по делу, прошении Засулич просила сенат при рассмотрении кассационного протеста допустить Александрова к представлению объяснений. «Доверие г-ну Александрову на защиту меня,—писала она,—дано мною заявлением

окружному суду об избрании его защитником, причем я разумею защиту во все продолжение касающегося меня процесса».

Эта просьба В. И. Засулич не была удовлетворена. «По совещании с гг. сенаторами, г. первоприсутствующим была объявлена следующая резолюция: Правительствующий сенат, принимая во внимание, что присяжный поверенный Александров не представил ни письменной доверенности, ни записанного в протокол суда словесного уполномочия подсудимой (ст. 248 Уст. гражд. суд.) на представление от ее имени объяснений в Правительствующем сенате и что прошение, представленное присяжным поверенным Александровым от имени Веры Засулич, не соответствует вышеизложенным требованиям закона, определяет: на основании означенной статьи закона и в виду решения Правительствующего сената 1868 г., № 9, 1872 г., № 188, и др., ходатайство присяжного поверенного Александрова оставить без последствий» («Дело уголовного кассационного департамента Правительствующего сената, по 2-му столу, 1878 г.», № 1897, л. 22, архив А. Ф. Кони).

[203] К этому времени относится следующее письмо А. Ф. Кони к С. А. Андреевскому от 16 июня 1878 г.:

«Милый Сергей Аркадьевич! — Только сегодня могу я писать Вам, так как жестокая боль печени не давала мне возможности держать перо в руках. Не унывайте, мой милый друг, и не падайте духом. Я твердо убежден, что Ваше положение очень скоро определится и будет блистательно. Оно Вам даст свободу и обеспечение,—даст Вам отсутствие сознания обидной подчиненности всяким ничтожным личностям. Я даже рад за Вас, что судьба, во-время, выталкивает Вас на дорогу свободной профессии. Зачем она не сделала этого со мною, лет десять тому назад! — Вся задача лишь в том, чтобы перенести бодро первое испытание. И я на Вас в этом отношении надеюсь. Отвечу Вам прежде всего на Ваши вопросы: 1) Просьба об отставке пишется на простой бумаге, с 40 коп. маркою, на имя м. ю., с обозначением причины, по коей увольнение желательно, т. е. или «по болезни», или «по домашним обстоятельствам». Никаких произвольных мотивов отставки (к сожалению) в этих просьбах не допускается. Увольнение может последовать очень скоро. 2) Вы

не должны сомневаться, что я буду считать своею обязанностью устраивать Вам защиты во всех делах, где я буду председательствовать. Как жаль, что Вы были лицом прокурорского надзора по делу Беликова! Впрочем, этот вопрос еще надо будет обсудить поподробней... А защита могла бы быть блестящей. И - гражданских клиентов я Вам буду посылать, сколько можно. До сих пор я посылал их к Боровиковскому (кн. Юсупова с целым рядом дел) или к Пассоверу (Харины с иском в 87 тыс., Левкович с иском в 32 тыс. и т. д.). Отныне все эти лица будут адресуемы к Вам. Вы знаете, что я люблю Вас искренно, что мне дороги Ваши успехи и Ваша нравственная целость — и, конечно, я сделаю все, чтобы поддержать Вас в Вашем новом деле. 3) К осени предвидится возможность доставить вам юридические занятия в Международном банке и в Правлении общества чугунных (правительственных) заводов, — но Мас[овского] едва ли можно изъять из ж.-д. комиссии, так как он там весьма полезен и притом — это его последний личный ресурс, ибо ему предложено подать прошение об увольнении от должности или ехать тов. губерн. прокурора в какие-нибудь Вильковишки или Пильвишки. Вероятно он причислится в м-ву, но вместе с тем не захочет жить исключительно на счет жены. Но мы Вам найдем прочные частные занятия, — лишь погодите до осени. Летом никого нет, и оттого нельзя ничего определенного сделать. 4) Герард теперь в Вильне, как только он приедет, я узнаю то, что Вас интересует, и напишу Вам. Во всяком случае Вы должны рассчитывать на самый дружеский прием в среде адвокатуры, судя по тому, как отнесся Совет к Жуковскому, которого до сих пор не отпускают из прокуратуры, требуя, чтобы он представил свою просьбу через пензенского и саратовского прокуроров. — В среду мы давали Жук[овскому] обед. Обед прошел скучно и был не оживлен. У всех было невесело на сердце. Жуковский был тронут и поэтому лишен своего обычного остроумия. Но в единодушных и теплых пожеланиях недостатка не было, особенно со стороны суда и следователей. Кессель блистал своим отсутствием («еще третий петух не пропел», как говорит Жук[овский]).— Сабуров тоже, хотя и написал на подписном листе какое-то слово, в роде «сволочь»... или «слякоть»... или «сукин»... Надо было видеть его позеленелую, отощав-

шую, трепещущую фигуру при представлении новому министру, чтобы проникнуться вполне презрительным сожалением к этому проплеванному Молчалину, который между прочим удостоверял меня, что не помнит в сущности Вашего разговора с Лоп[ухиным], который, в свою очередь, говорит, что все время стоял на почве формального требования. — Как Вы счастливы, что не будете испытывать более того чувства гадливости, которое внушают эти присосавшиеся к судебному делу проходимцы и холопы... Если бы не боязнь всецело отдать судебное дело в нечистые руки, — я бы с радостью ушел со службы.—Речей на обеде Жук[овского] не было, и я сказал только несколько слов. «Когда над кораблем проносится буря, роковые волны иногда смывают в море наиболее отважных и верных своему долгу мореходов. Зловещий крик: «человек упал в море!»— больно отзывается в сердцах — корабль ложится в дрейф и, в знак траура, спускает до половины свой флаг,— а в долгие вечера товарищи, собравшись в кают-кампании, ведут тихие, сердечные разговоры об исчезнувшем сотруднике и говорят ему добрую вечную память.— И наш судебный корабль испытал бурю, и мы теперь спускаем флаг до половины, и нам предстоит долго, долго вспоминать того, кто был в тяжелом плавании не только нашим сотрудником, но нашим советником и товарищем, кто не отделял себя от нас и, имея возможность иногда стать в положение чуждого и врага, всегда оставался только другом. — Он упал в безбрежное море. Но мы знаем его. Он — опытный пловец и искусный боец с волнами. Они его вынесут на берег, и там его встретят и примут с радостью жители другой страны. Остается только пожелать, чтобы, когда со временем, он захочет отдохнуть и оставить эту страну, — жители ее провожали бы его с тем же чувством любви в уважения, как делаем это мы...»—И весь вечер Жук[овского] иначе не называли, как «человек, упавший в море».- Я рад, что Вы стали заниматься гр[аждан ским] правом. Только напрасно Вы читаете прямо X т[ом]. Читайте лучше новое издание Мейера, там есть необходимая научная подкладка,—а главное, начните скорее читать Малышева. Знание судопроизводства для объяснений с клиентами важнее знания права, так как его нельзя построить на материале, почерпнутом из дела и проверенном потом по книгам. Только имейте в виду, что отдел

о «Заочных решениях» уже не годится, в виду выс[очайше] утв[ержденного] м[нения] Г[осударственного] С[овета] в марте сего года.—Я не советовал бы Вам подавать прошение в Совет до Вашего увольнения от службы. Тогда можно будет поручить это Ливену. Я извещу Вас, когда состоится приказ.—Не унывайте, милый друг, и бодрите Юлика. Его силы теперь Вам будут нужны. — Когда Вы думаете быть здесь? Было бы недурно, если бы Вы вернулись к началу августа.

Обнимаю Вас крепко

Ваш А. Кони».

[204] См. примечание № 250.

[205] Представление по этому вопросу «вызвало весьма существенные возражения» («Министерство юстиции за сто лет», 1802—1902 гг.; Историч. очерк. Спб., 1902 г., стр. 134) и было возвращено министру юстиции для согласования предложенной им меры с другими мерами, проектированными относительно присяжной адвокатуры», упоминаемыми в представлении за № 7517, причем 4 мая 1878 г. было высочайше повелено: «ускорить представление законопроекта о присяжных поверенных, дабы вооружить правительство законными средствами против злоупотреблений адвокатуры» (Е. В. Васьковский — Адвокатура, в издании «Судебные уставы 20 ноября 1864 г. за 50 лет», т. II, 1914 г., стр. 273).

[206] Есть основания утверждать, что Палену было предложено подать в отставку. По этому поводу Перетц пишет: «Покойный император понял очень хорошо все промахи судебного ведомства по этому несчастному делу, послужившему сигналом для дальнейших покушений со стороны социалистов. Увольняя через некоторое время графа Палена от должности министра юстиции, государь сказал великому князю Константину Николаевичу, что Пален увольняется за небрежное ведение дела Засулич» («Дневник Е. А. Перетца», стр. 49—50).

[207] Гейден Петр Александрович (1840—1907)—граф. С 1868 по 1886 гг. служил по судебному ведомству. С 1895 г. принимал близкое участие в работе Псковского земства и состоял председателем «Вольно-эконо-

мического общества». В 1904 — 1905 гг. — деятельный участник земского движения. Представитель умеренного дворянского либерализма, призывал буржуазно-цензовые элементы к объединению на почве «Закона и справедливости» для защиты «порядка». Примкнул к «Союзу 17 октября» и в Думе возглавлял одну из групп правых депутатов. Когда Союз в 1906 г. вступил в открытый блок с черной сотней, вышел из него и создал новую партию «мирного обновления», не пользовавшуюся в стране никаким влиянием. Гейдену Кони посвятил 1 и 2 томы своих воспоминаний «На жизненном пути».

208 А также кн. Мещерского (см., напр., его «Письмо к председателю С.-Петербургского окружного суда г. Кони», «Гражданин», 1878 г., № 16—17).

209 Драгоманов Михаил Петрович (1841—1895) — украинский публицист и доцент Киевского университета, откуда был уволен за свою публицистическую деятельность и политические взгляды, враждебные обрусительной политике царизма. Эмигрировал за границу, с 1889 г.—профессор всеобщей истории Софийского университета. Был вождем либерально-буржуазных националистов Украины, занимал позицию федерализма.

210 М. Драгоманов — За что старика обидели и кто его обижает?! — Размышления по делу Трепова (из «Общины», 1878 г., №№ 3 и 4).

211 Е. П. Забелина — Дело игумении Митрофании. М. 1874 г. (подробный стенографический отчет). Воспоминания Кони напечатаны в книге: А. Ф. Кони — На жизненном пути, т. I, Спб., 1912 г., стр. 42—52).

212 Эта фраза приведена автором «Воспоминаний» не точно: «Выше, выше стройте стены вверенных вам общин,—говорил Плевако,—чтобы миру не было видно дел, которые вы творите под покровом рясы и обители» (Ф. Н. Плевако — Речи, под ред. Н. К. Муравьева, т. II, М., 1910 г., стр. 62).

213 «Записки баронессы Прасковьи Григорьевны Розен, в монашестве Митрофании». Сообщил князь А. Дадиани, «Русская старина», 1902 г., № 1, 5—8, 11—12 (о Кони — № 5, стр. 294).

214 О ней см. А. Ф. Кони — На жизненном пути, т. I, Спб., 1912 г., стр. 279—305; изложение дела и руко-

водящее напутствие Кони присяжным: А. Ф. Кони — Судебные речи, Спб., 1905 г., стр. 522—540.

215 См. дело об убийстве Чихачева (и обвинительную речь Кони): А. Ф. Кони—Судебные речи, Спб., 1912 г., стр. 292—330 (фамилия Непениных скрыта за инициалами N. N.).

216 Мирский Леон Филиппович (1858—1919). 13 марта 1879 г., как член партии «Народной воли», стрелял в шефа жандармов Дрентельна и после покушения скрылся. 6 июля 1879 г. арестован и оказал вооруженное сопротивление. 17 ноября 1879 г. военно-окружным судом приговорен к смертной казни, замененной лишением всех прав состояния и каторжными работами без срока, которые отбывал до 1883 г.—в Петропавловской крепости (где выдал заговор побега Нечаева), а в 1884—1895 гг.—на Каре; с 1895 г.—на поселении в Сибири, где сотрудничал в местных газетах. В 1906 г., как редактор верхнеудинской газеты за статьи, сочувственные революционному движению, карательной экспедицией Ренненкампфа приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами без срока, которые отбывал в Акатуе.

217 Дрентельн Александр Романович (1829—1888)—генерал-адъютант, генерал-от-инфантерии, с 1878 г.—шеф жандармов и главный начальник III отделения. В 1879 г. на него было совершено покушение Мирским. В 1880 г., в виду предположенного упразднения III отделения, уволен от должности и в 1881 г. назначен генерал-губернатором Юго-западного края и командующим войсками Киевского округа, на каковых должностях проявил себя усердным и суровым проводником обрусительной политики; много содействовал изданию временных правил о евреях 3 мая 1882 г. и закона об иностранцах 14 мая 1887 г.

218 Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904). С 1881 г.—прокурор С.-Петербургского окружного суда, а затем директор департамента полиции и товарищ министра внутренних дел, 1884—сенатор, 1894—государственный секретарь, 1899 г.—министр—статс-секретарь Финляндии, в каковой должности проводил реакционную руссификаторскую политику, 1902 г.—министр внутренних дел и шеф жандармов. Ярый реак-

ционер и враг революционного и оппозиционного движения, с которым вел беспощадную борьбу, жестоко расправляясь с участниками стачек и демонстраций. При нем сурово подавлены крестьянские восстания в Харьковской и Полтавской губ., подвергнуты разгрому Вятское, Московское и Тверское земства и была усилена власть губернаторов. Потворствовал еврейским погромам. С целью отвлечь внимание общества от внутренних задач раздувал конфликт с Японией и явился одним из вдохновителей войны с ней. Убит с.-р. Е. Созоновым 15 июля 1904 г.

219 Гурко Иосиф Владимирович (1828—1901) — генерал-адъютант, генерал-от-кавалерии. Участвовал в крымской и в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. Участвовал в подавлении польского восстания 1863 г. С 1879—1880 гг.— времен. генерал-губернатор в Петербурге с чрезвычайно широкими полномочиями, 1882 г.—времен. генерал-губернатор и командующий войсками Одесского округа, 1883—1894 гг. — генерал-губернатор и командующий войсками Варшавского округа. Настойчиво проводил обрусительную политику, особенно в области народного образования. Сурово расправлялся с отдельными вспышками революционного движения.

220 Фаустен Эли (1799—1884), — видный французский криминалист-классик, автор: Théorie du code pénal (совместно с Шово — Chauveau), Traité de L'instruction criminelle и др.

* 221 Название неточно. Автор, очевидно, имеет в виду: Jurisprudence générale ou Repertoire méthodique et alphabétique de Legislation Даллоза (44 тома основных и 19 томов добавлений).

222 Половцев Александр Александрович (1832—1910). С 1867 г.—обер-прокурор I департамента сената, 1874—сенатор, в 1880—1881 гг. ревизовал Киевскую и Черниговскую губернии, 1883—1892 — государственный секретарь, с 1892 г.—член Государственного совета. Один из учредителей «Русского исторического общества».

223 Селиверстов Н. Д., — генерал-лейтенант. С 1856 г. — чиновник особых поручений при шефе жандармов, 1867 г. — пензенский губернатор, 1878 г. — помощник шефа жандармов. 9 ноября 1890 г. убит

эмигрантом Падлевским в Париже, куда был командирован с секретной миссией.

224 Стахович Михаил Александрович,—орловский губернский предводитель дворянства, коннозаводчик.

225 Победоносцев Константин Петрович (1827—1907), — статс-секретарь, член Государственного совета, сенатор, член Академии наук, профессор гражданского права, видный представитель крепостнической реакции. В 1880—1905 гг., будучи обер-прокурором синода, играл крупную роль. Имел огромное влияние на Александра III и был одним из главных вдохновителей его реакционной политики. После убийства Александра II резко выступал против Лорис-Меликова и др. «конституционалистов». Фанатик православия, он свирепо преследовал сектантов. Вел ожесточенную борьбу с проявлениями не только революционной, но и либеральной мысли. См.: «К. П. Победоносцев и его корреспонденты», т. I—II, 1923, г.; «Письма Победоносцева к Александру III», т. I, М., 1925 г, т. II., М., 1926 г.

226 Мартенс Федор Федорович (1845 — 1909). С 1871 г. — профессор международного права Петербургского университета и Александровского лицея, автор многих трудов по международному праву.

227 См. А. Ф. Кони — На жизненном пути, т. I, стр. 251—259, изложение дела и руководящее напутствие Кони присяжным: А. Ф. Кони — Судебные речи, стр. 541—556.

228 Изложение дела и руководящее напутствие Кони присяжным, см. А. Ф. Кони — Судебные речи, стр. 503—521.

229 Тотлебен Эдуард Иванович (1818—1884),—генерал, военный инженер. Участник турецких войн 1853 и 1877—1878 гг. В 1879 г. получил титул графа. С 1879 г.—одесский генерал-губернатор. При нем, особенно под руководством его помощника Панютина, фактически руководившего полицейской частью, имели место жестокие расправы с революционерами.

230 Крылов Никита Иванович (1807—1879). С 1836 г.— профессор римского права в Московском университете. Ученики Крылова—Кони и Муромцев — создали ему ре-

путацию выдающегося либерального ученого. На деле это был, по выражению Чичерина, «человек... умный и даровитый, но полнейший невежда», к тому же взяточник. Беспринципный профессор-карьерист Крылов в 1857 г. выступил с апологией самодержавию. По своему научному направлению Крылов принадлежал к так называемой «исторической» школе.

231 О нем см. А. Ф. Кони — На жизненном пути, т. I, стр. 260—278.

232 Кауфман Константин Петрович (1818—1882) — генерал-лейтенант, командующий войсками Туркестанского округа и туркестанский губернатор; в 1866 г. завоевал Самарканд, в 1873 г. возглавлял Хивинскую экспедицию, в 1875 г. покорил Коканское ханство, из которого была образована Ферганская область.

233 Богданович Евгений Васильевич (род. в 1832 г.) — генерал, активный монархист. Служил во флоте, работал в министерстве внутренних дел, с 1879 г. — староста Исаакиевского собора в Петербурге. Издавал самостоятельно и совместно с Иоанном Кронштадтским ряд брошюр религиозно-монархического содержания. Автор ряда брошюр историко-патриотического и религиозно-полемического содержания, изданных на субсидии, полученные из министерства внутренних дел и из «кабинета его величества». Умер во время империалистической войны. Жена его вела дневник, вышедший после ее смерти: А. В. Богданович — Три последних самодержца. Л., 1924.

234 «Московские ведомости», 1879 г., № 177.

235 Фельетон «Беседа» за подписью «Amicus» в «С.-Петербургских ведомостях», 1879 г., № 187.

236 Убийство Александра II оживило в памяти «истинно-русских» людей воспоминания о процессе В. Засулич и о роли в нем А. Ф. Кони. О «чудовищном оправдании Веры Засулич» стали говорить как о причине, которая привела к 1 марта 1881 г. В письме к Победоносцеву, полученном им 3 мая 1881 г., анонимный корреспондент писал: «...по-нашему все эти «балаганных дел мастера», изменники: Кони, председатель, судивший Засулич, Александров, защищавший ее, прокурор, столь бережно обвинявший ее, присяжные, оправдавшие ее...

как юродивые и изменники, должны быть казнены или сосланы на каторгу» («К. П. Победоносцев и его корреспонденты». Письма и записки, т. I, пол. I, М.—Л., 1923 г., стр. 214). Автор другого письма, от 16 декабря 1881 г., указывал, что «сенаторы и многие тузы прямо играют в руку социалистам», и сравнивая «гг. Кони» со всякой «швалью», рекомендует: «довольно кокетничать с так называемыми либералами, пора замазать им рот, кто бы они ни были, сенаторы ли, председатели ли судов...» (стр. 186).

«Со всех сторон слышно, — писал 6 февраля 1885 г. Александру III Победоносцев, — что на-днях последует назначение нынешнего председателя гражданского отделения судебной палаты, Анатолия Кони, в Сенат, обер-прокурором уголовного кассационного департамента. Назначение это произвело бы неприятное впечатление, ибо Вам памятно дело Веры Засулич, а в этом деле Кони был председателем и выказал крайнее бессилие. А на должности обер-прокурора кассационного департамента у него в руках будут главные пружины уголовного суда в России». Александр III на это ответил: «Я протестовал против этого назначения, но Набоков уверяет, что Кони на теперешнем месте несменяем, тогда как обер-прокурором, при первой же неловкости или недобросовестности, может быть удален со своего места» («К. П. Победоносцев и его корреспонденты», т. I, пол. II., 1923 г., стр. 496, 497). Таково было «нарастание справедливости» со стороны Набокова.

13 февраля 1885 г. при представлении по случаю назначения Кони обер-прокурором уголовного кассационного департамента сената Александр III сказал ему: «Я вас назначил на столь важный и ответственный пост вследствие удостоверения министра юстиции о ваших выдающихся способностях для его занятия и надеюсь, что ваша дальнейшая служба будет успешна и заставит меня позабыть неприятное воспоминание, вызванное во мне тягостным впечатлением от ваших действий по известному вам делу» (из рукописи: А. Ф. Кони — Крушение царского поезда в 1888 г.).

Вскоре после назначения А. Ф. в сенат ходила по рукам имевшая широкое распространение следующая эпиграмма нововременского поэта В. П. Буренина:

В Сенат коня Калигула привел,
Стоит он убранный и в бархате и в злате.
Но я скажу: у нас такой же произвол —
В газетах я прочел, что Кони есть в Сенате.

Приводя эту эпиграмму, Королицкий пишет, что «А. Ф. не остался в долгу и язвительно ответил»:

Я не люблю таких ироний.
Как люди непомерно злы!
Ведь то прогресс, что нынче Кони,
Где прежде были лишь ослы

(М. С. Королицкий — А. Ф. Кони, Л., 1929 г. стр. 25).

Сестра А. Ф. Кони — Л. Ф. Грамматчикова и ближайший друг его — Е. В. Пономарева, со слов самого Кони, отрицают принадлежность ответной эпиграммы перу Кони. По предположению последнего, она была написана Вл. Соловьевым.

237 Фойницкий Иван Яковлевич (1847—1913)— товарищ обер-прокурора уголовного кассационного департамента сената и профессор Петербургского университета; автор ряда работ по уголовному праву и процессу. Крайне умеренный либерал, он, в качестве члена редакционной комиссии по составлению проекта нового уголовного уложения, является одним из авторов «Уголовного уложения 1903 г.», содержавшего статьи против политических преступлений с применением по ним каторги и смертной казни. С 1899 г.—сенатор.

238 Градовский Александр Дмитриевич (1841 — 1889)—профессор государственного права Петербургского университета. В качестве публициста развивал идеи о необходимости создания учреждений, которые служили бы «раскрепощению России». О нем см.: А. Ф. Кони - За последние годы, Спб., 1896 г., стр. 357—366, и Очерки и воспоминания, Спб., 1906 г., стр. 261—270.

239 Воспоминания Кони о нем см.: А. Ф. Кони — Очерки и воспоминания, Спб., 1906 г., стр. 281—286. Ему Кони посвятил свои «Судебные речи».

240 Толстой Лев Николаевич (1826—1910)—великий писатель. А. Ф. Кони находился с ним в дружеских отношениях и оживленной переписке. О нем см.: А. Ф. Кони—

На жизненном пути, т. II, Спб., 1913 г., стр. 3—56. Об отношениях между Кони и Толстым, см.: В. И. Срезневский — А. Ф. Кони и Л. Н. Толстой, сборник «Памяти А. Ф. Кони», Л.—М., 1929 г., стр. 102—114. Тему и основную мысль «Воскресения» дал в 1887 г. Толстому Кони, рассказав ему случай из судебной практики, имевший место в 1870 г., в котором А. Ф. Кони, как прокурору суда, пришлось принять некоторое участие. Начатый Л. Н. Толстым роман долгое время не имел определенного названия, отвечающего его содержанию, и Л. Н. часто в дневниках и письмах называл роман «Коневской повестью» (см. В. И. Срезневский — Коневская повесть, юбилейный сборник «А. Ф. Кони», Л., 1925 г., стр. 40—56).

241 Дейч Лев Григорьевич—участник революционного движения 70-х годов; член группы «Освобождение труда»; один из основателей социал-демократической партии в России; после ее раскола в 1903 г.—активный меньшевик; в 1917 г.—сторонник «Единства» Плеханова, резкий противник октябрьского переворота.

242 Фишер Василий Федорович—родился в 1848 г. умер от туберкулеза после 1879 г; арестован в 1869 г., входил в «Киевскую коммуну» и ходил в народ. Судился по процессу «193»; выслан в Вологодскую губернию.

243 Синегуб Сергей Силович (1851—1907) — чайковец, вел пропаганду среди рабочих, арестован 12 ноября 1873 г. и по процессу «193» приговорен к 9 годам каторжных работ.

244 Ковалев Василий Онуфриевич (род. в 1855 г.). Привлекался по делу «50» и содержался в доме предварительного заключения. Предан суду особого присутствия сената по обвинению во вступлении в противозаконное сообщество и в распространении преступных сочинений и 14 марта 1877 г. признан виновным и приговорен к лишению всех прав состояния и к каторжным работам на 3 г. 4 м., причем, ввиду его «чистосердечного признания» суд ходатайствовал о замене ему назначенного наказания лишением всех особенных прав и преимуществ и ссылкой на житье в Тобольскую губ. Водворен в Туринск, откуда переводился в Якутск и Бутурусский улус и в 1883 г. возвращен в Туринск.

[245] Дическуло Леонид Аполлонович (1847—1889)— член кружка студентов-петровцев, член одесского кружка чайковцев, привлекался по процессу «193»; в 1878 г. примкнул к «южным бунтарям»; в 1879 г. участвовал в убийстве кн. Кропоткина (харьковского губернатора), участник вооруженного сопротивления 11 февраля 1879 г. в Киеве на Жилянской улице. Скрылся за границу, эмигрантствовал в Румынии.

[246] Князь Цицианов—богатый землевладелец, привлекался по процессу «50»; при аресте оказал вооруженное сопротивление (12 августа 1875 г.), первое в 70-х годах; заточенный в Харьковский централ, сошел там с ума.

[247] Медведев Иван Ильич (1850—1878). Привлекался к дознанию по делу «193». При попытке бежать за границу задержан 21 марта 1875 г., доставлен в Петербург и содержался в доме предварительного заключения. Предан суду особого присутствия сената по обвинению в распространении преступных сочинений и 23 января 1878 г. признан виновным в имении запрещенных книг и приговорен к трехмесячному заключению, причем, по ходатайству суда, зачтено предварительное содержание под стражей. 11 мая 1878 г. по распоряжению министра внутренних дел подчинен гласному надзору полиции с ограничением места жительства. Умер в Борисоглебске 8 ноября 1878 г.

[248] Судя по экземпляру, имеющемуся в «Деле III отделения», 1878 г., № 68, лл. 143—152, статья эта была размножена гектографским способом, причем автор ее не указан. Принадлежность статьи перу Чичерина устанавливается рукописным экземпляром, находящимся в архиве А. Ф. Кони и вложенным в папку, на которой рукою А. Ф. написано: «Статья Б. Н. Чичерина о деле Засулич, 1878 г.»

[249] Вскоре после кассации оправдательного приговора В. И. Засулич эмигрировала в Швейцарию, и дело о ней в Новгородском окружном суде не разбиралось. Любопытно отметить, что в то время, как министерство юстиции просило министерство иностранных дел потребовать от швейцарского правительства выдачи Засулич, III отделение, по соображениям, оставшимся

невыясненными, стремилось к тому, чтобы требование о выдаче заявлено не было, причем предпринимавшиеся в этом направлении шаги тщательно скрывались от министерства юстиции.

27 октября Шульц доверительно писал директору департамента внутренних сношений министерства иностранных дел Остен-Сакену следующее: «Согласно уговору нашему, я переговаривал с г.-а. Дрентелем (очевидно, Дрентельном.—*М. Т.*), тотчас после его вступления в должность главного начальника III отделения собственной е. в. канцелярии, о крайней необходимости оставления дела Веры Засулич in statu quo, и Александр Романович, разделяя вполне этот взгляд, намеревался в таком смысле условиться с гг. министрами внутренних дел и юстиции, тем более, что и Николай Карлович Гирс высказывался одинаково. Ныне, по получении письма вашего превосходительства об означенном деле (от 25 октября, об ускорении разрешения этого вопроса, во избежание задержки переписки с требованием выдачи.—*М. Т.*), я напомнил г.-а. Дрентельну (26 октября.—*М. Т.*) об означенном деле и уговорил его, если министр внутренних дел затруднится представить государю императору общий доклад, написать его величеству от себя. Я бы покорнейше просил ваше превосходительство не давать дальнейшего хода полученному в министерстве иностранных дел требованию министерства юстиции, пока вопрос о Вере Засулич не будет решен так или иначе путем, мною указанным». А 7 ноября Шульц «поспешает» уведомить Остен-Сакена, что «государю императору благоугодно было повелеть: ограничиться формальным вызовом Веры Засулич к суду, не требуя выдачи ее от швейцарского правительства. Высочайшая воля эта будет сегодня сообщена г. министру юстиции, который, конечно, не преминет поставить о ней в известность министерство иностранных дел». «Я очень рад,—заканчивал Шульц письмо,—что делу этому могло быть дано такое направление» («Дело III отделения», 1878 г., № 68, ч. I, лл. 204—207). В ответ на это письмо Остен-Сакен в тот же день «спешит» принести Шульцу «искреннейшую признательность за обязательное доставление сведения касательно высочайшей резолюции по делу В. Засулич» и прибавляет: «теперь мы, следовательно, можем быть спокойны» (л. 208).

Одновременно с письмом, отправленным Остен-Сакену, Шульц сделал распоряжение: «В смысле настоящего письма, ссылкой на личное объяснение г. главн. нач. 3-го отд. с г. министром юстиции, следует снестись с сим последним, не упоминая, конечно, о мин. иностр. дел» (л. 206). Соответствующее письмо на имя министра юстиции было отправлено 8 ноября за № 4628 (л. 209).

250 Государственный совет пошел еще дальше представления Палена. Высочайше утвержденное 9 мая 1878 г. мнение Государственного совета по этому представлению гласило:

I. Дела: 1) о преступлениях, предусмотренных в главах первой, второй и пятой раздела IV Улож. о наказ., изд. 1866 г, когда они влекут за собой наказание, соединенное с лишением или ограничением прав состояния, и 2) об убийстве или покушении на убийство должностных лиц, нанесении им ран или увечий и других насильственных против них действиях, а также об угрозах им, когда преступления эти совершены при исполнении должностными лицами служебных обязанностей, или же вследствие исполнения их обязанностей и также влекут за собою лишение или ограничение прав состояния, — подчинить временно, в отношении подсудности, предания суду и производства самого суда, порядку, установленному для производства дел подлежащих ведению судебных палат с участием сословных представителей. Предварительные следствия по сим делам производить через судебных следователей с соблюдением общих правил, содержащихся в разделе II Уст. угол. суд., изд. 1876 г. (т. XX, ч. II).

II. Означенный в статье I порядок, но лишь в отношении к подсудности и производству суда, применять временно же и к делам о преступлениях, предусмотренных в ст. 395 Улож. о наказ., изд. 1866 г., в тех случаях, когда оные подлежали бы ведению окружного суда или судебной палаты; дела же о преступлениях сего рода подсудные кассационному департаменту Правительствующего сената, оставить в ведении этого департамента, производя оные без участия присяжных заседателей.

III. Указанные в ст.ст. I и II меры применить ко всем делам о вышеозначенных преступлениях, по коим еще

не последовало предания обвиняемых суду («Полное собрание законов», 1878 г., № 58488).

Исторический очерк — «Министерство юстиции за сто лет», 1802—1902 г., Спб., 1902 г., отмечая, что министру юстиции принадлежала инициатива подчинения всех перечисленных дел суду судебных палат с участием сословных представителей (стр. 130), говорит: «таким образом предположения министра юстиции с некоторыми несущественными изменениями удостоились высочайшего утверждения 9 мая 1878 г.» (стр. 132). Из публикуемых документов видно, что эти указания не соответствуют действительности: предположения Палена, после провала его представления от 2 апреля 1878 г., были более скромны.

Любопытно отметить некоторые подробности прохождения этого законопроекта, тем более, что официальные издания приводили их далеко не полно и притом с нарушением хронологической последовательности («Отчет по Государственному совету» за 1878 г., Спб., 1880 г., стр. 171—176; «Судебные уставы 20 ноября 1864 г. за 50 лет», т. II. П, 1914 г., стр. 605—606).

Представление Палена от 6 апреля 1878 г. за № 6882 первоначально рассматривалось 13 апреля в заседании соединенных департаментов законов и гражданских и духовных дел Государственного совета, с участием, между прочим, Валуева, Тимашева, Мезенцова, Победоносцева и Палена. В этом именно заседании и было принято мнение, что «различие в порядке суда должно обусловливаться не случайными признаками преступлений, предусмотренных в тех или других статьях уголовного кодекса, но общими свойствами целых групп однородных деяний. Посему департаменты признают правильным, вместо заключающегося в представлении указания на ст.ст. 263—271 и 275 Уложения, отнести предполагаемое изменение подсудности и порядка производства ко всем вообще преступлениям, влекущим за собою лишение и ограничение прав состояния и означенным в первой, второй, а по близкой внутренней связи с ними, и пятой главах раздела IV Улож. о наказ., изд. 1866 г. (т. е. сопротивление распоряжениям правительства, неповиновение установленным от него властям, оскорбление и явное неуважение к присутственным местам и чиновникам при отправлении должности, взлом тюрем, освобождение и укрывательство находя-

щихся под стражею). Затем, в отношении к преступлению, предусмотренному в ст. 395 Улож. о наказ. (нанесение подчиненным начальнику оскорбления действием), департаменты приняли во внимание, что хотя оно, по свойству своему, близко подходит к вышеозначенным, подлежащим особому порядку суда, деяниям, но, по системе уложения, в настоящее время отнесено к разряду преступлений по службе, и потому, за силою ст.ст. 1084—1087 Уст. угол. суд., изд. 1876 г., подсудно, смотря по классу должности обвиняемого, или окружному суду, или судебной палате, или же кассационному департаменту Правительствующего сената.

Не встречая препятствия к предполагаемому изменению подсудности этого рода дел, когда они подлежат рассмотрению окружного суда или судебной палаты, департаменты не признают, однако, удобным передавать в судебную палату те дела, которые, на основании действующего закона, подсудны Правительствующему сенату. Они должны и впредь рассматриваться в сенате, только без присяжных» («Дело Государственного совета», департаменты законов и гражданских и духовных дел, 1878 г., № 18, л. 6, Ленинградское отделение Центрального исторического архива).

При обсуждении представления Палена и этого заключения департаментов в общем собрании Государственного совета 24 апреля был поднят вопрос—«следует ли по делам этого рода дополнять состав присутствия судебных палат сословными представителями, участвующими, по действующему закону, лишь в рассмотрении дел о государственных преступлениях» («Дело Государственного совета 1878 г.», № 18, л. 8). Мнения по этому вопросу разделились (подробно они приведены в «Отчете по Государственному совету за 1871 г.», прил. 13, стр. 79—84 и 84—88), 13 членов (в числе их принц Ольденбургский, Победоносцев и будущий преемник Палена на посту министра юстиции Набоков) полагали, что дела эти должны быть предоставлены ведению особого присутствия судебных палат без участия сословных представителей («Дело Государственного совета 1878 г.», № 18, л. 23), а 32 члена (в числе их в. кн. Константин Николаевич, в. кн. Михаил Николаевич,

Валуев, Тимашев, Мезенцов и Пален) находили, что вовсе не допускать представителей общества к разрешению подобных дел—нельзя (л. 28), тем более, что сословные представители, в отличие от присяжных заседателей, являются «вполне благонадежным элементом» и поэтому «заслуживают доверия правительства» (лл. 28—30). По этим и другим соображениям процессуального порядка общее собрание Государственного совета полностью согласилось с заключением соединенных департаментов от 13 апреля.

В представленной государю мемории общего собрания Александр II 9 мая против мнения 32 членов Государственного совета написал: «и я» (л. 39).

Разбор и оценку закона 9 мая 1878 г. см. в брошюре «Записка министра юстиции Палена по поводу изменения подсудности дел против должностных лиц», 1878 г., стр. 7—12.

[251] Мнение Государственного совета по этому представлению было высочайше утверждено 9 мая 1878 г. («Полное собрание законов», 1878 г., № 58489). Указание брошюры «Два заседания Комитета министров» является таким образом неточным.

[252] Происхождение этого документа установить не представилось возможным. Обнаружить второй экземпляр его (кроме архива А. Ф. Кони) или получить какие-либо указания на этот документ—также не удалось. Повидимому, он был приурочен к рассмотрению в Государственном совете представления Палена за № 6882 и, быть может, дал толчок к постановке в общем собрании 24 апреля вопроса о полном упразднении, при рассмотрении некоторых дел, участия общественного элемента, даже и в лице сословных представителей.

[253] Засулич Михаил Иванович (1843—1910)—генерал-от-инфантерии. Участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. Один из главных участников русско-японской войны. Командуя Вторым сибирским корпусом, в бою под Тюренченом проявил крайнюю растерянность, результатом чего было поражение и беспорядочное отступление русской армии. Вышел в отставку в 1906 г.

[254] Успенский Петр Гаврилович (1847—1881)—близок к ишутинской «Организации», один из учре-

дителей «Народной расправы» в 1869 г., по Нечаевскому делу осужден на 15 лет каторги. Повешен в тюрьме на Каре своими же товарищами по ложному подозрению в шпионстве. Жена его—сестра Веры Засулич, Александра Ивановна (1847—1924).

ПЕРЕВОД И ОБЪЯСНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

Стр.		
7	Tempora mutantur.	Времена меняются.
15	Ad hoc.	Для данного случая.
16	N. N. est trop difficile.	N. N. слишком тяжел, требователен.
■	Ужин à la fourchette.	Легкий ужин без сервировки стола.
29	Wunderfrau.	Необычайная женщина.
32	A titre d'estime.	В знак уважения (здесь в смысле: чтобы снискать уважение).
33	Quasi.	Якобы.
—	Mais c'est presque la misère.	Но это—почти нищета.
40	C'est plus qu'un crime, c'est une faute.	Это — более чем преступление, это — ошибка.
—	Minister sprawiedliwoscy.	Министр справедливости (юстиции).
63	Idée fixe.	Навязчивая идея.
—	Avec un parti pris (или: de parti pris).	С предвзятым намерением (умышленно, нарочито).
67	«Pour le mérite».	Прусский орден «За заслуги».

Стр.

70	S'il plaide coupable ou non? — Voilà une étrange question! Ni vous, ni moi, n'en savons rien avant d'avoir entendu les témoins.	Признает ли он себя виновным или нет? — Вот странный вопрос! Ни вы, ни я не можем знать об этом ничего, не заслушав свидетелей.
72	Sire, la cour rend des arrêts et pas des services.	Ваше величество, суд постановляет приговоры, а не оказывает услуг.
73	L'incident serait clos.	Индидент был бы исчерпан.
75	Nie poswalam.	Не позволяю.
—	Vae victis... vae victoribus.	Горе побежденным... горе победителям.
78	Qui n'est que juste est cruel.	Кто только справедлив, тот жесток.
80	Chef d'oeuvre.	Образцовое произведение.
153	Raison d'être.	Достаточное основание.
156	Quand même.	Во что бы то ни стало.
158	In legibus salus.	В законах—спасение.
165	Alma mater.	Буквально: кормящая мать в переносном смысле: учебное заведение, снабжающее духовной пищей.
179	In spe.	В надежде.
189	En face.	Прямо, без поворота головы.
213	Nil inultum remanebit, quidquid latet apparebit.	Ничто не останется неотомщенным; все тайное станет явным.
224	Profession de foi.	Изложение убеждений.
228	Caveant consules!	Буквально: Консулы, будьте бдительны! (употребляется в смысле: Смотрите! Берегитесь!).

Стр.		
232	Sublatus effectus—tollitur causa.	С упразднением следствия упраздняется и причина.
233	Ligne de conduite.	Линия поведения.
235	Sic!	Так! (употребляется для указания на несообразность).
236	Eine gewisse Narrenfrechheit.	Известная дерзость шута.
239	Aus politischer Klugheit.	По соображениям политической мудрости.
241	Widerstand.	Сопротивление.
242	Le prendre au sérieux.	Всерьез признавать его.
245	Ceterum censeo (Carthaginem esse delendam).	Впрочем, я полагаю (что Карфаген должен быть разрушен). Это — слова Катона, повторявшиеся им при каждом его выступлении в римском сенате. Употребляется для выражения настойчивости в проведении кем-либо своего мнения.
245	Bravi	Буквально: Храбрецы; употребляется и в смысле: головорезы, наемные убийцы.
248	Padem do nog.	Буквально: падаю к ногам (в смысле: отношусь раболепно).
254	Un mauvais quart d'heure.	Маленькая неприятность.
—	Pouvoir discrétionnaire	Неограниченная власть.
258	A bon entendeur—salut!	Имеющий уши—да слышит!
262	Et tu quoque!	И ты тоже!
266	Incident Sassulitch.	Инцидент Засулич.
—	Recht des Nothstandes.	Право крайней необходимости

Стр.		
268	Les vaincus ont toujours tort.	Побежденные всегда неправы.
273	Schnell Assessoren-Fabrik.	Фабрика скороспелых (судебных) заседателей.
288	Le comte Pâlen a tourné au sucre.	Граф Пален изменился в сторону мягкости (буквально: сладости).
289	Il y avait des juges à Berlin.	Были судьи в Берлине.
291	Honoris causa.	В знак почета.
—	Vous ne m'en voulez pas?	Вы на меня за это не сердитесь?
—	Mais du tout.	Ничуть.
299	Protegé.	Тот, кому покровительствуют.
300	Il primo presidente della corte.	Первый председатель суда
—	Eviva!	Да здравствует!
305	Dictionnaire de Jurisprudence universelle Dalloz'a.	Словарь всемирной юриспруденции Даллоза.
312	Und was soll ich dann machen?! — Holz hauen?	Что же мне тогда делать?! — Дрова рубить?
315	Per aspera ad astra!	Через тернии к звездам (в смысле: труден путь, ведущий к славе).
332	Raison d'état.	Государственная польза.
341	Alibi.	Нахождение подозреваемого в преступлении в момент совершения последнего в другом месте, где он не мог его совершить.
392	Corpus delicti sui generis.	Совокупность признаков отдельного преступления (буквально: преступления своего рода).

Стр.		
469	Liberté.	Свобода.
[illegible]	Geheime Denkschrift, betreffend den Process der Wera Sassulitsch в «Deutsche Rundschau».	Секретная записка, касающаяся процесса Веры Засулич в «Немецком обозрении».
[illegible]	Amicus.	Друг.
558	In statu quo.	В прежнем положении.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН

Абаза, Александр Аггеевич 97, 516
Абаза, Вера Аггеевна 34
Агапов, Семен 491
д'Агессо, 72
Адамов, Владимир Степанович 19, 26, 27, 28, 39, 41, 493
Адамова, р. Шварц 19
Азеф, Евно Фишелев 498
Аксаков, И. С. 524
Александра Петровна, вел. кн. 293
Александров, Петр Акимович 59, 80, 90, 92, 94, 97, 99, 109—113, 124, 126, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 160, 217, 246, 249, 250, 251, 252, 255, 283, 386, 405, 407, 416, 417, 418, 420, 424—427, 431, 436, 437, 440, 459, 462, 465, 468, 469—478, 504, 544, 545, 549, 553
Александр II XIX, XXI, 35, 62, 67, 68, 288, 315, 457, 488, 492, 494, 495, 502, 508, 515, 527, 534, 535, 536, 552, 553, 562
Александр III 281, 288, 487, 492, 517, 530, 532, 534, 538, 543, 552, 554
Алексеев, К. С. 100
Алексеев, Петр Алексеевич 13, 491
Алопеус, директ. Училища правоведения 234, 237, 241, 313, 314
Андреевский, Сергей Аркадьевич 82, 85, 86, 88, 91, 97, 279, 284—287, 513, 514, 516, 520, 521, 545
Аптекман, О. В. XVI, 529
Арсеньев, 413
Арсеньев, Константин Константинович 68, 488, 508
Арсеньев, Н. С. 283, 543, [illegible]
Арцимович, Антон Антонович 524
Арцимович, Виктор Антонович 97, 220, 283, 330, 333, 516, 544

Базилевский, Б. (В. Я. Яковлев-Богучарский) 487, 489, 491, 503, 504, 505, 541
Бакунин, Михаил Александрович XIV, XV, 520, 532
Баранов, петербургский полицеймейстер 65
Барановский, сенатор 300
Баранцов, Александр Алексеевич 97, 216, 515
Бардина, Софья Ильинична 497
Барч, доктор 98, 141
Барятинская, кн. 95
Баталин, доктор 141
Баталин, ред. газ. «Минута» 531
Батюшкова, Варвара Николаевна 491
Беленченко, начальник пересыльной части 223, [illegible]
Беликов, 546
Белинский, Виссарион Григорьевич XXVI, 532
Белозор, помещик 286
Белостоцкий, 95
Беляев, купец 291
Бенкендорф, Андрей Александрович 41, 502
Бильбасов 413
Бисмарк, Отто 258, 312
Бистром, бар. 287
Бланки, Огюст XVIII
Бобков, заключенный ДПЗ 371
Богданович, А. В. 553
Богданович, Евгений Васильевич 327, 329, 553
[illegible]
Богдановский, проф., 141
Боголюбов, Алексей Степанович XX, XXXIII, 11, 36—39, 42—45, 48, 49, 61, 65, 66, 81, 90, 91, 105, 110—114, 123—127, 130—136, 138, 169, 171—174, 176, 178, 179, 181—188, 193, 202, 218, 226, 250, 255, 367, 386, 389, 390, 391, 394, 395, 397, 398, 399, 408, 409, 411, 416, 419, 420, 426, 427, 428, 430, 436, 440, 441, 458, 459, 462, 463, 464, 468, 469, 472, 473—479, 480, 486, 489, 490, 500, 502, 506, 517, 518, 519, 531
Богучарский, В. см. Базилевский, Б.
Боратынский, Евгений Абрамович 513
Боровиковский, Александр Львович 7, 14, 59, 299, 369, 488, 546
Боткин, Сергей Петрович 28, 497
Брант, Л. В. 271, 272
Брешковская, Екатерина Константиновна 489, 506
Буренин, В. П. 554

В

Валерия, игуменья Страстного монастыря 292, [illegible]
Валуев, Петр Александрович 23, 72, 243, 492, 495, 496, 560, 561
Вальяно, 323, 325

Васильев, Николай 491
Васьковский, Е. В. 548
Васютинский, полк. 271
Вебер, следователь, 276
Венгеров, С. А. 498
Верховцев, С. Ф. 100
Витте, 443
Витте, Сергей Юльевич 516, 539
Власов, ростовщик 326
Войнаральский, Порфирий Иванович, 489
Войцеховский, прис. пов. [redacted]
Волковичер, И. 487
Волошенко, 506
Волховская, Екатерина 45, 47, 48
Волховской, Феликс Вадимович, 48, 98, 99, 100, 367, 368, 369, 370, 386, 387, 502
Вольтер, Франсуа-Мари-Аруэ XVIII
Воронина, 278
Вышнеградский, Иван Алексеевич 271, 272, 538

Г

Гавлеев 443
Гарткевич, Карл Измайлович 87, 276, 514
Гаршин, Всеволод Михайлович 513
Гегель, Георг-Вильгельм 517
Гейден, Петр Александрович 287, 316, 548, 549
Гейдуков, 411
Геккель, Эрнст XXIX
Гельфман, Геся Мировна 488, 491, 542
Георгиевский, Александр Иванович XXXII, 270, 271, 274, 538
Гераков, Павел Константинович 11
Герард, В. Н. прис. пов. 298, 521, 546
Гернгросс, Е. А. 45, 300, 502
Герцен, Александр Иванович XVIII, 491, 532
Герценштейн, Д. М. 500, 503, 506, 515, 519, 520, 525
Гессен, И. В. 524, 542
Гефтман, 281
Гинтовт - Дзевалтовский, В. Ф. 511
Гирс, Николай Карлович 510, 558
Глаголь, С., см. Голоушев С. С.
Глумов, 410
Голоушев, Сергей Сергеевич 130, 131, 132, 133, 151, 152, 369, 370, 387, 390, 500, 515, 518, 520—[redacted]
Голубев, Иван Яковлевич 39, 95, 304, 305, 501
Горемыкин 95
Горинович, Николай Елисеевич 20, 343—349, 443, 493, 494
Горчаков, Александр Михайлович 77, 97, 509, 510
Градовский, Александр Дмитриевич 555
Градовский, Григорий Константинович 228, 333, 515, 522, 523, 524, 530

Градовский, Николай Дмитриевич 95
Грамматчикова, Л. Ф. 555
Греч, 104, 107, 108, 114, 115, 117, 151, 152, 197
Грот, Константин Карлович 35, 499
Грум-Гржимайло 95
Губонин, XII
Гулак-Артемовская, Людмила Михайловна 316
Гурко, Иосиф Владимирович 304, 551

Д

Давыдов 96
Дагессо 509
Дадиан, А. 515, 545
Дадонов, Н. В. прис. пов. 100
Даллоза 551
Данилов, надзиратель ДПЗ 367
Дворжицкий 36, 43, 218, 219, 221, 225, 226, 227
Дебагорий-Мокриевич, Владимир Карпович 506, 528
Дейер, Петр Антонович 278—282, 294, 542, 543, [illegible]
Дейч, Лев Григорьевич 347, 494, 507, 531, 556
Делянов, Иван Давыдович 269, 270, 271, 273, 274, [illegible]
Дементьев-Ткачев 520
Ден, Отто 81, 97, 114, 121, 287, 288, 414, 541
Деспот-Зенович 97, 219, [illegible]
Джабадари, Иван Спиридонович 491
[illegible]
Джамусов, А. А. прис. пов. 100
Дическуло, Леонид Аполлонович 370, 371, 372, 557
Добржинский, тов. прокурора 345, 349
Долгушин, Александр Васильевич 489, 514
Долженков 406
Дорн, инсп. Училища правоведения 237, 312, 313, 315
Достоевский, Федор Михайлович 15, 97, 513, 516, [illegible]
Драгоманов, Михаил Петрович 291, 299, 549
Драгомиров, Михаил Иванович 50, 503
Дрентельн, Александр Романович 303, 550, 558
Дункан, доктор 141
Дьяков 489, 514

Е

Евреинов, Александр Григорьевич 9, 489
Евреинов, Григорий Александрович 19, 20, 27, 28, 347, 350, 493, 494
Егоров, Алексей 491
Екатерина II 31
Елагин, купец 286
Елена Павловна, вел. кн. 30, 497, 498, 516, 536
Емельянов, Архип Степанович, см. Боголюбов, Алексей Степанович
Енкуватовы 520
Ераковы 96
Еремеев 223

Ж

Жбан 406
Желеховский, Владислав Антонович 50, 51, 52, 55, 58, 59, 291, 504, 506
Желябов, Андрей Иванович 486, 488
Жемчужников 272
Жемчужников, Алексей Михайлович XII
Жихарев, Сергей Степанович 19, 21, 26, 59, 78, 338, 488, 495, 506, 544
Жуков, обвинитель по процессу 50-ти 14, 15
Жуковский, Владимир Иванович XXXIII, 83, 84, 85, 86, 88, 284, 287, 513, 546, 547
Жюжан, Маргарита 295, 316

З

Забелина, Е. П. 594
Завадовский, прис. [illegible] 280
Замятин, Дмитрий Николаевич 96, 533
Засулич, Александра Ивановна 563
Засулич, Вера Ивановна VII, XVI, XXI, XXV, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVII, 45, 61, 63, 64, 66, 68—73, 80, 81, 82, 85—88, 90, 91, 92, 94, 97, 98, 103—107, 109, 114—122, 133, 135, 138—142, 145—169, 171, 172, 176—178, 180—191, 193, 194, 197, 198, 199, 201—207, 210, 211, 212, 215—221, 224, 226, 227, 229, 230, 232, 233, 234, 236, 239, 243, 245, 246, 250, 251, 253, 255—258, 260, 264, 266, 269, 274, 275, 277, 278, 283, 284, 285, 289, 290, 291, 300—302, 304, 306, 311, 312, 314, 317, 325, 326, 330, 332, 333, 378, 385—387, 389, 391, 392, 394, 397, 398, 400—406, 408, 412, 415, 416, 419, 420, 424, 425, 427—430, 433, 435, 436, 437—441, 444, 457—459, 461, 464—468, 474—478, 485, 486, 490, 501, 504—507, 509, 513, 514, 515, 518—532, 536, 542, 544, 545, 548, 553, 557, 558, 563
Засулич, Екатерина Ивановна 520
Засулич, Михаил Иванович, ген. 562
Захаров, 406
Зданович, Георгий Феликсович 491
Зимин 129, 395
Зубов, предс. тюремн. комис. 223
Зуров, петербургский градоначальник 65
Зыбин, Сергей Сергеевич 16

И

Иванов, 423
Иванов, Иван, студент, 466, 467, 520

Игнатьев, Николай Павлович 23, 495
Иегер, Густав XXIX
Иоанн Кронштадтский 555
Ишутин, Николай Андреевич 507.

К

Кабат, судебн. следователь, 61, 95
Кавелин, Константин Дмитриевич, 243, 308, 33[illegible] 513, 535
Каде, лейб-медик 98
Кадьян, Александр Александрович 36, 124, 126, 131, 500
Казнаков, ген.-губ. Зап. Сибири 301, 302
Кантор, Рувим Моисеевич 487, 501, 514
Капнист, Павел Александрович 19, 22, 493
Карабчевский, Николай Платонович 515, 521
Каракозов, Дмитрий Владимирович XXXI, XXXII 237, 457, 502, 507, 509
Карл I, английский 235, 236, 533
Карольчук, Э. А. 487
Каронин, С., см. Петропавловский, Н. Е.
Карпов, Е. 505
Катков, Михаил Никифорович XXVII, XXXIII, 234, 243, 244, 245, 249, 289, 290, 325, 326, 492 495, 532
Кауфман, А. 522
Кауфман, Константин Петрович 326, 327, 328, 329, [illegible]
Каханов, Михаил Семенович 535
Кеннан, Джордж 503
Кессель, Константин Иванович 86, 87, 92, 97, 99, 108, 109, 115—119, 128, 137, 141, 144, 160, 259, 276, 277, 284, 385, 404, 405, 410, 411, 412, 415, 417, 425—433, 435, 436, 440, 462, 465, 475, 476, 477, 514, 517, 519, 521, 546
Кибальчич, Николай Иванович 486, 488
Киреев, Александр Алексеевич 66
Китицын, 222, 223
Клеменц, Димитрий Александрович 524
Клокачева, Л. К. 264
Книрим, Александр Александрович 85, 95
Княжнин 395, 410, 413
Ковалев, Василий Онуфриевич 370, 556
Ковалева 96
Ковалевская, Е. Е. 95
Ковалевский, Евгений Евграфович 282
Ковалевский, Михаил Евграфович 7, 95, 213, 278, 283, 306, 307, 309, 488, 543, 544
Коваленский, М. 491, 501, 515, 525, 542
Коваль, Сергей Филиппович 489, 505
Кожин 490

Козлов, Александр Александрович 65, 525, 526
Козлова, см. В. И. Засулич
Коленкина - Богородская, М. А. 506
Кони, Анатолий Федорович, автор XX—XXXIX, 97, 101, 103, 106, 110, 112—126, 129, 130, 132—142, 144, 193, 194, 387, 398, 399, 411—414, 426—428, 433, 462, 476, 480, 484—562
Кони, Евгений Федорович 507
Кони, Федор Алексеевич 318, 507
Константин Николаевич, вел. кн. 50, 51—55, 503, 548, 561
Корде, Шарлотта 65, 228, 506, 507
Короленко, М. С. 538, 555
Корф, Николай Леопольдович 3, 4, 5, 95, 485
Корш, В. Ф. 528
Корш, Е. В. 528
Косоговский 221, 222, 223, 224, 302
Котельниковы, [illegible] 283, 284
Котляревский, прокурор 443
Кравчинский, Сергей Михайлович (Степняк) XVI, XVII, 523, 524, 529, 537
Краев 344
Красовский 308
Крахт, Федор Федорович 10
Крестьянов, Василий Николаевич 81, 94
Кропоткин, Димитрий Николаевич 557
Кропоткин, Петр Алексеевич 494, 511, 529
Крутицкий 280
Крылов, Никита Иванович 322, 552
Кувшинская, А. Д., см. Чарушина
Кудасов 368, 369, 370, 503
Кузнецов 520
Кулябко-Корецкий, Николай Григорьевич, 505, 524, 525
Кункль, А. А. 507, 522, 544
Куприянов, Михаил Васильевич 98, 99, 100, 386, 387, 517
Куриленко 370, 371, 372, 503
Курнеев, Ф. Н., управляющий ДПЗ 49, 104, 107—117, 120, 124, 126, 131, 132, 137, 138, 151, 152, 189, 190, 197, 372, 411, 503, 519, 520
Кутенский, П. С. 100

Л

Лабуле 70
Лавров, Петр Лаврович XIV, XV, 511
Лансберг 326
Ланской, Сергей Степанович 494
Лаппна, см. В. И. Засулич
Левкович 546
Лежен 118, 119, 120, 147, 148, 205
Лейбниц XVIII
Лейхт 303

Ленин VIII, IX, X, XV, XXVI, XXVII, XXXII, Леонтьев, XXVII
Лермонтов, Михаил Юрьевич XXVI, 513
Лесков 320, 321
Линстром, 407
Лихин 410
Лобанов-Ростовский, Алексей Борисович 43, 49, 222, 502
Лопатин, Герман Александрович 511
Лопухин, Александр Алексеевич 34, 60—64, 66, 72, 82, 85, 86, 87, 93, 214, 218, 498, 514, 522, 525, 526, 547
Лорис-Меликов, Михаил Тариелович 242, 307, 319, 320, 321, 488, 495, 499, 516, 534, 535, 552
Лохвицкий, прис. пов. 521
Лохов, А. И. 100
Лошкарев, Александр Григорьевич 76
Луканина, А. 79
Любавин, Н. Н. 100
Любатович, Ольга и Вера Спиридоновны 491
Людовик XIV 509
Людовик XVI 235, 533
Лясский 285

Майер 547
Макс, Габриель 80, 512
Максимилиан 235, 533
Малинка, Виктор Алексеевич 494
Малышев 547
Манасеин Николай Аксентьевич 68, 245, 263, 278, 304, 446, 454, 508
Марат Жан-Поль 506
Мария Александровна, жена Александра II 169, 532
Марквордт 84
Марков, Алексей Алексеевич 85
Маркс XXV
Мартенс, Федор Федорович 314, 552
Маслов Иван Ильич 511
Масловский, Александр Федорович 92, 546
Масляников 96
Масляников 406
Медведев, Иван Ильич 373, 557
Медем, бар., сенатор 95
Мезенцов, Николай Владимирович XVI, 348, 501, 537, 560, 561
Мейер 547
Мерц 96
Мечников 275
Мещерский, Борис Васильевич 16, 283
Мещерский, Владимир Петрович 492, 532, 543
Милютин, Дмитрий Алексеевич 244, 333, 535
Милютин, М. А. 242
Милютин, Николай Алексеевич 30, 494, 498, 516
Мирский, Леон Филиппович 203, 204, 550
Митрофания (Розен, Прасковья Григорьевна) 92, 291—299, 514, 515, 542, 549

Михаил Николаевич, вел. кн. 561
Михайлов, Тимофей 486, [illegible]
Михин 395
Моисеенко, П. А. 487
Мордвинов, Семен Александрович 242, 243, 244, 248, 307, 534
Мотовилов 266
Муравьев, Михаил Николаевич (вешатель) 77, 493, 509
Муравьев, Н. К. 549
Мысловский, М. Г., прис. пов. 100
Мышкин, Ипполит Никитич 489
Мюссе де, Альфред 528

Н

Набоков, М. Ю. 274, 303, 306, 307, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 330, 540, 541, 554, 561
Назаров 279
Наполеон I 272
Нарышкина 95
Невский, В. И. 487
Незабитовский 349
Некрасов, Николай Алексеевич XI—XV, 513
Немов 406
Непенины 295, 550
Неплюев, Николай Иванович 16
Нечаев, Сергей Геннадиевич 99, 142, 164, 278, 340, 457, 465, 466, 467, 493, 505, 520, 542, 550, 563
Николай I 514
Николай II 533, 543
Николай Николаевич старший, вел. кн. 49, 514
Никитина, Е. 491
Никифоров, Лев Павлович 465, 520
Никонов 443
Нина 276
Новосельский 15
Ностиц, графиня 300

О

Оболенский, Дмитрий Александрович 30, 32—35, 497
Овсянников 84, 85, 276, 278, 513, 514
Огарев, Николай Платонович 491
Ольденбургская, Евгения Максимилиановна 277
Ольденбургский, Александр Петрович, принц 311, 312, 314
Ольденбургский Петр Георгиевич, принц XXXII, 17, 234, 311, 532, 534, 561
Орлов, Иван Николаевич, сенатор 543
Осинский, Валериан Андреевич 506
Остен-Сакен, директ. деп. мин. ин. дел 558

П

Падлевский 552
Пален, Константин Иванович. XXXIII, XXXIV, 3—6, 10, 12, 13, 16—21, 26—30, 34, 39, 40—44, 48, 49, 52, 53, 55, 60—63,

65—72, 78, 85, 87, 88, 92, 93, 212, 225, 227, 242—248, 257—267, 269, 274, 276, 286—289, 292, 302, 305, 312, 316, 317, 332, 446, 454, 485, 498, 509, 525, 536, 537, 538, 541, 548, 559—562
Панин, Виктор Никитич 14, 492
Панюгин, пом. ген.-губ. Тотлебена 552
Паскевич 93
Пассовер, Александр Яковлевич 35, 305, 323, 324, 499, 546
Перетц, Е. А. 521, 522, 548
Перовская, Софья Львовна XXXIII, 486, 488
Пестель, Павел Иванович VII
Петерс, Карл Карлович 56, [redacted]
Петров, Д. П. 100
Петров, купец 469
Петр I 496
Петропавловский, Николай Елпидифорович (С. Каронин) 123—126, 131, 386, 387, 389, 390, 397, 518
Пиксанов, Николай Кириакович 511
Писарев, Николай Сергеевич 19, 21, 493
Писарев, сенатор 544
Платонов, Валериан Платонович 283, 284, 543
Платонов, Степан Федорович 37, 39, 47, 48, 366—369, 371, 372, 500
Плевако, Федор Никифорович 11, 294, 490, 549
Плеве, Вячеслав Константинович 303, 304, 550
Плеханов, Георгий Валентинович XXVI, XXVII, 487, 490, 556
Победоносцев, Константин Петрович 312, 492, 495, 517, 530, 534, 552, 553, 554, 560, 561
Погосская 300
Погребов, петербургский городск. голова 15
Пойко, Григорий Анфимович 506
Полиер, сенатор 544
Половцев, Александр Александрович 307, 551
Полонский, Яков Петрович 511
Пономарев, Е. В. 555
Попов, 406, 407
Попов, Илья Родионович 11, 12, 490
Попов, Михаил Родионович 487, 490
Поскочин Константин Иванович 4, 6, 14, 15, 486
Посошков, 233
Посулин, 95
Потапов, Александр Львович 18, 493
Потехин, Павел Антонович 298, 521
Прево 96
Протасова, домовладел. 31
Прыжов, Иван Гаврилович [redacted]
Путилин, Иван Дмитриевич 61, 505
Пушкин, Александр Сергеевич 496

Пыпин, Александр Николаевич 513, 555
Пясецкий 223
Пятницкий, сенатор 544

Р

Радев, Эдита Федоровна 30, 497
Ралли 520
Рафалович, банкир 516
Ренненкампф, предс. вятского суда 319, 321
Реуф-паша 69
Решетников, чиновн. мин. юст. 306
Розен, Григорий Владимирович 514
Розен, Прасковья Григорьевна, см. Митрофания
Розин, чиновн. мин. юст. 330
Росси, Эрнест 80, 264, 512
Рошфор, Анри 523
Руже де Лиль 243
Румянцев, 410
Русинов, следователь 295, 297
Рыбаков 413
Рыбаковская (Биби-Ханум-Омар-Бекова) 51
Рысаков, Николай Иванович 486, 488

С

Саблин, В. М. 491
Сабуров, Андрей Александрович 3, 262, 263, 485, 525, 546
Сабуров, Николай Николаевич 86, 514
Сажин, Михаил Петрович (Арман Росс) 489
Сазонов, Е. С. 551
Сакулин 406
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович 61
Самарин 410
Свиридов 412
Свитыч, В. 502
Селиверстов, Н. Д. 309, 551
Семирадский, Генрих Иполитович 80, 512
Сербинович, 81, 97, 286 414, 541
Сергеев, А. И. 100
Сергей Александрович, вел. кн. 68
Синегуб, Сергей Силыч 369, 500, 556
Ситников, И. Е. 100
Скарятин, Николай Яковлевич 76, 509
Склифасовский, Николай Владимирович 95, 98, 141
Скорлыгина 318
Слезкин, жандарм. ген.-л. 338, 489
Случевский, Владимир Константинович 276, 314, 541
Смирнитский 94
Смирнов, Александр Дмитриевич 92
Содорацкий, Григорий 518, 524
Соловьев, Александр Константинович XXI
Соловьев, Владимир Сергеевич 30, 498, 555
Соловьев, свидетель, конюх 117, 118
Солодовников 294
Сольская, М. А. 95

Сольский, Дмитрий Мартынович 23, 35, 97, 495
Сомова 96
Спасович, Владимир Данилович 85, 298, 513, 521, 535
Спенсер, Герберт XXIX
Спиноза, Барух XVIII
Срезневский, Всеволод Измайлович 556
Стасюлевич, Любовь Исааковна, р. Утина 95
Стасюлевич, Михаил Матвеевич 513
Стахевич, Лидия Николаевна, р. Фигнер 491
Стахович, Михаил Андреевич 236, 809, 552
Стеклов, Юрий Михайлович 492
Степняк - Кравчинский, С. М., см. Кравчинский, С. М.
Стефанович, Яков Васильевич 494
Столыпин, Петр Аркадьевич 495
Стопиевич, А. Д. 504
Стояновский, Николай Иванович 235, 533
Страхов, Николай Николаевич 96
Строганов, Александр Григорьевич 97, 515
Строганов, Григорий Александрович 68, 508
Стронин, Александр Иванович 272, 539, 540
Струсберг 278

Т

Тавлеев 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349
Таганцев, Николай Степанович 95, 235, 236, 237, 239, 283, 284, 314, 315, 331, 500, 523, 532, 534
Тенишева 96
Тизенгаузен, Николай Оттович 11, 14, 489
Тимашев Александр Егорович 18, 221, 492, 501, 527, 560, 561
Ткачев П. Н. XV
Товбич-Попова 11, 12
Токарев, Владимир Николаевич 76
Толстой, Алексей Константинович XVII
Толстой, Дмитрий Андреевич XXVII, 18, 19, 30, 270, 333, 492, 495
Толстой, Лев Николаевич X, XXII, 33, 555, 556
Томилин 423
Томилова 466
Тотлебен, Эдуард Иванович 320, 552
Траубенберг 373
Трепов, Федор Федорович VII, XX, XXXII, XXXIII, XXXIV, 3, 4, 5, 35, 36, 42, 43, 49, 60—67, 72, 73, 81, 86, 88, 90, 91, 95, 98, 99, 103—107, 114—118, 120—126, 129, 130, 131, 133, 139, 140, 145, 147, 148—153, 161, 185, 187—190, 193, 194, 198, 201, 202, 204, 205, 207, 218, 221, 222, 225, 226, 230—233, 237, 238, 240, 245, 246, 250, 266, 269, 300, 302, 375, 385, 386, 389, 390, 398, 400, 405, 408—411,

415, 416, 419, 425, 427, 430—433, 436, 437, 440, 443, 455—459, 462, 470—475, 477, 479, 480, 485, 486, 490, 500, 501, 505, 506, 507, 519, 522, 528, [illegible]
Трофимов 395, 410
Тулинов 370
Тун, Альфонс 509
Тургенев, Иван Сергеевич XXII, XXV, XXXIII, 510, 511, 513
Турчанинов Александр Николаевич 521

У

Уваров, Сергей Семенович 496
Урусов, Сергей Николаевич 35, 499
Успенская, Л. 542
Успенский, Петр Гаврилович 99, 466, 520, 562
Усулич (В. И. Засулич) 63
Утин, Владимир Львович 521

Ф

Фаустен Элли, 551
Федоров, М. 521, 523, 526, 528
Федоров, петербургский градонач, 65
Федоров, управл. ДПЗ 430, 525, 526
Федорович 386
Федосеев 219
Фигнер, Вера Николаевна 487, 491, 542
Фигнер, Лидия Николаевна 491
Философова, Анна Павловна 510
Фишер, Василий Федорович 368, 556
Фойницкий, Иван Яковлевич 331, 555
Фриш, Эдуард Васильевич XXIII, XXIV, 4, 5, 6, 7, 10, 19, 21, 26, 29, 41, 51, 52, 55, 264, 278, 303, 331, 351, 486
Фроленко Михаил Федорович 506
Фукс, Эдуард Яковлевич XXXIII, 4, 5, 6, 19, 21, 36, 37, 48, 49, 87, 375, 473, 486, 543

Х

Хализев, А. И. 100
Харин, Николай 319, 320, 321
Харина, А. Г. 319
Харины, 319, 546
Хвостов, Борис Николаевич 17, 18
Хиряков 96
Хотев 340, 410
Хрептович, Михаил Ириневич 67, 68
Христианович 95

Ц

Цицианов, Александр Константинович, кн. 371, 557
Цуриков 104, 114, 115, 116, 151, 152
Цуханов 95, 328

Ч

Чарушин, Николай Аполлонович 489, 519

Чарушина, Анна Дмитриевна (Кувшинская) 135, 136, 137, 386, 387, 389, 390, 518, 519
Черемнова 279
Черкасов 466
Черкасский, Владимир Андреевич 30, 498
Черкасский, Хаим 350
Черкезов 520
Чернышев, К. 510
Черткова, Ольга Ивановна 95
Чехов, А. П. XXXV
Чихачев 550
Чичерин, Борис Николаевич XXXI, XXXII XXXV, XXXVI, 97, 213, 283, 376, 517, 553, 557

Ш

Шамшин, Иван Иванович 35, 307, 499
Шатриан, Александр 489
Шварц, ген. 19
Шверберг, сыщик 349
Шекспир, Вильям 80
Шидловский 93
Шокин 349
Шрейбер, тов. обер-прок. 283
Штейн, тов. прок. 345
Шувалов, Петр Андреевич 21, 223, 224, 485, 487, 494
Шульц, Александр Францевич 558, 559
Шульц-Торма, Р. Е. 100

Щ

Щелканцов 406
Щиголев, свидетель 133, 134, 135, 386, 389, 390

Э

Эльспиц 520
Эмерик-Гуттен-Чапский 273
Эркман, Эмиль 489
Эссен, Отто Васильевич 40, 502

Ю

Юханцев 316, 317

Я

Якимов, А. 506
Якимов, В. А. 100
Якоби, художн. 243
Яковлев-Богучарский, Василий Яковлевич, см. Базилевский
Ямпольский 350

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. Ф. Кони. Гравюра на дереве П. Я. Павлинова . . . . . фронтиспис

А. Ф. Кони. Снимок 1877 г. . . . . 16— 17

Вера Засулич, в той тальме, в которой она была, когда стреляла в Трепова. Из собрания Гос. историч. музея . . . . . 96— 97

Факсимиле заявления В. Засулич председателю окружного суда. Из архива А. Ф. Кони . 336—337

СОДЕРЖАНИЕ

Воспоминания о деле Веры Засулич

Отдел первый 3
Отдел второй 56
Отдел третий 97
Отдел четвертый 211
Отдел пятый 270

Приложения 335
Примечания 483
Перевод и объяснение иностранных слов и выражений 564
Указатель личных имен 569
Перечень иллюстраций 583

ИЛ
БИБЛИОТЕКА
ИМЭЛ
при Ц.К.В.К.П.(б)

Художественн. редактор
М. П. Сокольникова.
Технический редактор
А. А. Соловейчик.

Сдана в набор 1. IX. 32
Подпис. к печати 5. IV.
33. Тираж 5300 Уполном.
Главлит № Б-9а022. Индекс А-2. Бумага 74×105
в 1/32. Изд. № 81 Печат.
лист. 18,25 + 4 приклейки.
Бум. л. 9,125 по 100000 зн.

Отпечатана во 2-й типографии Трансжелдориздата им. Лоханкова. Ленинград. Ул. Правды, № 15.

Цена . . . Р. 8 —
Переплет Р. 2 —